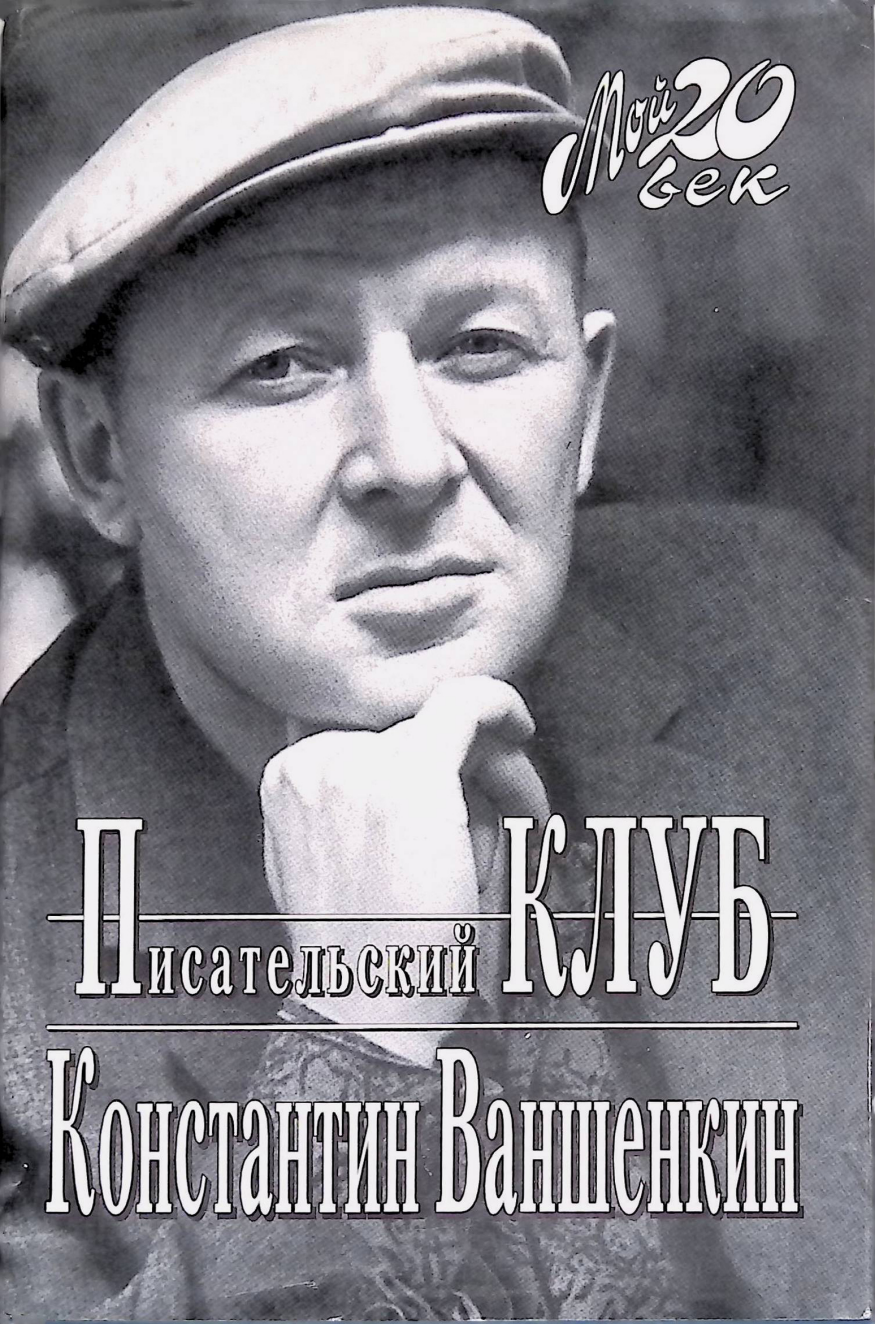

Мой XX век
Писательский клуб
Константин Ваншенкин

Константин Ваншенкин

Мои 20 лет

Мой 20 век

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

Писательский КЛУБ

ВАГРИУС

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

ПИСАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ

МОСКВА • ВАГРИУС •
1998

УДК 882-94
ББК 84.Р7
В17

Охраняется законом РФ
об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.

ISBN 5-7027-0475-4

© Издательство «ВАГРИУС», 1998
© К.Ваншенкин, автор, 1998
© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1998
© Н.Вельчинская, художник, 1998

О себе

Сначала — коротко, потом будет подробнее.

Я родился 17 декабря 1925 года в Москве. Отец мой был инженер, а годы детства совпали с первыми пятилетками, поэтому мы подолгу жили при заводах в средней полосе России, в Сибири. Маленький городок, рабочий поселок стали потом «местом действия» многих моих стихов, да и прозы.

Поэзию в нашем доме любили. Иногда отец читал вслух Некрасова, который был ему особенно близок; я помню, как не раз он с выражением декламировал стихотворение «Вино». Однажды, когда мне было, вероятно, лет пять или шесть и я болел, мать прочла мне стихи — тоже о мальчике и сидящей у его постели матери. Там было такое место:

Вспомни, как шумят березы,
А за лесом, у межи,
Ходят медленно и плавно
Золотые волны ржи!..

Это четверостишье (в особенности две его последние строки) прямо-таки поразило меня красотой, удивительной певучестью и врезалось в душу. Много позже, когда я стал интересоваться: чьи же это стихи, — мать уже забыла их и не могла ответить на мой вопрос. Лишь после войны, впервые с жадностью читая многое, неизвестное мне прежде, я встретил эти строки у Ивана Бунина.

В 1942 году из десятого класса (в конце второй четверти) я ушел в армию. За неделю до этого мне исполнилось семнадцать лет. Впоследствии мне доводилось читать о себе, что я пошел в армию добровольцем. Вероятно, писавших сбил с толку мой юный возраст. Но ничего подобного — это был очередной призыв.

Служил я главным образом в воздушно-десантных войсках,

участвовал в боях на 2-м и 3-м Украинских фронтах. Это было суровое, жестокое время, но именно армия военной поры сформировала мое поколение. Армия сделала нас людьми, армия — это мои университеты. Демобилизовался я в самом конце сорок шестого в звании гвардии сержанта.

Война как таковая останется за пределами этой книги воспоминаний. Дело в том, что я немало написал о ней. Прежде всего, конечно, в стихах. Но не только. С годами я стал писать и прозу. И многие мои прозаические вещи тоже связаны с войной, по сути автобиографичны: «Армейская юность» (1959), «Авдюшин и Егорычев» (1962), повесть «Графин с петухом» (1968), ряд рассказов из книг «Проза» (1969), «Как соловей лета» (1975), «Повести и рассказы» (1976), «Любовь по переписке» (1988) и др.

Стихи я начал писать в детстве. Лет девяти написал несколько стихотворений о полярниках, о героях гражданской войны. Все это было, конечно, несерьезно. Вскоре я остыл к своему сочинительству и в пятнадцати-шестнадцатилетнем возрасте, когда, как говорят, пишут стихи едва ли не все, стихов не писал: у меня не было в этом ни малейшей потребности. Снова стал писать совершенно неожиданно для себя уже в конце войны, в Венгрии. Приведу то действительно первое стихотворение — «Будапешт взят!». Через много лет я открыл им первый том моего Собрания сочинений.

Земли, камней, железа груды,
Бессильно сникли провода,
И у руин притихшей Буды
Ворчит дунайская вода.

Мосты упади на колени
И воду из Дуная пьют...
Всю ночь идут соединенья,
И каблуки всю ночь куют.

И у осколками избитых
Колонн монаршего дворца,
Ночною свежестью умыты,
Войска проходят без конца.

Я эту ночь не позабуду.
Вошли мне в память навсегда

Вся тишь ошеломленной Буды,
Дворец и темная вода.
1945

С той поры пишу, можно сказать, непрерывно.

После войны я поступил в Московский геологоразведочный институт, но проучился там только один год, не сумев совместить учебу со своими литературными занятиями. Дело в том, что программа в институте была серьезная, нелегкая, требующая всех сил и много времени; за войну я перезабыл почти все школьное, а тут, вместо того чтобы заниматься науками, и в свободное время, да и на лекциях, писал стихи в таких количествах, в каких могут писать лишь совсем молодые, начинающие поэты, не выработавшие чувства самоограничения. Короче говоря, нужно было выбирать что-нибудь одно.

Я посылал стихи в журналы, сам иногда заходил в редакции, меня похваливали, но не печатали. Тогда я решился показать стихи настоящему поэту. Мне повезло: первым поэтом, с которым я познакомился в своей жизни, был Михаил Васильевич Исаковский. Его добрые советы и душевная поддержка сыграли огромную роль в моей судьбе. Я отважился всерьез заняться стихами и перешел в Литературный институт.

Впервые мои стихи были напечатаны в 1948 году, а первая книга «Песня о часовых» вышла через три года и была доброжелательно встречена критикой. Одновременно с ее выходом в журнале «Новый мир» появилось мое стихотворение «Мальчишка», которое неожиданно для автора получило весьма широкое распространение и известность. Я говорю это к тому, что потом мое имя долго связывалось у читателя, да и у критики, с этим стихотворением, как через несколько лет стало связываться с песней «Я люблю тебя, жизнь». Вероятно, в этом есть и своя положительная сторона.

С той поры у меня вышло немало поэтических книг: «Лирические стихи» (1953), «Портрет друга» (1955), «Волны» (1957), «Надпись на книге» (1960), «Окна» (1962), «Повороты света» (1965), «Соловьиный коридор» (1967), «Опыт» (1968), «Станция» (1970), «Характер» (1973), «Дорожный знак» (1977), «Поздние яблоки» (1980), «Ветка» (1981), «Жизнь человека» (1983), «Примета» (1987), «Музыка из окна» (1991), «Ночное чтение» (1994) и другие.

Некоторые из написанных мною стихотворений положены на

музыку и стали песнями. Кроме уже упомянутой мной «Я люблю тебя, жизнь», это — «Вы служите, мы вас подождем», «Солдаты», «Женька», «Я спешу, извините меня», «Вальс расставанья» («Старый вальсок»), «За окошком свету мало», «Как провожают пароходы», «Алеша», «Обучаю игре на гитаре», «Городской мотив» («Каблучки») и другие. Они выпускались отдельными сборниками (с нотами). Выходили они (как, впрочем, и стихи) на моих авторских пластинках. Вообще, это особый пласт моей жизни, о нем я еще расскажу.

О собственно прозе я уже говорил. Кроме того, у меня в 1966 году появилась книга о поэзии и поэтическом вкусе — «Непонятливая Лика», а затем книги литературных записей и заметок — «Наброски к роману» (1973), «Лица и голоса» (1978), «Поиски себя» (1985), «Зимняя дорога» (1986).

Есть у меня книги и на другие темы, например, «Воспоминание о спорте» (1978).

Я принадлежу к поколению писателей, рожденных войной, вышедших из нее. Но в ту пору я, безусловно, не осознавал этого. Как уже было сказано, в конце войны я написал несколько стихотворений. Могу утверждать, что потребность писать стихи возникла у меня тогда без малейшего литературного влияния извне, только под воздействием жизни. Я отнесся к этому достаточно серьезно: Я сшил себе небольшую книжечку (у каждого солдата за отворотом пилотки имеется иголка с ниткой). На обложке изобразил тогдашнюю десантную эмблему — раскрытый парашют, пересеченный авиационными «крылышками», — и поставил собственные инициалы. В книжечку я стал записывать свои сочинения, — прямо начисто, черновиков не было, вся работа производилась в уме.

Позднее, демобилизовавшись, я начал то и дело покупать стихотворные сборники и читать — все подряд. Однажды мне попалась «огоньковская» книжка весьма известного стихотворца, и, не знаю уж почему, пришло в голову пересчитать в ней строчки. Их оказалось порядка пятисот. Впервые посчитал у себя: примерно столько же. «Ну что ж, значит, и я мог бы издать такую книжку», — подумал я. Наивно? Разумеется. Самонадеянно? Конечно! Но главное не в этом. Гораздо важнее подсознательная отвага, как воздух необходимая каждому художнику. В ранней молодости я не боялся писать из-за того, что может получиться неудачно. Не было робости перед авторитетами. И, как в лесу, не возникало желания спрашивать дорогу у

встречных, хотелось довериться собственной интуиции. Смелость нужна не только для разработки крупных, глобальных тем (кто знает, какая из них окажется главной в конечном итоге?). Смелость, особенно в ту пору, когда я начинал, была нужна, чтобы написать, скажем, пейзажное лирическое стихотворение или того же «Мальчишку». Короче, смелость нужна, чтобы быть похожим на себя, а не на других. А быть может, это и не смелость, а просто единственная естественная возможность художника стать и остаться самим собой.

Летом 1951 года мы с Е. Винокуровым были командированы одним из солидных журналов на строительство Каховской ГЭС. Железной дороги в Каховке еще не было, мы добирались от Днепропетровска сначала пароходом, потом открытым двухместным самолетом «По-2». Мы окунулись в знойное и пыльное марево стройки, в самый ее разворот, прожили там три недели, вернулись и, к изумлению и разочарованию пославших нас, ничего не написали. То есть именно тогда. Винокуров написал стихотворение, связанное с той поездкой, лет через восемь, я — через четырнадцать.

Что же произошло? Разумеется, поездка что-то дала нам, — может быть, и немало, но в тот момент каждый из нас внутренне был заряжен на другое. Мы еще не написали свою войну, свою собственную юность и испытывали в этом самую острую и насущную потребность. Мы еще только начинали понимать, что это такое. Для каждого художника обязательна своя задача, а не только решение.

С тех пор прошли десятилетия. Многое изменилось, изменился и я. Я выпустил ряд стихотворных книг, потом начал работать и в прозе. Именно с последним обстоятельством связывал критик А. Урбан то, что стихи стали у меня несколько иными, — в прозу, по его мнению, «ушли» некоторая описательность, сюжетность, стих приобрел бóльшую краткость, емкость, собственно лиричность. Однако он же сделал дорогое для меня наблюдение: «Вчитываясь в более поздние книги Ваншенкина, начинаешь и ранние воспринимать иначе».

Таким образом, основное мое было, вероятно, со мной с самого начала. Позволю себе привести суждения, высказанные обо мне в разное время двумя моими сверстниками, — разумеется, печатно.

А. Межиров — о стихах: «А мастерством не овладевал. Мастерство само овладело им еще в юные его годы».

Ю. Трифонов — о прозе: «Если говорить о мастерстве, то Ваншенкин, пожалуй, никогда не «пробовал своих сил», он сразу начал как зрелый прозаик».

Сперва меня поразила только похожесть этих высказываний. Но потом я понял: это и есть необходимое условие для пришедшего в литературу.

С некоторых пор меня стали привлекать и совершенно незнакомые ранее жанры — по моим сценариям сняты документальные фильмы «Детство Твардовского», «Встреча с Михаилом Исаковским», «Размышления о Доме Герцена» и другие. Немало сделал я и авторских телевизионных работ.

Каждый писатель строит жизнь по-своему. Но сначала она, разумеется, складывается сама, по собственным, не зависящим от него законам. Лишь потом, получив такую возможность, он вносит в нее поправки и усовершенствования, касающиеся прежде всего деталей. Старается организовать жизнь так, чтобы ему удобнее было работать, подстраивается под свои особенности. Одни живут в глуши, в уединении, другим, наоборот, требуется частое профессиональное общение. Но как бы там ни было, в любом случае писатели знают друг друга не только по книгам. Они знакомятся, как правило, в молодости, сверстниками — тогда и создаются образования, именуемые впоследствии плеядами и литературными поколениями. В молодости приходят и к своим кумирам, уверенные, что они должны помочь, и это в разной степени тоже осуществляется. Закладывается основа развивающейся в дальнейшем системы отношений.

Могу сказать, что мне повезло. Не только в том, что выпала судьба вернуться с войны — живым, молодым и здоровым. Я близко общался с замечательными людьми в искусстве. Об Исаковском я уже говорил. Необычайно много дал мне Твардовский, — не в смысле стиха, но в смысле отношения к жизни, к литературе, к работе. Серьезности, нешуточности, безжалостности всего этого. Именно он посоветовал мне попробовать себя и в прозе. Художника не нужно убеждать, чтобы он писал хорошо. Он либо пишет так, либо он не художник. Он знает, о чем писать, но узнаёт об этом порой в мучительной борьбе с собой, с материалом, с обстоятельствами. Точно выверенный, нацеленный, заинтересованный совет бывает ему необыкновенно важен. И еще один очень близкий мне человек удивительной художественной проницательности, предвидения, обаяния — Марк Бернес. Это он приобщил меня к песне.

Я говорю сейчас о художниках, которых знают все. Я вспоминаю их, уже ушедших, но постоянно живущих в моей душе. Вспоминаю с неизменной благодарностью и думаю порой, что редкостный дар судьбы — возможность общения с такими людьми — мы не всегда можем в полной мере осознать и оценить в молодости.

И еще необходимо сказать о том, что едва ли не главное для каждого человека, основа всего — его личная, семейная жизнь.

Я счастливо женился, — еще в Литинституте, тоже на студентке, Инне Гофф. Мы объединили наши судьбы 14 февраля, ничего не ведая тогда о покровителе влюбленных святом Валентине. И никто у нас о нем не слыхал, узнали много позже. Но ведь это был его день!

Принято считать, что непрочны семьи, где муж и жена люди художественных профессий. Особенно писатели — ведь они работают дома. Говорят, что они подавляют друг друга, мешают раскрыться. У нас было наоборот: мы помогали друг другу, поддерживали, интересовались работой другого как своей. Просто мы любили друг друга. Растили дочь, почти не расставались. Инна, живя со мной, написала много превосходных книг, а также песен, которые знают все. Талант ее расцвел и по-настоящему окреп. Одна беда — ушла раньше меня.

Вот, собственно, все.

Сергей Есенин сказал когда-то: «Что касается остальных автобиографических сведений — они в моих стихах».

Как, вероятно, почти каждый пишущий стихи, я могу присоединиться к этим словам и только добавить: и в прозе.

И конечно же — в воспоминаниях.

А теперь подробно — по порядку.

ТАК МЫ НАЧИНАЛИ

Клочковы

У каждого, кому повезло в жизни, есть дом, где его приютили, согрели в трудный час. У меня это дом Клочковых.

Я учился с Толей Клочковым в геологоразведочном институте, жил далеко за городом — мест в общежитии не было — и совсем начал выбиваться из сил, когда они пригласили меня жить к себе. Время было радостное, только-только отменили карточки, но все равно было еще трудно, а они брали с меня не всю стипендию — даже оставалось на курево.

Клочковы жили в старом рабочем районе, за Павелецким вокзалом, в трехэтажном кирпичном доме. По ночам поблизости слышались звуки бодрствующей железной дороги: прокатывающийся гром сдвигаемых составов, короткие сигналы маневровых паровозов.

В квартире было десять или одиннадцать семей. Когда-то здесь жил фабричный управляющий, а после революции сюда вселили рабочих. Они переженились, повыходили замуж, пошли дети, народу сильно прибавилось, стало совсем тесно, но все привычно и по возможности дружно жили в этой квартире с двумя уборными и огромной кухней на три газовых плиты. Здесь вырос и Толя Клочков.

У них было две комнаты. В совсем крохотной, метров пяти-шести, жили бабушка и ее младший сын, Толин дядя — Коля. Он был только на год старше меня и еще служил в армии, в погранвойсках, откуда позже тогда отпускали. Бабушка была тихая, неприметная, но всегда ощущалось ее живейшее участие в общей жизни. И еще она была по натуре очень добрая — подбрасывала Толе карманных деньжат, а мне часто говорила: «Ешь, сынок, в аппетит, пока пупок отлетит!..»

И Толина мать унаследовала ее характер.

Мы, остальные, жили в бóльшей комнате, метров двадцати. Толины родители спали на широкой кровати, сестренка

Лида на детской, из которой уже вырастала — ей было одиннадцать лет, — Толя на диване, я на сундуке.

Этот сундук у двери был немного коротковат для меня.

Я спал обычно на животе, как привык спать на нарах и на земле в армии. У меня были трофейные часы, я, тоже по привычке, не снимал их с руки, чтобы, проснувшись среди ночи, только глянуть на светящийся циферблат и, если еще рано, спать дальше. Я потом даже написал — правда, о другом:

Бегло смотрю на запястье —
Только четыре часа.

Через много лет Толина мать призналась мне, что это их с отцом обижало, они думали, что я боюсь расстаться с часами, чтобы их не украли.

На этом моем сундуке глубокой осенью сорок первого года спали вместе Толя и Коля. Отопление не работало, в комнате замерзала вода, и вечером перед сном Толина мать гладила раскаленным утюгом их простыни и одеяло, чтобы хоть поначалу дать им немножко тепла, — без этого ложиться было невозможно. Они уже давно притерпелись к воздушным тревогам и налетам, набегались в бомбоубежище и теперь, ложась, выключали радио, а при взрывах и зенитной пальбе лишь крепче прижимались друг к другу. Потом Колю взяли в армию.

Он при мне, еще до своей демобилизации, приезжал в отпуск — степенный, неторопливый, солидный парень в аккуратной гимнастерке с зелеными погонами. Он почти ничего не рассказывал о жизни на заставе, о дозорах и нарушителях, — не потому, что боялся раскрыть военную тайну, а потому, что совсем недавно окончилась Великая война и он считал неудобным рассказывать ее участникам (мне и Толиному отцу) о своей будничной службе.

Встречали и провожали его шумно. Вообще праздники, семейные и общие, Клочковы обязательно отмечали за столом. Отец играл на гитаре и пел приятным сильным голосом. Хорошо пел и Толя. Пели «Коробейников», «Когда я на почте служил ямщиком», «Лучше нету того цвету» — пели с удовольствием, самозабвенно, до изнеможения. Пели Есенина:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волос твоих овсяных
Отоснилась ты мне навсегда.

Толя был большой любитель стихов, мы и подружились с ним на этой почве, но отец-то, рабочий человек, столяр — и он тоже чуть напряженно, но с наслаждением выводил непростые, вопреки принятому мнению, есенинские строки:

В тихий час, когда заря на крыше,
Как котенок, моет лапкой рот,
Говор кроткий о тебе я слышу
Водяных поющих с ветром сот.

Иногда, перед началом строки, он взглядывал на сына, проверял себя и удовлетворенно встряхивал волосами:

Все ж, кто выдумал твой гибкий стан и плечи,
К светлой тайне приложил уста.

Пили водку, но больше самодельную красно-золотистую бражку, которую ставила бабушка. Она хранила ее под кроватью в четырехгранной царской бутыли большой прочности и еще в обычном канцелярском графине. Чтобы при брожении не выскочили пробки, их обвязывали шнуром — под дно. Как-то раз бабушка поставила бражку ко дню рождения зятя, и за несколько дней до срока нас разбудил ночью взрыв и звон осколков. Зажгли свет. Вся комната была залита пеной. Разорвало царскую бутыль. Убрали осколки, подтерли и только легли, как, уже под общий хохот, ударил под диваном канцелярский графин. Видно, бабушка с пропорциями напутала.

Толиным родителям было едва за сорок лет. Как мы, наверное, им мешали! Толя читал по ночам. Он лежал на спине, за изголовьем горела настольная лампа с зеленым абажуром, отгороженная газетами и спинкой стула так, чтобы свет падал только на страницу. Он читал и читал. Именно о таких сказал поэт, что они читают «как заведенные, взасос». А я тогда писал как заведенный. Из меня прямо било.

В ту пору я познакомился с Михаилом Васильевичем Исаковским. Но об этом отдельно.

Утром мы с Толей бежали до метро, втискивались в вагон и выходили в центре. Наш институт был между старым университетом и тогдашним американским посольством. Больше всего мне нравился в институте минералогический музей. Он поражал меня своим богатством, богатством красок, оттенков, рисунка, всего разнообразия природы. Это был театр, роскошный спектакль.

Вот я написал «спектакль» и вспомнил: у кого-то из соседей оказались два лишних билета в филиал МХАТа на «Вишневый сад». До начала оставалось пустяки. Мы с Толей подхватились и понеслись. И успели. Мы сидели на верху галерки и, собственно, самой сцены не видели, мы видели только авансцену и актеров, выходящих к рампе. Стоило им отступить в глубину, они исчезали. Не видели мы и самого вишневого сада, ни одной веточки, а только слушали разговоры о нем.

Не беспокойтесь, я понимаю, что времена изменились. Но все-таки на всю жизнь у меня осталась симпатия к молодым людям, сидящим на галерке, а не в первых рядах.

Почему-то на вечерах поэзии в Политехническом мы тоже всегда оказывались наверху. Я смотрел на освещенную сцену, на своих кумиров, которых знал наизусть, и на людей, мне неизвестных, — но объявлялось, что они известные. Мы с Толей переглядывались и подмигивали друг другу, когда выходил вперед поэт, которого мы любили и помнили насквозь. Ведь он знает, конечно, что у него есть поклонники, почитатели и тому подобное, но не представляет, насколько близки и дороги кому-то его жизнь, и интонация, и самый вид, и все, что он еще сделает. Один другого сменяли поэты. Я тогда тоже писал, но думал ли, что многие из них совсем скоро будут считать меня равным. Мы с Толей были совершенно бескорыстные слушатели. Довольно много времени спустя я написал об этом:

О эти вечера в Политехническом!
Сижу, внимая каждому стиху.
Трибуна в четком свете электрическом,
Я ж на галерке где-то, наверху.

Потом опять толкучка гардеробная:
Протискиваюсь, взяв свою шинель.

Москва большая, тихая, сугробная, —
Едва-едва окончилась метель.

Иду один, шепчу стихи нечаянно,
Счастливый, средь полночной тишины.
Еще и ни строки не напечатано,
И нет еще ни дома, ни жены.

И все, что я в полях холодных выносил,
И все, что людям высказать хочу,
И жизнь моя реальная, и вымысел,
И дальняя дорога — по плечу!

Смею заверить, что здесь все точно. Вот только шел я не «один», а вдвоем — с Толей Клочковым.

Исаковский

Как писали в прежние времена, с душевным трепетом и глубоким волнением приступаю я к этой главе.

Я уже сказал, что в ту пору я учился в Московском геологоразведочном институте и одновременно все свободное, а также и отведенное на занятия время писал стихи. Иногда я посылал их в редакции газет и журналов и получал ответы хотя и обнадеживающие, однако ничего не обещающие. Изредка я сам заходил в редакции и выслушивал то же самое — не от редактора, разумеется, не от члена редколлегии, а от почти такого же безвестного, как и я, литературного консультанта.

Там, в редакциях, на подступах к поэтическим отделам, я познакомился с другими ходоками, пока что тоже неудачниками, объединенными своим бесправным положением, стойким невезеньем и неколебимой еще верой каждого в свой талант.

Много позже я вычитал у Гете, как он и его друзья-мальчики упоенно занимались стихосложением: «Мои стихи, каковы бы они ни были, всегда казались мне самыми лучшими. Вскоре, однако, я заметил, что и мои товарищи, довольнотаки незадачливые стихоплеты, не меньше меня чванятся своими стихами... Я однажды вдруг усомнился: не заблуждаюсь ли я в такой же мере, не лучше ли эти стихи моих стихов и не кажусь ли я моим приятелям таким же полоумным, какими они кажутся мне?».

Из тех, обивавших пороги редакций, не удержался никто, кроме Евтушенко. Я с ним познакомился у дверей «Нового мира». Это был мальчишка лет четырнадцати, весь в заплатах, дитя улицы, живучий и не унывающий в тот голодный год.

— У меня написано: «жисть-жестянка», — обратился он ко мне с возмущением, — а она говорит, что плохо, что так нельзя. Ведь можно так сказать?..

Учеба моя в институте требовала массу времени, а я писал стихи и не успевал заниматься, нужно было решаться на что-то, и я отважился показать свои сочинения настоящему поэту, которого знал и любил.

Почему я выбрал Исаковского? Почему не пошел к Твардовскому или Симонову?

Некоторым моим старшим собратьям по перу, которые уже на войне были писателями и служили во фронтовых и армейских газетах, представляется, что и вся армия так же читала периодику, как они. А я, например, читал только одну нашу дивизионную газетку и ни разу никакую другую. В этой газете я прочел две главы «Теркина». Стихи Симонова из книги «С тобой и без тебя» дал мне мой друг Володька Ратковский, он их списал у кого-то, лежа в госпитале. И еще я, конечно, знал и пел сам песни Исаковского — и прежние, и одну из главных песен войны — «Огонек». Я знал, что его стихи-песни поистине народны, и знал это на практике.

Но я не знал и слыхом не слыхал, что именно Исаковский занят огромной работой по переписке с начинающими, равной по объему, думаю, только такой же работе А. М. Горького. Причем Михаил Васильевич делал это не по должности, а по человеческой отзывчивости и доброте, по обязательности своего характера, читал горы рукописей в ущерб собственной работе и все ухудшающемуся зрению. Один из наиболее почитаемых всенародно и государственно поэтов, он аккуратно отвечал своим никому не известным корреспондентам.

И, совершенно не зная всего этого, я каким-то чудом, чутьем выбрал именно Исаковского. Оправдываю себя даже не тем, что был извинительно молод, а самим временем, когда всех еще объединяла удача — мы уцелели в страшной войне, — и это как бы предполагало бóльшую близость и внимательность друг к другу.

Я пришел к нему осенью 1947 года. Первый раз не застал, пришел вторично.

— Вы избиратель? — спросила меня женщина, открывшая дверь.

Я лишь потом сообразил, что к нему часто обращаются как к депутату Верховного Совета его избиратели.

— Михаил Васильевич очень занят, — сказала женщина, но тут, возвышаясь за ее плечом, показался сам Исаковский:

— Вы ко мне? Проходите.

При всей непохожести, он напоминал мне Горького, виденного в кинохронике, — высокий, сутуловатый.

Я повесил в коридоре шинель и тут же попал в крохотный кабинетик, сел на указанное мне место напротив хозяина, а он сразу начал читать тетрадочку с моими стихами, предварительно раскрыв передо мной немалую роскошь по тому времени — коробку «Казбека». Он читал довольно быстро, а я неподвижно сидел по другую сторону стола и ждал приговора. Там, где стих был правильный, плавный, он тихонько, про себя, подмурлыкивал, и это меня немного успокаивало.

Он похвалил меня, увидав что-то в наивных, слабых стихах, не остановился только на моей неумелости, не удовлетворился только их очевидными недостатками. За законченное, отточенное похвалить не штука, — куда важнее заметить у молодого хоть крупицу истинного, подбодрить, помочь, посоветовать, и все это просто, немногословно, сдержанно. Для поэта его положения совершенно удивительно было понимание нужд начинающего.

Например, он сказал мне:

— Вам следует приучить редакции к мысли, что вы есть и вас надо печатать.

Через несколько лет, уже будучи членом Союза писателей (опять же Михаил Васильевич дал мне рекомендацию, и я был принят в 1951 году после первой книжки), я рассказал за столом в поэтической компании о тех его словах, и один мой тогдашний друг-поэт ахнул:

— А вот мне никто такого не посоветовал!..

И он тут же бросился «приучать» — и не только печатать свои стихи, но и приучать писать о себе статьи и рецензии, да так рьяно, что положил это в основу своей дальнейшей деятельности.

Посещение М. В. Исаковского многое решило и изменило в моей судьбе. Правда, он не советовал мне бросать геологораз-

ведочный, и хорошо было бы не бросить, совместить, но не получалось.

Михаил Васильевич дал мне в тот раз записочку в журнал «Советский воин» к тогда еще капитану, поэту Михаилу Спирову с просьбой напечатать мои стихи, и меня вправду напечатали. Для начинающего стихотворца это очень важно — напечататься, это одна из главных, почти невыполнимых задач, особенно в то время. Когда я спускался по лестнице и шел вниз, к метро, по улице Горького, мне казалось, что эта записочка, лежащая в кулаке, и есть основной результат моего посещения, его вещественный итог. К счастью, я быстро понял, что это не так.

Михаил Васильевич дал мне необходимый толчок, добавочное ускорение, за полчаса общения зарядил на серьезную, долгую работу. Низко ему за это кланяюсь.

В январе 1950 года отмечался юбилей Исаковского — пятидесятилетие. В Дубовом зале Центрального Дома литераторов шло чествование, выступали старинные друзья, вносились кадки с цветущей сиренью от хора Пятницкого. Я тогда был уже студентом Литературного института, и руководство поручило мне написать в стихах приветствие юбиляру от института. Я написал, но в последний момент руководство, как это случается, почему-то передумало, и другой студент зачитал обычный поздравительный адрес.

Через двадцать лет, в том же Дубовом зале, на обеде в честь семидесятилетия М. В. Исаковского я все же прочитал то давнее мое приветствие. (Если не ошибаюсь, в начале недостает одной строфы.)

Широкая и ясная дорога,
Она скромна, как стежка средь полей.
И даже странным кажется немного
Торжественное слово — «юбилей».

А ваши песни долго петься будут,
Напоминать о самом дорогом,
И никогда солдаты не забудут
Старинный вальс «В лесу прифронтовом».

Пройдет весна, за ней вторая, третья,
Но на песке холодном, у воды,

Останутся на долгие столетья
Катюшины незримые следы.

Пороховой тогда растает запах,
Не будет расставаний навсегда.
Но раз уж «дан приказ — ему на запад»,
То, если можно, пусть и ей — туда.

Пусть будущие наши поколенья
Не знают ни бомбежек, ни атак...
А вы примите наши поздравленья,
Простите нас, коль что-нибудь не так.

Действительно, здесь кое-что «не так». Например, следы Катюши «на песке холодном, у воды», а в песне она, как известно, выходила «на высокий берег на крутой». Но что от души, так это уж точно.

Вероятно, у каждого пишущего есть самое большее три-четыре человека, мнение которых особенно важно и дорого. Мы словно пишем именно для них. У меня в числе таких людей — М. В. Исаковский.

Снова об Исаковском

Михаил Исаковский — одна из удивительнейших фигур в нашей поэзии. В чем, собственно, его *секрет,* то есть то, что вообще отличает одного художника от другого, если не считать различий наиболее очевидных — жизненного опыта, тематических пристрастий и т. д.? Простота изложения, заинтересованность народными судьбами? Конечно, и это. Но ведь так можно сказать не только о нем.

Исаковский написал множество стихотворений, несколько небольших поэм. Наиболее известны его стихи, ставшие песнями. В них почти нет какой-либо литературной изощренности, во всяком случае, она не видна. В чем же причина их воздействия, распространения, долговечности?

Исаковский никогда (за редчайшими исключениями) не ставил себе задачи специально написать стихотворную основу песни. Это получалось естественно, само собой. Он не любил, когда его называли поэтом-песенником. Он был поэтом.

Когда-то, очень давно, я прочел его стихотворение «Продажа коровы» (из цикла «Минувшее»). Оно начиналось так:

Голод глух, и голод слеп,
Он не верит слову.
И приходится на хлеб
Разменять корову.

Под осенним холодком,
В сумрачном рассвете,
Попрощаться с молоком
Молча вышли дети.

У многих крестьянских писателей есть похожая, типичная для старой деревни, сцена. А врезалось в память это: «попрощаться с молоком молча вышли дети».

Или совсем другое:

Хорошо походкой вялой
Мять в лугах шелка отав...

Эта вялая, с ленцой, походка по шелковой траве сразу создает настроение, характер, картину.

Или:

Я слышал сам, как в перелесках щелкал
Стальной семизарядный соловей.

Револьвер назвать соловьем! И создать объемный образ колоссальной концентрации, очень близкий русскому фольклору.

Или — описание утра:

...Но вот высокий тракторист
Ладонью выдавил калитку.

Сколько в этом одном слове — выдавил — действия, необычности и в то же время точности. (Спустя много лет Твардовский напишет: «Дверцу выбросил шофер».)

И дальше у Исаковского:

Еще сквозит ночная лень
В его улыбке угловатой,
Он изучает новый день,
Облокотясь на радиатор,

И курит медленный табак.
Его рубашка — нараспашку;
Чрез полчаса, заправив бак,
Он выйдет в поле на распашку...

А ведь лихо! И весь рисунок, и «медленный табак», и последняя рифма. Умеет — ничего не скажешь. Это двадцать девятый год. Но секрет его тоже не здесь. Более того, нетрудно заметить, что с годами поэт утрачивает интерес к подобным поискам и находкам. Главная его сила — в другом.

На мой взгляд, главный его *секрет* — в глубочайшей органичности чувства, в обезоруживающей наивности выражения.

Возьмем «Катюшу»:

Расцветали яблони и груши.

Немногие бы решились написать так, убоявшись, чтобы это не показалось чуточку смешным: яблони, да еще и груши. А у него прекрасно. И дальше:

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.

Почему именно про степного? Зачем так конкретно? Но человек, который бы захотел придраться: «Что же, она письма сизого орла берегла?» — выглядел бы просто глупо.

Я, когда услыхал эту песню до войны, не расслышал, не понял и пел, как многие: «И бойцу на дальнем пограничном...»

Оказалось — *пограничье*. Как — *побережье*. Удобное, прочное слово.

И формулировка — афоризм, вообще свойственный песенным стихам Исаковского:

Пусть он землю бережет родную.
А любовь Катюша сбережет.

Или «Огонек»:

На позиции девушка...

Это слово в таком его значении (то есть на фронт) употреблялось в первую мировую войну, так как военные действия тогда часто носили позиционный характер. В нашу войну им называлось что-либо гораздо более определенное: артиллерийские позиции. Однако опять же оно ничуть нас не коробит, благодаря естественности стиха и самого авторского голоса. Так же, как и строки:

Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.

Казалось бы, что значит «всюду», да еще повторенное? А мы ощущаем полную достоверность этих слов, настолько чисто и бесхитростно они произносятся.

На стихи Исаковского писали музыку лучшие наши композиторы. Но мне кажется не случайным, что мелодия одной из самых распространенных песен войны — «Огонек» — сочинена неизвестным автором. Это как бы еще раз подчеркивает глубокую народность творчества Исаковского.

Когда-то давно, на вечере, посвященном пятидесятилетию Исаковского, приводя шуточные, известные только близким друзьям стихи юбиляра, которые звучали примерно так (цитирую по памяти): «Нет у меня пасеки, не гожусь я в классики», А. Твардовский говорил: «Годишься, Миша, годишься. Ты классик и есть».

Да, это настоящий классик. Его стихи читают дети в букварях, его песни поет вся Россия. Ни одна статья или дискуссия о песне не обходится без его имени. Он единственный, у кого при жизни вышел том в Большой серии «Библиотеки поэта».

Крестьянский сын, рожденный в глухой смоленской деревне, он явился из самой народной гущи. Он сказал мне как-то к слову, что Твардовский в своем приветственном послании по случаю его, Исаковского, семидесятилетия, напечатанном тогда в «Новом мире», написал, что мать Исаковского была почти неграмотной крестьянкой. И добавил: «Александр Трифонович ошибся. Она была совершенно неграмотна». Он говорил об этом так, словно допущена весьма серьезная ошибка. Только болезнь, а затем смерть Твардовского помешали Исаковскому попросить эту неточность исправить. Как не вспомнить тут (по слову того

же Твардовского) о его правдивости, «почти беспримерной».

Какая удивительная судьба! Какие имена вокруг! Его замечает и поддерживает Горький, а он в свою очередь поддерживает юного Твардовского.

Он был по-настоящему известен, даже знаменит. Но всегда сторонился, стеснялся своей славы. Она ни разу не взяла над ним верха. И в общении он оставался неизменно прост, естествен, отзывчив. Был на редкость обязателен и, пока мог, не пропустил ни одного писательского собрания, даже неинтересного, ненужного ему. Когда перестал появляться, всем стало ясно: Исаковский тяжело болен.

Да, он долго и мучительно болел. И никогда не жаловался, молча перенося физические страдания. Мне случалось звонить ему в больницу. Потом я узнал от его жены Антонины Ивановны, что порой ему трудно было протянуть руку к трубке находящегося рядом телефона, но по его голосу и тону об этом невозможно было догадаться. И совсем незадолго до конца я слышал в трубке его неторопливый, рассудительный голос. Михаил Васильевич рассказывал о своей книге прозы — «На Ельнинской земле», выхода которой ждал с нетерпением. Она чуть-чуть опоздала.

Это был человек настоящего мужества. Многие знают, что он плохо видел, но не догадываются — до какой степени. В моменты обострений болезни он порой не мог рассмотреть лица находящегося в комнате человека, а только его силуэт. И все-таки работал. Причем должен был писать сам, — диктовать он так и не научился.

Стихов в последние годы писал он совсем мало. Но зато среди них есть шедевры, появившиеся не за счет многолетнего умения и определенной технической оснащенности, а благодаря все той же пронзительной бесхитростности и доверительности, о которых я уже говорил. Достаточно вспомнить про «осенние, последние, останние деньки». Некоторые поэты совсем иного толка, «технари», годами не желали его признавать, усмехались, пожимали плечами, а потом не только смирились, но восхитились, как это случилось, к удивлению многих, с Кирсановым.

Мне было горько узнать, что за годы тяжкой болезни Исаковский часто чувствовал себя оторванным, забытым, — а ведь его просто боялись тревожить, боялись показаться назойливы-

ми. Он сам позвонил мне как-то по поводу моей статьи о Фатьянове, расспрашивал о новостях литературной жизни, пригласил в гости. И потом, всякий раз говоря со мной, справлялся, не занят ли я, не отнимает ли он у меня время. Таким был Михаил Васильевич Исаковский.

Многие стихи этого больного с юности человека освещены шуткой, улыбкой, почти все полны оптимизма. «Хорошо походкой вялой», «Хорошо в застенчивой прохладе», «Лучше нету того цвету» — вот его мироощущение.

...Вскоре после его кончины я побывал в составе делегации поэтов в Югославии. Небо южной Европы разрывали в клочья частые грозы, наш рейс из Белграда в Скопле откладывался. Наконец мы долетели, добрались до отеля, долго ужинали. Уснул я глубокой ночью, а поутру уже нужно было двигаться дальше. Но чуть свет меня разбудили. Сперва сквозь сон мне показалось, что в комнате включили радио, потом я с трудом понял, что поют на улице. Мой номер помещался на втором этаже. Я встал и подошел к окну, чтобы закрыть его. И тут окончательно проснулся. За окном была стройка. Рабочие пели «Катюшу».

Через два часа, уже в машине, я рассказал об этом македонскому поэту Евтиму Маневу.

— Да, да, конечно, — отвечал он мне, — у нас в газете был заголовок: «Умер автор “Катюши”»...

Так мы начинали

То есть начинали мы, разумеется, по-разному. Кто в литературном объединении при газете, издательстве или заводе. Кто еще раньше, в литературном кружке Дворца пионеров. Кто в армейской редакции. Но характерно: едва ли не все, кто начинал *в наше время,* сошлись потом в Литературном институте; миновавшего его — пожалуй, не вспомнить. Короче, во всем этом видна определенная стройная система. Дальше — опять было у всех по-разному.

Я же перво-наперво хочу сказать здесь об ответственнейшей для начинающего поре, когда он еще нигде не числится, ни с кем не связан, а сам по себе, самому себе предоставлен. Может быть, в это время и вырабатываются самостоятельные качества, столь необходимые художнику, которые не приобретешь в литкружке. Ощущение — на всю

жизнь — твоей ответственности перед всеми и что отвечаешь ты один.

«Начало было так далёко, так робок первый интерес». Это поразительно верно, и думаю, что бросившие сочинительство в ранней молодости (а были среди них и очень способные) вряд ли испытывают особые сожаления, — они еще не успели войти в это целиком, это не стало их жизнью, и они отказались от этого с легкостью, а ведь нельзя же с легкостью отказаться от жизни.

Что сказать о тогдашних собственных стихах? Мне кажется, начинал я слабо. Из тетрадочки, прочитанной Исаковским, я отобрал потом для первой книжки три стихотворения. Одно из них впоследствии было издано еще раз. И все.

По правде сказать, я даже немного удивился, встретив через несколько лет в книге у Михаила Васильевича такие слова:

«В свое время я читал также стихи молодых поэтов Константина Ваншенкина и Ивана Ганабина. И об этих стихах можно было с уверенностью сказать, что их авторы — люди талантливые».

Талантливые, да еще с уверенностью? Честное слово, если бы молодой поэт принес такие стихи мне, я бы, вероятно, не был столь снисходительным.

Но как бы там ни было, я получил записку и пришел с ней в журнал. Стихи мои напечатали — через полгода.

Два стихотворения, но не вместе, а в соседних номерах или через номер. Первым появилось стихотворение «Простреленный бушлат», именно то, которое я потом еще раз перепечатал.

И вот в течение этих шести месяцев я чуть ли не каждую неделю приходил в редакцию — узнать, как дела, скоро ли напечатают. «Советский воин» размещался на площади Коммуны, в ЦДСА, на самом верху. Я шел по длинному коридору, увешанному батальными картинами, мимо раскрытых дверей офицерского ресторана, мерцающего хрусталем и сияющего крахмальными салфетками, потом поднимался по служебной лестнице, где на этажах висели под стеклом приказы и выписки из воинских уставов, а поблизости гремел, репетируя, Краснознаменный ансамбль. Перед входом в редакцию, на лестничной площадке, курили молодые поэты, с несколькими я уже познакомился. Они ходили сюда как на службу и были в редакции своими людьми, да вот только почему-то их никто не

печатал. Они говорили, как о хороших приятелях, о Луконине, Межирове, Наровчатове, с которыми не были знакомы, называли их между собой Мишей, Сашей, Сережей, хвалили или не одобряли их стихи. Один посоветовал мне: «Собери рукопись и неси в «Совпис», как Сашка. А чего?..»

Я, разумеется, не послушался.

Так я ходил, ходил, а потом появилась *гранка* — длинная широкая лента мятой бумаги, на которой кое-как, вкривь и вкось, но было набрано, напечатано мое стихотворение, а над ним поверх моей — крупно чья-то фамилия. Что это, ошибка? Нет, это наборщик, это для удобства. А потом была *верстка,* стихи уже в полосе, на странице. А потом свежий, хрустящий и одновременно глянцевый номер журнала с моим стихотворением. Первый раз в жизни. Не помню в точности своего ощущения, — оно оформилось и укрепилось позднее, с последующими публикациями. А тогда взял журнальчик и пошел. Попросить еще один экземпляр даже не догадался.

Мне только сказали, когда получать гонорар. Бухгалтерия помещалась в другом районе — на Верхней Масловке.

И вот ведь какое дело. Страна едва-едва стала есть досыта: отменили карточки. Великой и горькой силой были они шесть лет кряду. Но еще было трудно. Хорошо тем, кто вернулся домой, в семью, на старую работу. А тем, кто все начинал заново, — среди молодых таких оказалось большинство, — было особенно тяжело, не хватало денег. Я жил на стипендию.

И, честное слово, за все те месяцы, что я исправно посещал журнал в терпеливом ожидании своего триумфа, я ни разу не помыслил о гонораре. И мои новые знакомцы, всезнающие советчики, говорили о чем угодно, кроме этого. Занимало совсем другое, а о ставках и расценках я не имел ни малейшего представления.

Через несколько дней я стоял в очереди к кассовому окошечку и гадал про себя, сколько получу. Сто? Двести? Пятьдесят? В тех деньгах, разумеется. Тогда они были новыми: только-только произошла реформа.

Вокруг, в темном коридоре, шумели, балагурили, здоровались и прощались знакомые между собой люди, военные и гражданские. Казалось, все друг друга знали. Подошла моя очередь, я сунулся в платежную ведомость и не поверил своим глазам. В стихотворении было сорок четыре строки. Платили

по четырнадцать рублей за строчку. Я получил шестьсот рублей с мелочью. Шесть крупных, нереально новых сотенных купюр. Я небрежно сунул их в карман и спустился на улицу.

Стоял совершенно синий апрельский день. От солнца и луж слепило глаза. Я медленно шел по тротуару.

Подобная ситуация не раз описывалась в литературе: молодой писатель, получив первый гонорар, начинает лихорадочно подсчитывать, сколько он сможет заработать, пристроив все, что у него есть в наличии, или даже то, что он еще напишет, — и крах его планов в столкновении с действительностью. Я был удивлен, но ничего не считал и не планировал, смутно подозревая, что впереди все будет не так просто, да и не желая загадывать.

Настроение у меня было отличное. Блаженствуя в апрельской синеве, я вышел переулками к стадиону «Динамо», немало говорившему моему сердцу, остановился возле только что открывшегося павильона-закусочной, взял бутылку пива и два бутерброда с уже подсыхающей красной икрой. Стоя перед высоким круглым столиком, я медленно пил пиво, время от времени проверяя, не потек ли бумажный вощеный стаканчик, и смотрел на голые еще стволы Петровского парка, на красный трамвай, на футбольную афишу возле касс.

В «Советском воине» шло у меня еще одно стихотворение, оно нравилось мне гораздо меньше первого, но ведь не я выбирал. К тому же его сократили, подрезали как-то не очень деликатно. Но все равно — мое. Я зашел посмотреть верстку. За время моего отсутствия в редакции случились перемены. Вместо мягкого и доброжелательного Михаила Спирова, перешедшего в газету Московского военного округа, появился решительный и резкий бритоголовый майор, поэт, совсем недавно ставший широко известным, свежий лауреат. Он заявил мне без обиняков:

— Стихи ваши мне не понравились. Это мы напечатаем, чтобы не ломать верстку, лишь по этой причине. Вы вообще не поэт, а только заявка. Таких, как вы, в одном Смоленске человек двадцать.

В заключение он процитировал Недогонова и Гудзенко — вот как надо писать! — и углубился в текущие дела.

Был ли я разочарован? Конечно, но не более того. Я не был ни убит, ни даже сбит с толку. В конечном итоге резкое неприятие моих стихов тоже пошло, вероятно, на пользу, по-

казало: бывает и так, ты ничем и ни от чего не застрахован. Дело не в том, что он не знал о записке Исаковского; если бы и знал, это бы его не остановило: у него свое мнение.

А всего через два года тот, недавний майор, быстро снявший погоны, делая на секретариате Союза писателей обзор стихов, напечатанных в периодике, привел мои в числе положительных примеров и вскоре, встретив меня, прямо сказал:

— А в оценке вас первоначально я ошибался.

Это был Николай Грибачев.

Теперь говорят о вреде ранней писательской профессионализации. Не знаю, но чем раньше проявляются поэтические способности — тем лучше. А чтобы они выявились, необходимо начать печататься в молодости — пусть не регулярно, но вкусить от этого плода, попробовать. Почувствовать себя в деле, испытать удовлетворение или разочарование. Сделать соответствующие выводы и поправки, иметь на это запас времени. Ведь на практике еще неизвестно, чего стоит даже хорошо снаряженный и обученный солдат, пока он всерьез не обстрелян.

А тогда — я неторопливо спустился по служебной лестнице Центрального Дома Советской Армии и вышел на площадь. На душе оставался неприятный осадок, но мысли были заняты другим. Наступал один из переломных моментов в моей жизни. Я решился бросить геологоразведочный и подать документы (и, главное, стихи на конкурс) в Литературный институт.

А пока что можно было попытать счастья где-нибудь в сугубо цивильной редакции.

В «Комсомолке»

«Комсомолка», как и теперь, располагалась на своем шестом этаже. Внизу, у лифта, стояла небольшая очередь. Мне показалось неудобным тесниться рядом с солидными и, может быть, известными людьми. Я стал подниматься пешком. Вспоминаю об этом не затем, чтобы подчеркнуть свою скромность. Но все-таки это объяснялось моим волнением, уважением к поэзии и печати. Ну, и еще, конечно, я был молод, и совершить это небольшое восхождение не составляло для меня никакого труда. Через несколько лет, так же, своим ходом, поднялся я на десятый этаж дома в Большом Гнездниковском, где размещался «Советский писатель».

А сейчас, ничуть не сбив дыхания, открыл дверь отдела литературы и искусств. Это была большая, с окном во всю стену, наполненная светом комната, — потом уже там все перегородили и переделили. По обе ее стороны, у стен, сидели лицом друг к другу две женщины и что-то писали, справа — темноволосая, полная, очень увлеченная своим занятием, слева — помоложе, поднявшая на меня большие серые глаза. Посредине комнаты стоял круглый стол с канцелярским графином и стаканами, у окна — диван. И еще были две двери, ведущие во внутренние комнаты. Я подождал немного.

— Что-нибудь принесли? Стихи? — спросила темноволосая, не отрываясь от своего дела. — Сядьте и подождите.

Я присел на диван и стал следить за ее манипуляциями. Перед ней лежали две пухлых кипы развернутых писем с подколотыми к ним конвертами. Она взглядывала на страницу, тут же на отдельном листе крупным почерком писала ответ, подкалывала к письму, откладывала в другую стопку и брала следующее. Движения ее были даже неторопливы, но проделывалось это с непостижимой быстротой. На моих глазах кипа писем, требующих ответа, растаяла, зато вторая стала вдвое толще.

Женщина с неожиданной легкостью поднялась с места, взяла письма и выплыла из комнаты. Вторая продолжала что-то спокойно читать, время от времени пуская в ход карандаш и не обращая на меня никакого внимания. В редакции стояла почти деревенская дневная тишина. Вернулась первая с новой порцией писем. Но прежде чем взяться за ответы, она протянула руку:

— Покажите.

У меня было несколько переписанных стихотворений. Она в течение двух или трех секунд останавливала взгляд на каждом. «Вы хоть прочитайте», — хотел вскричать я с обидой, но она опередила меня, отложила последний листок и спросила, кто я и откуда. Я сдержанно объяснил.

— Валя, — сказала она, — вам нужен дождь?

— Нет, — ответила сероглазая.

— Хороший дождь, — настаивала первая.

— Нет, дождей у меня достаточно.

Это походило на разговор двух богинь где-то на небесах. Но речь, разумеется, шла об одном из моих стихотворений.

Тогда темноволосая встала, пересекла комнату и положила

листок на стол ко второй. Та, наоборот, смотрела на стихи, как мне показалось, дольше, чем требовалось для их прочтения.

— Елена Евгеньевна, — наконец произнесла она, как будто меня это не касалось, — такой дождь мне нужен.

— Вот видите, — отвечала та, вновь погружаясь в письма.

Это были Валентина Георгиевна Дмитриева и Елена Евгеньевна Смирнова. Чуть не вся военная и первая послевоенная молодая поэзия прошла через их комнату.

«Комсомолка» напечатала мой «Дождь», который я недавно отыскал и прочел с чувством некоторого удивления.

Как поток между скалами,
Голубыми оскалами
Брызнет чистая молния
В небосвод.

За селом у околицы
Небо ночью расколется,
Глухо ахнет от радости
И замрет.

И прольется высокими
Дождевыми потоками
По лугам и полям,
По лицу и груди.

Под березкою выгнутой,
Ливнем в поле застигнутый,
Рассмеется промокший
Паренек-бригадир.

Здесь, на этой ужасной рифме («груди — бригадир») я и остановлюсь, хотя стихотворение продолжается дальше. Такого рода рифм я давно уже не употребляю. Любой уважающий себя поэт не может не считать их устаревшими, дурным тоном. Твардовский говорил, что нельзя рифмовать: «назад — глаза», ибо русский язык и стих требуют в таком случае, чтобы было: «назад — глазад». Утверждение достаточно выстраданное: в ранней молодости Твардовский сам употреблял подобные рифмы.

Мое стихотворение напечатали 2 июля 1948 года. А накануне, что я обнаружил значительно позднее, «Комсомолка» посвятила целую страницу Литературному институту. Там — по порядку — были напечатаны стихи Г. Поженяна, В. Гончарова, Р. Гамзатова в переводе Н. Гребнева, В. Скворцовой, И. Кобзева, Е. Винокурова, Вл. Солоухина, М. Фофановой, Вл. Соколова, Ю. Гордиенко и подвальная статья П. Антокольского «Они скажут свое слово». И они сказали это *свое* слово, пусть и не все. Жаль трагически умершую в молодости Веру Скворцову. У нее было знаменитое тогда стихотворение «Глобус», которое кончалось, кажется, так:

Я стою, обняв рукой полмира
И прижавшись к Родине щекой.

То, что мои стихи напечатали на другой день после их коллективной литературной страницы, было словно перстом судьбы. Я шел за ними вдогонку, почти примыкал, еще небольшой рывок — и я буду с ними.

В том же месяце «Комсомольская правда» опубликовала еще одно мое стихотворение. А затем, в течение долгих лет, при разных редакторах и сотрудниках, я испытал немало счастливых минут, множество раз печатаясь в «Комсомолке». Среди стихов, появившихся там, есть и наиболее дорогие автору (чтобы не вдаваться в неминуемые объяснения, я предпочитаю их не перечислять), и ставшие потом наиболее известными (здесь можно назвать хотя бы «Я люблю тебя, жизнь»).

«Комсомольская правда» всерьез помогла не одному поколению молодых писателей, мы чувствовали ее неподдельный интерес к нам. Из всех нелитературных газет она была наиболее литературной.

К тому времени, как впервые напечатали в «Комсомолке» мои стихи, я уже успел безвозвратно уйти из геологоразведочного, подал в Литературный и, болтаясь по Москве, ожидал решения своей участи. Вместе с поданными на конкурс перепечатанными стихами («на одной стороне страницы, с промежутками в два интервала») я положил и те номера «Советского воина» — знающие люди посоветовали. Теперь решил добавить и экземпляр «Комсомолки», а заодно узнать, нет ли каких новостей.

Приемная комиссия помещалась не в подсобном здании, как впоследствии, а в самом институте. За пишущими машинками сидели две девушки, они потом много лет еще проработали здесь, их знают чуть не все теперешние писатели, — Алла Князятова и Лида Свиряева. А рядом, болтая с ними, развалился в кресле довольно еще молодой человек с усиками. «Аспирант», — почему-то подумал я.

— Еще ничего не известно, — сказал он мне строго. — Что, газета? Давайте. — Прочитал мой «Дождь» и заключил весьма, правда, одобрительно: — Похоже на казачью песню...

— Как? — изумился я. — Почему?

— По ритму, — отвечал он с важностью.

Как выяснилось потом, это был заведующий институтской канцелярией.

«А вы им дорожите ль?..»
(О Павле Антокольском)

Работавших в «Комсомолке» В. Г. Дмитриеву и Е. Е. Смирнову отличали внимательность и жесткость, интерес и категоричность, даже безапелляционность в оценках и суждениях. Вероятно, такое было время. Во всяком случае, общение с ними при самом добром их отношении не всегда бывало легким. Думаю, однако, что это сослужило мне хорошую службу — и тогда, и впоследствии. У меня осталось к ним обеим чувство искренней благодарности.

Они считали своим долгом быть в курсе дел и жизни авторов — интересовались, расспрашивали, помнили.

Однажды, когда я сидел на громадном редакционном диване в их комнате, они заговорили обо мне так, словно меня здесь не было, — у них была такая манера.

— Нужно показать его Павлу Григорьевичу! (Пал Григоричу!..)

Я не знал, кто такой Павел Григорьевич и зачем меня нужно ему показывать. Правда, виду я не подал, но уяснил, что, пожалуй, я уже заслужил, чтобы меня показать Павлу Григорьевичу.

Наконец я не выдержал и спросил, кто же это.

— Как! — вскричала Валентина Георгиевна с преувеличенным негодованием. — Он не знает! Ан-то-коль-ский!

Так бы и сказали. Как раз Антокольского я знал.

Незадолго перед этим, к тридцатилетию Советской власти, вышла обширная серия книг — по большей части, а может быть и исключительно, лауреаты. По мысли издателей — на века. Но кое-что, видимо, осталось. В этой золотой, как ее полуофициально называли, серии (потом еще немало было золотых серий) преобладала проза, но была представлена и современная поэзия, и среди прочих — Павел Антокольский. У меня была эта книга, я читал ее всю подряд, и многое задевало — и из раннего, особенно о любви, и, конечно, поэма «Сын». Как у каждого молодого человека, недавно вернувшегося с войны, у меня было особенное, острое отношение к родителям погибших. И вот поэт, старый поэт по моим тогдашним представлениям, пишет об убитом на войне сыне. Сама ситуация была в высшей степени трагической, не могла не поразить.

Прощай. Поезда не приходят оттуда.
Прощай. Самолеты туда не летают.
Прощай. Никакого не сбудется чуда.
А сны только снятся нам. Снятся и тают.

Мне снится, что ты еще малый ребенок,
И счастлив, и ножками топчешь босыми
Ту землю, где столько лежит погребенных.
На этом кончается повесть о сыне.

Сколько в этом боли — уже до конца!
И незадолго перед этим:

На веки веков восемнадцатилетний.

Я не так давно услыхал в Политехническом, а потом и прочел стихи Михаила Луконина «Коле Отраде» времен еще финской войны. И там были строчки:

Он
  останется
        слишком двадцатилетним,
Слишком юным,
              для того чтобы дальше стареть.

Прочитав Антокольского, я понял, как в поэзии и в судьбе все может быть связано, сплетено, сопряжено.

Мне было велено звонить в редакцию и здесь узнавать, когда же маститый поэт меня примет. Однако ждать пришлось недолго. Уже на другой день мне сказали:

— Завтра в четыре часа.

Антокольский сам открыл мне дверь и провел в кабинет. Свидетелем нашего разговора был только черный пудель, который вел себя весьма вольно: обнюхивал меня, терся, клал голову мне на колени, чем отвлекал и смущал. Хозяин изредка его одергивал.

Антокольский показался мне старым (он был старше моего отца), кабинет огромным и таинственным, где невозможно все охватить и рассмотреть.

Я принес ту же тетрадочку, которую за полгода до этого читал Исаковский. В нее было переписано от руки, подряд, сплошняком, стихотворений двадцать (сейчас так издают стихи — «в подбор»).

Он, так же как Исаковский, сразу в нее углубился. Только Исаковский читал молча, спокойно, лишь изредка чуть слышно себе подмурлыкивая, а Антокольский беспрерывно откашливался, хрипел, крутил головой, дергал плечом, разжигал затухавшую трубку.

Я сидел ни жив ни мертв.

Поразительно, но они оба, фактически одновременно, поддержали меня, по сути, за то же самое. Антокольский, правда, выделил другое, но это уже детали:

Где-то были музыка и свет,
Где-то были книги и цветы.
Мертвый отблеск вспыхнувших ракет
Крыши вырывал из темноты.

Они двое, столь далекие друг от друга в искусстве, больше, чем кто бы то ни было, не жалея сил и времени, занимались молодыми. Только Исаковский, как правило, совсем начинающими, а Антокольский — и уже признанными.

В том моем стихотворении о крышах была строчка: «В старом здании на Моховой».

— Университет? — спросил Павел Григорьевич.

— Нет. Геологоразведочный, он там же, рядом.

Антокольский стал меня расспрашивать и, как буквально все, посоветовал попробовать совместить геологию с поэзией (к сожалению или не к сожалению, но это у меня не получалось).

— А Литературный что же... Конечно, среда. Ну, прочтете дополнительно сотню книг...

Тогда меня удивило, что он знает, сколько я должен прочитать. В дальнейшем я понял, что он имел в виду книги, которые человек должен прочесть обязательно.

В следующий раз я увидел его уже в Литературном институте. Он меня тут же узнал, назвал по имени, но еще на «вы», подал руку. Впрочем, довольно скоро он стал звать меня на «ты». Он был на «ты» почти со всеми молодыми, в отличие, скажем, от Твардовского с его некоторой чопорностью.

Антокольский же нескольким своим любимцам даже разрешал называть себя Павликом. Конечно, это шло от игры, от Турандот, от сугубо вахтанговского.

Тогда, в сентябре сорок восьмого, в Литинституте был традиционный вечер встречи и знакомства, стихотворный турнир, который вел Антокольский, потом веселье, танцы, тут же буфет, и вдруг я увидел мэтра, отплясывающего по-пиратски со столовым ножом в зубах, ничуть не заботящегося о профессорской репутации.

Я занимался в другом семинаре, но бывал и у него, — это не возбранялось. Он мог, войдя в аудиторию, громко обратиться к своим питомцам:

— Здорово, урки!

Потом ему этих урок припомнили.

А ведь это всего-навсего реплика Кости-Капитана из «Аристократов» Погодина. Он же был насквозь человеком театра.

Он был шумен, ярок, экспансивен, общителен.

Его отличала поразительная доброжелательность.

...первую
задорную строфу
матрос в Литинституте
на Тверском
читает Антокольскому
баском, —

написали когда-то в своей коллективной поэме (а может быть, длинном стихотворении) Гудзенко, Луконин и Межиров.

Антокольский потерял на войне единственного сына. Именно этим трагическим обстоятельством склонны некоторые объяснять его тягу к молодежи. Но ведь он всей душой поддерживал и предвоенное поколение — Симонова и Алигер, ведь он перенес свою любовь и на тех, кто пришел вслед за нами, — Евтушенко, Ахмадулину. Военное поколение поэтов было ему особенно мучительно близким. Помочь каждому из нас всем, чем он только мог, стало для него истинной потребностью.

И здесь он тоже перенес множество жестоких ударов. Он пережил своих учеников — Алексея Недогонова, Семена Гудзенко, Веронику Тушнову, Михаила Луконина, Сергея Орлова. Думаю, не будет преувеличением назвать их его любимыми учениками. Как он гордился ими, восхищался!

Павел Антокольский — это явление нашей культуры, человек и художник, связующий времена. Кого он только не знал, с кем не общался!

Помню, мы ехали в Ленинград, в купе были Луконин, Р. Рождественский с Аллой и я, потом из другого вагона пришел Павел Григорьевич, которому было там скучно, и начался обычный в таких случаях длинный, разбросанный разговор, — вернее, беседа. «Стрела» отправляется перед полночью, пока устроишься, освоишься, поговоришь или послушаешь — смотришь, скоро утро.

Антокольский рассказывал, — и мне запомнилось, — как он, выйдя с поэтического вечера, пошел один и вдруг увидел, что впереди него идет только что выступавший Александр Блок, тоже в одиночестве. На нем было пальто с поднятым воротником, в руке горящая папироса. И тут он бросил эту папиросу, и она, светясь, пролетела по дуге и упала в черную петроградскую воду. И все! Но Антокольскому (и мне тоже!) это врезалось в сознание.

Бесчисленно общался я с ним — на Бюро секции поэзии, на заседаниях редколлегий «Дня поэзии», просто в жизни.

Он много переводил — лучших поэтов Грузии, Азербайджана, Франции. Или вот держу в руках когда-то подаренную мне прозаическую — со стихотворными вкраплениями — книжку «Сила Вьетнама». Путевой журнал. И сейчас, через много лет

после выхода, это увлекательное чтение. Может быть, в большей степени, чем прежде.

Мы привыкли, что есть Антокольский — с его прихрамывающей походкой, с его палкой, с его голой головой и хриплым голосом. С его добротой и неостывающей заинтересованностью поэзией, театром, всеми, с кем он общался, всем, что он читал.

Еще при его жизни я начал стихи — не то чтобы о нем, но как бы с него. Но не успел тогда закончить.

Не горец, не из сакли,
Где облако в дверях.
Но годы не иссякли
И кое-чем дарят.

То годы так гудели,
Что звон в крови возник.
И как он, в самом деле,
Протиснулся сквозь них?

Сквозь горе и отраду.
Да так вот — не робей!
Он скачет по Арбату,
Московский воробей.

Московский долгожитель —
Сквозь дождь и снежный дым.
А вы им дорожите ль?
Так дорожите им.

Он был Антокольским до конца — живым, добрым, энергично общительным.

Вдруг он слег и стал угасать. И здесь он тоже был стремителен. Он позвонил одному другу и сказал:

— Если хочешь попрощаться, приезжай немедленно, а то опоздаешь. Я ухожу...

Тот еле успел.

Его хоронили в хмурый октябрьский день. Сеялся дождик. Я был нездоров, но, разумеется, поехал. Приехал в ЦДЛ заранее. Гроб только что выставили в Малом зале. Народ почти еще не собрался. Я подошел, постоял и, поднявшись наверх,

в комнату объединения поэтов, стал смотреть в окно на мокрые крыши.

Вошел Симонов, поздоровался и сказал, что гражданскую панихиду здесь будет вести он, а меня просит провести траурный митинг на кладбище. Я объяснил, что нездоров и на кладбище, наверное, не поеду. И как бы в подтверждение своих слов невольно вынул из кармана начатую упаковку этазола. Симонов усмехнулся, кивнул и сказал грустно, что он понимает, потому что сам болен, и попросил меня выступить в таком случае здесь, от Московской писательской организации.

Ни я, ни, вероятно, он не знали, что ему остается жить менее года.

Мы спустились вниз. Зал уже был полон, люди теснились в дверях. Люди, пришедшие проститься с удивительным человеком, поэтом, художником, учителем — Павлом Григорьевичем Антокольским.

Это было очень трогательное, искреннее прощание. Чем больше проходит времени, тем более нежно, благодарно и восхищенно я к нему отношусь. Такая личность даже в нашей щедрой литературе — большая редкость.

Два Ивана

Они не были похожи друг на друга, но у них было много общего. Они были тезками, они были одногодками. Всю войну и еще совсем недавно, перед институтом, они оба были балтийскими моряками.

Теперь их нет. Они ушли давно, огорчительно рано, нелепо, почти ничего не успев. Чем дальше, тем внимательнее и чаще я думаю о них.

Иван Завалий. Мы познакомились в день, когда стало известно, что мы приняты. Он сидел в конце узкого коридора, на подоконнике. До этого я видел его мельком раза два. Одет он был по-флотски: клеша, форменка с треугольничком тельняшки на груди, бушлат, ремень с бляхой. Только держал он в руках не бескозырку с лентами, а цивильную, хотя и черную, кепочку. Он поинтересовался: кто я и откуда — и был заметно разочарован, что я не прозаик.

Мы вышли вместе и бесцельно пошли по Тверскому вниз, к Никитским. Сеялся чуть различимый дождик, — мой новый знакомый поднял воротник бушлата. Я обратил внимание, что у него очень широкий шаг.

Обгоняя нас, звенели по Бульварному кольцу трамваи — к уютной Арбатской площади или направо, по улице Герцена, к Пресне. Ни у него, ни у меня не было денег, чтобы отметить наш триумф (сквозь конкурс мы продрались нешуточный: более тридцати претендентов на место).

В кинотеатре «Повторного фильма» показывали «Мы из Кронштадта», и Иван пригласил меня с таким видом, будто приглашал к себе домой. Это было то немногое в Москве, что он знал досконально. Он смотрел эту картину двадцать два раза, я всего тринадцать. В фойе, кивая на пол, он сказал пренебрежительно:

— Палуба грязная!..

Итак, мы поступили. В синем студенческом билете стоял гриф: «Литературный институт имени Горького при Союзе писателей СССР». Это обстоятельство наполняло нас гордостью: «писателей»! Я нарочито небрежно показал новый билет своим бывшим однокурсникам по геологоразведочному.

Литературный институт, как и сейчас, помещался на Тверском бульваре, в знаменитом Доме Герцена. В двадцатые годы здесь был писательский клуб с рестораном, столь блистательно описанным Михаилом Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Памятника в садике при нас еще не было, и за многослойным новейшим шумом многие почти забыли, что сто тридцать шесть лет назад (считая от нашего поступления) в грозный для России год здесь родился Александр Иванович Герцен.

В небольшом относительно доме ухитрялись уживаться вместе с институтом и другие организации — тоже большей частью литературные. А общежитие первого курса располагалось в полукруглом крыле этой городской усадьбы, где прежде находились, вероятно, какие-либо службы или жила яковлевская дворня.

Наши койки стояли рядом. Иван спал в совершенно поразительных позах, нереально, как на шарнирах, заламывая руки и ноги, — выросший гуттаперчевый мальчик. Может быть, он приноровился так спать в подвесной матросской койке, в крохотном кубрике катера, на котором служил. Но, скорее всего, это было природное. Другой наш балтийский морячок, другой Иван — Ганабин, о котором речь впереди, иногда не выдерживал, зазывал ребят из соседних комнат и с комической важностью демонстрировал им уникальные качества спящего товарища. По утрам Завалий так заправлял койку, что приходили посмотреть из женского общежития.

Иван Завалий был веселый, немного безалаберный, компанейский парень. Думаю, что мы стали друзьями и завели общий котел не только потому, что и в комнате были соседями. Это, разумеется, осталось от службы — потребность иметь напарника, вести «хозяйство» не в одиночку, — ведь время было еще трудное, особенно для нас, с нашими стипендиями. Тем не менее объединились в комнате только мы. В общежитии была кухня, и, когда случались деньги, мы покупали на соседнем Палашевском рынке полмешка картошки, варили помаленьку, а к ней уж что Бог пошлет — то Ивану посылочка из дому, то мне мелкий гонораришко.

Иногда мы обедали в служебной столовой Камерного театра. То есть не то чтобы обедали, а брали какую-нибудь кашу, винегрет. Мы входили с Бронной, а из глубин театра появлялись, если давали дневной спектакль, мушкетеры, бродяги, сказочные персонажи. Они, не обращая на нас внимания, буднично пили чай в антрактах, болтали о футболе.

Мы были соседи, нас пускали не только в столовую, но и в самый театр. Камерный медленно угасал, публика почти не ходила. Помню случаи, когда прибегал администратор, звал заполнить первые ряды партера. Мы бесплатно просмотрели весь репертуар. Там я видел позднюю Алису Коонен в «Мадам Бовари».

В институте ощущалась атмосфера искусства. Напечататься было не главным, главным было — написать, получить одобрение товарищей, услышать сдержанную похвалу руководителя семинара. Исповедовалось отсутствие какой-либо форсированности, спешки. Поддерживалось естественное развитие способностей. Не зря многие, особенно прозаики, проявились уже несколько лет спустя после окончания.

Иван Завалий был в семинаре у К. Г. Паустовского, потом у В. П. Катаева. Они хвалили его, но он, как говорится у нас, еще «не выписался», то есть не развил еще свои способности, не разработал руку. Не успел.

Однажды он был задержан милицией в момент, когда описывал в тетрадке улицу Горького, от Маяковской до Пушкинской, правую сторону, если двигаться к центру. Звонили из отделения, справлялись, есть ли такой и действительно ли получил такое задание. Не помню точно, у кого в семинаре был Иван тогда, но, вероятно, задачу поставил Катаев: ему свойственна фактическая точность.

Над этим случаем много смеялись. Вообще бравому балтийцу была присуща некоторая идеализация действительности. Вспомнить хотя бы его наивное шефство над двумя прилукскими девушками — его землячками. Это культурное мероприятие заключалось в регулярной посылке им книг Белинского, Писарева, Добролюбова, сопровождаемых собственными рекомендациями.

Когда я лично познакомился с адресатками, мне показалось, что они ждали от него совсем другого.

Да, после первого курса он пригласил меня к себе в Прилуки, на Черниговщину.

Поезд приходил ночью. Мы, помятые — ехали в общем вагоне, постели не брали, — выбрались на пустынную платформу. Нас встречал отец Ивана с машиной. Мы долго кружили по неправдоподобно тихим улочкам, наконец остановились, вышли. Над нами стояло густозвездное небо, и заполнял все вокруг запах маттиолы, ночной фиалки. И до сих пор этот удивительный запах смутно напоминает мне таинственную теплую ночь, Прилуки, Ивана.

Полтора месяца прожил я в их гостеприимном доме. Собственно, в самом доме гораздо меньше. Отец Ивана — Григорий Михайлович — заведовал районным отделом сельского хозяйства, вместе с ним колесили мы по району, ночевали в самых глубинных селах. Где только мы не бывали, что только не делали! И гуляли с девушками, пока еще не постигшими глубины критической мысли, что, однако, ничуть не вредило им; и участвовали в открытии деревенского клуба в помещении бывшей церкви (был фильм «Музыкальная история», и все повалили, лишь самые богомольные старушки остались снаружи, у ограды, но домой тоже не уходили); и пересчитывали по указанию Григория Михайловича свиней, ночью, в отдаленном колхозе, где председатель подозревался в разбазаривании поголовья, и всякий раз в полутьме свинарника, при свете керосиновой лампы, у нас получалось другое число, а председатель, недавний военный, шел за нами и повторял дрожащими губами театральную фразу: «Я понимаю, кто-то должен быть жертвой!» — но все обошлось.

Как-то мы вывозили сено с луга, окруженного глубокой канавой, наметали высоченный пышный стог над кузовом старой трехтонки и сами бездумно забрались наверх. Машина, жутко раскачиваясь и кренясь, полезла через канаву, веревки и слега врезались в сено глубоко, держаться было не за что, и Иван, отчаянно цепляясь и выдергивая с боков целые пуки душистого сена, сполз на землю, а я удержался.

А катаевская наука засела в нем прочно. И везде — на полевом стане, в правлении, просто при дороге, где мы останавливались и сразу же возникал пересыпанный всевозможными отступлениями деловой разговор, — Иван вытаскивал из-за пояса клеенчатую общую тетрадь, развинчивал авторучку и, пристроившись обычно на корточках, не таясь и не обращая внимания на реакцию окружающих, начинал записывать все это своим характерным крупным почерком. Увлекшись беседой, его дей-

ствия обычно обнаруживали не сразу, но, заметив, начинали посматривать с удивлением и ужасом. Однако это был сын уважаемого всеми Григория Михайловича, что внушало доверие, и люди привыкали.

— Вот где богатство! — не раз говорил мне Иван, хлопая ладонью по тетради и обращая ко мне круглое лицо с трогательной ямочкой на подбородке. — Роман напишу!

Таких тетрадей только при мне он заполнил несколько. Интересно было бы почитать сейчас эти сделанные «на месте» записи.

А сам я там ничего не написал.

Не написал я ни строки,
Но принял несколько решений.

Но и решений никаких я не принял. Просто слушал и смотрел на этих людей, на эти поля и дубравы.

Вернувшись в Москву, я вскоре написал стихотворение «Бывший ротный». Толчок дала мне, конечно, поездка к Ивану. Эти стихи, пожалуй, были первыми моими стихами, всерьез замеченными критикой и поэтами. Вслед за ними написались многие стихи, составившие мою первую книгу.

После этой поездки я начал писать не так, как прежде.

Окончив институт, Иван Завалий работал в журнале «Молодой коммунист» и писал свое.

В 1955 году он трагически погиб под колесами поезда. Похоронили его на Ваганьковском кладбище.

Три года спустя вышла книжка его рассказов «Утро» — главным образом, ранние опыты. Будь он жив, вряд ли включил бы многое из этого в свою первую книгу. Но из него мог получиться настоящий прозаик, это очевидно. В книге напечатаны главы из неоконченной вещи «Председатель колхоза». Их надо бы еще «прописать», как говорят живописцы. Но и так они явственно и зримо напоминают мне счастливое лето, Черниговщину, ту нашу поездку.

А своего героя, заведующего райсельхозотделом Зарудного, он решился списать с отца и даже назвал его Григорием Михайловичем.

Двадцать шестого апреля 1947 года «Литературная газета» опубликовала три стихотворения молодого поэта Ивана Ганаби-

на («Песня о кронштадтцах», «Не грусти, моряк, не надо», «Всю ночь лил дождь» — все помечены 1946 годом).

Я набрел на эту подборочку много лет спустя, когда автора давно уже не было на свете. А стихи я знал хорошо, да и как мне их было не знать и не помнить!

Но о кратком вступлении, предпосланном стихам, я не слыхал прежде. А между тем там было напечатано следующее:

«Сегодня «Литературная газета» предоставляет место стихотворениям молодого краснофлотского поэта Ивана Ганабина, выступающего в печати впервые, если не считать дивизионной многотиражки. Сержант Иван Ганабин родился в 1922 году, с 1941 года служит во флоте. Писать начал с 1943 года. В его стихах, очень простых и непритязательных по форме, слышатся неподдельная бодрость и здоровье, песенная энергия молодости и силы. Это позволяет ожидать от начинающего поэта успешной работы и в дальнейшем.

А. Твардовский».

Думаю, многие бы не отказались от такого, хотя и сдержанного, напутствия.

Всякое повидал конференц-зал Литературного института. Бурные, не на шутку жесткие собрания, остроумнейшие, высшего класса капустники, захватывающие поэтические турниры — вечера встречи и знакомства. Последние устраивались ежегодно, в середине сентября, — не уверен, сохранилась ли эта традиция.

От каждого курса выступало всего по нескольку человек, только поэты, лучшие, гордость курса, показывали товар лицом — каковы они после каникул.

В первый раз самое сильное впечатление осталось у меня от В. Солоухина (понравились его «берез зеленые фонтаны») и Г. Поженяна, читавшего о море. Впечатление не только от стихов, но и от манеры читать и держаться. Запомнился Е. Винокуров, а в его стихах — прозаически длинная строчка «студент Московского государственного университета» или что-то вроде этого, встреченная вполне добродушными улыбками.

А вначале шли мы. Старшие слушали особенно внимательно, придирчиво: каков он, новый набор? Достоин ли корифеев?

Да и друг друга мы слышали впервые, ведь еще не были знакомы, едва поступили.

Здесь я и встретился со стихами Вани Ганабина. Запало в память стихотворение о вдове, и особенно строки:

Иные говорят уже:
— Ведь только раз
Живем на свете!.. —
Но он один в ее душе,
И на него похожи дети.

И еще стихи о ярком солнечном утре после дождливой штормовой ночи:

Не хлещет дождик проливной,
Горит на солнце радуга.
И синий парус над землей
Натянут туго-натуго!

От него веяло достоверностью, читал Ваня превосходно, и еще был красив сказочной русской красотой — русоголовый, синеглазый.

Зал ломился от народа, за столом президиума сидели преподаватели, руководители семинаров. Вел вечер П. Г. Антокольский. Он всмотрелся в публику и хрипло прокричал: «Александр Александрович! А вы почему там? Прошу на сцену!»

Поднялся и стал пробираться вперед высокий моложавый человек в спортивной курточке. Это был новый руководитель семинара А. Коваленков. Он пришел в институт в один год с нами, и мы попали к нему. Правда, тогда не соблюдалось строгое соответствие семинара определенному курсу, и вскоре наш семинар уже посещали многие старшекурсники. Думаю, это правильный принцип: деловое общение новобранцев с более опытными коллегами.

На каждом семинаре были свои законы, порядки, нравы, тайны, способы, но была у всех одна цель. Некоторые переходили из одного в другой, видя причины собственных неудач, неудовлетворенности и непризнанности в качествах своего руководителя. Переходы не запрещались. Вероятно, это тоже было полезно: услышать мнение непохожих друг на друга мастеров.

Коваленков дал нам немало. Он бесспорно обладал даром воспитателя. В отличие от многих других руководителей, берущих семинар, каков он есть, и ведущих занятия как бы с середины, Коваленков начинал с азов, с основ, ставил и развивал вкус. Он любил говорить: «Поэзия должна иметь двужильную логику». Правда, Гудзенко над этими словами смеялся.

Коваленков был образован, его знаний хватило года на два, только тогда он начал повторяться. Он был как молодой тренер, имеющий задачу довести своих подопечных до определенного уровня, развив в каждом его лучшие стороны.

Мы с Иваном Ганабиным до конца занимались у него.

Несмотря на нашу вольную в общежитии жизнь, шумные вечера и капустники, каким-то образом на всех и на всем начинала проступать печать серьезности. Иван Ганабин одним из первых в институте выпустил маленькую книжечку стихов. Она вышла в Иванове (Ганабин был родом из районного городка Южа Ивановской области) и так и называлась — «Первый выход». Горько, что слишком мало было последующих выходов.

С этой книжечкой его приняли в Союз писателей, тоже одним из первых в институте, правда, в кандидаты, но по сути это почти не отличалось от членства, многие оставались кандидатами всю жизнь. Через несколько месяцев приняли в члены Союза и меня. Это было более чем за полтора года до окончания Литинститута. Но ни мне, ни Ивану даже не пришло в голову бросить учебу, посчитать ее потерей времени, хотя сам диплом нам, собственно, уже ничего не давал.

Защита диплома в те годы была обставлена солидно. Наши работы посылались на отзывы крупнейшим писателям. Моим официальным оппонентом был А. Т. Твардовский. Я прочел перед государственной экзаменационной комиссией пять стихотворений, написанных на каждом из пяти курсов. Были заслушаны отзывы. Оппонент произнес речь, глубокую, тонкую, заинтересованную. Я вообще ни разу не слышал, чтобы Твардовский выступил неудачно, банально, средне или даже неплохо. Каждое его выступление, как правило, становилось событием. Эта его речь сохранилась, но, к сожалению, стенограмма велась недостаточно профессионально и осталась неправленой — не осмелились обратиться или попросту не удосужились, — и многое оказалось смазано и искажено.

Но вернусь назад. Ваня Ганабин был парень с хитрецой, что называется, себе на уме, и одновременно простодушный, мечтательный. В нем уживались степенность, целеустремленность с потребностью подурачиться, побалагурить. Он вдруг начинал сыпать прибаутками, частушками:

В том конце, на том порядке,
Что-то, братцы, не в порядке.

И еще была у него частая присказка, на которую не обращали тогда внимания, но которая помнится теперь: «Ох, ребята, жить охота!»

Он был музыкален, сам играл на баяне, очень любил полонез Огинского. Многие его стихи были положены на музыку, некоторые даже по нескольку раз («Песня о кронштадтцах»), но песни почему-то не привились, не пошли. Уверен все же, что он нашел бы себя именно здесь и его ждали бы немалые удачи.

Время от времени он ходил к Исаковскому. Михаил Васильевич в своей книге «О поэтическом мастерстве» одобрительно упоминает его, между прочим, рядом со мной, в одной фразе, хотя мы посещали мэтра раздельно, в разные годы, — мир тесен!

Ваня Ганабин был человек хозяйственный, аккуратный. Он по многу раз переписывал свои стихи в тетради ровным красивым почерком, разделяя строфы фигурными птичками. Над некоторыми стихотворениями стояли посвящения, всегда одни и те же — М. Исаковскому или А. Твардовскому.

Так и вижу его в нашей комнате на шесть коек, у единственного стола, над школьной тонкой тетрадкой, с папироской-гвоздиком в зубах. Он курил только такие, самые дешевые папиросы, по-моему «Бокс», у него их всегда была полна тумбочка. Не они ли его и погубили?

Он пришел с хорошими стихами, но потом что-то застопорилось, наступил спад. Ах, если бы все было просто и плавно: начал и пошел — лучше и лучше, только успевай заряжать ручку или машинку. Но, к несчастью, а по правде сказать, к счастью, все не так, все невыносимо трудно, мучительно, каждый раз заново.

Литературный институт был одно время поражен бациллой «выступательства», эпидемия захватила почти всех. Формировались многочисленные бригады, выезжали в другие институты, в клубы. Ваня здорово читал и имел немалый успех. Он написал такую вещь — весьма длинную не то поэму, не то балладу, и читал ее повсеместно — «Сказ о матросском отпуске». Она была написана облегченно, без сопротивления, рифмовались только вторая строка и четвертая, он стал позволять себе такое довольно часто, как бы не утруждался. «Сказ» в его мастерском исполнении принимался восторженно. Все это были первые симптомы «эстрадной поэзии».

Наступало время бурных споров, дискуссий и столкновений. Ганабин частенько выставлял свою вещь как аргумент против книжности и эстетства.

Затем с ним что-то произошло. Он как-то сник, потускнел, долго ходил задумчивый, скучный и неожиданно словно очнулся, повеселел, засветился, как прежде. И писать начал по-иному. Его нельзя было узнать.

Мне нравилось его новое стихотворение о том, как герой (или автор) встретил в поле незнакомую девушку, им было по пути, на станцию.

...Мы шли по берегу крутому,
Шуршала желтая трава...
Шли, говоря один другому
Совсем обычные слова:
— Да-а...
Урожай — хорош...
— А скоро
Придет зима белым-бела...
— Вы в город едете?
— Да, в город...
— Я тоже в городе жила...

Меня особенно трогала, да и сейчас трогает, вот эта последняя здесь, грустная, такая человеческая строчка: «Я тоже в городе жила...»

Хорошо сказано, уже в другом месте, о подъезжающей к столице электричке: «Въезжает пригород в Москву».

В последний год, хотя я давно уже не жил в общежитии, мы всего больше сблизились, много разговаривали, сходясь во мнениях и понимая друг друга. После выпускного вечера он уехал в Южу, потом еще появился как-то осенью, ночевал у меня, делился сомнениями и планами своего устройства, читал стихи.

Зимой я услышал от кого-то и не поверил: «Иван Ганабин умер!»

Но оказалось, правда. Он умер скоропостижно, сраженный болезнью, от которой еще не вылечивают. Что называется, сгорел.

За день до конца, понимая, что умирает, он попросил сыграть ему полонез Огинского. Его друг в жестокий мороз и вьюгу

ездил на попутном грузовике в Иваново, достал пластинку, но звучала она уже над его гробом.

В 1956 году вышла в «Советском писателе» его книга «Стихотворения», я был ее редактором. Горько, что нельзя получить авторский экземпляр с дарственной надписью.

Говорят, что ушедшие всегда лучше живых. Не знаю, так ли это, но мне не хватает его. Он словно был настроен на одну со мною волну, умел схватить, оценить то, что порой не умели или не хотели другие...

Alma mater

В 1973 году Литературный институт имени Горького отмечал свое сорокалетие. В большом зале Дома литераторов был вечер, посвященный этому событию. Среди прочих выступал там и я. В мои студенческие годы в Литинституте, на всех его пяти курсах, одновременно училось чуть более ста человек. Я задался целью восстановить по памяти пятьдесят из них, что мне удалось без всякого труда. Затем я только расположил их по алфавиту и зачитал этот список:

Маргарита Агашина, Эдуард Асадов, Григорий Бакланов, Борис Балтер, Владлен Бахнов, Борис Бедный, Хута Берулава, Юрий Бондарев, Макс Бременер, Константин Ваншенкин (и себя не забыл), Евгений Винокуров, Николай Воронов, Расул Гамзатов, Михаил Годенко, Виктор Гончаров, Инна Гофф, Наум Гребнев, Георгий Джагаров, Блага Димитрова, Юлия Друнина, Георгий Ефимов, Цыден-Жап Жимбиев, Анатолий Злобин, Наталья Ильина, Ирина Ирошникова, Алексей Кафанов, Михаил Кильчичаков, Игорь Кобзев, Ольга Кожухова, Яков Козловский, Алексей Ласуриа, Димитр Методиев, Сергей Никитин, Лидия Обухова, Владимир Огнев, Григорий Поженян, Виктор Розов, Михаил Скороходов, Владимир Соколов, Владимир Солоухин, Николай Старшинов, Лиляна Стефанова, Владимир Тендряков, Юрий Трифонов, Андрей Турков, Лев Устинов, Василий Федоров, Марианна Фофанова, Наби Хазри, Раиса Хубецова, Отар Челидзе, Семен Шуртаков.

Одновременно со мной учились и поступившие позднее Сергей Орлов, Фазиль Искандер, Егор Исаев, Евгений Евтушенко, Тамара Жирмунская, Роберт Рождественский, Федор Сухов.

Должен заметить, что список этот произвел сильное впечат-

ление на присутствующих. Я же сказал там, что он может удовлетворить самые различные вкусы, что это мог быть список делегатов на писательский съезд или даже членов Правления, на худой конец Ревизионной комиссии. А это были всего-навсего безвестные студенты, сведенные временем и судьбой в Доме Герцена на Тверском бульваре.

Любопытна записка, присланная мне на том вечере из зала. В ней говорилось, что, наверное, я обмолвился и названные писатели учились вместе не в 1948, а в 1938 году. Автору записки казалось, что мы «были» гораздо раньше. Думается, это свидетельствует в пользу перечисленных писателей.

Эти имена были тогда никому не ведомы — кроме разве двух-трех. Пожалуй, прежде других начал скромно издаваться Расул Гамзатов. А из институтских прозаиков рано, как это случается лишь с поэтами, проявился Юрий Трифонов.

В двухэтажном Доме Герцена, кроме самого института и нескольких комнат общежития, теснился, вперемежку с кабинетами кафедр, Литературный фонд, внизу, сбоку, находились писательское пошивочное ателье и кладовая с бумагой, а с главного входа, в подвале, Бюро пропаганды художественной литературы во главе с лихим кавалеристом Романом Васильевичем Петровым. То и дело подходили и подъезжали писатели: одни на примерку, другие взять путевку для выступления, иногда это сочеталось.

Почему-то запомнилось — я сижу на лекции, у окна, идет шумный крупный дождь, а из подъехавшей машины выскакивают Луконин и Ажаев и перебегают под навес. В руках Луконина огромный букет роз.

По Тверскому вниз, к Никитским, гремят двух- и трехвагонные трамваи. Пушкин стоит на старом месте, за его спиной весь бульвар. Кому понадобилось его передвигать? Если даже первоначально и предполагалось поставить памятник на площади, то ведь тогда не было «Известий» и кинотеатра «Россия». Мне почему-то верится, что его когда-нибудь вернут на прежнее место.

Летом 1949 года на бульваре возле памятника был митинг, посвященный 150-летию со дня рождения поэта. На деревянной трибуне угадывались потомки. Выступал Фадеев, его молодой голос звонко несся над толпой. А внизу раскинулся книжный базар. Там продавались разные издания Пушкина, и среди них уникальное Полное собрание сочинений в одном томе. Причем

в томе небольшом, выпущенном на специальной тонкой бумаге. Я все-таки догадался купить тогда эту книгу, хотя и отдал последние деньги.

На улице Горького и на Пушкинской площади в то время не было деревьев, их сажали при нас, а вернее, мы сами. Группа, в которой работал я, посадила несколько сорокалетних литовских лип прямо против главного входа в «Известия». Площадь была большая, круглая и ровная, без фонтанов.

А ниже по улице Горького находился магазин с огромной вывеской «Диететические продукты». Мы спрашивали у своих преподавателей по языкознанию: что это за слово такое? Разве не правильнее было бы написать: «диетические»? Эта вывеска висела долгие годы, никто не делал попыток ее заменить и исправить, ибо не был известен автор этого лишнего слога.

Институт. Творческие семинары. Это было главным.

Отступало все — симпатии, дружба. Оставалась Литература.

Больной, контуженый подполковник присвоил чьи-то стихи, был разоблачен и изгнан безжалостно.

Были два или три студента-красавца, сердцееда — где-то на стороне. У нас девушки на них и не смотрели. Были отличники, круглые пятерочники, в университете или педагогическом они бы блистали, но только не у нас. Все они, в большинстве, были слабы в деле.

За долгие годы пребывания в Союзе писателей я присутствовал на самых разных обсуждениях. Но, поверьте, не слышал таких прямых, честных, порой жестоких, но почти никогда не желающих зла слов и суждений, как в институте. Не знаю случая, чтобы кому-нибудь это повредило. После семинарской читки и обсуждения иные с трудом добирались до общежития, здесь же, во флигеле, валились на койку лицом к стене, приходили в себя, осмысливали, отлеживались. Вот как это воспринималось. А над ними стояла тишина или, наоборот, продолжали кипеть страсти.

Одни переходили из семинара в семинар, искали руководителя по себе. Но почти все ходили на другие семинары из интереса или любопытства, желая узнать, как другие живут, что пишут, стараясь почерпнуть для себя полезное. Молодой Коваленков проповедовал раскованность, но железной рукой прививал вкус. Антокольский давал задания — написать сонет на тему: «Хлестаков» или «Октябрьская железная дорога». Виноку-

ров выполнил оба задания. Не знаю, сохранились ли у него эти домашние работы. Я же, как это ни странно, в своей жизни не написал ни одного сонета.

Писали мы мало. Меня всегда смущало в молодости, когда я слышал о каком-либо поэте: «У него многообразные планы». У меня никаких планов не было, и появились они, лишь когда я начал писать прозу.

К известным писателям регулярно обращаются редакции газет и журналов с различного рода просьбами и предложениями. Замечательно, когда с самого начала воспитывается умение отказать. В противном случае — беда. Иной раз притворяешься, что очень занят, что много невыполненных обязательств, а, по правде, ничего не делаешь, чувствуя почти инстинктивно, что нужно набраться сил, «восстановиться». Я и в молодости, случалось, не писал по два месяца.

Но все равно постепенно набралось, накопилось, и мы решили втроем — Винокуров, Солоухин и я — выпустить одну общую книгу. Тогда такое еще не практиковалось. Мы составили и перепечатали рукопись. У нас с Винокуровым было много близких по теме и судьбе военных, армейских стихов, имелись стихи подобного рода и у недавнего кремлевского курсанта Солоухина. Поэтому мы сдали рукопись в Воениздат и даже отметили это событие. «Чтобы плавно шло, ни за что не задевало и страницы бы не вылетали», — сказал Солоухин. Нам обещали поддержку, но так ничего и не получилось. И, наверное, к лучшему, — довольно скоро наша рукопись распалась на три составные части, и у каждого из нас вышла отдельная первая книга (К. Ваншенкин. «Песня о часовых»; Е. Винокуров. «Стихи о долге»; Вл. Солоухин. «Дождь в степи»).

Винокуров был тогда широкий, щедрый, типично московский парень, никому не дающий спуску, готовый ввязаться в любую заваруху, но за себя постоять. Солоухин писал только стихи, где рядом с темой деревенского детства и природы звучали мотивы сказочные, романтические. Однажды поздним вечером он возвращался в общежитие. Неподалеку от института, на углу Сытинского переулка, что-то ремонтировалось, стояла оградка и горели две предупреждающие багрово-красные лампочки. Обжигая пальцы, он выкрутил одну из них и шел, размахивая ею над головой: ему казалось, что она должна продолжать светить и что он несет людям огонь, держит в руках факел.

В институте был период бурно возникающих и распадаю-

щихся, сменяющихся в различных вариантах дружб. Мало что от них сохранилось. Но ощущение единства, общности, принадлежности к одному клану — осталось.

Когда меня приняли в Литинститут и едва начались занятия, я в первый же день приблизился к висящему на стене большому сводному расписанию и изучал его, думаю, дольше других. Сначала бегло просмотрел, а затем повторно, медленно перебирал названия предметов, не в силах еще поверить, что среди них не было точных дисциплин. Наконец вполне убедился в этом и с облегчением отошел. Ведь я попал сюда из технического вуза.

Руководителями творческих семинаров в мое время были К. Паустовский, В. Катаев, К. Федин, П. Антокольский, М. Светлов и другие мастера, помоложе. Об этом писали многие. Но какие были у нас преподаватели, профессора, читавшие нам лекции! Они дали нам ничуть не меньше. Мы смогли оценить их по достоинству лишь многие годы спустя. А тогда мы были просто не готовы к этому.

Профессор языкознания Александр Александрович Реформатский. В просторечье — «Сан Саныч». Всеобщий любимец и одновременно гроза на экзаменах. Серьезный ученый, остроумный рассказчик, заядлый охотник, тонкий и он же грубоватый человек. Он знал каждого из нас насквозь — что мы пишем и чего мы стоим; называл нас по имени, но на «вы» и остался другом многих из нас. Помню его огромный, раздутый, незастегивающийся, потертый портфель под мышкой, — ручка была, по-моему, оторвана.

Братья Радциги. «Брадциги». Сергей Иванович, читавший античную литературу, и Николай Иванович, преподававший историю средних веков. Говорили, что они разошлись как-то в трактовке не слишком важного научного факта и не общались в связи с этим несколько лет. Сергей Иванович, совершенно белоголовый старец, во время лекции мог заплакать — от умиления при описании яркой картины или от огорчения, если бедный студент обнаруживал незнание, скажем, того, что изображено на щите Ахилла. Вообще его речь издали, из-за дверей, производила впечатление плача, рыдания.

Изящная, слегка ироничная Валентина Александровна Дынник (западная литература) и ее сестра Татьяна Александровна, читавшая — недолго — историю театра.

Валентин Фердинандович Асмус — редкостный пример современного энциклопедиста. Блестящий ученый в различнейших областях: литература, философия, эстетика, математика, астрономия. Иногда он производил впечатление человека немного «не от мира сего», что порой случается с классическими учеными. Но, думаю, так только казалось, или он слегка ограждался этим от нас, от нашего явно недостаточного для его лекций уровня.

В этом несоответствии вообще была наша беда. До сих пор стыдно за доклад о Тютчеве, сделанный мною на специальном семинаре у милейшего Сергея Михайловича Бонди. Но и это наука! Доклад был ужасным, поверхностным, а Бонди ничего мне даже не сказал.

Я тогда многое лишь узнавал. Я не был начитан, как иные наши бывшие литкружковцы или отличники. С детства запомнил некоторые стихи, не зная их авторов, что обыкновенно свойственно неопытному читателю. А о многих я и не слыхал.

Однажды в густо заснеженном дворе Литинститута А. Коваленков обратил мое внимание на высокого человека.

— Знаете, кто это? Андрей Платонов.

А откуда мне было его знать? Ведь я никогда не был «литературным мальчиком».

Это лет семь-восемь спустя, когда я вместе с коллегами руководил семинаром на Всесоюзном совещании молодых писателей, один из участников, представляясь, простодушно сказал:

— Я был известным в Москве вундеркиндом.

Что же касается Сергея Михайловича Бонди, то он, один из крупнейших ученых-пушкинистов, текстолог, знаток черновиков поэта, расшифровавший ряд его стихов, — он с замечательной непосредственностью рассказывал нам, как в столетний юбилей гибели Пушкина его, Бонди, пригласили в Московский Художественный театр прочесть цикл лекций о пушкинском стихе. Вернее, пригласили на первую лекцию, а сроки каждой последующей должны были уточняться отдельно — ввиду крайней занятости труппы. Это был еще старый довоенный МХАТ, одни народные, одни звезды. Слушали благосклонно, с большим вниманием, и все было прекрасно, но в какой-то миг, увлекшись, Бонди, к собственному ужасу, заявил, что наши драматические театральные актеры не умеют читать стихи. (Замечу в скобках, что я полностью согласен со своим маститым профессором. Тогдашние великие артисты читали стихи так,

словно это были не стихи, нарочито нарушали ритм и проч., раздражая профессиональное литературное ухо. Любопытно, что потом положение переменилось, и в последующем театральном поколении культура и, я бы сказал, естественность чтения стихов значительно возросли.) Произнеся это, Сергей Михайлович почувствовал, что нить, уже связывающая его с аудиторией, мгновенно порвалась. Он заторопился, попытался объяснить, что же он имел в виду. В зале повисла зловещая тишина, и чей-то низкий, хорошо поставленный голос спросил:

— А Василий Иванович?

Бонди на мгновение растерялся. Утверждать, что Качалов читает стихи плохо, значило окончательно все разрушить. Сказать, что Качалов читает хорошо, Сергей Михайлович не мог, ибо ему не нравилось, как читает Качалов. Он запнулся и объявил, что не слышал, как читает Василий Иванович.

На этом его карьера лектора в Художественном театре окончилась. Следующего приглашения не последовало.

Учили читать стихи и нас. Великолепный рослый красавец, популярный, только что отснявшийся в фильме «Русский вопрос» Всеволод Николаевич Аксенов вел на моем курсе художественное слово. Играя лицом и голосом, он говорил об искусстве, а затем перешел к практическим занятиям, повел взглядом по столам:

— Ну, допустим, вот, — и остановился на мне. — Вот вы. Прочтите, пожалуйста, что-нибудь.

— Свое?

— Да, да, пожалуйста.

У меня было стихотворение о девочке, продающей на южном полустанке груши проезжающим. Я его часто читал тогда и ни разу потом не напечатал. Оно было в меру затянутым, в меру сентиментальным, но несло в себе и определенную естественность, наивность.

Я прочел. Аксенов несколько удивился и спросил:

— Это что же, вы сами написали?

Затем он сказал, что стихи очень проигрывают в моем исполнении, и стал показывать, *как* следует читать. Я будничным тоном сообщал ему очередное четверостишие, как бы суфлировал, а он вскидывал голову, изящно поворачивал ее в профиль и звучно произносил мои простые строчки. Затем он ждал, чтобы в той же манере прочел я. Я читал как обычно.

— Да нет же, не так! — вскрикивал он, перебивая меня. — Вы вслушайтесь!

Я читал, как всегда, без нажима, но все-таки мне было неловко не сделать ни одной хотя бы маленькой уступки, и иногда я слегка возвышал голос. Остальные скучали или с интересом наблюдали за этим соревнованием.

Я думал, все на этом окончится, но в следующий раз он снова взялся за меня, и я, едва дождавшись перерыва, позорно и поспешно отступил с поля боя. Так я и не выучился читать свои стихи художественно.

Преподавал в институте крупный шекспировед Михаил Михайлович Морозов, пожилой, грузноватый человек. Оказалось, что в невозвратном прошлом это тот самый худенький, большеглазый мальчик Мика Морозов, чей портрет был написан Валентином Серовым. Сообщил нам об этом Николай Михайлович Тарабукин — он читал у нас историю изобразительного искусства. Николай Михайлович говорил негромким спокойным голосом. У него был небольшой тик, слегка подергивался глаз, словно профессор нам подмигивал.

Недавно я прочитал его книгу «Врубель», написанную несколько десятилетий назад, прочитал не отрываясь, испытывая гордость при мысли, что учился у этого человека. В предисловии к «Врубелю» известный искусствовед М. Алпатов пишет: «Книга Тарабукина — плод его собственной творческой, критической мысли, выражение его горячей любви к своему предмету, той любви, без которой познать искусство невозможно». И этой его любви невозможно было не заметить, не ощутить.

Непостижимым образом сумел он вместить все — от древнейшего искусства до современности — в нещедрые часы учебной программы. Но вместилось и запомнилось. Занятия на Волхонке и в Лаврушинском, «волшебный фонарь» и приносимые Николаем Михайловичем альбомы репродукций (сейчас я могу только предполагать, какие это были замечательные альбомы!) в нашей тесной аудитории... Благодаря Тарабукину я приобщился к живописи. До него я не знал не только французских импрессионистов, которые были не в большой чести, но и многого из нашего искусства. Он прививал нам вкус: помню, показал головку Грёза и египетский женский профиль и спросил попросту, какая работа и даже какая женщина нам больше нравится. Многие предпочли Грёза, и он долго, терпеливо, хотя и

с неполным успехом, объяснял, насколько прекрасней и строже классический профиль.

Экзаменов по этому предмету не было. Зачеты носили условный характер. Как и многие наши профессора, Николай Михайлович понимал, что с нас не нужно чересчур требовать сейчас, что еще слишком близка война, по которой мы прошли и которая прошла по нас. Пусть упадет зерно. Может быть, впоследствии будут всходы.

Случались казусы. Принимая зачет, Тарабукин попросил студента перечислить картины Рембрандта из нашего московского музея. Студент молчал. Профессор предложил назвать хотя бы одну из них — результат был такой же. Хмыкая и дергая веком, Николай Михайлович еще более упростил задачу: упомянуть любую из имеющихся в мире картин Рембрандта и, наконец, после неудачи, — назвать любую картину любого художника из собрания Пушкинского музея. И тут студент разверз уста и отчетливо произнес:

— Вакханалия.

— Хорошо, хорошо, — с облегчением говорил Тарабукин, продолжая подмигивать, — но почему именно эта?..

Лишь один раз он рассердился. На занятиях в Третьяковке кто-то из наших спросил, где изготовлялись золотые с резным узором рамы.

— О чем вы спрашиваете, когда кругом искусство! — негромко вскричал он.

Я благодарен Николаю Михайловичу: замечательно сформулированный призыв Н. Заболоцкого «Любите живопись, поэты!» я впервые услышал задолго до появления этих стихов — пусть он был выражен и не буквально теми же словами, но по сути это было то же самое.

Какая общая черта отличала наших преподавателей, кроме, разумеется, первоклассной их квалификации?

В наших профессорах — я назвал не всех — было много простоты, непосредственности, интереса к нам. Они приходили не только затем, чтобы прочесть лекцию или принять зачет. Они оставались на наши вечера, обсуждения, останавливались с нами в коридоре, спорили, иногда писали нам письма. Они как бы подчеркивали всю серьезность выбранного нами дела и пути.

О Литературном институте моей поры кое-что уже написано, и я уверен, что это лишь начало.

Общежитие

Женское общежитие Литинститута называли Голубым подвалом — по цвету стен. Сохранился фольклор — «Песни Голубого подвала», — некоторые из них были всесоюзно популярны.

В первые минуты Бог создал институты,
И Адам студентом первым был... —

песенка, сочиненная Владленом Бахновым на мотив корреспондентской симоновской.

Подвал, как все настоящие подвалы, был холодным и мрачным; вверху, в мутных окошках, мелькали ноги идущих по Бронной. Прохожие, разумеется не подозревали, какой кладезь талантов они минуют.

За тонкой перегородкой жили ребята. Иногда, поздно вернувшись, кто-нибудь начинал громко рассказывать подробности действительного или вымышленного свидания. Девчонки возмущенно стучали в стенку.

Тоже внизу, в отдельной комнатке-каютке, содержащейся с педантичной аккуратностью, жили два наших общественника, морячки Михаил Годенко и Семен Шуртаков. Эта их каютка вполне могла сойти и за девичью светелку. А к следующей клетушке скрипел протезом по коридору Саша Парфенов, Сашуня, Паршуня, шумный, вздорный и добрый человек. Его уже нет. Многих нет.

Потом Голубой подвал ликвидировали как общежитие. Девушек поселили наверху, по соседству с бухгалтерией Литературного фонда. В связи с последним обстоятельством в верхнем коридоре по вечерам дежурил сторож, и поздние визиты к ним затруднялись. В одной комнате жили старшекурсницы во главе с Марианной Фофановой, в другой — Инна Гофф, Ольга Кожухова, болгарка Лиляна Стефанова, полька Тереза Квечиньска. А напротив размещались «Володьки» — так называли неразливно друживших тогда Солоухина и Тендрякова. Их нечасто стриженные русые волосы вольно кудрявились на висках и затылках, и так же кудрявились растрепанные голенища их старых валенок. В той комнате царил обычно полный развал, на столе, среди разрозненных бумаг, бросалась в глаза обломанная черная буханка, — время наступило уже легкое, отменили карточки.

Мы жили во флигеле. Это была как бы квартира из трех больших комнат с кухней и прочими службами. По утрам нас будил протяжный крик уборщицы Зины, ютившейся вместе с десятилетним сыном в каморке возле кухни:

— Ребяты, чай поспел!

Мы начинали подъем. Я так и вижу их лица: два Ивана — Завалий и Ганабин, мои друзья, Серега Никитин из комнаты напротив, Борис Бедный, Саша Шабалин из Коврова, Георгий Ефимов из Чебоксар, уралец Леня Шкавро, кореец Се Ман Ир. А за стеною — Миша Кильчичаков, Володя Семенов, Цыден-Жап Жимбиев, Гиго Цагараев... Почти никого из них уже нет.

Поднимались с трудом, особенно молодые, не прошедшие армии, казармы. Причина понятна: ложились поздно. У нас учился Володя Семенов, даровитый поэт, — к сожалению, полученные ранения и развившиеся следом болезни не дали ему возможности работать в полную силу. Но тогда он еще был могуч. Это был наш богатырь, по утрам легко играющий двумя двухпудовыми гирями. Володя пунктуально соблюдал свой собственный режим. Ложился он в десять часов, завязав глаза вафельным полотенцем, засунув голову под подушку, и, что самое удивительное, тут же засыпал. Но в двенадцать или в час он вдруг, не снимая с глаз полотенца, пробивая головой пласты табачного дыма, вставал в полный рост на койке и говорил своим тихим рассудительным голосом:

— Ребята, ну кончайте, нельзя же так!

Его заверяли, что сейчас затихнут и лягут, и все продолжалось по-прежнему.

Но зато когда они действительно засыпали, разметавшись и отбросив одеяла, он открывал настежь огромную форточку, а сам надевал на голову шапку и забирался в постель между двумя тюфяками. С заснеженного белого двора мощным потоком вдавливался в комнату жесткий морозный воздух. Утомленные длинным бурным днем, спящие сперва только недоуменно ежились, ворочались, тянули на себя простыни и лишь потом, стуча зубами и дрожа от холода, просыпались в освеженной, чистой комнате, захлопывали форточку и, беззлобно проклиная Володю, снова проваливались в сон.

Без пяти девять, без трех, без двух или уже по звонку выскакивали, бежали, протирая глаза, на ходу застегивая крючки и пуговицы. Но бывали и безнадежно отставшие.

Наш директор, милейший Василий Семенович Сидорин, и его заместитель по хозяйственной части Иван Александрович Львов-Иванов обходили как-то в начале десятого общежитие и застали такую сцену: около кровати спящего сладким утренним сном юного Альгиса Чекуолиса аккуратно стоял один ботинок, а второй висел, подвязанный к бахроме крупного желтого абажура. Смысл сего явления был разгадан начальством не сразу. Однако они догадались, в чем дело. Кто-то проснулся ночью, томимый желанием записать строчку или фразу (художники!), и, чтобы не помешать товарищам — настольных ламп не было, — решил направить верхний свет лишь в одну сторону. И сделал это столь новаторским способом. Но забыл вернуть ботинок на место, а утром впопыхах никто не обратил на это внимания.

Львов-Иванов, высокий, плотный, краснолицый, однажды, выступая на собрании по поводу неудовлетворительного посещения лекций, произнес знаменитую фразу: «Захожу в мужское общежитие — сидит Мандель без штанов, захожу в женское — та же картина». Еще из его публичных высказываний: «Бросают окурки на ковровые дорожки, и были случаи, что и загорали». Или: «Портят мебель, вырезают на столах слова: «Ха», «У» и так далее». Это была легендарная, колоритнейшая личность. О происхождении его фамилии рассказывали, что во время гражданской войны он, командуя где-то на Дальнем Востоке лихим отрядом, разгромил превосходящие силы противника и послал в штаб донесение об этом, подписав его: «Командир отряда львов — Иванов». То есть его бойцы дрались как львы. А в штабе по ошибке решили, что у него двойная фамилия. Так и пошло.

Он был отзывчив, обладал душой доброй, даже сентиментальной. Когда одна из студенток родила сына, а отец ребенка отказался участвовать в их судьбе, Иван Александрович предлагал матери усыновить младенца. Я узнал об этом спустя много лет, когда Львова-Иванова давно уже не было на свете. А остались о нем главным образом веселые воспоминания...

Или вот Терентьев Иван Степанович, наш завхоз. Его тоже нет. Это был тихий человек, занятый своими хозяйственными делами. Я с ним, собственно, почти не общался. И вот уже после института, когда я только что получил первую свою «площадь», две комнатки в старом особняке на Арбате, я случайно встретил на улице Ивана Степановича и, к слову, сообщил ему

об этом. Он спросил, требуется ли ремонт. Ремонт, разумеется, требовался. Он сказал, что устроит. Денег у меня было немного, и не хотелось это обнаруживать, обязываться. Я отказался, но он настоял, причем как-то очень просто, естественно. У него как раз шел ремонт в институте и работала крепкая, бойкая малярная бригада, вернее артель, — кажется, из калужских мест, все из одной деревни. Нет, нет, не подумайте, мне сделали ремонт не за счет института и не в рабочее время. Но они были заинтересованы в Терентьеве, и, когда он попросил их, сделали все на совесть и почти молниеносно, да и взяли с меня по самым низким государственным расценкам. А сам Иван Степанович приходил множество раз, проверял, советовал, лазал на коленках по полу, помогая настилать линолеум, и в довершение отговорил меня устраивать «обмыв» ремонта. Я часто вспоминаю эту, может быть, даже несколько странную историю. В молодости, не задумываясь, многое принимаешь как должное и лишь с годами все более ценишь человеческую внимательность и доброту.

Это были первые послевоенные годы. Хотя война миновала, она продолжала оказывать на нас свое действие, мы еще не вышли из сферы ее притяжения. Для многих этот процесс оказался мучительно трудным, даже роковым. То и дело встречались люди, выдвинутые, рожденные войной и потерявшие себя после ее окончания.

Большинство из нас пришло с войны. Девушка-санинструктор, студент, потерявший в бою глаза, безрукий, однорукие, одноногие — все это было как бы в порядке вещей, обычно, буднично, все это было слишком близко, рядом, мы встречались с этим множество раз. Теперь это далеко — легенда, гордость. То же в искусстве: в молодости у нас зачастую не ценится самое лучшее, с годами все идет в счет.

Моим соседом по комнате был Саша Шабалин, летчик-бомбардировщик; прямым попаданием снаряда ему оторвало ногу. Он любил лежать одетым на заправленной койке, положив живую ногу на спинку кровати, а согнутая в колене протезная нога упиралась ботинком в пол. Когда к нам приходили не очень знакомые девушки, проделывался такой номер: кто-либо из ребят вступал в спор с Шабалиным, внезапно вспылив, хватал его палку и, широко размахнувшись, обрушивал ее на Сашкину ногу. Замах и быстрота движений были таковы, что исклю-

чали мысль о шутке, и в течение этого мига девушки бледнели, но тут же раздавался сухой деревянный стук — удар приходился по протезу. И подобное ничуть не воспринималось как кощунство или хотя бы дурной тон.

Наружные двери у нас не запирались. Можно было возвращаться когда угодно. И к нам кто только не приходил! Однажды Миша Кильчичаков привел хорошо одетого, с достоинством державшегося человека. Миша водил его по комнатам и гордо демонстрировал:

— Он написал десять тысяч стихотворений. У него есть стихи о чем угодно. Правда?

— Да, — скромно подтверждал гость.

— Пожалуйста, заказывайте, он прочтет! — ликовал Мишка.

Ему, помнится, предложили прочитать о Темзе, о Маяковском, и он с готовностью пролепетал какую-то чепуху.

А то зимой явился и полдня сидел, не снимая железнодорожной шинели, полный седой отставник. Ему нужен был летописец. Дело в том, что он пригласил бесплатно жить на своей даче девушек с соседнего кирпичного завода и создал, по его словам, экспериментально-общинную ячейку нового типа. Летописец требовался, чтобы художественно фиксировать изменения в сознании девушек. Хозяин гарантировал ему комнату (келью), постель и обеспечивал, как он выразился, простой и здоровой русской пищей.

Все сказали, что согласиться может Володя Семенов, и отставник терпеливо ждал его. Володя пришел и действительно быстро уговорился с ним — на время зимних каникул. Семенова привлекла возможность дышать свежим хвойным воздухом и ходить на лыжах. Шумно напутствуемый, Володя отбыл, но неожиданно возвратился уже на третий день. Выяснилось, что «ячейка» представляет интерес не столько для общества и науки, сколько для местных парней, и распорядок на даче нарушается куда основательней, чем в общежитии.

Приезжали родственники, земляки, приходили друзья и знакомые.

Здесь тоже не обходилось без шуток и мистификаций. Иван Завалий брал чье-нибудь пальто, клал внутрь две подушки, застегивал пуговицы, в рукава тоже что-то вставлял, сверху приспосабливал шапку — получалось очень похоже — и, посадив чучело спиной к двери, небрежно звал кого-нибудь из ребят:

— Тебя там спрашивают!

Человек входил в комнату:

— Кто это? — быстро приближался, чтобы заглянуть в лицо, и невольно отшатывался.

Забредали писатели, настоящие писатели, чаще всего поэты. Рассказывали о своей молодости, расспрашивали, интересовались. Ночевал однажды Яков Ухсай. Помню, зашли поздним вечером Константин Мурзиди и Аркадий Ситковский. Повели речь о трудностях жизни в литературе. Мы слушали, сокрушались, тревожились, но думали, как все и всегда думают в молодости: «Ничего, ничего, это вам трудно, а мы свое возьмем. Вы — это вы, а мы — это мы». Мурзиди высказался в том смысле, что сейчас трудно пробиться и даже напечататься, если не иметь литературного имени, но ведь прежде его нужно каким-то образом составить. Ситковский возразил:

— Да нет, вот у меня есть литературное имя, а все равно почти не печатаюсь.

Меня это удивило. Литературное имя? Но ведь это не просто имя и фамилия. Это нечто, за чем стоит определенный, ни на кого не похожий художник. Это его обозначение, позывной, код.

Дружили с консерваторцами. Они официально присылали нам бесплатные билеты на концерты — их всегда можно было получить в учебной части — и сами ходили на наши вечера. Запомнился Володя Рубин, ныне известный композитор. Кому-то пришло в голову: шефствовали над медучилищем (или оно над нами) — тоже не последнее дело. Помещалось училище где-то поблизости, но где именно — совершенно не помню и не представляю, может быть, потому, что бывал там исключительно по вечерам.

Уличное движение было не то что сейчас, и, хотя по Тверскому ходили трамваи, в старом герценовском дворе было тихо, уютно. Здесь жили несколько писателей, а в нашем же флигеле, за стеной, была квартира профессора Л. И. Тимофеева. Перед его окнами размещался крохотный, почти японский, палисадничек, и вот с весны, когда распускалась зелень, и до осени, пока она еще не опала, там стоял стол, среди листвы горела лампа на протянутом из окна шнуре, слышались женские голоса — и таким это обжигало домашним, дачным, давним, что осталось до сих пор.

Но больше всего запомнились светящиеся за старыми ствола-

ми окна институтских аудиторий, зимой, в метель, иногда уже ночной порой. Москва ложилась поздно — такой был тогда стиль. И вот возвращаешься в общежитие, бежишь по бульвару и вдруг видишь эти окна, угадываешь в глубине знакомые головы. Дело в том, что работать нам, собственно, было негде. Стихи, разумеется, пишутся где придется, на бегу, на ходу. Я половину стихов своей первой книги написал на лекциях. Но как быть прозаику, тянущему роман, повесть, даже рассказ? Работали в аудиториях, по вечерам. Пускал ночной сторож Тарасыч, красивый, высокий, прямой старик. По правилам находиться в аудиториях после занятий было запрещено, но Тарасыч пускал. Не только доброта, но какая-то внутренняя убежденность, понимание своей роли заставляли его делать это. Дирекция, правда, смотрела на его попустительство сквозь пальцы. Бывало, вечером в общежитии обязательно поднимается кто-нибудь из прозаиков, берет тетрадь или папку с листами, ручку и молча, а то притворно кряхтя и вздыхая: «Надо двигать вперед отечественную литературу», выходит. Иногда это производило цепное действие, влекло следующего. Аудиторий, причем небольших, было всего пять. Порой приходилось сидеть по нескольку человек в комнате. Но насколько шумно бывало в самом общежитии, настолько благоговейная стояла здесь тишина — *работали.* Именно здесь многие написали свои первые книги.

Так мы жили в своем общежитии, по сути в самом институте, тесно, но удобно и проверенно. Однажды, правда, возникли и какое-то время циркулировали, а потом благополучно затихли разговоры о переводе Литературного института в Царскосельский лицей. И вдруг...

С началом нового учебного года прошел слух, а затем и официально было подтверждено, что общежитие Литературного института переводится в дачный поселок под Москвой, в городок писателей — Переделкино.

В институте состоялось общее собрание по этому поводу. Сидорин разъяснил ситуацию. Живем в тесноте, нет учебных кабинетов, спортзала, но все это будет на месте теперешнего нашего общежития, мы же поселимся широко, свободно, на лоне природы, и нам же во всех смыслах будет лучше. Протесты высказывались бурно, но, как видно, понапрасну, — дело было решенное. Обычно достаточно мягкий Василий Семенович дал понять: ничто не поможет. Собрание окончилось, еди-

ный ком несогласия и неудовлетворенности выкатился из зала. Мы все набились в одну комнату нашего доброго, такого дорогого московского общежития. Не помню, кто предложил жаловаться. Кому? Как кому? Фадееву! Мысль понравилась. Один сел писать, а остальные, стоя над ним, подсказывали, диктовали, формулировали. Все это с шумом, увлеченностью, возмущением — до глубокой ночи. Настоящее вече. Наконец дописали, поставили число — 11 сентября 1949 года — и подписи, но не в строчку, как у меня, а столбиком (в скобках — откуда прибыл в институт):

Студенты: Ив. Ганабин (Ивановская обл.), Вл. Солоухин (Владимирская обл.), Вл. Шорор (Иркутская обл.), Конст. Ваншенкин (Моск. обл.), Ник. Воронов (Магнитогорск), И. Завалий (УССР), Г. Ефимов (Чувашия), С. Никитин (Владимирская обл.), М. Кильчичаков (Хакасия), Леон. Шкавро (Урал), Вас. Субботин (Крым), А. Ковусов (Туркменская ССР), Н. Бабаев-Хазри (АзССР), И. Скороходов (Коми АССР), В. Семенов (Рязанская обл.), Г. Ахметшин (Башкирская АССР) и другие.

Всего 46 подписей.

Стали решать, кому идти с этим письмом к Фадееву. Выбор пал на Ваню Ганабина и на меня. На другой день после занятий мы поехали на трамвае в Союз, вошли в широкий, круглый двор городской усадьбы XVIII века, по преданию описанной Толстым как дом Ростовых, поднялись по лестнице. Ехали наудачу, — ни с кем предварительно не договаривались, ничего не узнавали.

Фадеев был на месте, но он был занят. Только что началось заседание секретариата. Мы сели на диванчик в коридоре, против дверей приемной, и приготовились ждать. И вдруг — везение. Из дверей вышел А. Коваленков, наш молодой руководитель семинара. Он работал в Союзе ответственным секретарем секции поэзии и был здесь своим человеком. Дело в том, что тогда не существовало ни Союза писателей РСФСР, ни Московской писательской организации. Был Союз писателей СССР со своим небольшим аппаратом и секции — по жанрам — для литераторов Москвы.

Мы вскочили и, перебивая друг друга, попросили содействия. Коваленков прочитал петицию, хмыкнул:

— Дело серьезное. — Мгновение поколебался и, сказав: «Подождите!», опять исчез в высоких дверях.

Мы закурили и, уже не садясь и не говоря ни слова, ждали, что будет. Не берусь утверждать, сколько прошло времени, пока он появился.

— Зайдите.

Мы сунули окурки в пепельницу на тонкой ножке и вошли.

Потом я не раз бывал на людных фадеевских секретариатах. Не раз наблюдал, как он перед началом, выглянув в коридор, приглашал всех там находящихся — московских посетителей и писателей, приехавших по делам из провинции:

— Заходите, товарищи!

Народу набивалось полный кабинет. Пили отличный чай с бутербродами и конфетами, слушали, как заседает блистательный фадеевский секретариат.

Но сейчас я не запомнил ни одного лица, кроме красного лица самого Фадеева с зачесанными назад белыми волосами. Момент был слишком важен.

— А, ходоки! — сказал он громко и засмеялся. Он точно угадал наше состояние. — Я тут написал, передайте Сидорину.

Он протянул наше письмо, я узнал его по линованной бумаге и кляксе на обороте, испугался, что он что-нибудь напутал, и, лишь взяв в руки, увидал, что внутрь вложен белый листочек.

— Спасибо, Александр Александрович, — поклонился Ваня Ганабин и картинно тряхнул русыми кудрями.

— Истинные ходоки, — повторил он и сказал еще что-то, чего я не расслышал, но, когда мы выходили, все вокруг улыбались.

— Пошли, пошли, — торопил Ганабин.

Во дворе мы развернули записку. Она была очень короткой и деловой. Фадеев отменял наше переселение и предлагал отправить в Переделкино лишь новый набор, студентов первого курса. Дословно я запомнил только обращение: «Тов. Сидорин!»

— Пошли, пошли! — Можно было доехать трамваем до самого института, но мы были не в состоянии ждать на остановке хоть минуту. Мы задыхались, мы спешили, как спасители, как гонцы с вестью о победе.

И все-таки во дворе Ганабин попросил меня подождать. Он забежал в комнату и переписал записку — для себя, для архива. Снял копию!

Отвлекаясь ненадолго, скажу, что у меня, к сожалению, нет вкуса к архивам. Многое из того, что могло бы сейчас

пригодиться, я потерял. Другое разрозненно, неполно. Может быть, отчасти виной тому время, бытовая неустроенность. Но ведь у других-то поразительно все сохранилось: не только рукописи, но даже — за десятилетия — черновики собственных писем. Одно утешение: «Не надо заводить архива...»

Сидорин был у себя. Конечно, он знал о писавшемся ночью послании и принял нас холодновато.

— Василий Семенович, — начал Ганабин ласково. — Вы, наверное, слышали, мы письмо составляли Александру Александровичу...

— Да, да, — отвечал тот сухо.

— Вот мы с Ваншенкиным-то, значит, ходили к Александру Александровичу...

— Да, да?

— Вот он вам, Василий Семенович, записочку прислал.

Сидорин пошарил по столу, ища очки, похлопал себя по карманам и, не найдя, откинул голову и отдалил от себя руку с запиской.

— Ну и прекрасно, — сказал он наконец. — Вот видите, как удачно все получилось. Я сейчас же даю указание своему заместителю отменить подготовку...

Переселены были только первокурсники. Что поделаешь: кто-то должен страдать. Впрочем, они не слишком и страдали. Они все еще были счастливы, что приняты.

Все-таки остальные тоже перебрались в Переделкино — на следующий год. Я, правда, к тому времени уже не жил в общежитии. А ребятам — ничего, понравилось. Раннее утро, дорога к станции, освещенная солнцем платформа, поезд, гудящий за лесом. В их речи появились новые, ничего не говорившие мне слова: «дача Маршака», «дача Сельвинского», — почему-то ребята там жили. Я как-то всего раз попал к ним в общежитие, да и то уже вечером. Гуляли в темноте по незнакомым для меня переделкинским улицам, потом я остался ночевать и утром, поеживаясь, шел вместе со всеми мимо еще спящих писательских дач, мимо кладбища, к станции. Через год или более институт добился своего автобуса. Чуть понизив голос, говорили значительно, что подписал разрешение сам... Теперь студенты приезжали в институт на автобусе, и обратно он ходил после занятий, но не всем было удобно возвращаться сразу, и часто добирались по-прежнему поездом.

Общежитие Литературного института находилось в Переделкине и до войны. Михаил Львов рассказал мне, что помещалось оно почему-то в бывшей бане, что жили там вместе с ним Миша Луконин, Борис Ямпольский, Ваня Куприянов, Николай Отрада, Иван Бауков, рядом, уже с семьей, проживал Виктор Боков. А немного раньше — Яшин, Недогонов... Точно так же поутру ходили шумной ватагой к станции и возвращались большей частью в темноте.

Жизнь моя сложилась таким образом, что я в молодости никогда не был связан с Переделкином. Приехал на месяц, по сути впервые, только в 1971 году. «Дома творчества дикая кличка», — написала Б. Ахмадулина. Мне рассказывали, что, когда в Москву приезжал замечательный американский поэт, могучий старик — фермер Роберт Фрост, его приглашали в гости в писательский кооперативный дом, затем возили в Переделкино или, кажется, в Малеевку, и он спросил:

— Почему ваши писатели любят селиться колониями?

В Переделкине жили и живут многие превосходные писатели. Этих имен, будь они рассредоточены, вполне хватило бы, чтобы составить гордость двух десятков поселков и деревень. Здесь им тесно, и они несколько нейтрализуют друг друга. «Ах, еще и этот?» — «А такой-то тоже здесь?»

Не знаю, как для кого, но для меня Переделкино — это прежде всего место, где жил Пастернак. Может быть, отчасти из-за поразительной топографической точности его стихов, в которых и водокачка, и ручей, и мостик, и чуть ли не железнодорожное расписание («а я шел на шесть сорок пять»), и переделкинское кладбище («я вижу из передней в окно, как всякий год, своей поры последней отсроченный приход»).

Как-то ранней весной я подошел к этому кладбищу и хотел подняться к его могиле прямо с шоссе, но между оградками было слишком тесно и еще не высохла густая грязь. Во многих оградках шла та спокойная, неторопливая кладбищенская работа, где уже нет места горю, а лишь легкая печаль витает над житейским трудом. Видя, что этим путем мне не пробраться, я спросил дорогу у ближней ко мне пары, и сразу несколько человек наперебой принялись объяснять с радостной готовностью. Ими владела явная гордость, что рядом с их родственниками, здесь же, лежит Пастернак. Большинство из них, я убежден, не читали его, но это и не имело значения, — они уже знали, что можно гордиться. Когда я спустился обратно и, обогнув

кладбище, вошел через главный вход, от которого вела сухая аллейка, мне попался бойкий, доброжелательный по виду мужичок. Желая удостовериться, что выбрал направление верно, я спросил, попаду ли так к Пастернаку. Он глянул удивленно и снисходительно: «А то ты не знаешь!..»

Уже давно Литературный институт имеет свое общежитие в городе, у Бутырского хутора, возле троллейбусной остановки. Сел — и доезжаешь до Пушкинской площади. А общежитие — современное, со всеми удобствами, длинными коридорами и светлыми комнатами, на одного или двух человек.

Но мы не завидуем. Общежития хороши в молодости.

И Женька с Веснина

(о Евгении Винокурове)

Я очень лично воспринимаю строчку Г. Иванова: «Как попарно когда-то ходили поэты».

И мы с Женей Винокуровым так ходили. Без цели, без маршрута болтались по Москве. Скажем, втроем ходить тоже можно, — но уже ни поговорить толком, ни стихи друг другу почитать. Это уже не ходить, а идти куда-то.

Нас с Винокуровым многое связывало. Прежде всего мы были ровесники. В обычной жизни год-другой разницы ничего не значит. В войну — не то. Одновременность и одинаковость призыва создавали немало особенностей, по-настоящему понятных лишь нам. Это было даже сильней землячества. Недаром первый вопрос, которым обменивались солдаты, знакомясь в госпиталях, на пересыльных пунктах и формировках, был: «Ты с какого года?..» Ответил — и почти все ясно.

Винокуров окончил офицерское училище, вышел младшим лейтенантом. Я тоже был курсантом, но училище переформировали, и я, не получив звания, попал в воздушно-десантные войска. Казалось бы, между нами пропасть. Но нет, он в стихах тоже везде солдат или курсант. Это острей, трогательней. Он в душе психологически не успел стать полноценным офицером.

Среди «Биографических записей» Винокурова есть такая. Он прибывает в полк.

«Мы стояли навытяжку, пять стриженных наголо младших лейтенантов, свежих выпускников артиллерийского училища.

На мне была очень широкая в вороте гимнастерка, толстая скрипящая негнущаяся портупея, пустая кобура на боку, в каждый мой сапог могли бы войти вполне две мои ноги...

Писарь, заполняя анкету, спросил:

— Ваша фамилия, имя, отчество? Год рождения?

Я ответил. Стоял, задержав дыхание, по стойке «смирно». Писарь поднял голову:

— Откуда прибыли?

Мрачный капитан с бакенбардами, прохаживающийся по комнате мимо невзрачного офицерского пополнения, с презрительной улыбкой, желчно ответил за меня:

— От мамы...»

Домой он вернулся в 46-м. Его демобилизовали осенью, когда в институтах уже целый месяц шли занятия. В конце войны он написал несколько стихотворений, в Москве кто-то посоветовал ему нести их не в редакции, а на Тверской бульвар, в Литературный институт. Он так и сделал. Был перерыв, и студенты курили в маленьком садике. Он подошел к таким же, как он сам, в кителях и гимнастерках, начал расспрашивать. Они взяли листки с его стихами, восхитились, повели его к одному из руководителей семинаров, поэту Василию Казину, былому приятелю Есенина, тот согласился с ними. Винокурова приняли в институт без экзаменов, в разгар учебного года. Вот какие были времена и отношения.

Конечно, сделали исключение — и не ошиблись. Да и трудно было ошибиться.

Винокуров долгие годы жил на улице Веснина, между Сивцевым Вражком и Арбатом, в двух комнатах общей квартиры — вместе с родителями, а потом еще и с женой и маленькой дочкой. Я множество раз бывал у них. Когда-то улица Веснина называлась Денежным переулком (и сейчас снова). Но они не были денежными людьми, хотя тогда, после войны, жили вполне сносно.

Мы с Женей учились в Литературном институте и постепенно обнаружили, что у нас немало общего в восприятии и понимании жизни, в оценках. Мы к тому же одновременно дебютировали в периодике, в один год вышли и наши первые книжки. Но при очевидной близости биографий и судеб, а также неминуемой тематической похожести в самом стихе мы были совершенно разными и понимали это. Однако нас долго упоминали только вместе. Критика не могла нас отделить друг от друга,

как невнимательная мать, не умеющая различить собственных близнецов. Впрочем, критика не была нам матерью, а мы, как уже сказано, никогда не были близнецами.

Я люблю многие стихи Винокурова. Они в большинстве написаны, как мы говорим, густо, насыщены деталями, подробностями, мыслью. Одно из сильных его качеств — недосказанность. Он блестяще владел всеми элементами стиха. Помню, как Смеляков восхищался его эпитетом:

И я умру под горными камнями
У звезд *остекленевших* на виду.

А рифма! У Чиковани в стихотворении «Работа» (перевод Пастернака) есть удивительное наблюдение:

Так проклятая рифма толкает всегда
Говорить совершенно не то.

Не следует думать, что верлибр в лучшем положении, поскольку его ничто не толкает. Фокус в другом: «рифма толкает» говорить не только «не то», но и то.

Вот стихи Винокурова «Незабудки»:

В шинельке драной,
Без обуток
Я помню в поле мертвеца.
Толпа кровавых незабудок
Стояла около лица.

Мертвец лежал недвижно,
Глядя,
Как медлил коршун вдалеке...
И было выколото
«Надя»
На обескровленной руке.

Внимательный читатель заметит безупречную рифму. Вокруг нее все и происходит. Но почему — без обуток? Мертвеца разули, сняли обувь. Скорее всего, хорошие, целые ботинки. Вряд ли сапоги. Ведь это солдат, — у офицера была бы не шинелька, а шинель, да и едва ли драная.

А «мертвец лежал *недвижно*»?.. Это не нелепость, а потрясение увиденным. Это незащищенность мертвеца перед медлящим, осторожным коршуном. Наконец, женское имя «на обескровленной руке», — ведь незабудки у лица не бледно-голубенькие, а кровавые. И еще трагическая деталь: «Надя». Надежда! Смутно отзывается «слеза несбывшихся надежд» Исаковского.

Вот вам и «без обуток — незабудок»...

Главный мотив тогдашнего Винокурова — это пронзительнейшее юношеское ощущение обделенности — красотой, женской лаской и любовью. Недоданности всего этого.

Постойте! Я ведь не любил
На свете никогда!

Характерно, что это чувство, порою скрытно, осталось в его стихах навсегда. Вспомните «Синеву», «Встречу на вокзале», «Ксению»... В последнем (что случается очень редко) речь идет о нем — офицере. И все равно та же щемящая жалость к себе. Но гораздо важнее здесь осознание того, что не только он не любил, но что и его самого никогда не любили. Жизнь заполнена другим — «Работа», «Уголь», «Черный хлеб»... Потрясенный неожиданной встречей на перроне, он так описывает свою героиню:

Шла она стороной,
В неуклюжей, нескладной,
По колени длиной,
Грузной стеганке ватной.

Неуклюжий наряд,
Неуклюжа фигура.
Только синим был взгляд
Да коса белокура!

Поэт называет ее *незнакомкой!* Что это — влияние Блока, полемика с ним? Нет, это своя тоска по красоте. Это, если угодно, его философия, не рассуждения, а именно философия. К лучшим образцам его философской лирики я отношу и «Моя любимая стирала». Казалось бы, бытовая сценка, но в картине поражает не наблюдательность, а глубина. Или вот

стихи, где он предвидел свою судьбу — «Когда уходит женщина». Это настоящий Винокуров.

Но, к сожалению, критика, чрезмерно подчеркивая его философскую направленность, невольно толкала поэта к назидательности, рассудочности.

Коль дергаешь ты за кольцо запасное
И не раскрывается парашют,
А там, под тобою, безбрежье лесное —
И ясно уже, что тебя не спасут,

И не за что больше уже зацепиться,
И нечего встретить уже на пути, —
Раскинь свои руки покойно, как птица,
И, обхвативши просторы, лети...

Здесь не только фактические неточности (нужно бы: «кольцо запасного» и пр.), но сквозь авторские рекомендации проглядывает очевидная благодушная пародийность.

Чем очевидней он приобретал эту свою неосознанную инерцию, тем труднее было от нее избавляться. Но он упорно это преодолевал. Вот он, Винокуров, пронзительный, раскованный:

Я посетил тот город, где когда-то
Я женщину однажды полюбил.
Она была безмерно виновата
Передо мной. Ее я не забыл.

Вот дом ее. Мне говорят подробно,
Как осенью минувшей умерла...
Она была и ласкова, и злобна,
Она была и лжива, и мила.

...Я не решаю сложную задачу,
Глубинные загадки бытия.
Я ничего не знаю. Просто плачу.
Где все понять мне?
Просто плачу я.

Здесь его интонация, вкус, естественность, даже корявость, без которой нет Винокурова.

Теперь о нем самом. Он был настоящий московский парень, никого не боялся, готов был, защищая себя, подраться на улице. Ездил на каток на Патриаршие пруды (по-московски — на «Патрики»). Ему была свойственна замкнутость на себе. Даже эгоцентризм. У меня когда-то были две пожилые поклонницы, две сестры. Давние любительницы поэзии, они время от времени дарили мне потрясающие книжки, вышедшие еще в первые советские годы: «Костер» и посмертный сборник «Стихотворения» Гумилева, «Белая стая» Ахматовой, «За струнной изгородью лиры» Северянина, «Демоны глухонемые» Волошина... Представляете, чем это было в 50-е годы? Женя долго облизывался и однажды предложил мне познакомить его со старушками. Я поинтересовался:

— Зачем?

Он объяснил простодушно: — Для дела! Может, они и мне подарят.

Мой тесть был замечательным врачом. Один из спасенных им пациентов преподнес ему огромную редкость по тому времени — Библию издания 1910 года в роскошном кожаном переплете. Женя попросил ненадолго почитать, — видно, хотел писать библейские стихи. Не отдавал книгу больше года, вернул с трудом, очень недовольный. Все это выглядело по-настоящему умилительно.

В его стихах с самого начала присутствовала собственная интонация. Это как голос, с этим надо родиться. Выработанный годами вкус. Он был образован, начитан, но тоже со своим винокуровским упрямством. Не читал, например, «Мастера и Маргариту». На мой вопрос — почему? — ответил:

— Ну вот я такой. Все читали, а я нет...

Он был демобилизован после войны по нездоровью, — обнаружился процесс в легких. Тогда существовал метод лечения — «заливать жиром». Ему нарушили обмен веществ, и он очень быстро полнел. Женя пытался соблюдать диету. Он любил писательский ресторан, любил подсаживаться к друзьям и знакомым, часами разговаривать. У него была дерматиновая папка на молнии, Таня клала туда морковь, яблоки. Он, посмеиваясь над собой, грыз эту снедь, но иногда не выдерживал — просил у кого-нибудь отрезать кусочек от бифштекса.

Набрав околопредельный вес, он в очередной раз ложился в Институт питания и, сбросив килограммов тридцать, появлялся в старом костюме, почти стройный. Эти метаморфозы вызывали всеобщее ликование. Но новые костюмы не перешивал,

вскоре они опять были ему впору. Мы словно общались с несколькими Винокуровыми.

Его любили молодые, особенно начинающие, тянулись в его кружки, объединения, литинститутский семинар. Среди его учениц числится Ахмадулина.

Широко известны его строки:

Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

Думается, ему это не удалось — воспитать такого ученика-учителя. Впрочем, подобное никогда не происходит специально. А действительные ученики гордились им, восхищались, после занятий дружно провожали до дома.

Но он был одинок. Особенно последние годы жизни. Он вел семинары с самим собой. Посмеиваясь, рассыпал свои афоризмы. Студенты, как правило, их не замечали и потому не могли оценить. Он делал это для себя, запоминал, записывал. Они не научились его зоркости, лаконичности. Я обнаружил это на институтском вечере памяти Винокурова.

О его единственной песне. Стихи Винокурова не поются. Кроме одного. Но это не мы его заметили, а Бернес.

Напечатанное в «Новом мире» стихотворение «Москвичи» начиналось так:

Там синие просторы
спокойной Сан-реки,
там строгие костелы
остры и высоки.
Лежат в земле,
зеленой
покрытые травой,
Сережка с Малой Бронной
и Витька с Моховой...

А кончалось:

Где цоколь из фанеры —
привал на пять минут!
По-польски пионеры
о подвигах поют.

Бернес, решивший сделать из стихотворения песню, сразу сказал, что первый «куплет» нужно переделать, а последний убрать и вместо него написать другой. «Я скажу — о чем».

При личной встрече поэта и артиста выяснилось, что Винокуров уже сократил стихи. Он продолжал биться над ними и после напечатания. Он не просто освобождался от этих двух строф, — он избавлялся от прежнего мышления, стереотипов, штампов, сдирал с себя ошметки старой кожи. Бернес пришел в восторг, но через несколько дней заявил, что у песни нет конца. То есть у стихотворения он, может быть, есть, но для песни не годится:

Пылает свод бездонный,
И ночь шумит листвой
Над тихой Малой Бронной,
Над тихой Моховой.

И началось то, что обычно бывает в таких случаях. Разговор на разных языках, непонимание, долгие бесцельные препирательства, ни на чем не основанная надежда, что исполнитель согласится с тобой. Как это мне все знакомо! Наконец поэт сдается:

Но помнит мир спасенный,
Мир вечный, мир живой
Сережку с Малой Бронной
И Витьку с Моховой.

Но чтобы добиться этого от поэта, какой нужно было обладать силой убеждения, обаяния, аргументацией, уверенностью, что нужно поступить именно так.

Любопытно, что, несмотря на успех и широкую известность песни, Винокуров при последующих изданиях стихотворения так и оставил свой вариант. Для него концовка *песни* выглядела слишком плакатно, прямолинейно, так же как для Бернеса концовка *стихов* была чересчур спокойной, статичной. Так они и остались каждый при своем мнении. И песня тоже осталась — одна из лучших песен, появившихся после войны.

Но я не сказал еще о ее мелодии. Откуда появился здесь Андрей Эшпай? Очень просто. Он буквально перед этим писал музыку к фильму «Ночной патруль», где снялся Бернес, и его ра-

бота понравилась артисту. Выбор вообще оказался попаданием в десятку. Эшпай был ровесником Винокурова, воевал поблизости от него, в Польше. Да и жил он на Бронной, только на Большой. Все сходилось, вызывало ответное чувство. А тут еще Бернес со стихами сам приехал к потрясенному композитору в его полуподвал. И Эшпай сочинил трогательную городскую мелодию с явственным для меня отголоском шарманки...

И наконец. Когда умер Женя, я позвонил вечером нашему институтскому однокашнику, известному прозаику. Повздыхали. И вдруг он попросил меня прочесть по телефону винокуровскую песню. Слушал, затаив дыхание, лишь переспросил в конце:

— *«Не* помнит мир спасенный»?

Я повторил как есть:

— *«Но* помнит мир спасенный».

— Нет, — сказал он грустно, — не помнит! Так точней...

А может, он и прав?

«Утешил!»

Как я уже говорил, критика долго упоминала нас с Женей только рядом, почти не различая.

Замечателен устный винокуровский рассказ середины пятидесятых, многократно им повторяемый, о том, как он пришел на прием к старому издательскому волку Н. В. Лесючевскому. Пришел с недоумением и жалобой на то, что рукопись его не ставят в план.

Тот внимательно выслушал Женю и сказал:

— Товарищ Винокуров! Я думаю, ваши претензии неосновательны, у вас нет причин обижаться на нас. Ведь мы только что выпустили книжку Ваншенкина...

Переждав смех, Женя заканчивал рассказ репликой:

— Утешил!..

О С. М. Бонди

О выдающихся достоинствах Сергея Михайловича Бонди как замечательного ученого, редкостного знатока русской поэзии и стиха, тончайшего исследователя Пушкина уже сказали и еще не раз скажут специалисты.

Я же хочу написать о другом.

Бонди вел у нас в институте курс по Пушкину, по теории стиха и еще спецсеминар по Тютчеву. Читал он блистательно, не прилагая к тому никаких дополнительных усилий. В самой его манере было нечто очень подкупающее, держался он с удивительной непосредственностью, порою даже словно конфузясь.

Не приходится говорить о том, как много он нам дал.

Я как-то заметил (и даже потом написал об этом стихи), что в течение шести лет конца прошлого века (1889—1895) родились Ахматова, Пастернак, Мандельштам, Цветаева, Маяковский и Есенин. Разумеется, не они одни. И Сергей Михайлович из того волшебного шестилетия. Между прочим, и Асмус тоже. И на них лежит свет таланта и прозрения.

В 1981 году я посетил Сергея Михайловича, был в гостях. Думал посидеть полчасика, боясь утомить, и провел в его доме пять часов — действительно целый вечер.

Сергей Михайлович рассказывал. О встречах с Блоком. О знакомстве с Ахматовой. О том, как жил лето на одной даче с Ф. Сологубом и ежедневно подолгу беседовал с ним, желая научиться видеть стихи глазами поэта, — без этого молодой Бонди не мыслил серьезных занятий стиховедением. О том, как в войну нелепо погибла обширная переписка с Сологубом. О довоенном патриархальном Переделкине. О суровой осенней Москве сорок первого года. О перипетиях послевоенного преподавания в пединституте.

И опять же все с неподдельной живостью, естественностью, простотой.

Он, к месту, показал, как умеет писать одновременно двумя руками один и тот же текст, причем левой — в зеркальном изображении. Я, конечно, изумился. Тогда он написал что-то левой рукой и протянул листок мне. Написанного нельзя было понять, и я посмотрел на просвет, перед лампой: *«Писать левой рукой ничего не стоит. Так писал все свои работы Леонардо да Винчи»*. Я попросил листок на память.

И еще Сергей Михайлович подарил мне свою книгу статей и исследований, указав, какие из них для него наиболее дороги.

Говорят, Бонди мало написал. Возможно. Зато не каждый имеет право так назвать свою книгу — «О Пушкине».

И едва я спустился в вестибюль станции «Фрунзенская», как тут же нетерпеливо раскрыл этот зеленый том и стал читать, словно детектив.

«Бойтесь пушкинистов», — сказал Маяковский. Это, как вы

понимаете, не о Бонди. К нему более подходят строки другого поэта: «...быть живым, живым и только, живым и только — до конца».

Тогда ему было только девяносто.

Через год, когда ему шел уже девяносто второй, я снова побывал у него в забитой книгами тесной квартире.

Снимался по моему сценарию документальный фильм «Размышления о Доме Герцена», и в сценарии значилось интервью с Бонди.

Он сперва мягко не соглашался, деликатно отказывался, наконец уступил.

Я приехал раньше, а потом, выглянув в окно, сам с некоторым ужасом увидел огромный автобус студии. В комнату набились режиссер, оператор, звукооператор, — разумеется, с аппаратурой да еще с помощниками. Включили юпитеры. Сергей Михайлович порою слегка, как прежде говорили, растерывался, но держался молодцом.

Потом, по ходу работы, я несколько раз просматривал эти живые кадры. Бонди говорил, что ценил Литературный институт выше, чем университет, где он тоже преподавал, потому что ему здесь было интереснее: студенты, по его словам, понимали в стихах лучше, чем он сам. Типичный Бонди!

И еще он рассказывал о том, что во время войны в институте не топили, студенты и преподаватели не снимали пальто, но он так не мог. Он читал лекцию, и ему не было холодно.

Теперь Сергея Михайловича нет.

О Константине Левине

Стоит настроиться на ту волну, и звучит в ушах скрип и стук протезов по коридорчикам Литинститута. Не у одного, не у двоих или троих — куда чаще. А ведь словно не замечались тогда, — лишь теперь их слышно.

И среди тех ребят — Костя Левин.

Одеты все были, разумеется, скудно, кто как, на это не обращалось внимания, а он был всегда подтянут, даже элегантен. Таким запомнился. Он пришел в институт до меня, в сорок пятом, недавний артиллерийский офицер без ноги. В нем вообще было много офицерского — скорее даже в старом понимании: сдержанность, воспитанность, чувство собственного достоинства. Впоследствии кто-то сказал, что Костя был ремарковский

герой, из *потерянного* поколения, хотя уже нового, конечно.

Однако всех этих качеств для нашего института было мало. Это могло цениться только как приложение к главному.

Прежде всего поражали его стихи — молодым мастерством, ранней зрелостью. В институте училось тогда немало (во всяком случае, несколько) известнейших в будущем совершенно разных поэтов, но это было мнением всех, без исключения. Его поэму «Нас хоронила артиллерия» завороженно бормотали на каждом шагу. И влияние кое на кого он оказал бесспорное, хотя и у самого прослушивались явственные интонации Пастернака, большинством, и мною тоже, в ту пору не замечаемые. Юный Володя Корнилов, без преувеличения, смотрел ему в рот.

Когда я пришел в институт, атмосфера там была достаточно раскованная, хотя ведь незадолго перед этим прогремели грозные постановления. Но уже в сорок девятом в литературе вновь наступили суровые времена. В литературе — и сразу же в Литературном институте, может быть, отчетливее и резче, чем когда-либо до этого. Костя Левин оказался в числе тех, кому предъявлялись претензии или, скорее, обвинения — в эстетстве и прочих тогдашних грехах.

Он отводил эти угрозы со сдержанным достоинством, и от него скоро отстали. Но печать осталась, тем более что в институте появилось новое руководство, прежний дух искоренялся, вольности кончились.

А на следующий год нужно было защищать диплом. У них был, наверное, самый малочисленный курс: Расул Гамзатов, Владимир Огнев, Андрей Турков, Василий Федоров, Ольга Кожухова, Инна Гофф, Маргарита Агашина, Владимир Корнилов, Игорь Кобзев, Анатолий Злобин, Владимир Шорор. Может быть, кого-то и забыл. А их недавний однокурсник Наум Коржавин уже учился в ту пору в Карагандинском горном техникуме.

Председателем Государственной экзаменационной комиссии был Константин Симонов. От него, разумеется, зависело очень многое, если не все. Он был секретарем Союза писателей, главным редактором «Литературной газеты» (недавно переместился туда из «Нового мира»). Он был молод — неполных тридцать пять лет. И главное — это был Симонов.

Но он не решился помочь Косте. Он уже чего-то боялся. Не пошел даже против институтской администрации. А ведь он

симпатизировал Косте, вызывал его в Союз, беседовал с ним, сочувствовал. И на самой защите говорил тепло, сердечно и в то же время находил какие-то несвойственные Левину черты: самолюбование, рационализм, напыженность. Процитировав с явным удовольствием строфу:

Сорокапятимиллиметровая
Старая знакомая моя,
За твое солдатское здоровие
Как солдат обязан выпить я,

он сказал, что стихи написаны только ради первой строчки, эдакого фокуса. Неверно! В этих стихах истинно фронтовая лихость. А первая строка действительно замечательна.

Короче — Косте Левину поставили за диплом тройку. Казалось бы, ерунда, кому это нужно. Но ведь с другой стороны — тройку как бы за все, что написал в жизни, что сделал, — и за войну тоже.

Мне кажется, именно здесь он испытал неожиданное глубочайшее разочарование, отсюда его необъяснимое для многих жизненное решение.

К слову сказать, тройку за диплом получил тогда же и Василий Федоров. Самолюбивый Вася всю жизнь не мог простить этого Луконину, который был членом ГЭКа и, по мнению Федорова, являлся главным его обидчиком. А на самом деле это также произошло из-за весьма кислого официального отзыва, присланного Н. М. Грибачевым, в ту пору и слыхом не слыхавшим о Федорове. Вася предпочел об этой служебной рецензии забыть.

Что же касается Константина Левина, то, получив диплом, он устроился работать, не в штат, без сиденья от сих до сих, в литературную консультацию при Союзе писателей, разбирал рукописи других, отвечал им на самом высоком профессиональном и, я бы сказал, человеческом уровне. С иными он переписывался чуть ли не десятилетиями, знача в их жизни очень много. Он зарабатывал этими рецензиями не более того, сколько нужно для жизни, как добавление к инвалидной пенсии. Жил скромно, но каждое лето ездил дикарем на юг, любил себе это позволить. И когда бы мы ни встречались, костюм его был безупречно отутюжен, обувь начищена.

Он уверял, что не пишет стихов. Его не раз уговаривали дать

что-либо в редакцию, подготовить книгу. Он всегда уклонялся. Что это было — недоступная другим повышенная требовательность к себе, скрытая неуверенность, стойкая гордость?

Однажды Слуцкий сказал мне, что слышал очень хорошие стихи Кости Левина о Бунине. Когда же я передал это Косте и попросил, чтобы он прочел их, тот несколько смущенно отмахнулся: да нет, пустяки...

Так случайно получилось, что мы длительное время жили рядом, в соседних домах. Часто сталкивались на улице. Он любил остановиться, основательно поболтать, потолковать, о многом расспрашивал. Как-то познакомил меня с приехавшей к нему в гости мамой. Несколько раз бывал у нас. Всегда перед этим его приходилось долго уговаривать. Однажды он пришел со своим близким другом, известным адвокатом.

Меня всегда привлекал в нем интерес к другим. Он любил говорить о литературе, обменяться мнениями. В нем не замечалось никакой задетости.

Он был, вероятно, красив, — открытое серьезное лицо, серые глаза. Его любили женщины, во всяком случае, он им нравился. Женщины, как правило, не претендующие на замужество, но добрые, отзывчивые, живо откликающиеся на его сдержанную доброту. Однажды я встретил его даже в обнимку с молодой женщиной, из тех, кого когда-то называли *милашками*. Мы перекинулись словцом, но он не счел нужным знакомить меня с нею.

Жил он одиноко, был, что называется, старым холостяком, — как мне казалось, во многом по причине нежелания обременять кого бы то ни было своим увечьем.

Потом он стал встречаться мне реже, до нас дошел слух о его тяжелой болезни. В конце восемьдесят третьего года отмечалось пятидесятилетие нашего института, мы с Инной спешили на вечер, и неожиданно он попался нам в зимней полутьме около метро, все такой же, может быть, чуть похудевший.

— Костя, ну, поехали с нами! — стали уговаривать мы его, но он только грустно улыбался. Наверное, я видел его в последний раз.

Вскоре он переехал, получил однокомнатную квартиру в новом районе, — до этого жил в коммунальной.

А затем мы узнали, что он лежит в онкологическом центре.

Однажды позвонила незнакомая женщина, его бывшая одноклассница, и как-то несколько задето стала говорить о

том, что, мол, вот вы пишете о дружбе, а когда доходит до дела, ничего не предпринимаете. Наверное, она думала, что я какой-нибудь начальник. Оказалось, что Костю выписывают из больницы, а он слаб и за ним некому ухаживать. Нужно, чтобы его оставили. Я попытался уладить это через помощника Георгия Маркова, тот звонил, но ничего не получилось. И тут меня осенило: Расул! Он, к счастью, находился в Москве, одного его звонка главному врачу оказалось достаточно.

Через некоторое время позвонил Костя — поблагодарить. Меня не было дома, он долго говорил с Инной, они же были однокурсниками. Она спросила, где его стихи. Он не был уверен, что они собраны. Тогда она взяла с него слово, что он запишет их на магнитофон. Он обещал твердо и незадолго до конца сделал это. Он прочел их все наизусть, — уже одно это подтверждает, что они истинные.

В последний момент его все же вытолкнули из больницы. Он умер дома. Когда его хоронили, нас не было в городе. На поминках звучала та пленка.

Ее расшифровали, получилась рукопись. Я составил письмо директору издательства, его вместе со мной подписали тот же Гамзатов, Евгений Винокуров и Владимир Соколов. Все они прекрасно знали Костю. Я написал и внутреннюю рецензию. Книжка вышла. Ряд стихотворений напечатан друзьями в журналах.

Хочу засвидетельствовать: те воспоминания о его стихах, те давние оценки их оказались верными. Время только подтвердило это. Мало кто писал тогда так. Другие его сверстники лишь впоследствии пришли к такому уровню — и стиха, и взгляда, и понимания, собственного, самостоятельного. Ему присуща глубоко патриотическая позиция:

...Где шла моя большая Родина
Твою судьбу спасать, Европа,
Ты сосчитала ль — сколько рот она
В твоих оставила окопах?!

Так пусть вовек не забывается,
Ни за какою сединою,
Тот час, тот бой, что называется
Отечественною войною.

Это написано как раз в сорок девятом.
«Печален и прекрасен мир» — говорит поэт. И далее:

Еще не все в нем безупречно,
Но тем хорош наш белый свет,
Что он отныне и навечно —
Свет, а не суета сует.

Очень хороши, психологически точны стихи о женщинах, прошедших сквозь его жизнь. Нежность, благодарность, сострадание — побудительные мотивы интимной лирики К. Левина. Стихи откровенные, серьезные, с иронией, направленной главным образом против себя.

Прямодушие, бесхитростность, взгляд в упор характеризуют поэта. Он бесстрашно, почти бесстрастно говорит о своей смертельной болезни, о близком конце.

Сила жизни, беспечность, серьезность, самоирония — всё вместе — помогали ему держаться. И, конечно, его стихи — стихи истинного, своеобразного, мужественного поэта.

Одно стихотворение мне хочется привести полностью. Называется оно «Памяти Фадеева».

Фадеев был фигурой сложной и неоднозначной, как и время, в котором он жил и действовал. Опубликованы заметки К. Симонова «Глазами человека моего поколения», где немало места уделено Фадееву, легко уживавшимся в нем прямоте и коварству. Достаточно вспомнить историю с публикацией в «Новом мире» рассказа Андрея Платонова. По другому поводу Симонов говорит «...о том литературном политиканстве, которое иногда, как лихорадка, судорожно овладевало Фадеевым, вопреки всему тому главному, здоровому и честному отношению к литературе, что составляло истинную его сущность».

И стихи Константина Левина о Фадееве — это честные, глубокие, очень человечные стихи:

Я не любил писателя Фадеева,
Статей его, идей его, людей его,
И твердо знал, за что их не любил.
Но вот он взял наган, но вот он выстрелил —
Тем к святости тропу себе не выстелил,
Лишь стал отныне не таким, как был.
Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,

Был выученным на кнуте и прянике,
Знакомым с мужеством, не чуждым панике,
Зубами скрежетавшим по ночам.
А по утрам крамолушку выискивал,
Кого-то миловал, с кого-то взыскивал.
Но много-много выстрелом тем высказал,
О чем в своих обзорах умолчал.
Он думал: «Снова дело начинается».
Ошибся он, но, как в галлюцинации,
Вставал пред ним весь путь его наверх.
А выход есть. Увы, к нему касательство
Давно имеет русское писательство:
Решишься — и отмаешься навек.
О, если бы рвануть ту сталь гремящую
Из рук его, чтоб с белою гримасою
Не встал он тяжело из-за стола.
Ведь был он лучше многих остающихся,
Невыдающихся и выдающихся,
Равно далеких от высокой участи
Взглянуть в канал короткого ствола.

У каждого поэта — своя судьба. Даже у поэтов, близких друг другу, людей одного поколения, схожей биографии. Это естественно. Но и при всем том литературная судьба Константина Левина совершенно уникальна.

Цырен-Базар Бадмаев

В нашем действительно разноплеменном институте со мною на курсе учились среди прочих два бурята: Цыден-Жап Жимбиев и Цырен-Базар Бадмаев. Жимбиев — самый юный: маленький, трогательный, наивный. У него сразу же установились буквально со всеми замечательные отношения. Мы и сейчас дружим. Дружат и наши дочери-художницы: его — керамистка, моя — график.

Бадмаев появился на курсе не сразу, через год или два. Тем, кто не мог запомнить его имя — Цырен-Базар, он снисходительно советовал:

— А ты зови меня: Центральный рынок.

Он был крупный, медлительный, исполненный достоинства. Настоящий кочевник. Легко, по его словам, мог съесть за один раз полпуда вареной баранины.

После института я видел Цыден-Жапа гораздо чаще. А Цырен как-то прислал мне письмо, где сообщал, что покинул Улан-Удэ, живет со стариком-отцом в Читинской области, в степном Забайкалье, пасет скот и находит в этом удовлетворение. Он сообщал мне также, что в Москве у него готовится книжка, что он написал за последнее время «голов двадцать стихотворений», как он выразился, и просит меня перевести их. Подстрочники он пришлет позже. Я ответил ему, что давно уже, с тех пор как начал писать и прозу, перестал переводить и не могу сделать исключения даже для него, ибо остальные друзья, которые уже смирились, тоже этого потребуют.

Потом я получил от него мелкоисписанную открытку, где он поздравлял меня с Новым годом.

...«дай бог тебе здоровья и твоим тоже. Желаю этого как истый буддист. Получил твое письмо, не отвечал не потому, что ты не захотел перевести мои стихи, просто у меня не было времени, сил моральных и физических, ведь я ухаживал здесь за больным отцом (92 лет), который недавно умер. Я его тело предал огню, как он сам настоятельно просил раньше, и теперь по истечении 49 дней, когда душа его найдет следующее перерождение, я уеду отсюда к себе в Улан-Удэ. Недавно только я сам встал с постели, ибо в последние дни жизни отца я не спал сутками, ослаб. А когда сжигал его тело на большом костре в открытой степи, продрог и схватил грипп. Вот и исполнил сыновний долг.

Костя! Ты все равно не уйдешь от меня, ты переведешь одно-единственное стихотворение и подпишешь «В. Константинов». А подстрочник пришлю после Нового года. Я молюсь за тебя. Что пишешь? Черкни пару строк. Ц. Бадмаев».

Так и вижу вьюжную лютую степь и костер в ее неохватном просторе.

Теперь нет уже и самого Цырен-Базара Бадмаева.

Б. Балтер и О. Генри

В студенческие времена мой однокашник Борис Балтер сказал в компании по поводу какой-то неожиданности, что это похоже на рассказы Отто Генри.

Мы были курсе на втором, от силы на третьем.

Одни не обратили внимания, другие слегка удивились, я же спросил:

— А почему ты его называешь Отто?..

Боря, сделав ударение на первой букве, наставительно разъяснил:

— О. Генри! Отто! А кто же еще?..

— А, может быть, Оноре? — не согласился я. — Или Оливер, Огюст, Орест?..

Трудно передать выражение ошеломленности, застывшее на его лице.

Чтобы как-то снять напряжение, я добавил:

— Олег, Отар...

Обладатели двух последних имен с нами учились.

Силен был Боря в своей решительности, — командир полка. Однако этот казус заставил меня заглянуть в энциклопедию. Настоящее имя писателя О. Генри было — Уильям Сидни Портер.

А про знаменитого английского футболиста Бобби Чарльтона Балтер много лет спустя сказал одному нашему критику:

— Он напоминает мне Ромена Роллана...

Тот бурно изумился:

— Но почему?

Выяснилось, что Боря имел в виду Ролана Быкова.

Вася Федоров и «Мертвые души»

Я как-то случайно обнаружил, что мой однокашник по Литинституту Вася Федоров не читал «Мертвых душ».

Встречаю его однажды и говорю:

— Привет, иностранец Василий Федоров!..

Он очень удивился:

— Почему иностранец?

А между тем в первой же главе Павел Иванович Чичиков, осматривая губернский город, куда недавно прибыл, среди прочего наблюдательно отметил... «магазин с картузами, фуражками и надписью: “Иностранец Василий Федоров”»...

Конечно, подобная мелочь быстро забывается читателем, но не в том случае, когда фигурируют его собственные имя и фамилия.

Тут уж, согласитесь, не забудешь.

Бушин и Новицкий

После войны в Литературном институте читал лекции профессор Павел Иванович Новицкий. Старый большевик и одновременно интеллигент, театрал, друг вахтанговцев. Он

вел спецкурс по советской литературе и отдельно по Маяковскому.

У него был глубокий, низкий, богатый интонациями голос, отчетливо слышный даже из коридора. Полуседые прямые волосы падали на лоб.

Были времена борьбы с космополитизмом, эстетством, низкопоклонством и прочими тогдашними опасностями.

Шло партийное собрание. На трибуне студент Владимир Бушин. Он говорил о бдительности и о том, что у нас она не на должной высоте. На кафедре марксизма-ленинизма, говорил он, висит портрет Ленина. Но это не портрет Ильича. Это портрет артиста Штрауха в гриме Ленина. Вот до чего может доходить близорукость.

И вдруг из зала раздался хорошо поставленный бас Новицкого:

— Вы это говорите потому, что думаете, будто Штраух еврей. А Штраух — не еврей.

Бушин сбился, растерялся.

— Нет, — ответил он, — я говорю не потому, что так думаю. — Он помолчал и спросил Новицкого: — А что, Штраух действительно не еврей?

Зал, как говорится, лег.

Телеграмма Хрущеву

Шестьдесят второй год. Карибский кризис.

Хрущев спроста решил разместить советские ракеты под самым американским берегом. Что из этого получилось — известно.

Но энтузиазм был большой, и не только у нас. Молодые кубинские бородачи понравились многим. Я встречался тогда с итальянскими учеными, они были от Кастро в восторге.

Сидели мы в нашем писательском ресторане, ужинали. Оказались за одним столом случайно, но знали-то друг друга хорошо — учились вместе. Солоухин, прекрасный грузинский поэт Отар Челидзе, мы с Инной Гофф и, кажется, Винокуров. Был еще и Евтушенко — следующее вплотную поколение.

Выпили изрядно. И не помню, кому первому пришла эта идея, ибо она тут же стала общей, как прежде говорили, овладела массами:

— А давайте запишемся добровольцами — защищать кубинскую революцию!

Выпили еще, за успех нашего дела, и отправились дружно в соседнее почтовое отделение Г-69 по улице Воровского. Солоухин заполнял телеграфный бланк, остальные подсказывали. «Дорогой Никита Сергеевич»... Вариантов было много, он вставлял, зачеркивал. Инну, как женщину, не включили, оставили у очага.

Наконец подали бланк в окошко.

— А намарали-то! — сказала приемщица.

— Вы посмотрите — кому! — бросил в нее свое оканье Солоухин.

Она небрежно ответствовала:

— Да вижу, вижу...

Наутро с претензиями к Инне позвонила Роза Солоухина, жена Володи:

— Ну, они пьяные дураки, но ты-то как могла допустить, у нас же дети!

Инна ответила:

— Ты не понимаешь — у них порыв.

На другой день добровольцы собрались у нас: Инна пригласила по их просьбе. Евтушенко, как вы понимаете, несколько опоздал. У него было выступление.

Сидели долго, разговаривали уже как единомышленники. Смеялись. Солоухин сказал:

— А давайте еще одну телеграмму пошлем: «Никита Сергеич, мы пошутили».

Через несколько дней состоялось писательское собрание, на какую-то совсем другую тему. В этой толчее обычно общаешься с множеством людей. Но запомнились два разговора.

Тогдашний секретарь парткома Матвей Крючкин подошел в перерыве ко мне (мы подписывали телеграмму по алфавиту, и я оказался первым) и сообщил, что *там* (палец вверх!) одобрили наш патриотический шаг, но просили передать, что *пока* в этом нет необходимости.

И еще подбежала Юлька Друнина с жутким возмущением: как мы могли забыть о ней!

А на Кубу чуть позже поехал один Евтушенко. Как говорится, по своим каналам. Он встречался с Фиделем и написал об этом много-много стихов.

Железные ворота

Когда я поступил в Литературный институт, на первом же «Вечере встречи и знакомства» меня поразил плотный морячок, который, засучив рукава, читал энергичные стихи о морском бое и о том, как идут вверх по Дунаю катера — через Железные ворота, еще через какие-то ворота — и все с экспрессией, с напором. В общем, произвел впечатление.

Дня два спустя он отворил дверь в наше общежитие, где вместе со мной жили еще двое флотских ребят, моих дорогих друзей в скором времени.

Морячок — он был на третьем курсе, — держался крайне уверенно, по-хозяйски. Они начали обсуждать — кто служил на каком флоте, а тот стал рассказывать, уже не стихами, как он шел на катерах по Дунаю, через Железные ворота, вверх, вверх, еще через какие-то ворота...

Я спросил:

— Это что, Дунайская флотилия? Морячки в валенках с галошами? Я с ними встречался в Будапеште. Мы их еще там били...

Я стоял посредине комнаты. Он бросился ко мне и схватил меня за горло. Сперва я подумал, что он шутит, но он продолжал давить. Тогда пришлось вспомнить прием: «выдавливание глаза большим пальцем руки». Спасибо, помкомвзвод научил. Конечно, окривить я его не хотел, только так, обозначил. Он тут же отпустил меня, без охоты сделал вид, что снова хочет кинуться, но ребята опомнились и не дали.

К его чести, он перенес это как ни в чем не бывало. Часто хлопал меня по плечу и говорил:

— Здорово, Котя!..

И, как пишут в романах, прошло много-много лет. А точнее — шестнадцать. В начале мая я прилетел на две недели в Крым, погреться после воспаления легких, но неудачно: на второй день начались дожди и уже не кончались.

В ялтинском писательском доме я встретил его и еще нескольких приятелей. Все они ежились от сырости и жаловались на погоду.

Наступило Девятое, и мы, человека четыре, собрались у меня в комнате, благо я позаботился о кое-каких припасах, и под шорох заоконного дождя начали, как это всегда бывает со старыми вояками, вспоминать — где мы были *тогда* в этот день, или чуть раньше, или чуть позже.

И он сказал:

— А мы шли на катерах вверх по Дунаю. Через Железные ворота, еще через какие-то ворота, вверх, вверх...

И я спросил:

— Это что, Дунайская флотилия? Морячки в валенках с галошами? Я с ними встречался в Будапеште. Мы их еще там били...

Он помолчал и вздохнул:

— Старик, до Будапешта я не дошел...

Ранжир

Один наш стихотворец, человек тогда еще относительно молодой, с горячностью крикнул при мне своему собеседнику:

— Да как вы смеете так со мной разговаривать! Я — пятый поэт России!..

На другой день я попросил его, остывшего, разъяснить, что сие означает. Он очень удивился моей неосведомленности и наивности.

— Первый, — сказал он, — Пастернак, второй — Твардовский, третий — Смеляков, четвертый — Заболоцкий, пятый — я...

— А Ахматова?

— Ахматова — шестая, — ответил он не задумываясь и, перекинув через плечо полотенце, прошествовал на пляж.

Все они были тогда еще живы, но не подозревали, как он расположил их на своем плацу.

ТВАРДОВСКИЙ

На совещании молодых

Я был участником Второго совещания молодых писателей, в 1951 году. Семинаром, куда я попал, руководили С. Гудзенко, А. Межиров и еще, на всякий случай, поэт постарше, поопытней — Н. Сидоренко. Дело в том, что те двое, по сути наши сверстники, сами еще ходили в молодых. (Впрочем, начиная со следующего совещания мы тоже уже были зачислены в учителя.)

Мы с утра собирались в ЦК ВЛКСМ, каждый семинар в своей комнате, и приступали к работе, строго и основательно разбирая стихи друг друга. Было нас человек десять, из разных мест и концов; я и еще двое-трое учились в Литинституте, творческие семинары на весьма высоком уровне являлись для нас делом привычным, но здесь нам тоже было интересно — обсуждались не только наши новые, текущие стихи, но как бы избранное, написанное нами рассматривалось более концентрированно, «в целом».

Вообще считаю наиболее удачным вариантом для художника, когда его, молодого, принимают хорошо, но не взахлеб, не безоговорочно. В первом случае есть возможность для спокойной, серьезной работы. Второй — может выбить из седла еще не успевшего как следует приноровиться всадника. Такое случалось наблюдать неоднократно.

Исключительно по-деловому, предельно добросовестно подходили к нам руководители — Гудзенко, красивый, с темными, сросшимися у переносья бровями, очень решительный; Межиров, чуть заикающийся, настроенный несколько отвлеченно, мечтательно, беспрерывно что-нибудь цитирующий; и уже седой Сидоренко, самый конкретный, увлеченный дотошным разбором наших строф и строчек.

Однажды на вечернем занятии, когда за окнами было темно, летел мокрый снег и мы неторопливо приступили к обсуждению очередного поэта, вернее, едва поэт начал читать стихи, — отворилась дверь и вошел Твардовский.

Нужно сказать, что наиболее маститые писатели на Втором совещании сами не руководили семинарами, но принимали участие скорее в роли наблюдателей, как теперь принято говорить, курировали.

Он вошел, поздоровался и сел возле двери. Мне показалось на миг, что у него слегка растерянный вид, если это состояние вообще может быть отнесено к Твардовскому. Но все-таки было короткое ощущение, что он словно бы попал не туда, а обнаружить это сразу неловко.

Поэт, которого обсуждали, остановился, смешался.

— Читайте, читайте, — деловито подбодрил его Гудзенко, подчеркивая, что в таком посещении нет ничего необычного, и тот продолжал. Но я его уже не слышал.

Передо мной сидел сорокалетний Твардовский. Тогда мне казалось, что сорок — это очень много. Ведь он написал уже не только «Страну Муравию», но и «Теркина», и «Дом у дороги». Он написал «Я убит подо Ржевом», и «В тот день, когда окончилась война», и «Две строчки», и многие другие шедевры лирики. Лишь по недоразумению, по незнанию, по непреодолимой потребности давать каждому явлению определенное и только одно наименование многие считают его чистым эпиком.

Он написал еще не все (не было «За далью — даль» и многого другого), однако, забегая вперед, замечу, что через несколько лет, когда мне исполнилось тридцать, он сказал мне, что главное десятилетие художника, и в особенности поэта, — от тридцати до сорока. То есть проявляется пишущий стихи, разумеется, раньше, но за этот отрезок нужно постараться сделать многое, важное, основное. Это костяк, ядро жизни и творчества. На меня эти его слова произвели сильнейшее впечатление.

Конечно, я видел Твардовского и прежде, и не раз, — на поэтических вечерах, на пятидесятилетии М. В. Исаковского или просто встречал на улице (он жил тогда поблизости от нашего института), — и всегда испытывал истинную радость. Но впервые он сидел в шаге от меня.

На нем был темный костюм, голубоватая рубашка под галстуком, грубые, на толстой подошве, ботинки, скорее башмаки, какие тогда носили (время отказа от калош).

Его лежащие на коленях руки были крупны, широкопалы, лицо непроницаемо. Он был все-таки чем-то озабочен и слушал невнимательно.

И точно, вдруг он поднялся и, извинившись, сказал негромко, с достоинством:

— Я обещал привести к вам Самуила Яковлевича. Ему очень хотелось. Если можно, сделайте, пожалуйста, минут на десять перерыв, я за ним схожу...

Гудзенко великодушно согласился, и Твардовский ушел.

Все были возбуждены, поднялись, курящие задымили, повалили в коридор. Все втайне завидовали обсуждаемому поэту.

Прошло минут двадцать, руководители уже переглядывались: не вернется? — и тут они появились.

Маршак был настроен по-боевому.

— Давайте, давайте послушаем, — тяжело дыша, произнес он своим быстрым говорком и сел рядом с Твардовским, примостив меж колен палку. Вероятно, они недавно вместе пообедали и теперь пребывали в состоянии, которое позднее Твардовский определил строчкой: «полны взаимного добра».

Поэт начал снова. Он разложил на маленьком столике газеты и тонкие журналы со своими стихами и зачитывал их.

— А на память вы можете? — скрывая подвох, спросил Твардовский.

— Нет, — простодушно ответил тот.

— Ага, все понятно, — многозначительно кивнул Маршаку Александр Трифонович.

Впоследствии я еще не раз слышал от него, что это первый и очень верный признак: если не помнят свои стихи наизусть, значит, они не настоящие, не органичные.

Действительно, поэту ведь не нужно заучивать, затверживать их, они запоминаются сами собой, составляя часть его жизни. Началось обсуждение, и Маршак сразу же сделал фактическое замечание, не помню уже, какое точно, но по поводу упоминавшегося в стихотворении пистолета. И то, что оно было специфически военное, доказывающее, что Маршак понимает не только в стихах, очень обрадовало Твардовского.

Я умышленно не называю фамилии поэта, потому что в дальнейшем он стал работать совсем по-иному и добился серьезных успехов.

Выступил кто-то из наших, затем Гудзенко подвел итоги и объявил перерыв. Высокие гости поднялись и попрощались.

И тут Межиров, по наущению Винокурова, обратился от имени семинара к Маршаку с просьбой прослушать и остальных — по одному стихотворению, по кругу.

Они поколебались, но делать было нечего и пришлось, хотя и с некоторой неохотой, вернуться.

Первым, как инициатор, читал Винокуров. Он прочел свое тогда лучшее стихотворение «Гамлет» — о ефрейторе Дядине «со множеством веснушек на лице», игравшем в полковой самодеятельности Гамлета и нравящемся автору стихов больше всех других исполнителей этой роли, так как «с нашим вместе мерзли мы, и мокли, и запросто сидели у костра».

В Литературном институте и на теперешнем семинаре стихотворение котировалось высоко.

А они прослушали очень внимательно, и Маршак спросил:

— Это что же, голубчик, сатира?

— Почему сатира? — изумился Винокуров. — Может быть, вы думаете, юмор?

— А что, юмор?

Твардовский загадочно посмеивался.

Я понял: мой друг Винокуров опрометчиво выбрал для чтения именно то, что читать им никак не следовало. Для Маршака Гамлет значил слишком много, чтобы его упоминать в связи с каким-то ефрейтором, а Твардовскому эта коллизия показалась явно надуманной, книжной.

Но автор их заинтересовал, они попросили прочесть еще. Он прочитал стихотворение о солдате, идущем «мимо длинных, длинных, длинных сел», и Твардовский уже задумчиво кивал в лад.

Теперь оба его похвалили.

Снова задумчиво кивал сам себе Твардовский, когда я читал стихотворение «Бывший ротный». Спросил, напечатано ли. Жаль, можно было бы и в «Новом мире».

Я, тоже по их просьбе, прочел второе — хотел написанного незадолго перед этим «Мальчишку», но не решился и выбрал о солдате — «Снегопад». (А «Мальчишку» я впервые прочел в конце Совещания, на большом вечере одного стихотворения, и он тут же был принят в «Новый мир».)

Потом они восхищались стихотворением Сергея Мушника «Чоботы», и Твардовский сокрушался:

— Нет, это не переведут, все пропадет. Хоть на украинском печатай!..

Они стали расспрашивать, кто мы и откуда, очень удивились, что из Литературного института.

— Из нашего Литинститута?

Другие тоже заслужили похвалу, некоторые были приглашены сотрудничать в журнале, кое-кто этим приглашением вскоре воспользовался. А о нас троих Твардовский упомянул в своем выступлении на общем заседании, сказал, что был удивлен встречей с нами, назвал новыми поэтами. Об этом приятно вспомнить, хотя в напечатанной «по сокращенной стенограмме» речи А. Т. Твардовского не оказалось наших имен. Они, видимо, выпали в процессе сокращения. Вероятно, дежурный редактор или кто-то еще посчитал такую «конкретизацию» непедагогичной, просто преждевременной, не пожелав понять, насколько она важна для писателя, особенно в молодости.

Александр Трифонович

Знакомство и общение с ним — одна из самых ярких радостей моей литературной жизни.

Никому — ни из сверстников, ни из старших поэтов-мэтров, ни из редакторов — не показывал я свои стихи с таким волнением, с таким душевным трепетом, — и это чувство ничуть не потускнело с годами.

Ничье отрицательное суждение не обдавало меня такой горечью, ничья похвала не наполняла таким счастьем.

Всякая встреча и разговор с ним оставляли ощущение значительности, важности произошедшего с тобой. Появлялось острое, как никогда, желание работать, что-то сделать, — и не просто, а на пределе своих возможностей, даже выше предела, открыть в себе что-то новое, верить в себя.

Я был настолько покорён, завоеван им, что не сумел оценить того, что живу в одно время с Пастернаком и Ахматовой, не познакомился с ними, даже не сделал попытки. Когда я сказал к слову, что не знаком с Пастернаком, Твардовский ответил веско: «Немного потеряли».

Думаю, что немало.

Однако позднее, в одной из своих статей, он сам назвал Пастернака «по-своему замечательным поэтом».

Сила обаяния и воздействия его личности и таланта была столь велика, убедительна, что его литературные противники, если бы только он пожелал, стали бы его верными союзниками, еще почли бы это за честь (многие из них, как мне кажется, в глубине души мечтали об этом).

Люди, работавшие и сотрудничавшие с ним, в большинстве

своем становились лучше, справедливее, человечней, всем своим обликом, поведением и делом невольно старались заслужить его одобрение.

Я не раз писал о его поэзии, чрезвычайно близкой мне, — одна работа («Перечитывая Твардовского») довольно велика. Сейчас я больше хочу сказать о нем, — это штрихи его портрета, его характера.

Мимоходная точность суждений.

С. С. Смирнову (тогдашнему руководителю Московской писательской организации):

— На длинной машине ездишь?..

(То есть на «ЗИМе» или «ЗИЛе», бывших только в служебном пользовании.)

Мне — глядя, как я причесываюсь у него в передней — о моих, тогда лишь слегка, как мне казалось, поредевших кудрях:

— Ну, это только для себя осталось...

Объяснение, что такое состояние запоя:

— Хмелек за хмелек цепляется...

На мой вопрос, написал ли он что-нибудь в Коктебеле, — с усмешкой:

— Жарко было. А мне, чтобы стихи писать, нужно штаны и рубашку надеть. Иначе я не могу.

Рассказывая о поездке, вместе с Э. Казакевичем и М. Лукониным, в Сибирь и на Дальний Восток (оттуда началась «За далью — даль»), он восхищался сложением Луконина. Когда проезжали над самым Байкалом, спросил, что́ Миша будет делать, если поезд упадет в воду. «Стекло выдавлю, — беспечно ответил тот, — и раму».

— И выдавит! — с удовольствием подтверждал Твардовский. — Здоровый парень!..

Я передал это Луконину, желая доставить ему удовольствие, но он заметил весьма кисло:

— Лучше бы сказал, какой я поэт. А то — «здоровый парень»!

А ведь немалая похвала в его устах. Потому что больше всего он ценил удаль, веселость, естественность.

Я не раз слыхал, как он говорил «ты» (и, разумеется, они ему) Исаковскому, Тарасенкову, Луконину и другим друзьям и товарищам, старше, моложе его или ровесникам. Но он никогда не обращался на «ты» к тем, с кем на «ты» не был, как у нас порой водится. Не желал, чтобы ему отвечали тем же, исключал самую возможность подобного казуса.

Иные старшие писатели обращаются к младшим на «вы», но только по имени. Разумеется, здесь нет ничего худого, если тех это устраивает. Но он никогда и этого не делал. Лишь раза два за все годы знакомства в долгом застолье назвал меня Костей.

В нем, и внутренне и внешне, очень ярко проявлялось чувство достоинства.

Когда-то он мне сделал потрясающее предложение:

— Все, что напишете, приносите мне. А то, что я не возьму, вы сможете продать в другое место...

Мне кажется (теперь!), что это слово «продать» он употребил, чтобы указать на деловую сущность приглашения и чтобы я поскорее пришел в себя.

И я приносил.

Он, не торопясь, надевал очки, закуривал, брал карандаш. У меня замирало сердце. В те несколько минут, пока он читал, никогда нельзя было угадать приговора, и всякий раз мне казалось, что речь пойдет не о том, напечатает ли он то или иное стихотворение, а что вообще решается моя судьба.

Он немало принял моих стихов, но многое и отверг.

Я отметил любопытное его свойство: когда стихотворение ему не нравилось, он часто не просто откладывал его, но, вероятно стараясь выглядеть особенно убедительным, начинал искать слабости не там, где они были на самом деле.

Так, критикуя одно мое действительно слабое стихотворение о стройке, он сказал:

— Почему вы пишете: «кафель»? Есть слово «кафля».

— Да, — согласился я, — но «кафель» тоже есть.

Твардовский наличие такого слова отрицал.

— Ну что вы, Александр Трифонович! — волновался я. — Посмотрите в словаре.

Он глянул на меня с некоторым удивлением:

— Я словарями никогда не пользуюсь.

Я был почти добит, но еще слабо сопротивлялся, и он великодушно предложил:

— Хорошо, спросим у ученого человека, — и позвал: — Борис Германович!

Появившийся из соседнего кабинета в качестве арбитра ответственный секретарь «Нового мира» Б. Г. Закс произнес весьма остроумную краткую речь, из которой явствовало, что хотя слово такое и есть, но прав Александр Трифонович.

В том же стихотворении у меня было — о рабочем:

Пьет молоко из горлышка бутылки, —
В другой руке надкушенный батон.

— Ну хорошо, — сказал Твардовский устало, но терпеливо, — зачем вы употребляете французское слово «батон», когда есть прекрасное русское слово «булка»? И вообще, батон бывает не только хлебный, есть шоколадный батон и еще другие. Неточно!..

Я пробормотал, что здесь понятно, какой батон, и что это слово давно, по моему разумению, укоренилось в русском языке, но я уже сдался. Тем более что стихотворение не стоило того, чтобы пытаться его отстаивать.

Лишь через несколько лет, листая этимологический словарь Преображенского, я случайно наткнулся на слово «булка» и узнал, что оно тоже иностранного происхождения.

Но большинство его замечаний отличалось исключительной точностью суждения и вкуса. Он не терпел неопределенности, всяческой приблизительности, случайности.

Как-то, среди прочих, я принес стихотворение «Весенняя природа». Он начал читать:

О, первые весенние мазки,
Природы ученическая робость!
Разрозненные пробные листки, —
От пышных рощ их отделяет пропасть.
Удаче каждой радуется глаз.
Вот куст зацвел — и нет его дороже...

Он остановился и спросил:

— Какой куст?

Я был готов к этому вопросу:

— Не важно какой. Я специально не уточняю. Ведь здесь дело совсем в другом...

По правде говоря, мне очень хотелось, чтобы было слово «вот», как бы указывающее на этот злополучный куст — «Вот куст зацвел...»

Он поморщился, отложил листок и сказал:

— Нет, вы уж мне объясните, что за куст. Конечно, если можете.

Через несколько дней я принес эти стихи с отремонтированной строчкой:

Зацвел орешник — нет его дороже...

Он снисходительно усмехнулся:

— Ну ладно...

Так оно и пошло, и перепечатывалось с тех пор много раз.

Дважды он сам, без меня, исправлял всего по одному слову. Я принес стихи, он был в отъезде и прочел их уже в верстке.

Заведовавшая отделом поэзии С. Г. Караганова, встретив меня, сказала:

— Все в порядке. Александр Трифонович заменил у вас одно слово. Я не помню — где, но очень хорошо.

А я сразу понял — какое, но не догадался — каким. Там было стихотворение «Дом», и в нем четверостишье:

Не диван, не кровать,
Не обоев краски.
Нужно дом создавать
С верности и ласки.

Мне не нравилось слово «создавать», звучащее здесь как-то казенно и выспренне. Я поставил — «затевать», но оно тоже было в данном случае не мое и коробило едва уловимым оттенком лихости, развязности. Я оставил «создавать».

А он зачеркнул и написал — «начинать».

Нужно дом начинать
С верности и ласки.

Насколько лучше! Так и печатается.

Еще в моей первой прозе, в «Армейской юности», за кото-

рую я взялся благодаря ему, он переправил одно слово: «яловичные» (вместо «яловые») сапоги. Конечно, правильней, хотя в армии говорили именно «яловые».

Поэту такой силы, широты и разнообразия, ему, как ни странно, было свойственно некоторое предубеждение против стихов о любви. Вероятно, это едва ли не уникальный случай — отсутствие интимной лирики у поэта такого масштаба. Как редактор он иногда печатал стихи о любви, но большей частью старался от них отделаться.

Приношу стихотворение.

Меж бровями складка.
Шарфик голубой.
Трепетно и сладко
Быть всегда с тобой.

В час обыкновенный,
Посредине дня,
Вдруг пронзит мгновенной
Радостью меня.

Или ночью синей
Вдруг проснусь в тиши
От необъяснимой
Нежности души.

Он сразу отчеркивает первую строфу, закуривает, долго кашляет и говорит, еще сквозь кашель:

— Вместо этого что-нибудь бы другое. Дальше — неплохо, но очень уж коротко, куцо.

(Короткие стихи он тоже не жалует.)

Я вижу, как неохота ему обсуждать эти стихи, они ему неинтересны, он устал. Но все же он протягивает листок вошедшему в большой кабинет своему заместителю А. И. Кондратовичу:

— Посмотрите.

Тот пробегает глазами и произносит бодро:

— Слишком лично.

Александр Трифонович смотрит на меня с веселой удовлетворенностью:

— Вот видите!

А я, сдерживая улыбку, думаю: «Милый Алексей Иванович, предоставьте уж это ему»...

Несмотря на то что у него самого есть совершенно замечательные короткие стихотворения, он душой не принимает миниатюру, недолюбливает, она его не удовлетворяет до конца.

Не раз он говорил:

— Ну, что это у вас, кусочек чего-то, отрывок? Нужно продолжить, развить... В стихах должно что-то происходить.

— Ну как же, — иногда спорил я, — а вся русская лирика? «Я вас любил... Как дай вам Бог любимой быть другим...» Это тоже нужно продолжить?

— А что же, — не смущаясь, с той серьезной уверенностью, с той свойственной ему колоссальной, покоряющей убежденностью отвечал он. — Можно и эти стихи воспринять лишь как начало и развить в длинное стихотворение. Там еще многое можно сказать...

— И «Пора, мой друг, пора!..»?

Он весело глянул на меня:

— И это.

Самое удивительное, что позднее я прочитал в примечаниях к этому пушкинскому шедевру:

«Текст стихотворения сопровожден планом его завершения: «Юность не имеет нужды в at home*, зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен, кто находит подругу, — тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поле, сад, крестьяне, книги; труды поэтические — семья, любовь, религия, смерть».

Таким образом Пушкин собирался продолжать это стихотворение!

Я пишу это в конце лета, на берегу Рижского залива, под ровный шум моря и сосен.

По дороге сюда я проснулся среди ночи в вагоне. Поезд стоял на какой-то станции, была гроза, молнии сквозь неплотную занавеску освещали купе. А на вокзале что-то объявляли по радио, и вдруг я понял, что это Ржев. Я совсем забыл, что мы должны проезжать мимо. И первое, что возникло, — «Я убит подо Ржевом».

Это великое стихотворение настолько связано в нашем со-

*В своем доме *(англ.)*.

знании с этим городом, с этим названием, что уже составляет как бы часть его, часть его славы. Город Ржев знаменит и этим стихотворением, как может быть город знаменит выдающимся человеком или стариннейшим собором.

Поезд уже шел вовсю, заглушая грозу, а в голове моей стучало:

Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте,
На левом,
При жестоком налете...

И дальше, — сильнее, чем блоковское «Похоронят, зароют глубоко»!

Я — где корни слепые
Ищут корма во тьме;
Я — где с облачком пыли
Ходит рожь на холме;

Я — где крик петушиный
На заре по росе;
Я — где ваши машины
Воздух рвут на шоссе...

На этом месте у меня всегда перехватывает горло.

Из записей о нем

В июле 1972 года, за городом, приснилось жаркой дымной ночью, что умирает Твардовский, ничего нельзя уже сделать. Долгий, тягостный сон. Очнувшись, я, конечно, вспомнил, что это уже произошло, но пробуждение не принесло облегчения. Я испытал повторную горечь утраты.

Почти за двадцать лет до своей кончины Александр Твардовский написал:

Но речь о том, что неизбежный час,
Как мне расстаться — малой части — с целым,

Как этот мир мне потерять из глаз, —
Не может быть моим лишь частным делом.

Я полагаю, что и мой уход,
Назначенный на завтра иль на старость,
Живых друзей участье призовет —
И я один со смертью не останусь.

Эти строки оказались пророческими. Поэт не остался «один со смертью», его уход стал «частным делом» миллионов сердец, воспринявших его как личную глубокую потерю.

После его смерти эпитет *великий* прибавляется к его имени с совершенной естественностью.

Хочется сказать о счастье общения с ним и пожалеть тех, кого оно не коснулось. Это была удивительная личность огромного охвата, масштаба, ума, при некоторой суровости, как мне казалось порою, чуть-чуть напускной. Приятно было видеть его лицо, слышать его голос, своеобразный, слегка белорусский, что ли. Он говорил: «изяшно». А какой он был собеседник, рассказчик! С какой живостью и подробностями он говорил о детстве, о деревне, о тонкостях печного или кузнечного ремесла. Это было так же сочно, как и в его стихах. «И прикуривает, черт, от клещей горячих».

У него было такое качество: о чем бы он ни рассказывал, всё приобретало характер значительности. Однажды, помню, в перерыве какого-то заседания обедало нас несколько человек во главе с ним. Было начало лета, и только появились свежие огурчики. И вдруг он сказал:

— Знаете, какое было любимое лакомство в моем детстве? Огурцы с медом. — И спросил меня: — Пробовали?.. — Получив отрицательный ответ, он посмотрел на меня с некоторым сожалением и произнес задумчиво: — Слаще арбуза...

А ведь за этим действительно встает очень многое. Он вообще умел *сказать*. Я не встречал человека, который бы не слушал его, что называется, разинув рот. И в стихах он так умел поставить слово, так повернуть его, что это бывало как взрыв, поражало, — сохраняя полнейшую естественность.

* * *

Александр Трифонович говорил мне, что никогда не интересуется оформлением своих книг, не смотрит заранее эскизы, а встречается с работой художника только по выходе книги в свет.

Я спросил:

— А как же Верейский?

Он ответил:

— Это другое дело.

Когда Твардовский стал впервые главным редактором журнала, Маршак сказал ему, что человек часто портится, если сквозь его жизнь проходит множество людей, да еще судьба которых порою от него зависит, — и предостерег его. Рассказывая об этом, Александр Трифонович заметил:

— Как это верно!

Осенью 1965 года, в Риме, приглашенный в числе других поэтов почитать стихи в клубе нашего посольства, отказался:

— Давно стихов не пишу, — и когда Сурков сказал: — Прочтешь старые, — заметил назидательно (не вполне серьезно, конечно): — А читать старые стихи считаю безнравственным.

Вообще читал свои стихи прекрасно, но не любил выступать.

На вопрос одной из сотрудниц «Нового мира» (она сама мне об этом рассказывала), как ему понравился Рим, неожиданно раздражился:

— А почему вы не спрашивали, как мне показался Барнаул?

Как-то, не помню к чему, Александр Трифонович восхищенно начал читать мне пушкинское «Предчувствие». Но прочел только первые восемь строк, дальше — про любовь — не стал. Это было в его кабинете в «Новом мире», еще на улице Чехова.

Межиров сказал ему при мне, что Некрасов... эпигон Блока. То есть у Блока какие-то некрасовские черты сильнее, чем у самого Некрасова.

Твардовский некоторое время смотрел на него, а затем сказал проникновенно:

— Как же вам не совестно!

* * *

В 1958 году я напечатал заметки о нем и его творчестве — «Перечитывая Твардовского». Он отозвался о них с одобрением и сделал мне лишь одно замечание.

Там у меня, в частности, говорится об эпитетах: «Вспоминаю начало "Соловьиного сада"...» Речь идет об эпитетах Блока, а потом уже самого Твардовского.

Александр Трифонович сказал мне:

— Когда будете переиздавать, то после слов «Соловьиного сада» поставьте в скобочках — А. Блок...

И ведь как в воду смотрел. Некоторым поэтам и, что самое удивительное, одному очень крупному литературоведу показалось, что приводимые мною строки Блока:

Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине, —

принадлежат Твардовскому, раз они в статье о Твардовском приводятся без указания автора.

Когда-то у него дома, на Дорогомиловской набережной, я прочел ему несколько стихотворений (обычно он читал мои стихи сам, — как у нас профессионально принято говорить — глазами) и в их числе стихотворение «Женька» — о погибшей девушке-партизанке (впоследствии оно было положено на музыку и стало песней). Там есть строки:

В секрете была и в засаде.
Ее уважали в отряде.
Хотели представить к награде.

Он послушал и сказал неожиданно грустно:

— Хотели, да не представили...

Твардовский замечает: «Поразительно, что у молодой Ахматовой могли вырваться строки, звучащие так неожиданно и отдельно в ее строго ограниченном мире любовных переживаний и раздумий о поэтическом искусстве.

Ты знаешь, я томлюсь в неволе,
О смерти Господа моля.
Но все мне памятна до боли
Тверская скудная земля.

Журавль у ветхого колодца,
Над ним, как кипень, облака,
В полях скрипучие воротца,
И запах хлеба, и тоска.

И те неяркие просторы,
Где даже голос ветра слаб,
И осуждающие взоры
Спокойных загорелых баб.

Невозможно представить, кто из ее современников, кроме разве Блока и Цветаевой, мог почувствовать на себе эти "осуждающие взоры"...»

Замечу, в свою очередь: не перекликается ли с этим — хотя бы отчасти — смеляковское:

А я бочком и виновато
и спотыкаясь на ходу,
сквозь эти женские лопаты,
как сквозь шпицрутены, иду.

В телевизионной передаче «Кинопанорама» был сюжет, посвященный памяти ленинградского артиста Луспекаева. Воспроизводилась отснятая сценка из «Мертвых душ», где Луспекаев, играя Ноздрева, говорит вместо «в трех верстах от города стоял драгунский полк» — «в трех *километрах* от города...» Актер сыграл так жизненно и увлеченно, что ни он сам, ни его партнеры, тоже артисты высокого уровня (из театра, руководимого Товстоноговым), ни режиссер, ни редактор этого не заметили. Это очевидно, иначе был бы отснят лишний дубль. Рассказываю об этом в связи с тем, что даже Твардовский, восхищаясь стихами Бунина: «А какая изумительная энергия, краткость и «отрубающая» односложность выражения в балладе «Мушкет»:

Встал, жену убил,
Сонных зарубил своих малюток,

И пошел в Туретчину, и был
В Цареграде через сорок суток», —

не желает замечать, что «суток» не слишком здесь на месте, что это тоже более новое слово, хотя и понятно, что герой шел днем и ночью. Видимо, Бунин поставил это слово несколько сгоряча, что вообще-то на него не похоже.

Часто Твардовский бывал весел, разговорчив, общителен, и все-таки можно вспомнить его и тяжелым, мрачным. Глаза мутноватые. Проходит, не глядя по сторонам, ничего не замечая, — страшно подступиться, хотя еще вчера он был с тобой внимателен и мил.

Ф. Г. Каманин, старый писатель, в тридцатые годы часто и подолгу живавший в Смоленске, печатавшийся там и хорошо знавший Исаковского и Твардовского, рассказывал мне, как после войны он оказался в Москве — с семьей, но без денег и без прописки. И вот в момент уже критический решился зайти к Твардовскому. Тот встретил его радушно, начал угощать.

Каманин помялся и сказал:

— Саша, ты не мог бы мне одолжить рублей двести? Я тебе скоро отдам.

В это время вошла в комнату жена Твардовского, Мария Илларионовна, и он спросил:

— Маша, у нас найдется дома пятьсот рублей?..

Она этак голову повернула и отвечает с готовностью:

— Конечно.

Каманин растрогался и еще раз заверил:

— Ты, Саша, не думай, я отдам.

На что получил ответ:

— Я те дам «отдам».

Деньги по тем временам были, конечно, небольшие и вскоре кончились. Что делать? Решил Каманин пойти к Исаковскому, жившему поблизости, через улицу, наискосок. Приходит, а у того в кабинете лежит на диванчике Твардовский, — по выражению Каманина — «кверху пузом». Беседуют. Что делать? Неудобно. А Твардовский и говорит:

— Знаешь, Федя, ничего у тебя не выйдет. Теперь, чтобы в литературе пробиться, талант нужен. А где тебе его взять?

— Тут я обиделся, — рассказывает Каманин, — и говорю:

— Не беспокойся, Саша, пробьюсь, и талант найдется...

Твардовский засмеялся и сказал:

— Молодец! Вижу, что не пропадешь...

— И не пропал, — закончил Каманин, — вон сколько книг вышло — и в «Советском писателе» и в Детгизе.

Полагаю, здесь уместно сделать следующую оговорку. Один из читателей высказал опасение, что записанные мною оценки, суждения, замечания Твардовского по тому или иному конкретному поводу могут восприниматься как единственно возможные, то есть как не всегда обоснованные обобщения.

Вероятно, такая опасность таится во всяких воспоминаниях, и автору время от времени стоит делать какие-то дополнительные пояснения.

Твардовский бывал умышленно язвительным и резким. Его плохое настроение, раздражение, вызванные другими, неизвестными собеседнику причинами, могли проявиться неожиданно и потому действовали особенно обескураживающе. И конечно, каждую его мимоходную реплику нельзя рассматривать с точки зрения однозначности мнения и ответа. Но это Твардовский.

Еще из рассказов Ф. Каманина. Он в свое время жил в Загорске, тесно общался там с М. Пришвиным, дружил с ним и потом. Через несколько лет после смерти Пришвина его вдова пригласила Каманина в дом и дала ему почитать многолетние дневники Михаила Михайловича. И среди прочего он наткнулся на довольно давнюю запись, что, мол, какое счастье, что у нас есть такой поэт, как Твардовский, такой народный, с таким языком.

Вскоре Каманин встретил в Доме литераторов Твардовского и бросился к нему:

— Саша, хочешь, приятную вещь скажу?

— А хоть и не приятную, — не поморшшусь.

Каманин, торопясь, рассказал о дневнике. Твардовский слушал, подняв одну бровь, выслушал и, сказав с ударением на втором слове: «Ах, Пришвин!» — прошествовал в сторону ресторана.

Это тоже Твардовский.

Помню, в Политехническом был большой вечер, выступало много поэтов. И вот в конце перерыва, перед вторым отделе-

нием, когда мы медленно двигались по узкому проходу за сценой, Симонов через двух или трех человек окликнул его: «Саша!..» Тот полуповернул голову: «Ась?»

И столько в этом было Твардовского.

А через несколько минут он впервые читал публично главу из «За далью — даль» — «Друг детства».

На всякого рода писательских собраниях, заседаниях, совещаниях его обязательно избирали в президиум, и он степенно, чуть задумчиво, сидя на виду у всех, слушал выступающих. Но часто ему это наскучивало, хотелось выйти — потолкаться в кулуарах, повидать приехавших из других городов, наконец, просто покурить. Он замечательно изображал, «показывал», — как нужно покидать президиум.

Сперва он сидел, глубоко занятый очередной речью. Затем поворачивал голову, случайно взглядывал в сторону боковой кулисы, некоторое время смотрел туда непонимающе и возвращался к оратору. Потом, как бы вспомнив о чем-то, опять поворачивался в сторону, всматривался и делал жест — пальцами себе в грудь: «Меня?..» И следом — движение отстраняющее: нет-нет, невозможно!.. Но там как бы настаивают, дело, по которому его вызывают, видимо, важное, он еще внутренне сопротивляется, оглядывается на трибуну, но все-таки сдается и с видом сожаления и значительности происходящего, — не пригнувшись, не на цыпочках, как иные, а в полный рост, неторопливо и серьезно, выходит.

В течение многих лет его неизменно выбирали в бюро секции московских поэтов. Но на заседания бюро и на собрания он приходил крайне редко: раза два, а то и раз в году. Зато каждое его появление становилось событием. Может быть, он специально так делал, а не только по занятости. Событием это становилось потому, что он не просто появлялся, но и всегда замечательно выступал.

Помню, в Дубовом зале ЦДЛ на общем собрании поэтов он, только что выступив, сидит в президиуме, на низенькой эстрадке, а на трибуне следующий оратор — и ныне здравствующая поэтесса, взволнованная, возбужденная его речью и присутствием.

— Вот сидит Александр Трифонович Твардовский! — звонко

восклицает она. — Ведь я старше его на год. А что я рядом с ним — щенок!

И среди общего оживления он несколько обескураженно оглядывается, разводит руками: я не виноват.

На том собрании он говорил, помимо прочего, о только что появившемся рассказе Тендрякова «Ухабы» и назвал его прекрасным рассказом.

У Твардовского немного стихов о стихах, о творчестве, об искусстве, и то они, главным образом, стали появляться лишь с возрастом, с годами. В них во всех — тревожное ощущение уходящего времени, и отсюда — еще более острое чувство ответственности поэта.

Ни ночи нету мне, ни дня,
Ни отдыха, ни срока:
Моя задолженность меня
Преследует жестоко.

Или — из другого стихотворения:

Покамест молод, малый спрос:
Играй. Но бог избави,
Чтоб до седых дожить волос,
Служа пустой забаве.

Это самое страшное, что может быть, — служить «пустой забаве».

И вот тоже стихи об этом, написанные еще в 1946 году, но напечатанные спустя немало лет и поэтому как бы ставшие в разряд более поздних:

Я задумал написать
На досуге повестушку.
Захворал — и слег в кровать
Греть постылую подушку.

И о замысле своем
Не жалел я, а подумал:
Бог с ним — глядь, еще умрем.
И хотя тогда не умер,
Позабыл совсем о нем.

Нужно дело выбирать,
Чтоб оно рождало силы,
С ним о смерти забывать
На краю самой могилы.

Ироническое начало — «повестушка». Я впервые услыхал это слово еще в Литинституте на первом курсе. Кто-то сказал: «Написал повестушку». Ни один другой жанр не имеет такого уменьшительного. «Стишок», или «романчик», или «рассказик» и «рассказец» — это все не то, слишком очевидные определения. Здесь — какое-то самоизвиняющееся слово. Всерьез этого не примешь. Не подумаешь: «А что же хотел написать Твардовский в прозе? Да еще "на досуге"».

И вдруг: «захворал — и слег в кровать...» А у нас на губах еще улыбка — от предыдущего. Нет, все-таки всерьез. А дальше еще печальнее: «Бог с ним — глядь, еще умрем». Как будто нарочно отсылают нас к пушкинскому: «...и глядь — как раз умрем».

И как сказано: «И хотя тогда не умер»... Это логически выделенное слово — *тогда* — наполняет нас неожиданной горечью. *«Тогда* не умер»... Но потом-то!..

И наконец главное — сильно, жестко, как на камне:

Нужно дело выбирать,
Чтоб оно рождало силы,
С ним о смерти забывать
На краю самой могилы.

Вот вам и «повестушку»!

Жизнь и деятельность писателя Твардовский понимал как служение, как подвиг, как долг. Он был беспощаден к себе, и хотя и не в такой степени, но тоже требователен и суров к другим. Не все это выдерживали. Не уверен, найдется ли писатель, который бы хоть раз не уходил от него с рукописью под мышкой, как школьник, уличенный в незнании предмета. Некоторые обижались. Но думаю, что со временем все вспоминали эти уроки с благодарностью. Уроки Твардовского.

Зато уж и похвала его ценилась высоко. Было ощущение: то, что хвалит он, не просто нравится только ему одному, но уже становится чем-то бóльшим.

Когда я печатал что-либо (не обязательно в «Новом мире»), когда выпускал ту или иную свою книгу, я всегда представлял себе, что это прочтет он, и испытывал некий трепет, волнение, чувство ответственности перед ним и тем самым перед литературой. Перед Литературой с большой буквы.

О стихотворении «В Красной Пахре»

Ко мне не раз обращались с просьбой рассказать, как появилось это стихотворение. Мне уже приходилось печатно отвечать на подобные вопросы, касающиеся нескольких других моих вещей. Должен заметить, однако, что далеко не всегда возможно восстановить ход и побочные подробности написания стихотворения — даже при наличии черновиков. Многое как бы отодвигается в тень, растворяется.

Что же касается этого стихотворения, то думаю, определенный интерес к нему в немалой степени объясняется интересом к А. Т. Твардовскому и в данном случае — к последнему году его жизни.

А дело было так. В начале лета 1971 года я находился в Болгарии. И там, так же как у нас, многие были удручены болезнью Александра Трифоновича, волновались, спрашивали, надеялись.

Замечательный болгарский поэт Христо Радевский попросил меня передать ему свою новую книгу стихов.

Вернувшись домой, я позвонил в подмосковный дачный поселок Красная Пахра своему другу еще со студенческих лет Юрию Трифонову. Он был соседом Твардовского, и мы еще до моего отъезда договорились вместе навестить его. Дело в том, что в связи с болезнью у Твардовского была затруднена речь, он прекрасно все понимал и словно бы участвовал в разговоре, но сам почти не говорил, а чаще, как бы приноравливаясь, повторял концы фраз своих собеседников. Таким образом, приход в одиночку, по словам Трифонова, ложился на гостя тяжким грузом — приходилось, по сути, все время говорить самому. Поэтому посещение вдвоем было самым лучшим вариантом.

Я приехал в Красную Пахру, и Трифонов тут же позвонил Марии Илларионовне Твардовской, сообщил, что я привез книгу для Александра Трифоновича, и спросил, сможет ли он нас принять. Мария Илларионовна объяснила, что сейчас они собираются на получасовую прогулку по участку, а позднее к

Александру Трифоновичу приедет из Москвы врач-логопед, и лучше всего, если мы придем минут через сорок.

Трифонов спросил:

— А как собака?

Мария Илларионовна успокоила его, пообещав, что собаку она уберет.

Я вышел на открытую террасу. Стоял пасмурный летний день. Дача Твардовских находилась рядом, участки соприкасались, и в прежние свои приезды к Трифонову, обедая на этой террасе, я не раз мимолетно замечал за густыми кустами уже седую голову Твардовского.

Я уже давно не видел его, очень волновался перед встречей и даже предложил Трифонову немного выпить — «для храбрости». Он, подумав, сказал, что, пожалуй, неудобно, если от нас будет пахнуть.

Мы пошли. Хотя участки граничили между собой, вход к Твардовским был с противоположной стороны, с другой улицы. И, идя по поселку, я больше всего боялся встретить знакомых, остановиться, разговаривая. Но никто не попался.

По ту сторону забора, просунутые сквозь штакетник, лежали прямо на траве свежие газеты. Видимо, не было почтового ящика, а почтальон тоже страшился собаки. Трава была мокрая — то ли от росы, то ли от утреннего дождя, — вообще это сырое место.

Мария Илларионовна энергичным шагом шла к нам по дорожке. Открыла калитку, поздоровалась, потом подняла с травы почту.

Вслед за ней мы вошли в дом.

Александр Трифонович сидел в нижней большой комнате — посредине ее, — в кресле, перед столиком. На нем была гладкая рубашка с длинным рукавом, полосатые пижамные штаны и городские, черные, мокрые от травы ботинки.

Я поразился, увидев, как он исхудал, как уменьшилось его лицо. И еще поражали необычной ясности голубые глаза. Он поочередно протянул каждому из нас левую руку, почти не поднимая ее и подавая боком, всем плечом, всем туловищем. Мы сели.

И тут я уловил, что он что-то говорит, почти шепчет. Я подался вперед и разобрал:

— Покажитесь...

Мгновение я не понимал, что́ он имеет в виду, но тут же понял, что расположился на фоне окна и он не видит моего

лица, только силуэт. Я пересел, и он слегка кивнул мне с явным удовлетворением.

Начали говорить о предстоящем писательском съезде, а затем Трифонов рассказал, что работает в архивах (он писал в то время «Нетерпение») и недавно держал в руках записную книжку Александра II, удивляясь примитивности мыслей императора.

Затем он рассказал такую историю. В его документальной книге «Отблеск костра» говорится и о том, что бабушка Трифонова по материнской линии была профессиональной революционеркой и держала в Петербурге конспиративную квартиру, где скрывались от царского сыска многие выдающиеся большевики. Заходил туда и Ленин. А Сталин даже жил примерно с неделю. Позже, когда он был арестован и сослан в Курейку, он прислал оттуда Юриной бабушке два письма, где жаловался на морозы и просил собрать для него у товарищей теплые вещи и денег, что она и выполнила. Трифонов знал об этом факте только от бабушки, — письма не сохранились.

И вот недавно, во время работы в архиве, к нему подошел тамошний сотрудник, поклонник Трифонова, и вручил ему заверенные копии обоих писем. Таким образом рассказ бабушки подтвердился документально.

В одном из писем, говоря о сибирской стуже, Сталин написал: «Черт меня подери!..»

И сейчас Твардовский, с огромным вниманием слушавший Юру, повторил одними губами:

— Черт меня подери...

...В комнату вошла младшая дочь Твардовских — Ольга — с газетой в руке. Она подошла к отцу, сама водрузила ему на нос очки, поднесла газету и показала пальцем:

— Вот видишь?..

Как-то это у нее получилось словно бы чуть-чуть небрежно, но очень дружески и хорошо. Это были «Известия» со списком работ, выдвинутых на Государственную премию, — среди них значилась и последняя книга Твардовского.

Перед Александром Трифоновичем лежал на столике толстый том его стихотворений и поэм, только что вышедший в серии «Библиотека всемирной литературы». Время от времени Твардовский касался его пальцами и бережно поглаживал. Мария Илларионовна объяснила, что это сигнальный экземпляр. Я поинтересовался, какой художник оформлял книгу. Оказалось, Верейский.

Тут я вспомнил про книжку Христо Радевского и достал ее из кармана пиджака. Мария Илларионовна спросила, не тот ли это Радевский, что работал когда-то в болгарском посольстве в Москве. Тогда они знакомы с ним и его женой. Потом она взяла книгу в руки и поинтересовалась, что́ означает ее название — «Хора». Ни я, к стыду своему, ни Трифонов, многократно бывавший в Болгарии, этого не знали. (Едва вернувшись в город, я навел справки и узнал, что это название болгарского народного танца.)

Мария Илларионовна сказала, что всегда испытывает странное чувство, когда видит иноязычную книгу, набранную нашими буквами.

И тогда я рассказал свою историю. Вернее, это история Михаила Луконина, которую я слышал от него множество раз.

Он как-то приехал к себе в Сталинград, там у него была однокомнатная квартирка для работы, пригласил в гости местных друзей, а сам пошел на базар и купил там своих любимых соленых арбузов. Арбузы были мелкие, ему завернули несколько штук в газету.

Вечером в его квартире звучали стихи, грохотал смех, все было отлично, и утром он проснулся тоже в прекрасном настроении. «Голова у меня никогда не болит», — говорил Луконин. Он прошелся по комнате — за окном сияла Волга, — подошел к столу, подцепил кусочек арбузной мякоти. И тут взгляд его упал на газету. Он смотрел на нее и не мог понять ни одного слова. «Ну, все, — сказал он себе, — белая карячка». («Я так называю», — объяснял он всякий раз.) «Спокойно, Кузьмич!» — дал он себе команду, отошел к окну, вернулся — результат тот же. Он дрожащей рукой взял газету и прочел название: «Социалистик Татарстан». Все объяснялось так просто.

Я посмотрел на Твардовского. Он с удовольствием, с пониманием ситуации тихонько смеялся.

Пора было уходить. Мы попрощались. Александр Трифонович так же, как вначале, подал нам левую руку. Мария Илларионовна проводила нас до калитки.

Мы опять кружным путем молча возвращались к Трифонову, и опять я больше всего не хотел встретить знакомых.

Потом мы обедали на террасе. Распили бутылку виски, привезенную мной из города, но не почувствовали ни опьянения, ни облегчения.

Стихи написались примерно через год после кончины Твардовско-

го. С какой строки или строфы они начались, в каком порядке писались — восстановить все это сейчас я совершенно не в состоянии.

В Красной Пахре

И сразу же, в дверях,
Меня пронзила жалость, —
Пропал мой долгий страх,
И только сердце сжалось.

Он, словно между дел
И словно их немало,
Средь комнаты сидел,
Задумавшись устало.

Ушла за дальний круг
Медлительная властность,
И проступила вдруг
Беспомощная ясность

Незамутненных глаз.
А в них была забота,
Как будто вот сейчас
Ему мешало что-то.

Он подождал, потом
(Верней, слова, ложитесь!)
Негромко и с трудом
Промолвил: — Покажитесь...

Я передвинул стул,
Чтоб быть не против света,
И он чуть-чуть кивнул,
Благодаря за это.

И, голову склоня,
Взглянул бочком, как птица,
Причислив и меня
К тем, с кем хотел проститься.

У многих на виду,
Что тоже приезжали,

Он нес свою беду
И прочие печали.

Какой ужасный год,
Безжалостное лето,
Коль близится уход
Великого поэта.

...Как странно все теперь.
В снегу поля пустые....
Поверь, таких потерь
Немного у России.

Вечером на даче

Как уже было сказано, последние свои годы Твардовский жил больше не в Москве, а за городом, в дачном поселке Красная Пахра. Многих его соседей теперь тоже уже нет, — из тех, кого я хорошо знал, — Антокольского, Симонова; друзей моих студенческих лет Трифонова и Тендрякова. Однако некоторые известные писатели работают там и сейчас. Но всегда этот поселок воспринимался мною лишь как место, где живет Твардовский, так же, как Переделкино связано для меня с именем Пастернака.

Я бывал в Пахре в гостях у Трифонова. Его участок граничил с участком Твардовского, и однажды я подумал, что, может быть, поселившись здесь, Трифонов именно поэтому начал писать гораздо лучше, чем прежде, стал другим, новым Трифоновым. Из соседней дачи как бы исходил мощнейший импульс, заряд энергии, там словно находился некий реактор, действующий и на Трифонова.

(Я где-то читал, что Бенедикт Лившиц — известный поэт, блистательный переводчик французских лириков, автор книги воспоминаний «Полутороглазый стрелец» — пожаловался как-то, что наличие в литературе такого гения, как Александр Блок, мешает ему писать. Блок его подавляет. Когда об этом рассказали Блоку, тот рассмеялся:

— А мне мешает Толстой...

Блок, конечно, пошутил. Присутствие в литературе громадного, более крупного таланта не может мешать. Наоборот, это стимулирует, поднимает всю литературу и возможности каждого. Но это к слову.)

Теперь — о моем стихотворении, навеянном той порой.

Как-то раз — это было летом шестьдесят шестого года — я провел в Пахре целый день, и после ужина мы решили пройтись по поселку. Гуляя, мы оказались на соседней улице, куда выходила калитка Твардовских. Уже смеркалось, ложился туман.

— Вон Александр Трифонович, — сказал Юра.

Я тоже узнал его издали, рядом с ним были видны женские фигуры, может быть, Марии Илларионовны или дочерей, — разобрать было трудно, а он возвышался над ними.

Не сговариваясь, мы повернули и пошли назад, не желая мешать их разговору, а также и своему...

Так получилось, что впоследствии мы с женой стали регулярно общаться со старшей дочерью Твардовского Валентиной Александровной и ее мужем Александром Николаевичем. Может быть, это обстоятельство послужило толчком, но, как бы там ни было, что-то вспомнилось, откликнулось, отозвалось, и через семнадцать лет написалось стихотворение:

Темнеет. Около восьми.
Погасли солнечные слитки.
Стоит Твардовский с дочерьми
На даче, около калитки.

Близ милых выросших детей,
Да-да, детей. Большой, как башня.
Машину ждут или гостей? —
Теперь это уже неважно.

А важно — тишь, туман, Пахра,
Вдруг вспоминаемые снова,
И быстротечная пора
Былого вечера земного.

Подробности

А. Твардовский, по свидетельству близких, не умел печатать на машинке, даже заправить в нее лист.

Андрей Старостин, как рассказала мне его дочь Наташа, никогда не делал зарядки.

Эти подробности, на первый взгляд странные, только подчеркивают необычность этих людей, непохожесть на других.

Перемены

Твардовский написал когда-то:

...И старых праздников с попами,
И новых с музыкой иной.

Теперь с полным основанием можно было бы сказать наоборот:

...И новых праздников с попами,
И старых с музыкой иной.

Вот ведь как быстро все изменилось!

Пардон!

В зале «Россия» проходил грандиозный концерт, посвященный очередному (май 1993) Дню Победы. Выступали артисты почти всех жанров, стихотворцы, композиторы. Знаменитые в прошлом спортсмены выходили сразу по нескольку человек, почти командой. Так же стояли у микрофонов представители кино и телевидения.

С. Шакуров, произнеся ряд общих слов о войне и ветеранах, объявил, что прочтет стихи Твардовского. Замечу, что у Александра Трифоновича можно было выбрать и что-нибудь более к месту и случаю. Но это дело другое.

Стихи начинались так:

Спасибо, моя родная
Страна, мой отчий дом...

Шакуров продекламировал:

Спасибо, моя родная страна,
Мой отчий дом...

Что же произошло? Поэт посредством стихотворного размера организовал слова в определенный ритм, а артист это все разрушил.

Как же его за всю жизнь не научили? Но что поделаешь! Критики пишут о стихах, будто это проза, артисты как прозу читают их.

Кончается стихотворение строкой:

И счастье, отчизна-мать.

Выступавший вторым С. Говорухин иронически поинтересовался у ведущего вечер И. Кобзона, обязательно ли и ему, Говорухину, читать стихи. И обязательно ли про «мать»?

— Чьи это стихи? — обратился он к Шакурову грозно.

Тот вторично объявил:

— Твардовского.

Говорухин сказал:

— Тогда пардон!

Бдительность

В 1980 году Твардовскому, как теперь принято говорить, могло бы исполниться семьдесят лет. Меня заранее пригласили участвовать в официальном юбилейном вечере. Но ближе к делу позвонили еще из Литературного музея, предложили выступить и там. Я отказался: как-то это, если угодно, не в духе Твардовского, какая-то суета. Но они настаивали, повторяли приглашение, и в конце концов мы сошлись на том, что я буду вести этот вечер.

Со мною встретилась сотрудница бюро пропаганды, милая Галина Дорофеевна, так трагически окончившая впоследствии свою жизнь.

Мы с ней, как это водится, уточнили какие-то детали.

И вдруг — на другой день — новый ее звонок. Она была явно растеряна, чем-то расстроена, сперва не решалась, но потом откровенно рассказала мне, что́ же произошло.

Ее вызвал один из рабочих секретарей Союза писателей. Нужно объяснить, что тогда в Москве было несколько десятков секретарей Союзов писателей — СССР, РСФСР и Московской писательской организации. И сейчас их великое множество. Это так называемые нерабочие секретари. Что сие значит? Они не работают, но положение и льготы — при них. Но есть еще и рабочие. Чем они занимаются? Не вполне ясно. Регулярно заседают, что-то решают. Широкая публика может наблюдать их

по телевидению — при открытии мемориальных досок, на юбилейных вечерах и на митингах. Правда, не всем они известны в лицо.

Так вот, ее вызвал рабочий секретарь, которого служащие аппарата побаивались из-за его хмурого вида, и жестко спросил, долго ли она думала, когда предлагала Ваншенкину руководить вечером памяти Твардовского.

Галина Дорофеевна была ошеломлена и нашлась только ответить, что пригласила меня не она, а Литературный музей и что она понятия не имеет, чем провинился Ваншенкин.

Нет, ответил раздраженно секретарь, Ваншенкин не провинился, и к нему у нас претензий нет, но если на вечере что-нибудь случится, то кто, по ее мнению, будет отвечать? Ваншенкин же не ответственное лицо. Руководить таким вечером должен секретарь Союза. Да, сейчас лето, все в отпусках. Что же, вызовем из отпуска...

И из Крыма, из Коктебеля, был вызван на день еще один рабочий секретарь, он и провел вечер. Точнее, она и провела — и отбыла Аэрофлотом обратно на свой топчан у черноморской волны.

И ничего на вечере, посвященном памяти Твардовского, не случилось.

Но ведь как они его боялись!

ОСОБНЯК НА АРБАТЕ

Свадьба

Я был старше Инны на три года, но после войны, как многие, демобилизовался не сразу, и, когда она осенью сорок пятого пришла после школы в Литинститут, я находился под Будапештом, на острове Чепель. Этот остров, между двумя рукавами Дуная, имел тогда у солдат стойкое наименование — «Прощай, молодость». Когда осенью сорок шестого Инна явилась на второй курс, я еще служил, но уже в Эстонии, — как ни странно, судьба опять забросила меня на остров, на этот раз на настоящий, хмурый и опасный остров Даго. Когда же Инна потянула на себя дверь аудитории третьего курса, я тоже забрел в институт, но только в другой — в геологоразведочный. И лишь когда она была уже на четвертом, я наконец заявился в Литературный институт. Мы вполне могли разминуться.

Но, любопытно, мы и тогда не обратили друг на друга внимания. Я осмотрелся. Девчонок во всем институте было штук десять, и, бегло окинув их взглядом, я тут же понял, что ориентироваться нужно на сторону. Мы проучились рядом, ежедневно видясь, еще полтора года, однако лишь в начале зимы, — я еще был на втором, а она уже на пятом, — нас словно бросило навстречу друг другу, и наши отношения стали развиваться стремительно.

Весной мы решили объединить наши судьбы. Но ведь как-то глупо было обнародовать это: я жил в мужском флигеле, Инна в женском общежитии в главном здании, встречаться почти негде, — сложно, мучительно.

Произошло все скрытно, как тайные венчания влюбленных в старинных повестях и балладах, — помните? — в ночном деревенском храме, второпях, в метель...

Только у нас все происходило в ЗАГСе Советского района, на Миусах. Стеклянная дверь была разбита, осколки визжали под ногой. Ни о каких официальных поздравлениях в ту пору и не слышали. Кому до нас могло быть дело? Разумеет-

ся, и нам это было ни к чему. Шлепнули штампы в паспорта — и привет.

А вот верные свидетели у нас были: у меня — мой друг, балтийский морячок Ваня Завалий, у Инны — новая тишайшая соседка по комнате, носящая странное прозвище Подкидыш. Они ни словом не выдали нас.

После ЗАГСа мы вчетвером зашли в ресторан «Киев» (сейчас это «София») и пообедали. Помню борщ с пампушками, свиные отбивные. Тогда все это было добротно и не дорого. Стояло начало апреля пятидесятого года.

Родные, понятно, были введены в курс дела, событие скромно отметили в домашнем кругу.

До самого мая мы прожили так, для всех раздельно, а для себя в тайных встречах, в ожидании отложенного медового месяца.

И только в первых числах мая сняли комнату, зато на улице Горького, почти напротив Моссовета. Тотчас это стало известно, и весь институт возопил: гоните свадьбу! Не заматывайте!..

Ну, что ж, мы были не против. Но где? О кафе или ресторане не могло быть и речи — пригласить предстояло человек семьдесят. Не уместилась бы свадьба и у соседей, в буфете Камерного театра, где мы были своими людьми. Все равно там это получилось бы слишком скованно.

Выручил однокашник Рамаз Мчедлидзе, добрый, легкий, красивый человек. О нем я мечтаю еще написать отдельно.

Отец его, Дмитрий Мчедлидзе, в свое время был известным деятелем в оперном мире, не только грузинском, хотя и служил немало лет директором Тбилисской оперы. Ну, а мать — Вера Александровна Давыдова, солистка Большого театра, знаменитое меццо-сопрано, депутат, лауреат и прочее. Было общеизвестно, что ее всячески поддерживает Сталин, что она его любимица. Но любовница ли? Спрашиваю так потому, что не так давно вышла за рубежом на русском языке книжка, написанная как бы с ее слов, от первого лица. Я ее читал. Весьма бульварная книжонка с подробностями из интимной жизни артисток и вождей. Может быть, там есть и своя маленькая правда, но клюквы явно больше. Скажем, описывается, как за молодой Верой Давыдовой активно ухаживают Ворошилов, Калинин, Ежов и другие профессионалы этого дела, прекрасно зная, что к ней неравнодушен Сталин. Можно ли этому поверить! Да они и помыслить бы не посмели.

Но как бы там ни было, сын ее Рамаз предложил устроить свадьбу на давыдовской даче: папа в Тбилиси, мама на гастролях, дома только бабушка и дедушка, души не чаявшие во внуке.

Хорошо, спасибо. А где это? Станция Снегири. Поселок артистов Большого театра на Истре. Тихое место. Добираться паровиком. А нас он, конечно, на машине отвезет. Ну да, у него же своя «Победа».

Я уже изрядно печатался, — через год стал даже членом Союза. А тут как раз вышел коллективный сборник, и я получил неплохой гонорар. Так что вполне хватило. Да и ребята, кто мог, понемножку скинулись. Когда Инна случайно увидела, как грузят в машину ящики с водкой, она испытала смутную тревогу и поспешила поделиться ею со мной. Я, разумеется, успокоил ее: народу будет много!

В общежитии подготовка шла полным ходом. Командовал мой недавний сосед Сашка Шабалин.

— Пиши! — диктовал он Володе Семенову. — Сельдей — шесть килограммов...

Посуду — попроще, конечно, — предоставил буфет Камерного. И что интересно — ничего не разбили.

Наша любимая уборщица-комендант, татарка Зина, приготовила чан плова и котел винегрета. Хлеба закупили как на роту. И даже какие-то довольно изысканные были закуски: колбаса, ветчина, рыбка. Рамаз челноком сновал между Снегирями и Тверским бульваром.

А вскоре он уже подал машину и нам — к самому подъезду. Мы сели сзади и покатили на свою студенческую свадьбу, совершенно не предвидя ее столь бурного сюжета.

Везли Иннино венчальное платье в пышном пакете и три круглых домашних пирога. Впрочем, бабушка Инны называла их тортами. О, она была великая мастерица! И внучка оказалась достойной ее ученицей и последовательницей.

Был конец мая, только входила в силу зелень, цвела сирень.

А институтская шарага добиралась, понятно, поездом. Да не все прибыли на вокзал к сроку, опоздавшим пришлось долго ждать второго. И ехать на паровике долго, да и от станции порядочно.

Пока собрались, день приблизился уже к вечеру. Участок был покатый, перед этим прошел дождь, и все спускались по скользкой траве, боязливо обходя конуру, из которой время от

времени появлялся недовольный грозный пес и мчался рядом, гремя цепью, укрепленной на проволоке.

Внизу благостно светилась река, и вскоре прибывшие чинно гуляли по ее берегу, с нетерпением ожидая, когда позовут к столам — ведь успели проголодаться как следует.

Выползли и соседи: посмотреть на молодых. На Инне было не белое, но светло-розовое свадебное платье. Она трогательно вышагивала, окруженная подругами. А на мне единственный мой костюм, — правда, кто-то сунул мне в нагрудный карман пиджака веточку лиловой сирени.

Мирная, идиллическая картина. Но время-то, время какое! Небольшое окно, краткий промежуток между мрачными валами беспрерывно накатывающихся государственно-партийных кампаний.

Промельк тревоги возник и здесь. Ко мне подошла Зоя, жена моего приятеля Олега Зверева, и пожаловалась, что с ними в вагоне ехал Толя Кулагин и пообещал ей убить сегодня Олега.

— Да он шутит! — сказал я.

И тут позвали садиться.

Накрыто было на веранде. Сидели тесно на досках, положенных между табуретками. Но места все же хватило не всем, и некоторые пристроились у подоконников. А в углу несколько человек приспособились возле этажерки: захватившие тарелками и стаканами верхний ее этаж пили и закусывали стоя (а ля фуршет), на уровне второго сидели на корточках, а у нижнего свободно полулежали на полу.

Это никого не смущало: здесь были все свои, институтские. Впрочем, Толя Клочков был из геологоразведочного, но мои общежитские соседи его хорошо знали — он часто навещал меня. В свое время я полгода жил в его доме. Он был мне как брат. Еще, учуяв родной запах сорокаградусной, прибыл с кем-то Ваня Бауков, позже его поведение не понравилось остальным гостям, и он был изгнан ночью на станцию. И наконец, наш плясун и весельчак Миша Кильчичаков нашел где-то трех девиц не лучшего разбора, — впоследствии они исчезли.

Иван Завалий с полотенцем через плечо был деловит и серьезен. Светлоголовый Ваня Ганабин играл на баяне, под его музыку мы с Инной вышли к столу.

Над окнами висели плакаты и лозунги, — от отечественного: «Жена да убоится мужа своего» до китайского: «Длинный язык

жены — вот лестница, по которой в дом входит несчастье». К нам эти афоризмы никогда не имели отношения.

Инна шепнула мне, что спрятала бабушкины сладкие пироги в печь — чтоб не съели до чая. Разумно. Но когда он будет, тот чай, да и дойдет ли до него дело?

Свадебное застолье шумело, разрасталось, делилось на мелкие группки, снова сливалось, опять дробилось, но по-другому. Иногда вспоминали и о нас.

Потом нас с Инной тихонько попросили выйти в соседнюю комнату. Там стояли хнычущие Гриша Тимченко и Володя Шорор. Лица обоих несли на себе отчетливые следы недавних соприкосновений с кулаками.

— В чем дело? — спросила Инна.

Они захныкали громче:

— Простите нас. Мы чуть не испортили вам свадьбу. Мы подрались... Простите?

Инна объявила им амнистию, и они удалились, раскаявшиеся. Я же только легкомысленно посмеялся.

Когда же мы возвратились на веранду, то обнаружили перемены. Было все чинно, пристойно, но людей явно поубавилось, будто гости стали уже разъезжаться. За столами теперь свободно, не теснясь, сидели, разговаривая, девчонки и наиболее спокойные, миролюбивые из ребят. Да и то некоторые не выдерживали, вскакивали и нервно выходили.

Васька Федоров тоже было рванулся к дверям, но Ларка буквально повисла на нем, и он сдался. Сашуня Парфенов в своей манере начал хихикать над ними, что возмутило Федорова. Он, высокий, схватил маленького Паршуню одной рукой за грудки и стал трясти во все стороны. Того еле отбили. Безмятежно покуривал «казбечину» Боря Бедный. Рядом курил, выпуская дым в открытую дверь, Юрка Бондарев.

Я как хозяин испытал потребность выяснить — что же там, снаружи.

Как раз в это время с крыльца скатился мой друг Женя Винокуров и со словами: «Ну кому дать?» — направился к темнеющим на склоне деревьям, но тут же резво развернулся и живо возвратился к крыльцу. Спортивный Рамаз, стоя у косяка, загадочно посмеивался. Его бабушка взволнованно говорила сама себе, что беспокоится за Верочкины цветочки.

Все это было не слишком понятно. Но я, как и положено жениху, был спокоен, трезв и осмотрителен.

В четыре года...

И в девятнадцать лет

С однополчанином Бориславом Бурковым
1945 – г. Будапешт

1972 – г. Котлас

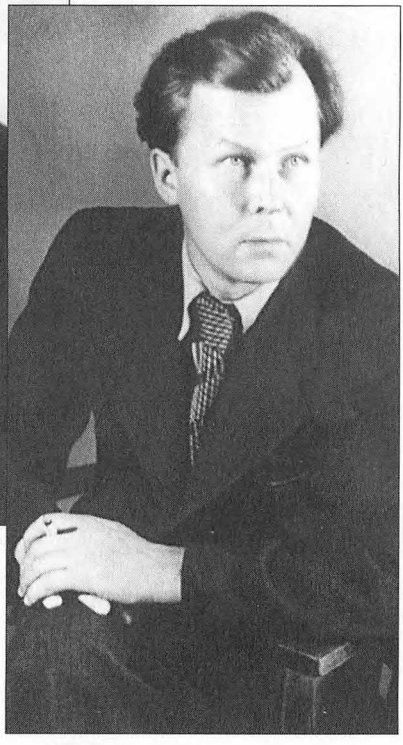
Мой друг – Толя Клочков

Мы – в Московском геологоразведочном

А это уже Литературный институт. Кстати, в Доме Герцена размещался тогда и Литфонд

Наша компания. Первый слева – главный заводила Сашка Шабалин

М.И.Исаковский и А.Т.Твардовский.
Оба сыграли огромную роль в моей судьбе



Два Ивана

Иван Завалий

Ваня Ганабин

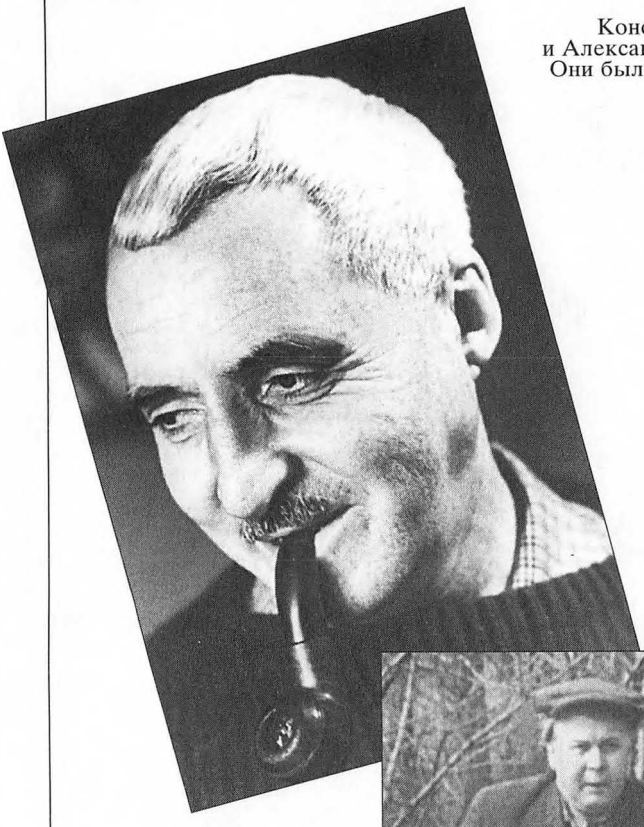
В садике Литинститута. В.Тендряков, И.Гофф, О.Кожухова, В.Солоухин

Наше начало

С молодой женой в яблоневом саду

Дочка уже школьница

Константин Симонов
и Александр Твардовский.
Они были такие разные...

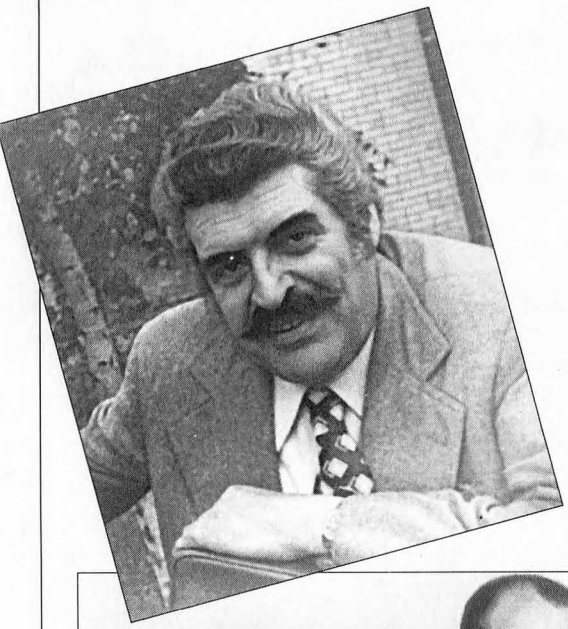


50-е годы. Телевидение (еще на Шаболовке).
Е.Долматовский, Юлька Друнина, М.Матусовский и я

Тогда же,
в середине 50-х,
вернулся из лагеря
Ярослав Смеляков

Марк и Наташа
души не чаяли друг в друге

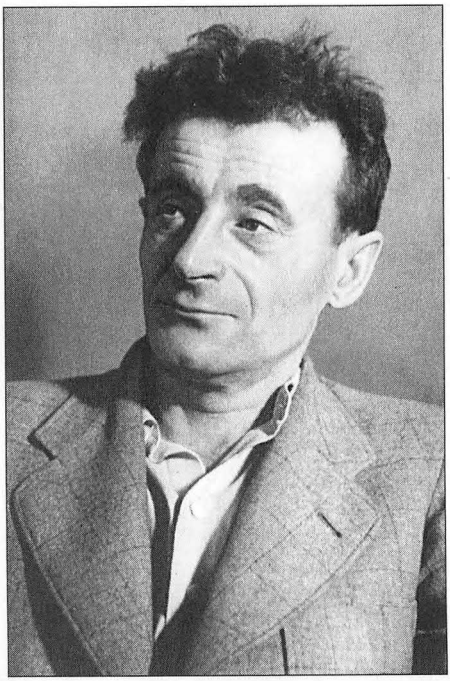
С Бернесом у солдат



С Яном мы почти не расставались

Большой, красивый,
добрый Алеша Фатьянов...

Мы с Женей Винокуровым.
Долгое время критики упоминали нас только вместе



Михаил Аркадьевич
Светлов –
к этому имени
просто нечего
добавить

П.Кобзаревский, Инна, я, Е.Евтушенко в Ленинграде

Я сошел с крыльца и завернул за угол. Кто-то выкрикнул мне вслед приятную формулу:

— Жених — лицо неприкосновенное!..

За углом, прислонясь спиной к дому, сидел на земле мой сосед по общежитию Сашка Шабалин, бывший летчик, сейчас на протезе. Его костюм и рубашка от галстука до ботинок были покрыты тоненькой, уже подсыхающей, глиняной корочкой. Видимо, он съехал на животе по склону — ведь незадолго перед этим прошел дождь.

Он плакал.

— Что случилось, Саша? — спросил я.

— Ты понимаешь, Костя, — объяснил он охотно, — Барсик такой блядью оказался. Я ему два пальца сунул в конуру, а он меня укусил.

Страшный пес, которого поначалу все сторонились, сам струхнул не на шутку и забился в конуру, так Сашка и туда к нему добрался.

— Да ладно, не плачь, ничего. Подумаешь, какое дело! — приободрил я его. И это Шабалина убедило.

Он начал вставать, и тут я увидел возле него стакан, бутылку и продолговатую селедочницу. Он налил в граненый стакан водки, подцепил на вилку кусок сельди и выпрямился. В одной руке у него оказались стакан и вилка, в другой палка, и он стал карабкаться по склону с криком на устах:

— Братия во Христе, помиримся...

Но, как видно, там мириться не пожелали, и он вскоре полетел вниз, растеряв все, что имел в руках, и мелькая оголившимся протезом.

Тогда решил подняться наверх я, но не в этом месте, а рядом, по более отлогому склону.

В темноте меж стволами дралось одновременно человек десять или пятнадцать. Только треск стоял. Я приближался, наивно помня о собственной неприкосновенности. И тут из гущи выскочил Тендряк и схватил меня за лацканы, выбив сирень из кармана. Я для равновесия взялся за него точно так же и спросил:

— Володя, ты что?..

Он смотрел белыми глазами, явно меня не узнавая.

За ним тогда такое водилось, накатывала дурь. Он просто голову терял. Уже после нашей свадьбы произошли такие случаи. Однажды в нашем ресторане ему не понравилось какое-то

высказывание Урина, и он тут же кинулся на Витьку. Но тот оказался пошустрей, опрометью вылетел из клуба и, преследуемый по пятам, с ходу попросил защиты у милиционера, охранявшего консульство ФРГ. Почти что политического убежища. Этим только и спасся.

Сурков потом сказал на собрании:

— Молодой, талантливый Тендряков побил Урина...

Урин шел без эпитетов.

За это действие Тендряка перевели из членов СП в кандидаты.

И еще было. На банкете по поводу окончания их курсом института он исхитрился схватить тихого Колю Войткевича зубами за кадык. Полчаса Володьку уговаривали разжать челюсти, не перекусывать горло. Наконец ему надоело, и он смилостивился.

Потом это у него вообще прошло.

А сейчас я тоже крепко держал Тендрякова за лацканы и смотрел в его невидящие глаза.

Я стоял ниже и мог легко использовать это преимущество: сделать ложную уступку и тут же бросить его через бедро. Слава Богу, кое-чему научили в десантных войсках. Но я полагал, что это как-то не слишком идет жениху по отношению к гостям, да еще нетрезвым.

А в это время за спиной Тендряка неожиданно появился невозмутимый Володя Семенов, наш признанный силач, как мячиками игравший по утрам двумя двухпудовыми гирями.

Он сгреб Тендрякова сзади, прижав его руки к туловищу, оторвал от земли и понес. Тот дрыгал ногами и кричал:

— Кто это? Убью!.. — Наконец ему удалось повернуть голову, и он произнес своим нормальным голосом: — А, это ты, Володя?..

Сразу вся дурь прошла.

Я продолжал подниматься. На полянке, покачиваясь, стоял Бакланов и бормотал про себя что-то воинственное, а вокруг него, сужая круги, делал прыжки Солоухин. Он прыгал боком, сразу обеими ногами, не спуская с Бакланова взгляда и выискивая момент для атаки. Вдруг он мгновенно бросился и нанес удар, вложив в него всю тяжесть тела.

Бакланов пискнул, как зайчик, и рухнул пластом. Солоухин сделал глубокий вдох, затем нагнулся и, тронув лежащего рукой, спросил участливо:

— Что с тобой, Гриша?

Я был уже в двух шагах и сказал:

— Володя, я все видел...

Он засмеялся и отошел.

Потом Бакланова вносили в дом. Лицо его страшно изменилось, оплыло, оказался сломанным нос. Ближайший друг пострадавшего, Юра Бондарев, взирал на происходящее грустно-философски.

И другие сгрудились — посмотреть. В том числе и обеспокоенная отсутствием жениха невеста. Впрочем, не слишком обеспокоенная, — она тогда почему-то была очень во мне уверена.

Сашка Шабалин, уже приведший себя в относительный порядок, помахал ей и крикнул со двора:

— Инночка, свадьба настоящая!..

Спали мы одетые, на застеленной кровати. За окном всю ночь раздавались время от времени то крики, то свист. Соседние чинные дачи замерли в испуге.

Потом уже я узнал, что наиболее уверенно чувствовали себя мои однокурсники, ходившие крепко сбитой компанией: Ганабин, Завалий, Балтер. С ними же был и Толя Клочков. И когда разочаровавшийся в людях Шабалин раза два порывался топиться, они его утихомирили.

На рассвете наиболее конфузливые или чувствовавшие себя виноватыми, не дожидаясь завтрака, ушли на станцию.

За завтраком собрались немногие. Зверевы, скрываясь от Кулагина, нашли приют на соседней даче. Олег был в ссадинах и в чернилах. Говорили, что Кулагин бил его авторучкой, причем, отвинтив колпачок, вогнал во врага перо и нажимал на клапан. Бабушкины пироги из печи исчезли. «Пьяные, пьяные, а нашли самое вкусное», — заметила Инна.

Водки было вдосталь. Ее не только пили, ею умывались в целях дезинфекции. И еще осталось после утреннего опохмёла. Рамаз положил нам в машину шесть бутылок. Мы чуть смущенно попрощались с его стариками и опять, как вчера, устроились на заднем сиденье.

Эта свадьба наделала шуму. Человек двадцать получили выговоры по партийной и комсомольской линии. Через год их начали, как водится, снимать, и к событию опять подробно вернулись. Известие о нем вышло далеко за пределы столицы, и долго еще внезапно вскрикивал какой-нибудь приезжий догадливый литератор:

— Слушай, слушай, а это не у тебя ли была та самая свадьба?..

Потом, когда мы ездили летом в Латвию, а это случалось довольно часто, — сперва с дочкой, а потом и с внучкой, мы всякий раз дожидались в вагонном коридоре, пока поезд не минует подмосковную платформу Снегири, и, посмеиваясь, переглядывались.

А сейчас мы мчались к Москве в машине марки «Победа», посматривали на свежезеленые майские рощи, видели крепкую спину Рамаза, и впереди был сорок один год нашей совместной, поистине счастливой жизни. Всего сорок один...

Особняк на Арбате

Этот особняк, стоящий против арки ворот, посреди двора, собственно флигель, принадлежал прежде высокому духовному лицу. Не знаю, по какой причине, но он был продан, и его приобрела молодая интеллигентная дама. Она содержала домашнюю столовую для избранных. Какое-то время здесь столовались Горький и Шаляпин. У ее сына сохранилось несколько их записок, где они сообщали, что им приготовить.

Кроме этих кулинарных посланий ему достались после революции две комнаты, вполне, впрочем, обставленные.

Он был рафинирован, совершенно непрактичен, работал в каком-то институте, был страстным меломаном, поклонником Скрябина, и сам недурно играл на рояле. Но в одной из его комнат почти просвечивала в наружной стене дыра, — сколько ее ни залепляли, он почему-то не мог добиться, чтобы это сделали как следует. Зимой в комнате стоял жуткий холод, он, играя, надевал перчатки с отрезанными пальцами, как у тогдашних трамвайных кондукторш. По утрам выходил на коммунальную кухню умываться в шапке с опущенными наушниками.

В трудные годы он бы, конечно, пропал, если бы не Матреша. Когда-то, еще девушкой, она жила в прислугах у его матери, потом в соседках, а перед смертью бывшая хозяйка попросила ее заботиться о сыне. Та обещала и совершенно бескорыстно всю жизнь выполняла обещание.

Это была еще крепкая богомольная старушка. Зимой, в лютый мороз, она ездила куда-то окунаться в святую купель, — как теперешние «моржихи». Помогать людям вообще стало для нее потребностью. Кухня была общая, и только зазеваешься, смотришь — посуда уже перемыта.

Были, разумеется, и другие соседи. Была Лелька, миловидная, в кудельках, с матерью-машинисткой. У Лельки был мальчик-одноклассник, с которым она почти не разлучалась, потом он ушел в армию, она тут же сошлась с кем-то, оставшимся для остальных неизвестным, родила, но вернулся мальчик и взял ее с ребенком.

Был еще сосед, он предпочитал «красную головку». По вечерам, пугая Матрешу, гремел на кухне конфорками, делал вид, что открывает газ. Она выходила, говорила, поджимая губы: «Вы, конечно, выпили, — и тут же испуганно добавляла: — немножко...»

Он проникся ко мне устойчивой нежностью по той причине, что люто ненавидел писателя, жившего здесь до нас, и даже с ним дрался.

Это был у нас Первый Свой Дом.

А до этого мы снимали в разных местах, и на Арбате тоже, но только выше, ближе к концу: жили в комнате цирковой мотогонщицы по вертикальной стене, пока она была на гастролях. Я ее никогда не видел, но над нами висел ее огромный портрет, не слишком много говорящий об оригинале, как это нередко случается с фотографиями артистов.

А комнатка была величиной с купе, тоже с откатывающейся дверью. Старуха мать мотоциклистки то не топила по три дня, то нажаривала углем так, что мы не могли спать. Но все нам было ничего, лишь бы подольше не возвращалась гастролерша. Эта мотогонщица почему-то была воспета поэтами — А. Межировым, а затем, много времени спустя, А. Вознесенским. Есть про нее и у Ю. Нагибина.

В странном этом доме было множество кошек и поразительный, в ярких васильках, фаянсовый унитаз. Но ходить к нему нужно было через три комнаты (в одной из них спал с женой брат циркачки).

Буквально около нас жил Коля Глазков, поблизости, на улице Веснина, — Женя Винокуров, с которым мы дружили, и тоже совсем близко, в Спасо-Песковском, — правда, не слишком долго — Ярослав Смеляков.

А до войны тоже рядом обитал Булат Окуджава. Однажды он завел меня в свой тихий двор, где когда-то «каждый вечер все играла радиола», где жил он сам и его герой — почти столь же известный Ленька Королев.

...Теперь у нас был Свой Дом, и мы были сами себе хозяева.

С узкого, ярко блистающего Арбата, где отчетливой цепочкой тянулись милиционеры по осевой, мы попадали сквозь арку в большой почти круглый московский двор со скамеечками и тополями. Шумы Арбата гасли. Наш особняк стоял посредине, он именовался: квартира № 22.

Во дворе был свой весьма известный художник, свой модный портной с вывеской за воротами. Однажды он попросил меня зайти к нему в полуподвал с огромным, обтянутым войлоком гладильным столом и предложил не выкупленный кем-то роскошный костюм из зеленой «жатки». Он надел на меня пиджак, не только не пришедшийся впору, но достающий полами и рукавами до моих колен, и сказал, ничуть не смутясь: «Ну, это-то можно переделать!..»

Все это было как во сне.

Мы получили две смежные комнатки — девять и семь квадратных метров. Мокла стена — а нам казалось все это прекрасным. Впрочем, прекрасным это и было.

Мы сделали ремонт, купили мебель. Почти всю вторую комнатенку занял наш Первый Письменный Стол. Мы жаждали работать! От Никитских, где был тогда мебельный магазин, я нес на плечах полдюжины венских стульев, обвешанный ими, как еж. Конечно, я шел не Арбатом, а переулочками.

Дело в том, что по другую сторону нашего двора простирался удивительный, неповторимый мир — хитросплетение улочек и переулочков, тупичков, площадок и двориков.

Здесь были и ничтожные развалюхи, и замечательные, хотя и потерявшие былую стать дома, и еще державшиеся молодцами. Искорежив могучим стволом железную ограду, росла старинная береза. В соседнем сарае — в центре Москвы! — держали корову. Тут были и асфальт, и булыжник, и голая земля, и ампир, и барокко. Здесь не было только стандарта, серийности.

Теперь ничего этого нет. Мне, грешным делом, показалось сперва, что своротили и домик, где жил, учась в Университете, Лермонтов, но потом я обнаружил его за «Домом книги». А остального, увы, нет. Да, увы! — потому что такого больше уже не будет. Ничуть я не противник реконструкций и новых веяний в градостроительстве, но полагаю, что умело — нужно уметь! — оставленные заповедники, заказники *внутри* города, только бы украшали его, сохраняя его своеобразие.

Отопление у нас было печное. Тут же поблизости помещался дровяной склад, в домоуправлении выдавались талоны на дро-

ва, правда, в недостаточном количестве, приходилось прикупать. Я отправлялся на склад, обещал «не обидеть» всегда полупьяных рабочих, и они мигом отбирали только сухую березу. Они же потом ее быстро распиливали у нас во дворе, у сарая, а колол я сам, наслаждаясь своим здоровьем, морозным воздухом, блеском топора, треском разваливающихся белых кругляков.

И топить входило в мои обязанности. Иногда бывало некогда, неудобно, не с руки, но дело есть дело. И, растопив печь, слушая ее великолепное гуденье и глядя, «щекой склонившись на ладонь, задумчивым, отсутствующим взглядом, каким обычно смотрят на огонь», я был рад своему занятию и невольно вспоминал и о детстве, и об армии, и о войне, и написал тогда и после несколько стихотворений, связанных с дровами, печью, огнем...

...Чешуйчатыми сделались поленья,
У пламени заимствовали цвет.
Как тихо все! Лишь ветра голос тонкий
К нему сюда доносится едва...
В печурке за железною заслонкой
Стрельнули и подвинулись дрова.

Однажды у меня ночевал Виктор Некрасов. Мои жена и дочь были за городом, и я не протопил с вечера, — да и пришли мы с ним очень поздно. Он проснулся утром, дрожа от холода, и стал меня уговаривать, чтобы я вмуровал в печь котел, подвел газ и устроил свое, камерное водяное отопление. Он дал мне телефон своего друга, у которого недавно была проведена подобная операция. Друга звали Свет, — Вика впоследствии написал о нем очень трогательные воспоминания. Я телефон взял, но не позвонил.

Вот такой у нас был дом и его окружение. Бывало, вход и неровные, желтого камня ступени наглухо забивало снегом. Я написал когда-то:

Дорогая,
Помнишь ты, как в метельной ночи,
Догорая,
Дышат угли живые в печи?
.....

До рассвета
Без лопаты за дверь не ступи!
Будто где-то
В белой хатке средь белой степи.
.....

Звон метели,
Да от печки, что стихла во сне,
Еле-еле
Зыбкий отсвет дрожит на стене.

Кто только не бывал у нас: и Твардовский с Фатьяновым, и Трифонов, и Рыленков, и Бондарев, и Турков, и Тендряков... Телефона не было, многие заходили запросто, благо по пути, на главной дороге. Некоторые поднимались на цыпочки и стучали в стекло. Особняк был, разумеется, одноэтажный, но в голову не приходило забирать окна решетками.

И опять не обойтись без стихов:

Беспомощно, осиротело,
Как будто бы в чем виноват,
Рукою, повисшей вдоль тела,
Бездействует старый Арбат.

Какой-то уже отвлеченный,
Намеренно ввергнутый в сон,
От тела почти отключенный,
Искусственным заменен.

Эти строки написаны до его столь же искусственного оживления.

Как-то в ту пору я свернул с тихого, пересекаемого где попало пешеходами захолустного Арбата под нашу арку. Ни дома, ни двора не было. Я увидел огромную стеклянную коробку одного из новоарбатских небоскребов. На самом верхнем балконе сушилось белье.

Но ведь дома, в которых мы живем, неминуемо остаются в нас. Остался и наш особняк на Арбате и вместе с ним — время радости, раскрепощенности, предвкушения и начала настоящей, серьезной работы.

Алеша Фатьянов

Он относится к числу немногих, чей уход ощутим и чисто житейски, кого хочется встречать в Доме литераторов, на московской улице, и порой кажется, что действительно вот-вот увидишь за снегопадом его огромную фигуру, ощутишь его неподдельное дружелюбие.

Несколько лет назад я написал:

Как горько мне, что нет Светлова,
Фатьянова, Гудзенко нет...

Алексей Фатьянов обладал душой широкой и нежной. Он был по-настоящему красив. Фотографии почти не передают этого: он как-то наивно застывал, каменел перед аппаратом.

Это была удивительно колоритная фигура — зимой, в шубе с бобровым воротником, он напоминал кустодиевского Шаляпина. В нем вообще было много артистизма и просто актерского. Он был добр, вздорен, сентиментален.

А чего стоили его рассказы! Должен заметить, что раньше (я еще застал это время) среди писателей были мастера рассказывать всякие небылицы. Делалось это обычно виртуозно и, главное, с полной верой автора в действительность происходящего. Твардовский говорит в «Теркине»,

Что, случалось, врал для смеху,
Никогда не лгал для лжи.

Здесь даже другое — вранье скорее детское, столь необходимое ребенку и, разумеется, совершенно бескорыстное.

Так, один ныне здравствующий известный поэт утверждал, что он был чемпионом Европы по боксу.

Покойный Павел Шубин говорил, что находился в рабстве на островах Фиджи, где содержался закованным в кандалы в глубокой яме. Рассказывая это, он плакал.

Еще я слышал его историю о том, как, будучи в Индии, он познакомился с великим Ганди.

Ганди протянул руку и представился:

— Ганди.

— Шубин, — отрекомендовался наш поэт.

— Павел? — поинтересовался Ганди.

И так далее. За границей, однако, Шубин не бывал — в командировки его не посылали, а туристских поездок тогда не было.

Алеша Фатьянов, между прочим, небрежно сообщал, что в войну был генералом.

— Два генерала было среди писателей: Вершигора и я.

Однажды поздним вечером я сидел у него дома, и он, тоже с небрежностью, внезапно сказал, что «Сашка Твардовский» взял у него в «Новый мир» тридцать пять стихотворений. В первый номер (был уже декабрь!). Леша еще уточнил почему-то: «О Сибири».

Я, вероятно, тогда еще недостаточно его знал и выразил недоверие. Фатьянов бросился к телефону:

— Сейчас он тебе сам скажет! — набрал какой-то номер и крикнул: — Мария Ларионовна! Это Фатьянов. Саша дома? Нет? — и, страшно бледный, бросил трубку.

Разговор наш расстроился, хозяин по-прежнему был очень взвинчен и через несколько минут, к величайшему моему изумлению и негодованию, великолепным театральным жестом указал мне на дверь и предложил покинуть его жилище. Ни прежде, ни потом со мною такого не случалось, и я удалился, лелея планы мести, о чем успел не в самых дипломатических выражениях, спускаясь по лестнице, сообщить хозяину.

Через два-три дня он встретил меня на Арбате, как ни в чем не бывало обнял, расцеловал, расспрашивая, как я живу, что у меня нового. Сердиться на него было совершенно бесполезно. Не знаю, стоит ли добавлять, что стихи его в «Новом мире» так и не появились.

Есть выражение: опоздал родиться. Это именно тот случай. Очень представляю его на тройке, в санях под медвежьей полостью, в «Яре»...

Почему-то чаще всего вспоминаю его на тогдашнем Арбате, людном, ярко освещенном, в зимний снежный вечер. Фатьянов красивый, вальяжный. Он редко бывал один. Не раз я видел рядом с ним Твардовского. Они были в приятелях, жили рядом, у Киевского вокзала. Твардовский всегда вставал чуть свет, и жена Фатьянова говорила:

— Если в восемь утра звонок в дверь — или молочница, или Твардовский.

Фатьянов внешне выглядел значительней своих лет и примыкал к поэтам старше себя, а не моложе. И одновременно он

очень хотел быть старшим товарищем, советчиком и немало для этого делал. Ему самому было интересно и приятно общаться с С. Никитиным, Вл. Соколовым, И. Ганабиным, и они много от этого получили. Он умел быть чутким и отзывчивым, и они чувствовали себя с ним как равные с равным.

Они еще были совсем неизвестны, а он-то уже давно был Фатьяновым.

Он умер, когда ему было сорок лет. Его лучшие песни не забыты и, думаю, уже не забудутся. Дело не только в том, что они связаны в сознании народа с войной и первыми послевоенными годами, что они сами являются частицей Времени.

Алексей Фатьянов — истинный, природный поэт-песенник, в лучшем значении этих за последние годы обесцененных слов. Он упорно писал и просто стихи, собственно стихи, меняя ритм, удлиняя или усекая строку, стремясь к свободе, разговорности и как бы желая подчеркнуть, что сочиняет не только песни, чтобы выглядеть «не хуже людей».

Но остались именно песни.

Когда-то, еще в бытность мою студентом, М. В. Исаковский, выступая в Литературном институте, сказал, что, мол, «соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят» — хорошо, а остальное в этой песне все мура. Он так и сказал: мура. Думаю, это неверно. Есть какая-то поразительная прелесть в песнях Фатьянова, даже не живущих отдельно, без нот. Композиторы говорят, что он давал если не мелодию, то, во всяком случае, характер, образ песни, да и сам, как никто, умел почувствовать музыку.

А многое имеет и чисто поэтическую ценность.

На солнечной поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на тальяночке
Играет про любовь.

Это же прекрасно *написано.*

А «Ничего не говорила», «Когда проходит молодость», «В соловьиную ночь»!..

Мне из фатьяновских дороже всего три удивительные песни.

Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой.

Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой.

Какая прозрачность, задумчивость, точность обстановки, виртуозность написания. И рядом с фронтовой суровой обыденностью мотив сказочности, нереальности отдаленного милого края...

И все здесь — и грусть, и сила, и волшебство воздействия. Редкостная песня!

И еще:

В городском саду играет
Духовой оркестр.
На скамейке, где сидишь ты,
Нет свободных мест.

Безукоризненная точность психологического попадания. Картина времени, сжимающая сердце, — возвращение к давнему, предвоенному.

И наконец:

Как это все случилось,
В какие вечера?
Три года ты мне снилась,
А встретилась вчера.

Слова как слова, а волнуют, и всерьез. Может быть, это еще и мелодия, может быть, голос Бернеса, а скорее — все вместе.

Он еще написал множество песен, самых разнообразных — и шуточных («...я тоскую по соседству и на расстоянии. Ах, без вас я, как без сердца, жить не в состоянии»), и гражданских, и лирических.

Две из них, или, говоря точно, стихи двух из этих песен, он принес как-то на заседание редколлегии «Дня поэзии» и просил напечатать. Он очень волновался. Стихи прочли при нем и отвергли. Он не выдержал и заплакал. Он сидел, большой, беспомощный, очень ранимый. Я не хочу упрекать членов редколлегии, — они не увидели в этих стихах будущих знаменитых песен.

Это были песни, вскоре зазвучавшие с экрана: «Когда весна придет, не знаю» и «За Рогожской заставою».

Такова была его судьба. При жизни у него не вышло в Москве ни одной книги.

А песни его не забываются, как не забывается он сам — поздним снежным вечером на щедро освещенном старом Арбате — большой, красивый, добрый Алеша Фатьянов.

Купание

Я любил Алешу Фатьянова. И многие любили. О нем стихи написаны — Смеляковым, Межировым, Соколовым, Лисянским, Ганабиным. Я тоже о нем писал. Он, помимо прочего, был гуляка. Тогда это водилось. В Секретариат Союза писателей регулярно поступали милицейские протоколы о подвигах наших, главным образом, стихотворцев. Наказывали провинившихся отлучением от писательского Клуба (на 3 или 6 месяцев), что воспринималось как суровая кара.

Однажды был такой случай. Алеша со своим замечательным соавтором В. П. Соловьевым-Седым гоняли по гостинице «Гранд-отель» каких-то восточно-азиатских дипломатов. Фатьянов при этом кричал:

— Я депутат Верховного Совета!..

В связи с данным эпизодом я предложил действительно выдвинуть его в верховный орган, чтобы снять сей навязчивый мотив. Василий же Павлович, который и впрямь был парламентарием, в подобных ситуациях прикрывал левой ладонью депутатский значок на лацкане. Этот жест остался у него, и когда он народным избранником уже не был.

Однажды в бюро секции поэтов была передана из Секретариата очередная жалоба на Фатьянова. В ней фигурировал не только Алеша, но и композитор Сигизмунд Кац (в просторечии — Зига), известный весельчак и острослов.

Бюро было очень представительное. Я входил в него тоже — от молодых. Вызвали на заседание и ответчика. Он сидел в стороне, понурясь.

Стали зачитывать письмо. Оно пришло из старинного сибирского города.

Знаете этот эффект, свойственный юмористическому жанру? Читаете наедине — даже не улыбнетесь, звучит тот же текст со сцены — публика катается.

В письме сообщалось, что Фатьянов и Кац, будучи на выступлениях, жили в лучшей гостинице города, в номере люкс.

В той же гостинице остановился женский народный хор. Московские гастролеры пригласили молодых певиц к себе и стали, как говорилось в жалобе, их... купать.

Как вы понимаете, эта подробность вызвала у присутствующих оживление и похмыкивание.

Далее: в гостинице была неожиданно отключена вода, певицы в неустановленный момент удалились. Потом вода опять пошла, затопила ванную, следом — спальню, начала просачиваться вниз, портя старую купеческую лепнину.

Им звонили, стучали — безрезультатно. Взломавшим тяжелые дубовые двери предстала такая картина: безмятежно спящие постояльцы плыли по комнате на своих широких деревянных кроватях.

Теперь уже никто не сдерживался — хохот стоял неимоверный.

Алеша, безошибочно уловив момент, поднялся во весь рост и тоном оскорбленного достоинства (это он умел, артист был первостатейный) объяснил, что певицы обратились к ним, как к известным московским деятелям культуры, с рядом творческих вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы. А так как хор проживал в номерах безо всяких удобств, даже не было умывальников, они заодно попросили разрешения принять душ, в чем отказать им было бы негуманно. Наводнение же произошло по халатности администрации, которая хочет задним числом переложить вину с больной головы на здоровую...

Вытирающие слезы члены бюро единогласно проголосовали — оправдать Алешу Фатьянова.

Писательские жены

Скажут: а это что еще за проблема?

Но ведь существуют такие понятия, как *офицерские жены* или *жены моряков.* В первом случае мотив кочевой неустроенности, во втором — верности или неверности, умения или неумения, а может, нежелания ждать. Или, скажем, жены шахтеров, летчиков — тема постоянной привычной тревоги.

А здесь? Анна Григорьевна, Мария Илларионовна — даже фамилии не нужны, ясно, о ком речь. Помощницы, подвижницы. Вторая, впрочем, строже к своему мужу, да и понятно — ровесница.

А Наталья Николаевна, Софья Андреевна, Ольга Леонардовна, Любовь Дмитриевна! Кто же их не знает!

Да и много позже. У меня есть стихотворение «Жены поэтов».

Первая строфа:

В прошлое взглядом пройдуся,
Где мы бывали стократ.
Галя, Лариса и Дуся —
Жены поэтов стоят.*

Удивительно, не только люди близкого круга, но и просто любители поэзии в ту пору сразу понимали — чьи это жены.

Потом, правда, диспозиция поменялась, они стали женами других. Причины? От первого сама ушла, второй умер, третьего посадили. Вот ведь как.

Поразительный мир, особая сфера — писательские жены.

Союз жен членов Союза писателей. Он, понятно, настолько же *союз,* насколько у их мужей.

Жена писателя — это, можно сказать, профессия. Но сколько внутри градаций!

Женитьбы моих сверстников, молодых, или как тогда чаще говорили, начинающих писателей. Начинающий писатель? Что это такое? Разве можно вполне довериться начинающему шоферу, летчику, даже повару?.. А начинающему мужу?

Женитьбы моих друзей на милых ничтожных девочках, ожидающих денег и славы. Впрочем, почти каждой из них прежде всего пришлось ожидать ребенка. Их мужья с колясками на московских улочках и бульварах.

Потом встречи со знающими себе цену литературными женщинами, умеющими подать себя, говорить банальности о потерянном поколении, метафорах и сюжетах. Потрясение ими и — новое разочарование, уже более зрелое. Все это происходило быстро, и все на моих глазах.

Но большинство зацепилось за семью с первого раза, — фронтовые были ребятишки, устойчивые. Они ценили своих жен, стойко их одобряли. За что? Не за красоту, не за скрытые женские качества.

Их характеристики были определенней и одинаковы почти у всех: «Здорово понимает», «Замечательный вкус».

А суть понимания и вкуса одна — хвалит! Восторгается всем,

*Имеются в виду тогдашние жены М. Луконина, С. Гудзенко и Я. Смелякова *(Примеч. авт.).*

что пишешь. И ведь тоже немало. Поддержка ох как нужна, а от критиков похвал не дождешься.

(А моя? Она тоже хвалила в меру, но она и *советовала*. Она безошибочно подсказала мне не писать длинных сюжетных стихотворений, чем я грешил, и еще — что, может быть, важнее — не переводить. Но ведь она была не только жена — она была писательница! Мы безжалостно всю жизнь создавали, совершенствовали друг друга. Старались, во всяком случае.)

Каких я только не видел писательских жен!

Просто жены — темные, верные, преданные, иногда еще с войны. Порою тоже пишущие, по большей части безуспешно, хотя мужья помогали проталкивать. Но даже им это было неловко или не под силу. Жены, воспринимавшие работу мужей как специальность, которую вполне можно освоить, к тому же домашнюю и выгодную. Они и желали быть такими надомницами, с мужьями никуда не ездили и не ходили — ни в писательские дома творчества, ни даже в ЦДЛ.

Когда их известным мужьям звонили из редакций, а те в этот момент отсутствовали, они простодушно отвечали: нет дома. А кто, что, зачем, по какому и не по срочному ли делу — не любопытствовали. Для бедных редакторш такие вынужденные звонки были мукой.

Эта категория жен, по-своему трогательная, уже сошла или сходит.

Другая — тоже немногочисленная. Жены-секретари. Перепечатывающие рукопись, звонящие и отвозящие ее в редакцию, держащие корректуру. Решительные и умелые. Кокетничающие с главными редакторами журналов и директорами издательств — для пользы дела. Следящие, чтобы все нити постоянно были в их руках. Не подпускающие мужа к телефону, к прямому решению им своих вопросов и проблем. Отстранение мужа — восхищением. Его дело — только писать. Сопровождающие мужа по возможности везде: и в поездках, и уж во всяком случае в ресторанах. Цель: не давать пить или пить вместе.

Близкие к только что упомянутым, но в принципе другие — жены-консультанты по вопросам общественного поведения мужа, налаживания его связей, отношений, карьеры. Все знают, необыкновенно деловые. Опасность их для мужей состоит в качестве, характерном для любого штатного референта: подсознательной корыстной выборочности информации, умышленном искажении объективных оценок.

Конечно, писателю прежде всего нужна жена, создающая в семье атмосферу надежности, прочности, уверенности, пусть минимального, но удобства. Ведь он работает дома. Сколько ни объясняй — многие этого не понимают.

Но главное — как в любой семье. Просто жены бывают любящие и не любящие. Так вот, истинная любовь к мужу — основное качество жены писателя. Не только уважение к его дару и делу, но понимание, долготерпение. Вера и доверчивость. Жертвенность. Вот жены Мандельштама, Булгакова. Что поразительно! — таких писателей раз-два и обчелся, но таких жен куда больше. Они есть!

Это каста. Принимающие все на себя: и похвалу, и хулу, на вечерах, обсуждениях, в печати. Ликуя и негодуя. Отдавшие себя *служению,* сознающие или не сознающие это.

Полные достоинства. Легко прощающие или — наоборот — не прощающие никогда.

И рядом другие, совсем рядышком.

Раздражение постоянными неудачами мужа и удачами других. Загнанность жизнью, унизительной бедностью, полной безвестностью.

Зависть, убеждение, что другие хуже как писатели, а если преуспели, то несправедливо. Открытая враждебность к ним, во всяком случае недоброжелательность. Непонимание места мужа не в иерархии — в литературе.

Тут же важные, заносчивые, хотя и рядовые жены, на каждом шагу с апломбом говорящие о литературе. Горячо спорящие по мелочам, легко возбудимые. Обращаются к мужьям, почтительно придыхая, говорят о них с вызовом и трепетанием ноздрей, — что бы те из себя ни представляли.

А может быть, это тоже проявление любви — и к нему, и к себе отчасти?

Есть писательские жены — прозревшие, разочаровавшиеся в мужьях. Но всегда ли с полным основанием? Результат — презрение, даже скандалы, развод или измены с более преуспевающими. Неожиданное бурное восхищение талантом, обнаруженным, к сожалению, не у собственного мужа. Сравнения не в его пользу. Одновременно фарс и трагедия.

Жены, их немало, чьи представления о литературных способностях и успехах мужа связаны только с материальным благополучием. Нет, это не жадность, а стремление к ухоженности дома, быта, кабинета. К достатку.

Они никогда не перечитывают книг своих мужей, не читают рецензий. Им это не требуется, скучно, они и так безошибочно знают, хороший муж писатель или нет.

Ленивые, пресыщенные лестью жены литбонз, функционеров. Успевают зорко посматривать по сторонам, но лишь на себе подобных. Изумление и возмущение, когда все кончается. С этими ясно.

Женщины, ставшие женами писателей, в случае ухода или смерти мужа обычно стараются не покидать этот круг, пребывают, пусть на иных правах, но в той же сфере. Велика не только сила привычки, но и инстинкт приспособляемости к этому образу жизни. К этому клану. Здесь их еще может подстеречь удача, — вернее, они ее. Мне доводилось наблюдать неторопливо переходящих от одного к другому общепризнанных, фирменных жен-красавиц. Они и ощущали себя переходящими знаменами.

Или ловящие миг женщины быстрого реагирования. Любопытно, что прыжок бывает совершенно внезапен, с неожиданной стороны.

У немолодого именитого поэта умерла жена. И в горький момент его беспомощности и растерянности другая, заметно моложе, оставила мужа и перешла к нему. Твардовский хмуро отреагировал: «Ей лейтенант нужен». Впоследствии они прожили более полутора десятков лет.

Как осудишь?

Вообще жены, которые откровенно моложе мужей. Имеющие навык ухода за мужьями как специальность. Все одного типа — худые, слегка унылые. Инна их называла: матросы. Бегом вверх — вниз, в поликлинику, в магазин, в аптеку. Измеряют давление, даже могут сделать укол. Но и о себе не забывают. А главное — *общество*. Ухаживают добросовестно, правда, не в любовном смысле. Скорее, *выхаживают*. Один старичок умер — что поделаешь? — находят другого. На них всегда спрос. Благородная профессия.

Многие из них по совместительству и личные шоферы. Ездят очень аккуратно и с удовольствием на таких же старых, как их мужья, «Москвичах» и «Запорожцах».

Да мало ли какие жены у писателей бывают. Стяжательницы, например. Но ведь не только у писателей. О них распространяться не хочется.

Привлекательнейшая когорта жен-тружениц, нормально работающих всю жизнь и не желающих оставить свою стезю и мес-

то. Муж давно знаменит и обеспечен, снисходительно уговаривает бросить работу — жена ни в какую. Преподаватели, редакторы, доктора наук, просто доктора. Они сразу выделяются в литературной среде. Жены, но по своей психологии словно бы не вполне писательские. А порою и зарабатывают побольше мужа.

Многое еще, наверное, можно было бы сказать о писательских женах. Всех их я готов понять, восхититься большинством, оправдать не лучших. Жизнь их часто нелегка с их непростыми, издерганными до предела мужьями. Извините, если что не так. Я хотел написать как есть, а не бросить в кого-нибудь камень.

Сонет

Вероятно, так бывает всегда, но порою это особенно заметно: прекрасные писатели и книги, а рядом очевидная подделка, чепуха, несуразица какая-то. Проходит несколько лет, и нет этого, второго, забыто начисто. Но ведь что любопытно, — поначалу и то и другое привлекает чуть ли не одинаково, интересует зачастую одних и тех же людей.

Взять, к примеру, драму, пьесу. Там конфликт должен быть более определенным, отчетливым, чем, скажем, в романе, — жестокий конфликт. Прежде всего между Добром и Злом, — главное столкновение жизни и смерти, проявляющееся по-разному. А иначе какая же это драма!

Но тогда ведь что придумали. Да, конфликт необходим, без него пьесе и спектаклю нельзя. Но в новых социальных условиях это должен быть конфликт не между хорошим и плохим, а между хорошим и лучшим, хорошим и отличным.

Потом это получило наименование лакировки действительности, теории бесконфликтности. Но тогда-то!

Лучшие наши театры разваливались на глазах, взяв в репертуар такие пьесы. Оказалось, что этот новый микроб необъяснимо разъедает и прежние, классические спектакли.

Московский Художественный театр поставил «Зеленую улицу» Анатолия Сурова. А ведь труппа состояла чуть ли не из одних корифеев.

Суров, всегда в той или иной степени под хмельком (сейчас бы сказали — поддатый), ходил с толстой, суковатой палкой, стучал ею в пол и кричал, что ему не давали ходу, но он им

еще покажет. Однажды он заявился на обсуждение стихов Алеши Фатьянова в писательском Клубе и тоже стучал палкой и выкрикивал:

— Алексей! Ты им дай как следует! Не пускают большого русского поэта!..

Но Алеша никогда не искал причину своих обид и неустройств на стороне.

Время между тем было строгое, и даже про многоразового лауреата Сталинских премий Николая Вирту появился фельетон — «За голубым забором».

Речь, скорее всего, шла о его даче, но говорилось, что это чуть ли не имение, отгороженное голубым забором от народа.

Александр Раскин сочинил по этому поводу эпиграмму:

Вирта и Суров — анекдот!
У них совсем различный метод:
За голубым забором тот,
И под любым забором этот.

Справедливости ради скажу, что, когда дела у Сурова резко застопорились, возникли неприятности и он сошел со сцены — и в буквальном смысле тоже, то есть пьесы его уже не ставились, — он, работая на радио, сильно помягчел и помогал многим.

История, которую я хочу поведать, произошла у него с Михаилом Бубенновым. Тот был на вершине успеха — увенчанная Сталинской премией первая книга его романа «Белая береза» читалась нарасхват. Люди, я сам тому свидетель, спрашивали в магазинах, не поступила ли вторая книга и живо интересовались, когда поступит.

Но покуда он писал эту вторую книгу, исчезла потребность не только в ней, но и в первой тоже.

А тогда он был на коне, чувствовал себя уверенно и опубликовал резко отрицательный отзыв на роман Валентина Катаева «За власть Советов».

Стало известно, что Бубеннову позвонил по этому поводу Сталин, одобрил его выступление.

Катаев дал (и выполнил) обязательство переработать роман, подчеркнув, что это является делом его писательской совести.

У Бубеннова еще бывали основополагающие выступления в печати, скажем, о литературных псевдонимах.

Впоследствии он как-то сдал, сник, очень ценил мимоходное внимание совсем иных, новых писателей, прочно пришедших в литературу.

В Лаврушинском переулке есть старый писательский дом, после войны туда въехали многие появившиеся вновь лауреаты. Это было средоточье преуспевших и преуспевающих, сборища их были шумны и радостны. Шутки, подковырки тоже были в ходу.

Миша Луконин, живший не там, был у кого-то в гостях, и вот другой гость из этого же дома, Николай Грибачев, стал говорить, что уже поздно, пора расходиться. Миша сказал ему:

— Ну, ты-то можешь пройти через мусоропровод...

Тот страшно обиделся.

А десяток лет спустя я с дочерью был в Третьяковке, на выставке русского классического рисунка. Приехали рано, сразу после открытия. И вдруг внутри — Луконин. Здоровается и важно говорит:

— По-моему, неплохо.

Удивил меня очень. Через несколько дней объяснил, хохоча, что застрял в доме, заночевал, кончились сигареты, и он бегал утром за ними в буфет.

И вот в те времена, о которых я рассказываю, летним жарким утром стоят люди перед Третьяковкой и вдруг слышат, что в доме напротив за распахнутыми окнами скандал. Сначала слышат, а потом и видят: в комнате дерутся два почему-то голых человека. Крик, шум, ругань. И это напротив храма искусства. Люди возмутились, позвали милицию.

Короче, замять это не удалось. В сражении участвовали Бубеннов и Суров. Конфликт разбирался на заседании парткома.

Присутствовавшие рассказали, что в наиболее драматичный момент Суров спустил брюки и продемонстрировал четыре запекшихся точки ниже спины — след удара вилкой. Упоминалось еще сломанное в пылу битвы кресло.

В то время степень наказания обычно не соответствовала весомости проступка и значительно колебалась — в ту или иную сторону.

В данном случае провинившиеся отделались, что называется, легким испугом. И этот прискорбный факт, несмотря на всю его чудовищность и фантастичность, наверняка бы забылся, скрытый пеленой времени и других событий, если бы не искусство.

Да, Твардовский в соавторстве с Казакевичем написали сонет. Не уверен, сохранился ли он где-либо еще, и привожу его здесь, — прекрасно написанный, безжалостный и элегантный.

Суровый Суров не любил евреев,
Он к ним звериной злобою пылал,
За что его не уважал Фадеев
И А. Сурков не очень одобрял.

Когда же, мрак своей души развеяв,
Он относиться к ним получше стал,
М. Бубеннов, насилие содеяв,
Его старинной мебелью долбал.

Певец «Березы» в ж... драматурга
С жестокой злобой, словно в Эренбурга,
Фамильное вонзает серебро...

Но, подчинясь традициям привычным,
Лишь как конфликт хорошего с отличным
Расценивает это партбюро.

Освобождение

Моя жена была дальней родственницей известного химика, академика Вольфковича. По-моему, бабушка Инны приходилась ему двоюродной сестрой.

Мы только раз были у него дома, пили чай с мармеладом и сушками, мило беседовали.

Потом зашел еще один человек, возможно, сосед. Он, так же как хозяин и все в доме, говорил подчеркнуто спокойно, негромко. Через полчаса выяснилось, что это один из врачей-отравителей, академик Егоров.

Он рассказал, как его освобождали. Когда его вызвали из камеры поздно вечером, он ничего не знал и ни о чем не подозревал, в том числе и о смерти Сталина.

Ему вручили его костюм, сорочку, галстук и туфли, он переоделся в специальном боксе, после чего его ласково проводили до выхода, а сопровождающий офицер в высоком чине (кажется, полковник) сел с ним вместе в машину.

Когда подъехали к дому, было около полуночи. То ли лифт

не работал, то ли было невысоко, сейчас не помню, но они поднимались пешком. Сопровождающий деликатно отстал на несколько ступеней.

И тут им попалась спускающаяся по лестнице соседка (он назвал Вольфковичу ее имя и отчество), она собиралась выгуливать собачку.

Соседка увидела Егорова и, буквально раскрыв рот, — не только от изумления, но и потому, что ей не хватило кислорода, — вжалась в стену. И собачка замерла, почувствовав перемену в хозяйке.

— Не бойтесь, я не убежал, — успокоил ее Егоров. Он действовал прежде всего как доктор.

Правительственное сообщение об освобождении врачей появилось назавтра.

Спорт — сила

Когда-то очень давно мы с женой были в гостях у ее ленинградской тети, милой, интеллигентной женщины. Ее муж страдал болезнью кожи головы, и ему регулярно делались примочки. Он и сейчас сидел с повязкой на лбу.

Закуска была подготовлена с любовью и вниманием, но... Да, да, отсутствовало именно то, что́ принято закусывать. Я с молодым нахальством поинтересовался: не найдется ли чего-нибудь эдакого.

Тетя удивилась и спросила мужа:

— Может быть, от твоего компресса?..

— Отжатая? — уточнил я.

Тетя, не удостоив меня ответом, вынула из буфета закупоренную четвертинку. К счастью, примочки были прописаны водочные.

Встреча прошла радушно, и в конце тетя жены меня простила.

Но следующим приглашением я не сумел воспользоваться, оказался занят. Инна пошла одна. Опять был прекрасный стол, однако на нем появилась остроумная табличка:

Спорт — сила,
Спирт — могила.

Инна посмеялась. К чаю подали торт с густым шоколадным кремом. Инна съела два куска и вдруг почувствовала сердцебиение, слабость. Она, бледная, прилегла на диван и спросила:

— Что это за крем?

Оказалось, что тетя вымазала на сухой торт целую банку... сгущенного кофе. Помните, был такой? Ничего себе!

Жена отлежалась, немного пришла в себя и сказала тихим голосом:

— Нужно было написать:

Спорт — сила,
Торт — могила!

Тетя была лишь несколько смущена.

Бойтесь моралистов!

Водка в камине

Осенью 1961 года мы с Инной впервые попали в Париж — там проходила с огромным успехом национальная выставка СССР. Жили мы в отеле «Лондон и Нью-Йорк» возле вокзала Сен-Лазар. Старая, безалаберная, но в ту пору крупнейшая гостиница Парижа. У нас оказался трехкомнатный номер с двумя балконами. В большой комнате имелся камин с опущенной наглухо металлической заслонкой. А за окнами внизу и вверху всю ночь шумел и сверкал крутящимися огнями Париж: высвечивались над крышами результаты очередного футбольного тура, вспыхивал номер билета, выигравшего в национальной лотерее два миллиона новых франков...

Стояла жара, окна и двери наружу были распахнуты. В первый вечер, уже собираясь лечь, мы случайно обнаружили, что из мансарды напротив рассматривает нас в бинокль усатый француз. Окошко у него было под самой крышей, и, вероятно, он стоял на чем-то непрочном: голова его то появлялась, то исчезала. Мы его сильно разочаровали, погасив свет в последний момент. Он и потом регулярно появлялся.

Не только дни, но и ночи были до предела заполнены Парижем. Возвращались в номер и валились пластом. Приходили к нам и гости. Наша переводчица-француженка была совершенно поражена, увидев на фотографии меня вдвоем с Гагариным. Ведь это был шестьдесят первый год!

Затем в программе оказалось запланированное окно для поездки по Нормандии и Бретани, и мы, собрав часть вещей, ждали сигнала, чтобы спускаться к автобусу.

И тут, почему-то вспомнив наконец о камине, я спросил себя: а как он открывается? Оказалось, весьма просто. В самом низу вертикального стального щита была ручка, я потянул, и он легко пошел вверх.

В открывшемся устье камина стояла полупустая бутылка «Столичной». Пробки не было. Я понюхал: водка давно выдохлась.

И воображение нарисовало картину. Несколько наших — туристы или командированные — перед самым отъездом решили выпить на посошок. Едва опрокинули по одной — стук в дверь. Хозяин номера, не успев заткнуть бутылку, сунул ее в камин и опустил экран.

Вошел руководитель: «Вы что? Вас ждут!» — «Сейчас, сейчас идем...» — «Нет, пошли!..» Он стоит в дверях и подгоняет. Они: «Идите, мы догоним. Нужно присесть на дорожку...» — «В машине присядете...»

Они берут вещи и скрепя сердце покидают номер. Он выпускает последнего и прикрывает дверь.

...Тут постучали — ждали и нас.

Ответ Миля

Когда-то крупные ученые тянулись к литературе — к писателям. У меня в жизни было несколько верных поклонников — академиков. Главным образом, физиков. Один из них нобелевский лауреат. Я сейчас упоминаю их в прошедшем времени, потому что из них почти никого не осталось. Разумеется, об их работе я имел самое общее представление. А вот, скажем, деятельность Генерального конструктора вертолетов Михаила Леонтьевича Миля была мне более понятна.

Он тоже регулярно читал мои стихи, иногда говорил о них со мною. Между прочим, он устроил в клубе своей фирмы выставку волошинских акварелей. Тогда Волошин был для партийных функционеров еще отчасти подозрительной фигурой, но Милю отказать не решились. Это стало своего рода событием — хотя и для узкого круга.

Михаил Леонтьевич и сам рисовал, энергично ходил на этюды вместе с дочерьми. Только жена, Панна Гурьевна, при мне не рисовала.

Вообще, он был живой, увлекающейся натурой. Мы, скажем, играли с ним в Юрмале в футбол. Как-то раз мы вместе

возвращались из Коктебеля. В вагоне я напел их семейству самые первые песни Булата Окуджавы. Одна из дочерей по его просьбе тут же записала их в блокнот — не только слова, но и мелодию.

Вертолеты по-настоящему лишь входили в жизнь.

Однажды моя жена спросила у Миля, достаточно ли надежны эти машины, можно ли, если понадобится, на них безбоязненно летать.

Он ответил:

— Когда будет можно, я вам скажу...

Небьющиеся кружки

Изящная стеклянная кружечка современной формы. Ничего лишнего. Похожа на лабораторное стекло. И ручка — тонкая и удобная.

Мы в Ялте. Наверное, это было в конце шестидесятых. В вестибюле писательского дома стоит молдавский поэт Петру Заднипру, высокий, красивый. Сейчас его давно уже нет.

На каждом пальце у него (кроме больших) висит по такой кружечке. Инна шепчет мне: спроси, где купил? Тот объясняет: в хозяйственном около рынка. Инна загорается тут же бежать — знаете это женское нетерпение? Он говорит: поздно, уже закрыто. Но там много... А что это за кружки?.. Они огнеупорные, не боятся газовой плиты или электрической...

Мы стоим в вестибюле, около бюста Чехова, и вдруг одна кружечка срывается у поэта с пальца, падает на пол и, крутясь, катится. Они что же, не бьются? — спрашивает Инна. Он с важностью подтверждает: да, небьющиеся... Она: спасибо, мы завтра пойдем...

Вечером нас приглашают попить чайку, здесь же, в доме, то ли Реформатские, то ли Шкловские. Говорю так, потому что не помню точно, но были обе эти пары. Наш любимый институтский профессор Александр Александрович Реформатский, его жена, она же моя однокашница Наташа Ильина, и Шкловские — Виктор Борисович с Серафимой Густавовной.

Когда мы вошли, чайник уже закипал. А на столе рядком стояли кружки, точно такие же, как у молдавского стихотворца.

Когда купили? Сегодня. В хозяйственном? Да. Вы знаете, они огнеупорные... Инна: и небьющиеся!.. Однако о таком их свойстве никто не слыхал.

Тогда Инна взяла со стола одну и небрежно бросила под ноги. Кружка упала неудачно (или, наоборот, удачно) — на ручку, и та отломилась. Сама же кружка осталась целой. Инна схватила вторую, и эта уж разлетелась вдребезги.

Воспитанная публика смотрела на мою жену с едва скрываемым изумлением. Даже остроумец Сан Саныч воздержался от какой-либо реплики.

Инна страшно смутилась, обещала возместить урон, объясняя причину своей невольной ошибки тем, что у Заднипру падающая кружка, вероятно, скатилась по ноге.

Ее, как могли, успокаивали.

...Еще до завтрака мы вернулись из магазина с кружками.

Да, конечно, они оказались бьющимися — из восьми у нас осталось две.

Их не имело смысла употреблять дома, они были хороши в дороге. А когда мы бывали в Переделкине, Инна любила готовить в них чай. Она брала туда маленькую электроплиточку, и мы вечерами наблюдали сквозь прозрачные стенки нарастающее закипание — поднимающиеся со дна все укрупняющиеся пузырьки. Конечно, можно было принести кипяток в термосе из титана, но ведь это совсем не то.

А как хорош был на просвет золотой, коньячного цвета, чай с кружащимися чаинками!

Прощание с Бернесом

Мальчишкой в заводском клубе, где показывали кино одним аппаратом, с перерывами между частями, я был поражен и очарован его Костей Жигулевым, путиловским парнем, перекрещенным пулеметными лентами и с гармошкой в руках. И эта песенка «Тучи над городом встали», и то, как он пел ее, и весь его облик — все было необычным при очевидной правдивости и жизненности. И кто запомнил, повторял его фамилию восхищенно, произнося ее почему-то с ударением на первом слоге: «Бе́рнес!»

Мог ли я думать тогда, что мы станем с ним друзьями!

Он пришел в кино вместе с целой плеядой новых артистов, самостоятельной ценности звезд, ставших всенародными любимцами, — с Б. Андреевым, П. Алейниковым, Н. Крючковым. Пришел с уже ярко выраженной самобытностью.

За свою жизнь он сыграл в кино более пятидесяти ролей. По сути, играл всегда только положительных персонажей. И умел играть их так, что зрителя захлестывала волна сочувствия и горячей симпатии к его героям. Его работа в кино в лучшем смысле гражданственна. И песни он пел такие, которые бы делали человека лучше, сильнее, чище. Его репертуар безупречен. У него, как ни у кого, было развито чувство отбора. Вот только некоторые песни, спетые впервые им и оставшиеся в сознании людей именно как песни Бернеса: «Тучи над городом встали», «В далекий край товарищ улетает», «Темная ночь», «Враги сожгли родную хату», «Три года ты мне снилась», «Песенка фронтового шофера», «Эскадрилья “Нормандия — Неман”», «Я работаю волшебником», «С чего начинается Родина».

Сперва это были только песни из его ролей или из фильмов, где он играл («Спят курганы темные» из «Большой жизни»), а затем песня в его судьбе и работе заняла и совершенно самостоятельное, не меньшее, чем кинематограф, место.

И, слыша с экрана, а после войны из репродуктора или с

патефонного диска его голос того особого, грубоватого тембра и глубоко человечной интонации, я испытывал радость и волнение. Это был *мой* певец, то есть он пел и выражал то, что мне хотелось услышать, но я осознавал это, лишь услышав его, — признак истинного искусства. Какое бы это было счастье (несбыточное! Я в глубине души не верил, что это осуществимо), чтобы я написал, а он спел мою песню!

Нас познакомил поэт Яков Хелемский. В то время Бернес исполнял его новые песни: «Когда поет далекий друг», «Это вам, романтики». Думаю, это было в начале 1956 года. Мы сидели рядом с Хелемским за длинным столом в одной из комнат Дома литераторов на каком-то скучном совещании и, не помню уже к чему, заговорили о Бернесе. И я сказал, что у меня есть о нем стихи.

— Прочти, — попросил Хелемский в перерыве, и, когда я прочел, он вынул из папки лист бумаги. — Перепиши, я отнесу Марку, ему будет приятно.

Я тут же переписал:

Поет Марк Бернес

Мне слышится песня Бернеса,
Мне видится издалека:
Стоит он спокойный, белесый,
Уже постаревший слегка.
Поет, перед публикой стоя,
Отнюдь не во фрак разодет.
Лицо его — очень простое.
А голоса, собственно, нет.
Но тут совершается чудо,
И песня тревожит сердца,
А это не так-то уж худо
Для каждого в мире певца.
Да, слышал певцов я немало,
У них голоса хороши.
Но им иногда не хватало
Вот этой вот самой... души.
За яркой эстрадною кромкой,
Верхов не беря, не звеня,
Звучит этот голос негромкий,
Ведя и волнуя меня.
Мне юность прошедшую видно.

В полнеба играет гроза.
И, знаешь, нисколько не стыдно,
Что вдруг повлажнели глаза.

Через два-три дня Хелемский позвонил мне:

— Марк очень растроган, хочет с тобой познакомиться.

...Это был грустный дом, где недавно овдовевший Бернес жил тогда вдвоем с трехлетней дочкой Наташей. Она даже посидела с нами недолго, прежде чем идти спать.

Бернес не разочаровал меня при личной встрече, как это нередко бывает с нашими кумирами. Он мне понравился еще больше — своей простотой, естественностью, живостью и точностью суждений.

— Напишите песню, — предложил он мне в тот вечер. — У вас есть дети? Вот и у меня Наташа. Напишите песню о детях, о том, что они — это будущие мы. Подумайте. Будет одна строфа — звоните.

Это было сказочное предложение! Я в ту пору был автором нескольких непоющихся песен. Поэты знают, что это такое. На какие-то твои стихотворения написана композитором музыка, песня напечатана, разумеется с нотами, и, может быть, не один раз, но она не поется. Это не песня. Песня — та, которая звучит. Звучит по радио, с пластинки, на концерте. А уж если вошел в вагон электрички или отворил поздним вечером окно на улицу и там твоя песня — значит, это действительно песня. Другой вопрос, хороша или плоха, но песня.

Забегая вперед, скажу, что я написал о детях нечто весьма банальное и сентиментальное. Бернес зарубил это с присущей ему прямотой, откровенно и быстро. Я был слегка разочарован. Хочу заметить, что для «чистого» поэта написание специально песни — по ряду профессиональных причин, сложившихся привычек и навыков — дело чрезвычайно сложное, а для многих и невозможное. У большинства слова песни получаются, как правило, гораздо слабее собственно стихов, и мы лишь мечтаем, чтобы наши просто стихотворения были положены на музыку.

Прощаясь в тот первый вечер, я подарил Бернесу свою книжечку «Весна», втайне слабо надеясь, что он отыщет там что-нибудь для песни, а он в ответ вручил мне фотографию, где Наташа, обхватив отца за шею, сидит у него на коленях, и сделал надпись, как все артисты, не на обороте, а прямо по снимку: «Милому дяде Косте в знак нашего знакомства». Я так и

ушел, держа карточку в руке и помахивая ею, пока не высохли чернила.

С песнями ничего не получилось, но все равно мы очень быстро сблизились, при третьей или четвертой встрече уже говорили друг другу «ты» — по его инициативе, конечно.

Но он не оставлял своей затеи и говорил мне по телефону время от времени: «Слушай, есть грандиозная тема» — или: «Ну, когда мы с тобой что-нибудь сделаем?..»

В самом конце 1957 года у меня вышел сборник стихов «Волны», в него входило и стихотворение «Поет Марк Бернес», и я сразу привез книжку Марку. Открывалась она стихами без названия, с первой строкой «Я люблю тебя, жизнь». Стихи эти были опубликованы прежде в «Комсомольской правде», еще летом 1956 года.

Теперь же Бернес, перечитав сперва *свое* стихотворение, обратился к началу книги и после первых же четверостиший сказал с воодушевлением:

— Вот это то, что мне нужно! Я это давно ищу! Вот это будет песней!

— Какая же это песня? — усомнился я. — Из этого песни не получится.

Он только отмахнулся:

— А, ты ничего не понимаешь! — И начал ходить по комнате, громко читая стихи и вставляя время от времени: — Это то, что мне нужно!

А я, сидя в кресле, смотрел на него, счастливо улыбался, но ни секунды не верил, что из этого выйдет толк.

— Только надо сократить, — сказал он строго, — оставить максимум восемь строф. Максимально! И то много, нужно бы шесть!..

В стихотворении было двенадцать четверостиший. Я запротестовал: выбросить половину невозможно.

— Хорошо, пусть останется восемь.

Сокращение, перестановка некоторых оставшихся строф и замена двух, непесенных, по мнению Бернеса, строчек — все это заняло не меньше месяца.

Между прочим, Евгений Евтушенко, напечатавший в журнале «Советский экран» статью о Бернесе, ошибается, говоря, что строка «Это чудо великое — дети» предложена Бернесом вместо моей «Доброта человечества — дети». Нет, у меня с самого начала и в газете и в книге было: «Это чудо великое —

дети», но, возможно, Марк в процессе работы предлагал именно: «Доброта человечества — дети», однако изменение было отвергнуто, как многие другие варианты.

Наконец стихи приняли вид, удовлетворяющий артиста.

Назвал он их «Баллада о жизни». Так песня даже именовалась на первых пластинках и лишь спустя время как бы уже сама собой получила название по первой строке.

Бернес стал заказывать музыку. Он заказывал ее поочередно нескольким известным композиторам. Уговор был джентльменский: Бернес предоставляет стихи, композитор пишет музыку только для Бернеса (если песня отвергается певцом, то и композитор нигде ее не использует).

Мне кажется, что композиторы так же, как и я, с самого начала не верили в возможность появления и удачи песни с такими непесенными словами, они воспринимали этот заказ как некий каприз артиста, их друга, и, когда он отвергал попытки одного за другим, они не слишком обижались.

Однако, остерегаясь, как бы кто-нибудь не пустил забракованную песню в дело, он в концертах просто читал эти стихи, под рояль, под тихую классическую музыку, желая показать, что эта вещь из его личного репертуара.

Однажды Бернес позвонил и пригласил меня прослушать еще одного композитора. Я приехал. Вошел совершенно незнакомый человек моих лет или чуть старше, и я услышал совершенно незнакомую фамилию: Колмановский.

Человек сел к инструменту и сыграл... нечто элегичное, медлительное.

— Нет, — сказал Бернес с привычным уже вздохом, — не то, не годится.

А недели через две он позвонил и возбужденно закричал в трубку:

— Написал! Грандиозно! То, что нужно!

— Кто написал?

— Колмановский. Тот самый.

Так появилась песня. Бернес пел ее в каждом своем концерте, за ним взялись другие, «голосовые» певцы. Но я еще не верил, что это действительно песня. Даже в книге 1959 года я перепечатал эти стихи в старой редакции (все двенадцать строф), и лишь в последующих изданиях она уже выходила в песенном варианте, который стал окончательным. А чуть ниже заголовка появилось посвящение — М. Бернесу.

Благодарен я Марку и за то, что он таким образом свел меня с Колмановским. Мы тоже стали друзьями и написали впоследствии немало песен.

Я столь подробно останавливаюсь на истории создания этой песни, чтобы показать, каким еще одним, поистине редкостным даром обладал Марк Бернес, часто становясь как бы соавтором поэта и композитора. Он организовывал песню, давал идею, тему, мысль, его заказы — это почти заготовки. Он разыскивал, открывал в книгах стихи будущих песен. Он всегда с удивлявшей даже специалистов точностью угадывал, знал заранее, что будет петься. Нужно было бы более по-хозяйски использовать эти его уникальные свойства: скажем, поручить ему руководство какой-нибудь эстрадной студией или мастерской. Если бы не он, в природе просто не существовало бы таких песен, как «Когда поет далекий друг», «Если бы парни всей земли», «Москвичи» («Сережка с Малой Бронной»), «Я люблю тебя, жизнь», «Хотят ли русские войны», «Я улыбаюсь тебе», «Все еще впереди» и многих других.

Так появилась и ставшая прощальной, как будто специально для этого написанная, высокая и щемящая песня «Журавли» (слова Р. Гамзатова, перевод Н. Гребнева).

...Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

За полтора месяца до конца и за несколько дней до больницы, откуда он уже не вышел, он, превозмогая чудовищную боль, поднялся с постели, поехал на студию грамзаписи и спел, записал последнюю свою песню.

— Как? — не поверил я. — Записал песню?

Он ответил очень тихо:

— По-моему, получилось...

Кто еще позвонит мне и скажет: «Есть грандиозная тема!» — или: «Ну, когда мы что-нибудь сделаем?..»

Он спел еще несколько моих песен: «Солдаты», «Я спешу, извините меня», «Тополя» («Там тополя сажали мы с тобою») — во всех трех музыка Я. Френкеля, но это были уже го-

товые, хотя и ему первому предложенные песни. А именно для него так я ничего и не написал.

Как известно, у него не было «певческого» голоса. Он не знал нот и не обладал, вопреки мнению многих, тонкой музыкальностью. Но ведь он в буквальном смысле покорял слушателей. Каким же образом?

Благодаря точнейшему художественному вкусу и такту, завидной артистичности, сугубо бернесовскому обаянию, благодаря неповторимости его личности и облика.

Уж он-то знал свою задачу, свой маневр. И всегда еще помнил о сверхзадаче. Он знал, что ему нужно, потому что знал то, что нужно людям.

Удивительно, что в течение многих лет обладающие красивыми, прекрасными голосами певцы и певицы (а такие у нас, разумеется, есть) не пели поистине народную песню «Враги сожгли родную хату». А он, «микрофонный певец», запел эту великую песню, и народ с живейшей благодарностью откликнулся.

Как он умел радоваться жизни, как любил, чтобы все делалось на совесть, не жалел в работе себя и других! Говорили, что он бывал труден в общении. Да, он был требователен, придирчив к себе и людям, не терпел и презирал людей необязательных, выполняющих свое дело как попало. Допускаю, что иногда он и ошибался.

У него была страстная любовь к технике: к проигрывателям, магнитофонам, приемникам. Все это у него было высшего уровня, соответственно содержалось и работало; он и здесь органически не выносил никаких поблажек и халтуры. И автомобиль был у него всегда в лучшем виде. Именно он впервые с наивной гордостью продемонстрировал мне опрыскиватель — фонтанчики, моющие на ходу ветровое стекло. Из одной зарубежной поездки он привез мелодичную, звучную итальянскую сирену и установил на своей машине вместе с нашим сигналом. Иногда пускал ее в ход и радовался как ребенок, когда разом озирались по сторонам изумленные водители.

Давно ли, кажется, мчались мы с ним по Рублевскому шоссе, в сумерках, среди сосен и забеленных туманом полян, и всякий раз, как попадалась на обочине дачная компания, он сигналил, вполне удовлетворенный производимым эффектом.

Марк Бернес обладал колоссальным диапазоном признания. Это певец не только того, нашего, военного поколения. По-

мню Дворец спорта в Лужниках. Концерт после съезда комсомола. Он взмахивает рукой, и пятнадцать тысяч голосов грохочут вслед за ним: «Парни, парни!..» — а потом зал долго не отпускает его.

С уходом Бернеса ушло многое. Эта потеря из тех, которые навсегда.

Когда я последний раз навестил его дома, он лежал на диване, а на серванте, прислоненная к стене, стояла незнакомая мне его фотография. Оказалось, что приезжали снять его для «Кругозора», — и он поднялся и надел пиджак.

Он смотрел со снимка живыми, веселыми глазами.

— Удачный снимок, — сказал я.

— Это последний, — ответил он спокойно и еще пояснил: — Больше не будет.

— Да брось ты глупости! — возмутился я и произнес еще какие-то слова.

Он промолчал: он знал лучше.

О безнадежно больных говорят: «Он приговорен». Но ведь этот приговор неправый.

У нас существуют Госфильмофонд и фонд Всероссийского радио. Находящиеся там кинопленки или магнитофонные ленты должны, по замыслу, храниться вечно. Однако хранение в фонде само по себе еще не предполагает защиты от забвения. Выносят на свет, в жизнь далеко не все!

Мы еще не раз увидим его изображение и услышим его голос. Но, увы, мы увидим и услышим лишь то, что уже видели и слышали.

И короткое дополнение. Спустя год после его смерти у меня появилось еще одно небольшое стихотворение, с обозначенным двумя буквами посвящением.

М.Б.

В покое кунцевской больницы
Ты трудно спал на склоне дня.
Вдруг слабо дрогнули ресницы,
Ты ясно глянул на меня.

— А, здравствуй... — вымолвил устало,
Вновь погружаясь в сумрак свой,
Где колебалась, трепетала
Жизнь на отметке нулевой.

Бернес и Андреев

Мы дружили с Марком Бернесом, что называется, *домами* и, как бывает в таких случаях, постепенно узнавали друзей и приятелей друг друга.

В середине пятидесятых мы были в гостях у него на Октябрьские праздники, именно седьмого. Мы — это я, Е. Винокуров, Б. Андреев — все с женами, и еще одна пара — старинные друзья Марка, не имеющие отношения к искусству. Или, как замечательно говорят в таких случаях актеры: *из публики.*

Наташке было года четыре. Она очень долго, трогательно-серьезно сидела со взрослыми. Бернес в ней души не чаял.

В тот вечер я впервые столь близко увидел Бориса Андреева. Он был как в кино, большой, басовитый, привыкший к направленному на него всеобщему обожанию. Но и не только это. Он был оратор. Разогревшись, он начал говорить — о земной справедливости, о смысле жизни, о душе человеческой.

Это были настоящие монологи. Он говорил самозабвенно, с напором, без всяких затруднений, будто это была выученная роль. И постепенно вы проникались его порывом, верили в подлинность чувств.

Другие тоже успевали перекинуться словом, но больше слушали его.

Позвонили в дверь. Появились Алла Ларионова и Николай Рыбников с грудным младенцем на руках, а с ними еще молодая пара, их родственники. Объяснили, что шли мимо и решили поздравить, развлечь Бернеса. Теперь они были чуть-чуть смущены. Марк растерялся, не понимая, куда их сажать. Они тем временем перепеленывали на тахте ребенка.

Наконец кое-как устроились, и тут выяснилось, что не хватает водки. Андреев поднялся:

— Я схожу. — И обратился к Винокурову: — Женя, пойдем?..

Тот с готовностью согласился.

Винокуров потом рассказал: магазин был через дорогу. Тогда магазины работали допоздна, даже в праздники. У входа стояла толпа.

Андреев стал протискиваться и крикнул:

— Здорово, ребята! — Люди с неудовольствием оборачивались, и вдруг все узнали его и наперебой зашумели:

— Здравствуйте! С праздничком!..

— Без очереди пу́стите меня? — спросил Андреев.

— Ура! — закричала очередь.

Он через головы протянул деньги сияющей продавщице и таким же способом брал и передавал Винокурову бутылки.

Многое их с Марком связывало: их дуэты в «Истребителях», в «Двух бойцах». Мое поколение их не забудет.

И «Большая жизнь» связала, особенно вторая серия.

Стало известно, что картина не понравилась «на самом верху», и съемочная группа, замерев, ждала меры наказания. Последствия вскоре стали известны — постановление ЦК. А перед этим вызвали, не всех, всего несколько человек во главе с режиссером Луковым. Андреев был в их числе. Бернеса не позвали.

Они условились, что Борис позвонит и расскажет обо всем. Марк ждал в нетерпении.

Но звонок раздался в дверь. Андреев вошел мрачнее тучи. Наметанный бернесовский глаз определил, что Боря по дороге где-то слегка притормаживал — чтобы снять напряжение.

Он рассказал о том, как хмуро их встретили, как они стоя ждали в небольшом зале или в приемной, и тут из колонны вышел Сталин.

Бернес не поверил:

— Как из колонны?

— Из колонны!

Впоследствии, передавая мне их разговор, Марк объяснил: Борис хотел этим сказать, что Сталин появился неожиданно и они испугались.

— И что же было? — спросил Бернес.

Андреев долго смотрел на него и наконец произнес веско и убежденно:

— Марик, он плохой человек!

— Боря, перестань! — в ужасе вскричал Бернес.

Но тот медленно повторил:

— Ма-рик, он о-чень плохой человек!..

На дворе был сорок шестой год.

Историю эту я услышал значительно позднее и с тех пор по-особому стал смотреть на Андреева.

Костюм

Бернес долго и внимательно глядел на меня и наконец сказал:

— Знаешь, когда будет война, блокада, все умрут с голоду, а ты — нет.

Я уже хорошо знал его, но все-таки удивился и спросил:

— Почему?

— Потому, что рукава твоего пиджака длиннее, чем следует, на восемь сантиметров. Они так промаслятся, что ты будешь их потом сосать целый год и выживешь. Где ты купил этот костюм? Как — шил?..

Я подтвердил довольно небрежно, что, да, шил в нашем писательском ателье, но что я не придаю столь большого значения своему гардеробу.

— Не придавал, — поправил он. — Ты этого просто не понимаешь. Тебе необходим приличный костюм. Я этим сам займусь.

И он занялся — со всей серьезностью. Первым делом нужно было подобрать материал. Два дня колесили мы на его машине по городу, многократно причаливая под фирменную вывеску с белыми буквами по оранжево-красному полю «ТКАНИ». Казалось, это был один бесконечный магазин.

— Только не говори там: «Да ладно!», — предупреждал он меня.

Это было время расцвета его славы, самый пик его популярности. Впрочем, спад так и не наступил. Его знали все, а любили многие.

Мы входили. Ближайшая продавщица замирала, не веря своему счастью.

— Здравствуйте, — говорил он негромко.

Полотнища тканей тяжело, как портьеры, свисали вдоль стен. Иногда они казались мне знаменами неведомых государств.

Нас окружали продавцы. На меня, разумеется, никто не обращал внимания. Он и не говорил, что материал нужен мне, — они вмиг бы охладели. Под взглядами тоже столпившихся, взволнованных его присутствием покупателей они одну за другой бросали на прилавок «штуки» материи — полный или уже початый, плоский рулон. Он внимательно смотрел, порою брал край в пальцы.

За все время я не произносил ни слова. Я был как коронованная особа, путешествующая инкогнито, но они об этом не догадывались. Правда, однажды он спросил:

— Ну, как тебе?

Меня заметили и посмотрели с удивлением.

Уходил он, не прощаясь.

Нашлось то, что нужно, лишь на третий день, совсем близко от его дома, на Сретенке. Это была серая, стального оттенка, итальянская шерсть, в выделанную некрупную клетку, различимую только вблизи.

Бернес сразу кивнул мне, многозначительно прикрывая глаза веками: «Плати!»

Девушка, улыбаясь Бернесу, трижды взмахнула деревянным, с окованными жестью концами эталонным метром, лязгнула ножницами.

— Полдела сделали, — сказал он, садясь в машину. — Теперь слушай внимательно: заказывай однобортный костюм. Я тебе здесь не нужен. Я приду на примерку. Даже не на первую, на вторую.

Ателье помещалось в подвале Литературного института. Примерка была назначена на девять утра, сразу после открытия. Не такой я был важный клиент, чтобы беречь мои утренние часы.

Мы подкатили к самым дверям.

Потрясение было еще бóльшим, чем в магазинах. Никто не мог понять, почему и зачем приехал со мной, да еще в такую для артиста рань, сам Бернес.

— Давайте побыстрей, — сказал он строго и повернулся к модному закройщику, подававшему мне мой будущий пиджак, пока еще с одним рукавом: — Что это такое? Кто так шьет? Оторвите этот рукав!..

— Да, да, конечно... — закройщик чуть не подавился булавками, — сейчас...

— Что это за хомут на спине! — продолжал Бернес грозно, а тот соглашался, обещал убрать, черкал по серой материи плоским портняцким мелком.

Ох, этот Бернес! Умел он нагнать на людей страху, когда видел или считал, что работают они скверно, равнодушно, недобросовестно. Случались на этой почве и забавные истории.

Мне рассказывали, как он пришел однажды на запись фонограммы, перед самым началом, и увидел в руках одного из музыкантов маленькую гармошечку.

— Что это? — хмуро поинтересовался Бернес.

Ему объяснили:

— Это пневматическая гармоника. Называется — концертино.

— Что же, не смогли достать нормальный аккордеон? — спросил он зловеще.

Решили, что он шутит, вежливо посмеялись в ответ, но он вдруг закричал:

— Работаешь, все отдаешь, жизни не жалеешь, а тут такое отношение!

Его еле успокоили.

Я вижу за этим анекдотическим случаем не вздорность Бернеса, которая, быть может, иногда и была ему свойственна, а усталость и глубокую обиду. Сколько пришлось ему испытать несправедливых нападок, выслушать нелепых упреков и обвинений. И это при огромном, поистине народном признании. Он был новатором по натуре. Он одним из первых у нас взял в руки микрофон. Теперь микрофоном обязательно пользуются и самые голосистые.

У него был поразительный дар: он создавал песни. Он сам находил стихи или убеждал поэта написать нужное ему, Бернесу. Он, не зная нот, безошибочно угадывал мелодии, которые будут широко и долго петься, и буквально заставлял композиторов сочинять именно такую музыку. И что же? Стоило прозвучать очередной бернесовской песне, как ее тут же переписывали с каким-либо *голосовым* певцом, и она звучала главным образом в новом исполнении.

Другой бы отступился, а он опять и опять брался за это «не свое» дело и говорил в свойственной ему ироничной манере:

— Пора уже нам что-нибудь сделать для Отса!

Или:

— Не находишь, что у Кобзона не слишком хорош репертуар, а мы сидим сложа руки?

Он был настоящим артистом, художником, его ничто не смогло сбить с толку. Время показало, что он был прав.

...А костюм действительно получился удачный. Сначала, как водится, он был выходной, парадный, потом стал служить мне чуть не каждый день. Я носил его долго и даже летал в нем на сибирские лесные пожары шестьдесят второго года. Он был хорош тем, что в нем еще вполне прилично было зайти к местному начальству и не жалко сидеть и лежать на земле.

Звонок Бернеса

С Бернесом мы регулярно встречались, а перезванивались совсем часто. Иногда и по делу. Он ведь записал пять моих песен. А Инна по его просьбе очень удачно сочинила ему стихи для двух песен, одну из них он пел особенно часто.

Однажды он позвонил:

— Привет! Все в порядке? А Гофф дома?

Я ответил:

— Нет, ее нет. Она пошла гулять с моей дочерью от первого брака...

Наступило молчание, затем он сказал:

— Не понял!

А следует заметить, что он был на редкость сообразительный и просто умный. Схватывал все мгновенно. А тут: «не понял».

Я коротко объяснил, что наша общая с Инной дочь Галя и является моей дочерью от первого брака. Я еще добавил: по совместительству.

Он сдержанно попрощался и повесил трубку.

Потом удивлялся и огорчался: как это я не усек?

А нашу дочь он очень любил и попросил, чтобы она нарисовала для него несколько акварельных городских пейзажей. Они до сих пор висят в его доме.

Ответ Бернеса

Артистам, особенно известным, не принято звонить рано: накануне могли быть спектакли, концерты.

Когда Бернесу звонили утром редакторши радио, телевидения, кино и спрашивали первым делом: «Марк Наумович, я вас не разбудила?» — он всегда отвечал одинаково:

— Вы разбудили во мне мужчину.

Проигрыш Бернеса

Нет, не Бернес проигрался. Его проиграли. Это случилось в пятьдесят восьмом году.

Следует заметить, что жизнь Марка Бернеса проходила как бы в двух параллельных плоскостях. С одной стороны — ежеминутно ощущаемая им верная и трогательная любовь широчайшей публики, а проще сказать — народа. И с другой — вялое, небрежно-обидное отношение властей. Нет, бывали и награды, однако редкие и, как правило, скромные. Это бы еще ничего, но случалось терпеть время от времени жестокие и нелепые удары.

Что же произошло? Во Дворце спорта в Лужниках шел грандиозный концерт, посвященный юбилейному съезду комсомо-

ла. В ложе — правительство во главе с Хрущевым. Вероятно, в связи с этим концерт был строго хронометрирован, бисирования исключались. Бернес, как и планировалось, спел две песни. Огромный зал его не отпускает, требует еще, не дает объявить следующий номер. Марк говорит режиссеру: давайте я спою один куплет, чтобы снять это... Тот: нельзя, запрещено...

У Бернеса были поклонники везде, нашлись они и в правительственной ложе (вероятно, из обслуги). И рассказали потом: Хрущев, наблюдая происходящее, бросил раздраженно:

— Что же он мóлодежь не уважает?..

Этого оказалось достаточно. Вскоре две могущественные газеты (одна по положению, а вторая — по особому положению редактора) в один день дали дуплет по несчастному артисту. В первой статье его обвиняли в том, что он «микрофонный певец», «шептун» и проч. Оскорбительно, но — ладно: он же не в Большой театр пробивался. А вот со второй дело оказалось серьезнее. Но сначала о другом.

Прочитал я воспоминания Аджубея о Хрущеве. Много там интересного — и о Никите Сергеевиче, и о Нине Петровне, и еще о прочих, больших и средних, кто был поблизости. Кто, как и когда проявлялся. Хрущев — фигура, конечно, поразительная, исторического масштаба. Решиться сказать правду о Сталине — и ведь не сейчас, тогда! Решиться пусть не на полную, но на массовую реабилитацию! Наконец, вытащить генералиссимуса из Мавзолея! Все так. И одновременно какое неуважение к человеческой личности, к чувству достоинства, какое пренебрежение этим. Кто-то сказал, что есть демократия для всех, а есть для каждого. Вторая, понятно, предпочтительней. Но тогда преобладала первая. Ею руководствовался и автор воспоминаний. А так-то он был симпатичный парень, дружил с артистами. При нем и «Комсомольская правда», и «Известия» были живыми, интересными газетами. Я, однако, отдаю первенство «Комсомолке» следующего редактора, Юрия Воронова.

Неограниченные возможности всегда вредны, они деформируют сознание: восприятие может быть искажено. Такое не раз бывало.

Конечно, Аджубей не Чурбанов. Отнюдь. Но ведь тоже зять. Его стремительное продвижение трудно объяснить чем-то иным. И он был не просто главный редактор, за его спиной стояла родственно-государственная мощь. Пусть только в гла-

зах других — и этого достаточно. Механизм срабатывал безотказно.

Он, вероятно, сделал и немало хорошего, но вот это равнодушие к отдельной судьбе... И как это — самому тянуться к искусству и одновременно чернить артистов и писателей? Не своими руками, не своим пером, разумеется. Я не говорю сейчас о предвзятых разносных рецензиях, а лишь о прямой бесцеремонности и клевете.

Виктора Некрасова назвать в газете «туристом с тросточкой»! А сколько еще ошельмованных! Да и меня, скажу, оклеветали в ту пору «Известия», написали, что я участвовал в поездной драке, вышел на волгоградский перрон к встречающей общественности, смущенно потирая синяк. А ведь Московская писательская организация просила не печатать этого — до выяснения. Но нет, сам поторопил, и сотрудники, которых я хорошо знал, выполнили.

Потом — редчайший случай — пришлось газете признаться, хоть и косвенно, в ошибке. А написавший заметку волгоградский корреспондент «Известий», некий Ростовщиков, сделал потом карьеру, стал секретарем обкома. Но в результате был снят и исключен из партии за присвоение и ношение чужих боевых орденов. И это в городе-герое! Произошло это уже в брежневские времена, они все тогда как с ума посходили, лишь бы повесить что-нибудь на лацкан.

И ведь вот что обидно: фельетон про Бернеса в аджубеевской «Комсомолке» хороший газетчик написал. С чужих слов сочинил. Признала бы газета ошибку, как было бы благородно. Нет, ни за что!

В фельетоне говорилось о том, как популярный киноактер, сидя за рулем своей машины, грубо отказался выполнить требования постового милиционера, тот оказался на капоте движущейся бернесовской «Волги», и артист, рискуя каждую секунду сбросить его под колеса, не останавливаясь, проехал таким образом вокруг площади Дзержинского.

На основании этой публикации на Бернеса было заведено уголовное дело. Я сам читал тогда заключение следователя московской прокуратуры В. Ключанского, из коего явствовало, что факты, изложенные в газете, не соответствуют действительности. Были там и показания дежуривших в этот день милиционеров. (А Владимир Иванович Ключанский — замечательный человек, известный адвокат, недавно скоропостижно скончался.)

Марка фельетон ударил больно. Он прервал гастрольную поездку, вернулся в Москву. Попросил Аджубея о встрече, тот принял его, но дело было сделано, и менять что-либо главный редактор не пожелал.

Бернес целыми днями в бездействии лежал на диване, в отличие от того орудовца совершенно раздавленный случившимся. Это было для него особенно тяжелое время: на руках маленькая Наташа. Он без оптимизма смотрел в будущее.

Мы с Винокуровым часто бывали у него. Звонили разные люди, выражали сочувствие или возмущение. Он вяло благодарил. Приходили порой незнакомые. Помню офицера-грузина, предлагавшего Марку деньги.

Тут и случилась сама история.

Бернес позвонил вечером и попросил обязательно приехать завтра.

А произошло вот что. Пришел человек, худой, в кепке. «Вроде тебя», — сказал Марк. У Бернеса кто-то был, и человек шепотом в передней сообщил ему, что на вокзале в Котласе освободившиеся из заключения урки проиграли Бернеса в карты — как завязавшего вора Огонька, сыгранного артистом в фильме «Ночной патруль». В течение недели — помню, он сказал: до первого — его должны убить. Человек объяснил: предупреждает потому, что сам большой поклонник Бернеса, — и тут же исчез.

(Слово «Котлас» звучало зловеще, я не знал тогда, что там живет мой дорогой фронтовой друг Борислав Бурков, и я буду не раз гостить у него на берегу прекрасной Северной Двины.)

Бернес растерялся. Может быть, следовало задержать того человека? Да нет, и как задержишь!

В тот же вечер он был у начальника МУРа комиссара Парфентьева, просто позвонил, и все. Это же был Бернес.

Парфентьев успокоил, сказал, что самого его проигрывали четырнадцать раз, и вот ничего. Что, скорее всего, это туфта и человек объявится впоследствии, попросит сколько-нибудь за спасение души, но на всякий случай... Он помолчал и добавил с улыбкой:

— За тебя же голову снимут...

Мы, опять же с Женей Винокуровым, пришли к Марку на следующий день. И лишь дожидаясь лифта, обнаружили сбоку коренастого человека в сером плаще, читающего какую-то брошюрку. Свет в подъезде был слабый, лампочка высоко, но он читал как-то уж очень увлеченно.

Поднялись на пятый этаж. Еще вчера Бернес долго переспрашивал из-за дверей: кто да что? Сейчас дверь отворилась мгновенно. Нам открыл крупный плечистый парень, выглядывая из-за него, кивал Марк. На руке парня, пока он запирал дверь, я успел заметить наколку: «Вова». Бернес представил нас. Вова опять сел смотреть телевизор.

— Телохранитель? — спросил Винокуров в комнате.

Марк кивнул и объяснил, что Вова мастер спорта по самбо и, кажется, по боксу. Да еще и вооружен, под пиджаком на пузе «пушка». И добавил шепотом, что Вова состоял в охране Булганина, но сейчас, как известно, такая необходимость отпала, и атлет пошел в МУР.

Теперь Вова постоянно жил у Бернеса и повсюду сопровождал его. Однажды, когда садились в такси, Вова, открывая дверь, нечаянно оторвал ручку. Марк познакомил его со всеми знаменитыми артистами и особенно артистками, которые встречались им в Доме кино.

Эта незаметная для других история, произошедшая на фоне шумного фельетона, с одной стороны, может быть, даже отвлекала Бернеса, но с другой — добавляла напряжения.

Неожиданно выяснилось, что Вова учится заочно то ли на физмате, то ли на мехмате. Марк при мне сказал об этом Долматовскому.

— Вот видишь, — подхватил тот, — в какой еще стране...

— Перестань! — закричал Марк почти истерически.

А между тем неделя прошла, все было тихо. Парфентьев удвоил срок — для страховки. Опять ничего. И когда пост был наконец снят, Бернес вздохнул с облегчением: он устал от Вовы.

Человек в кепке больше никогда не появлялся. Сгинул ли он где-то в блатном мире, а может быть, это была чья-то злая нелепая шутка.

Как бы там ни было, давняя история с проигрышем почти забылась. А с фельетоном нет. Ведь ничто так не укорачивает жизнь, как несправедливость.

«ВПЕРЕДИ УЖЕ НЕТ НИКОГО»

Рекомендация Смелякова

Каждый писатель с годами обрастает обычно уймой всякого рода бумаг. Здесь черновики, письма, записные книжки, фотографии, пригласительные билеты и афиши литературных вечеров, записки из зала, газеты и журналы, где он печатался, и те, в которых писали о нем, и еще многое другое. Так называемый *личный архив*. Одни относятся к нему достаточно серьезно, содержат в надлежащем порядке: что-то понадобилось — и тут же достал. У других все это навалом, бессистемно, как пришлось. Должен признаться, я отношусь ко вторым. Не знаю, в чем здесь первопричина: бездомная ли молодость с чужими, на время снятыми комнатками или просто нечто врожденное, характер.

Во всяком случае, когда требуется что-либо отыскать, — это целое дело, занимающее порой не один вечер. Но зато интересно.

Недавно писал о Симонове и решил найти свое более чем тридцатилетней давности стихотворение с его пометками. Это мне в конце концов удалось. Но по ходу раскопок я обнаружил еще целый ряд документов (иначе не скажешь!) — о некоторых из них я попросту забыл.

Здесь полный стенографический отчет о защите мною диплома в Литературном институте, с выступлением А. Твардовского, а также с отзывами С. Кирсанова, С. Смирнова и А. Туркова. Письмо ко мне Твардовского (1952) на замечательной «полотняной» бумаге. Телеграмма Твардовского мне и моей жене в ответ на наше телеграфное поздравление его с пятидесятилетием (июнь 1960) — подобного в моей жизни больше не встречалось. Пустой конверт от заказного письма М. Исаковского, адресованного мне еще на Литературный институт (1951). Что в нем было?.. Письма, забавные записки моего друга Ивана Ганабина, ушедшего из жизни так рано. Его рецензия на мою первую книгу (газета «Красный воин»). Офи-

циальная переписка (в том числе копия письма Исаковского в секретариат Союза писателей СССР) по поводу издания посмертной книги Ганабина (я был ее редактором). И еще один, глубоко взволновавший меня листок, о котором — позже.

При Союзе писателей существовала Комиссия по работе с молодыми. В шутку ее называли иногда Комиссией по борьбе с молодыми. В свое время там работал и Твардовский. В ту пору, о которой рассказываю я (1950), председателем ее был В. Ажаев, его заместителем М. Луконин.

По рекомендации руководства Литинститута на заседании Комиссии должны были обсуждать мои стихи.

С Лукониным я был знаком, он относился ко мне и к тому, что я делаю, с дружеской доброжелательностью. Но вдруг по институту прошел слух, что основным выступающим будет Я. Смеляков и что мои стихи ему не нравятся.

Должен сказать, что репутация Смелякова как поэта и как человека исключительно выверенного вкуса была чрезвычайно высока. Он выделялся и своей судьбой. Даже тогда, после войны, когда люди пережили немало и ничем, казалось, никого нельзя было удивить, его непростая жизнь обращала на себя внимание.

Заседали в Союзе писателей, в бывшей сологубовской городской усадьбе, описанной Толстым как дом Ростовых, — сейчас даже висит у входа мемориальная доска с этим разъяснением, — на Поварской, в светлом изящном зале с вделанными в торцовые стены большими зеркалами.

Смеляков опоздал и вошел, когда уже говорил Луконин. Он вошел хмурый, сел, затем поднялся и, приблизившись к зеркалу, стал придирчиво рассматривать свою щеку — порез при бритье или прыщик.

Тут ему дали слово.

Он начал сурово говорить о требовательности вообще и к молодым в частности. Потом перешел на меня и неожиданно заявил, что стихи ему нравятся — чистые, естественные, с наблюдательностью и хорошим языком. Он сказал, что ему особенно приятно, что здесь стихи не только о войне, но и о мирной армии, а это очень важно. Таким образом, он единственный выступал как бы и с государственной точки зрения.

В заключение он предложил рекомендовать мою рукопись к изданию. Такое решение в конце заседания было принято.

Потом мы пригласили его посидеть с нами за столиком в маленьком ресторанчике ЦДЛ, куда нужно было подниматься по железной винтовой лестнице.

Он, не чинясь, согласился. Мы сидели долго: Е. Винокуров, И. Ганабин, М. Годенко и я с Инной Гофф — мы только недавно поженились. Винокуров боготворил Смелякова, ставил его, во всяком случае в то время, выше Твардовского. Однако сейчас то и дело петушился, чтобы не чувствовать себя ущемленным. Говорили — уже тогда! — о чтении стихов с эстрады, и я сказал, что в театре прежде бытовала формула: «Публика — дура». Смеляков посмотрел строго и заметил веско, что Щепкин или Станиславский так не считали.

Но ведь здесь речь не о публике вообще, а о тех, кто с легкостью поддается на внешний эффект, на любую уловку, — и это всегда было и будет злободневно.

Когда, уже в следующем году, вышла та моя книга — «Песня о часовых», я подарил ее Смелякову и спустя время попросил у него рекомендацию для вступления в члены Союза писателей, которую и получил.

Смелякова арестовывали трижды, и трижды он возвращался, возникал, воскресал. И снова писал стихи — не хуже прежних. Да что там трижды — он ведь еще и в плену был.

Первый раз его посадили рано, в начале 1935 года, до широкого изъятия писателей; до этой акции он еще успел и выйти. Освободившись, он пришел в Союз к Ставскому, по поводу устройства. В. П. Ставский был одним из руководителей Союза, вроде теперешнего оргсекретаря, а в ту пору скорее комиссара. Сам он писал очерки, был старым большевиком — тогда и старые большевики были молоды. Впоследствии он погиб на фронте.

Ставский сказал Ярославу, что, мол, ничего, оступился, но ведь ты способный рабочий поэт, выправишься, тебя следует определить в хороший пролетарский коллектив, в многотиражку. Он начал названивать с этой целью по телефону, а заодно поделился со Смеляковым собственной заботой: ему нужно посадить Павла Васильева и Бориса Корнилова, да вот пока не удается.

Ярослав молчал, ни жив ни мертв.

Разумеется, от него я это через много-много лет и услышал.

Прекрасные поэты П. Васильев и Б. Корнилов были закадычными друзьями Смелякова. Какой трагичный конец вскоре их ожидал.

В начале восьмидесятых я написал стихотворение «Борис и Павел». Там есть строчки:

Про них от Ярослава
Я только и слыхал.

По правде, не только от Ярослава. Еще от Коваленкова. Он их тоже хорошо знал, восхищался ими. И ведь не боялся, рассказывал, и когда — в конце сороковых! Не всем, конечно.

Эта потеря всю жизнь больно сидела в Смелякове. Он без конца мысленно менялся с ними судьбой. Особенно с Корниловым:

Он бы стал сейчас лауреатом,
я б лежал в могилке без наград.
Я-то перед ним не виноватый,
он-то предо мной не виноват.

...«В могилке без наград»?.. Чего уж там, если в могилке! Но, как ни странно, это его, особенно в последний отрезок жизни, довольно серьезно занимало. Он, кстати, имел ордена и премии, правда, не самые высшие.

В начале войны Ярослав Смеляков попал в плен. В финский. Потом о нем ходили всякие слухи, но факт тот, что после Победы, кажется в сорок шестом, он объявился в Подмосковном угольном бассейне, в местной газетке. Приезжал полулегально в Москву, дома ночевать боялся. Его тянули и вытянули-таки — прежде всего Симонов. Вскоре Смеляков уже печатался, на виду, в «Новом мире».

Я впервые увидел его в сорок седьмом, познакомился в пятидесятом.

Однажды Смеляков обмолвился (хочу подчеркнуть, что и это, и рассказ его о Ставском были уже после третьего освобождения, в нестрашные последние его годы. Но и теперь говорил он на эти темы кратко и осторожно), так вот, он обмолвился, что в плену содержался в одном лагере с братом Твардовского. Я в ту пору даже не сообразил, о каком брате идет речь.

Лишь относительно недавно, узнав, что в финском плену был Иван Трифонович Твардовский, я обратился к нему с просьбой сообщить что-либо по этому поводу.

Тот разъяснил:

«Дело, дорогой Константин Яковлевич, в том, что Я. Смеляков хотя и был в плену в Финляндии, но вряд ли в одном и том же лагере военнопленных, где был я. Но если даже, допускаю, он был где-то рядом, все равно знать меня как брата А. Твардовского он не мог. И вот почему: в плену я был под вымышленным именем — боялся, что моя судьба тяжелым камнем ляжет на имя брата и всех других родных.

Эту тайну никто не знал — я не делился. Но не отвергаю возможного в том, что когда Я. Смеляков проходил «фильтр», находясь в Подмосковье (кажется, бывший Сталиногорск), то, может, и что-либо слыхал обо мне...»

Наверное, так и было.

После войны Смеляков более всего дружил, пожалуй, с Михаилом Лукониным и — отдельно — с Павлом Шубиным. Со вторым, по-моему, теснее. Это был тоже настоящий поэт и независимый человек, автор нескольких отличных стихотворений и известнейшей в пору войны «Волховской застольной». Помните?

Выпьем за тех, кто командовал ротами,
Кто замерзал на снегу,
Кто в Ленинград пробирался болотами,
Горло ломая врагу.

Это была поистине неразливная дружба. Они с Ярославом вместе уезжали в длительные командировки — например, в Азербайджан, — участвуя в подготовке идущих одна за другой декад национальных литератур и искусства. Неделями, если не месяцами, жили на госдачах и переводили, переводили. Свое писалось все реже и трудней.

Шубин всегда был крепкого, плотного сложения, а Смеляков, наоборот, нервный, худой. А тут оба неожиданно стали схожими: округлившиеся животы, налившиеся затылки.

Весной пятьдесят первого — было уже тепло, — сидя на скамейке в скверике, умер Павел Шубин.

Ему было тридцать семь лет. Да и Смелякову не было сорока. Это был, конечно, жесточайший удар.

В то лето я не раз встречался с ним.

А двадцать девятого августа мы с Винокуровым были у Смелякова в гостях. Я, по правде, не запомнил числа, это мне недавно сказала Евдокия Васильевна, тогдашняя Дуся. Уж она-то запомнила! Дусей ее называли все, — кто имел право, в глаза, остальные — заглазно. Дуся Смелякова, жена Ярослава. В тот вечер ее не было дома.

Они жили в Спасо-Песковском, на Арбате, в крохотной однокомнатной квартирке, даже без кухни, — газовая плитка стояла в коридоре. Мы с Женей принесли две, а может, и три бутылки, но их довольно скоро не хватило, и Смеляков раскупорил стоящую на окне четверть (не четвертинку!) смородинной наливки, объяснив, что напиток этот готовит Дуся, а он втайне доливает туда водочки, когда остается. Так что это уже не столько наливка, сколько настойка. Мне показалось, что, берясь за бутыль, он секунду поколебался, но тут же махнул рукой:

— А, все равно!..

Он был словно чем-то озабочен, расстроен, но пытался отвлечься, попросил нас почитать стихи, говорил о них. Когда Винокуров прочел стихи о возможной когда-нибудь смерти, Смеляков спросил у него про строчку «у звезд остекленевших на виду», случайно ли он ее написал. Женя заверил, что нет, не случайно.

Время от времени хозяин подходил к распахнутому окну и вглядывался в темноту, а однажды сказал Винокурову:

— Посмотрите, там, напротив, никого нет на крыше?

Винокуров охотно высунулся из окна, чтобы отвлечься от освещенной комнаты, а Ярослав мрачно добавил:

— Только не блевать!..

Винокуров не собирался — и обиделся.

Ушли мы очень поздно, спустились вниз, повернули направо, и тут же оказались на ярко освещенном Арбате. Вот интересно, это была правительственная трасса, здесь ездил Сталин, милиция и топтуны на каждом шагу, и в то же время бесчисленные магазины и особенно магазинчики, кафе, ресторанчики, шашлычные, всегдашнее оживление — Арбат.

Винокуров тут же на углу начал болтать с двумя девушками, смеясь, пытался познакомиться и направился с ними к Смоленской, ему все равно было в ту сторону, он жил на улице Веснина.

А я пешком пошел к Арбатскому метро, мне еще предстояло ехать за город к молодой жене и почти годовалой дочери. Москва тогда ложилась поздно, последние известия по радио начинались в половине двенадцатого и заканчивались боем Кремлевских курантов.

На другой день я снова оказался в городе, мне нужно было в «Литгазету» к Семену Гудзенко. Зачем? Может быть, я написал какую-нибудь рецензию. Во всяком случае стихами он не занимался. В голове у меня еще слегка пошумливало.

Гудзенко сидел за столом в большой солнечной комнате, — как всегда, красивый и полный энергии. Через две минуты после моего прихода он сказал бодро:

— Знаешь, сегодня ночью взяли Ярослава...

Я сел на диван. Можете себе представить мое потрясение. Однако виду я не подал.

Потом, с годами, я узнал, что Смеляков был арестован вскоре после нашего ухода. Знающие люди объяснили, что приехавшие за ним ждали, пока мы уйдем: с нами были бы лишние хлопоты, нас пришлось бы вносить в протокол...

А сейчас Гудзенко уверенно говорил, что лучше было бы, если бы умер Смеляков, а посадили Шубина.

Я ничего не понимал: почему?

А потому, что Смеляков поэт лучше и, если бы он просто умер, его бы продолжали издавать, а теперь не будут...

Я его уже не слушал.

Дуся в недавнем разговоре подтвердила то мое впечатление: Ярослав действительно нервничал. Он ждал ареста. Один поэт прочел ему слабенькие стихи о Сталине, и Смеляков не удержался, небрежно-уничижительно отозвался о них в присутствии третьего человека. Но ведь не о Сталине же отозвался! Еще он спросил: почему про Ленина у тебя хорошие стихи, а про Сталина плохие?.. Спросил и тут же пожалел, но было поздно. На другой день он сказал Дусе:

— Скоро меня посадят...

Горько приобретенный опыт не обманул его.

Его судила тройка. Обвинялся он по двум статьям: за плен и за антисоветскую пропаганду. Следствие длилось долго. Дуся была на улице Осипенко, ее принял генерал, сказал, что к ней лично претензий у них нет, может жить как прежде, и спросил, есть ли просьбы. Она попросила о свидании,

которое и было разрешено в Бутырской тюрьме. Но Ярослав выглядел каким-то потухшим, был уже не здесь.

Он получил на полную катушку — четвертак, то есть двадцать пять лет. По сути, навсегда. Но карта легла так, что умер он через двадцать один год, а последние семнадцать провел на свободе. И то до конца того срока не дотянул.

Спустя какое-то время Дуся вышла замуж за знаменитого мастера-наездника Московского ипподрома А. Г. Бондаревского. Его знала *вся Москва*. Андрей Старостин писал о нем в одной из своих книг, а Евгений Евтушенко — в известном стихотворении:

За жокея какого-то
Замуж вышла жена.

Смеляков ничего не подозревал. Дуся писала ему письма, посылала деньги, отправляла посылки. Все по строго установленной норме. После смерти Сталина обозначились послабления, и она ездила к Ярославу в Инту.

Бондаревский был в числе тех, кто помогал хлопотать об освобождении Смелякова. Удалось снять с него первую статью, а по второй он, уже отбыв четыре года, попадал под амнистию. Реабилитирован он был значительно позднее.

На вокзале Смелякова встречали М. Луконин, А. Фатьянов, С. Васильев, еще кто-то. Лишь здесь он узнал, что жена ушла от него.

Она освободила Смелякову квартиру, поскольку ему негде было жить, — ту самую крохотную квартирку в Спасо-Песковском переулке, — и мы с Винокуровым вновь пришли к нему.

Последний на свободе вечер, когда мы с Женей были у него, запечатлелся в сознании Смелякова с необыкновенной точностью, и он восстанавливал его с хмурой веселостью, с какой-то мрачной наивностью — опять худой, моложавый.

Потом он рассказал, что читал недавно мою поэму и стихи — Винокурова и мои.

И вдруг спросил:

— А та моя рекомендация? Вы ее, конечно, сожгли?

— Почему же. Она у меня.

Он усмехнулся:

— Так я вам и поверил.

Едва придя домой, я кинулся искать ее, видел ведь не раз, все перерыл — но безуспешно.

И потом, в течение многих лет общения со Смеляковым я многократно предпринимал попытки найти ту его рекомендацию, принести, показать ему.

И вот теперь, когда его уже нет, я, разыскивая свои стихи с пометками Симонова, непонятно как наткнулся на этот листок.

Вот он передо мной. Машинописный текст.

В Комиссию по приему в ССП

Рекомендую в члены ССП Ваншенкина Константина Яковлевича, талантливого, серьезно работающего поэта. Недавно изданная «Молодой гвардией» первая книга Ваншенкина «Песня о часовых» получила в литературной среде и на страницах газет положительные отзывы. От Ваншенкина можно ждать еще много хороших советских стихов.

И дальше — от руки:

18 авг. 51 г. Ярослав Смеляков

Он женился на поэтессе Татьяне Стрешневой, мы ее и раньше знали. Потом мы жили в соседних домах, да и вообще виделись и разговаривали бессчетно.

Умер он неожиданно для многих. Я давно уже обратил внимание на то, что, разговаривая, он беспрерывно облизывает языком губы. Его мучил и погубил жестокий диабет. Похороны были малолюдные, негромкие. Помню Луконина, Слуцкого, Симонова, Евтушенко. На доме, где жил Смеляков, нет мемориальной доски. Конечно, он же не был секретарем или Героем.

Я почти не говорю о его стихах, о них я писал — и не раз — прежде. Я хочу только сказать, что нелегкие повороты его судьбы отложились и сказались на его столь противоречивом характере, в котором сочетались нежность и грубость, доброта и злоязычие, осторожность и смелость и еще многие, казалось бы, несовместимые черты.

Битва в пути

В 1961 году, осенью, поехали выступать в Волгоград: Смеляков, Луконин, я и молодой тогда поэт Коля Анциферов, еще не член Союза.

Я не большой любитель таких вояжей, но очень уж настаивали — пришлось. Был с нами, но в соседнем купе, и

Борис Ефремович Царев, старейший администратор из Бюро пропаганды литературы — как бы наш импресарио. Никого из них — и уже давно — нет на свете.

На московском перроне в нашу заметную компанию (нас провожали) попытался вклиниться какой-то шустрый полковник, как впоследствии выяснилось, один из волгоградских райвоенкомов. Однако это не нашло отклика, и он, как сказано у Зощенко, «затаил некоторое хамство».

Мы долго обедали или ужинали в вагоне-ресторане, потом, вернувшись, раза два посылали туда Колю за подкреплением.

Сидели с разговорами, с чтением стихов. Помню, Смелякову очень нравилось мое стихотворение «Родня», недавно написанное. Он просил меня его прочесть.

В купе было жутко накурено — беспрерывно курили все. Кроме Царева, зашел еще волгоградский стихотворец Леднев, случайно едущий в этом же вагоне. Он к нашей группе не имел никакого отношения. Но именно он расшумелся, стал цепляться к Анциферову, задрался с ним. Луконин с трудом его утихомирил, а затем и выставил.

Легли спать, но Леднев снаружи продолжал бушевать, а вскоре начал гонять проводниц по всему составу. Оказывается, это было его любимым дорожным развлечением.

Сообщили по линии, и глубокой ночью, когда он уже спал, на неведомой для меня станции за ним пришла милиция. Он, здоровый малый, оказал отчаянное сопротивление.

Полвагона высунулось в коридор, вышел и Миша Луконин. Вчерашний полковник, теперь в майке, увидев его, крикнул злорадно:

— Вон что ваши люди делают!

Миша ответил миролюбиво:

— Дурачок, я же сам за порядок...

Леднева, разумеется, сняли с поезда.

Утром мы сидели в купе и чинно пили чай. В проеме дверей показался полковник при полном параде, осмотрел нас внимательно, уставил палец в Луконина и произнес:

— А вы меня ночью дураком назвали!..

Миша отреагировал мгновенно:

— Вы хорошо сохранились...

Военком сочинил на нас жалобу секретарю обкома. Подписали ее и находившиеся в том же вагоне старые большевики. Секретарь запретил наши выступления в городе-герое.

Потом история эта без конца обсуждалась — на разных уровнях. Кто-то назвал ее: «Битва в пути». Была такая книга у Галины Николаевой.

Веская причина

Михаил Луконин жил когда-то зимой чуть не целый месяц в южном курортном городе, переводил стихи своих друзей — тамошних поэтов. Жил он в почти пустой по зимнему времени гостинице «Интурист», в номере люкс.

С утра работал, а днем и вечером пировал с переводимыми поэтами в своем обширном номере. В застольях постоянно участвовал и молодой директор гостиницы, проникнутый самыми высокими чувствами к людям искусства.

Однажды он попросил Луконина переехать в другой люкс, точно такой же. Миша не захотел. Зачем? Мне и здесь хорошо! Директор объяснил, что на днях в городе будет проездом восточный принц, и для него распорядились подготовить именно этот номер.

Миша уперся: поселяй его в другой — они же одинаковые.

Тогда директор слегка замялся и, понизив голос, признался, что люкс, занимаемый Лукониным, — единственный в гостинице, где имеется подслушивающее устройство.

Миша слегка испугался, но возмущение взяло верх: как, значит, все, что мы говорили, записывалось?!

Директор успокоил: система не была подключена, он лично проверял ежедневно. Так что не сердись, дорогой Миша!..

«Он много лет переводил...»

(О Михаиле Зенкевиче)

В молодости мы всегда тянемся к старшим, к тем, перед кем преклоняемся. Обычно они бывают в литературе на виду, всем известны — а как же иначе! Откуда бы мы их в противном случае знали?

Но рядом есть и другие, кого мы замечаем и можем оценить, что жили бок о бок с ними, лишь значительно позднее. Они словно нарочно держатся в тени. Чтобы их понять, просто заинтересоваться, нужно самому стать более зрелым.

Вот жила Мария Сергеевна Петровых, тихая, миловидная женщина, замечательная поэтесса. Ей когда-то посвящал свои

стихотворения Осип Мандельштам. Она много и очень хорошо переводила, свое почти не печатала.

Мы говорим, что время все расставляет по местам. Это верно главным образом в том смысле, что оно быстро и безошибочно сбрасывает с полок все лишнее, весь хлам — освобождает место. Но чтобы раскопать, вытащить из груды, поднять с пола — это трудно даже ему.

Нужны особые условия — благоприятное стечение обстоятельств, чьи-то дополнительные усилия, помощь родственной, заинтересованной души.

Я был, казалось, хорошо знаком с Михаилом Александровичем Зенкевичем, разговаривал с ним часто. О чем бы, вы думали? О футболе. Причем всегда по его инициативе. Он всякий раз первым начинал обсуждать положение дел, прибедняться в типично болельщицкой манере (чтобы не сглазить), тянул уныло: «Да-а, а у вас Башашкин!» — он прочно симпатизировал другой команде.

А между тем он был когда-то известным акмеистом, его первая книга «Дикая порфира» вышла Бог знает когда, в 1912 году. Я слыхал об этом, и только.

После его смерти я написал о нем стихи.

Какая странная судьба! —
Один из главных акмеистов
На стадионе был неистов,
Кричал и пот стирал со лба.

Он много лет переводил —
Эдгара По, а позже Фроста.
Живя естественно и просто,
Он не жалел на это сил.

Но был счастливее стократ
Там, на трибуне, на «Динамо»,
Ахматовой и Мандельштама
Такой загадочный собрат.

Он говорил, что Симонян
Не зря увенчан громкой славой,
А у Татушина изъян,
Поскольку бьет лишь только с правой.

Я действительно много раз встречал его на стадионе — пока сам туда ходил. Впрочем, футбол тогда исправно посещали артисты и писатели: интересно было.

А так Михаил Александрович был человек интеллигентный, спокойный, уравновешенный. Вижу его крепкую фигуру, пышноволосую голову, приветливый взгляд.

Я познакомился с ним, как со многими в своей молодости, в Коктебеле. Коктебель не был курортом. Это было нечто гораздо большее. Сухой восточный Крым, безлюдный — на километры — берег, шум ветра, моря и гальки, акварельное небо и горы. Свободный, чудом сохранившийся волошинский дух.

Я не езжу в Коктебель много лет, боясь потревожить давние волшебные воспоминания, первое восприятие.

Был крохотный мужской пляж под тентом. Теперь такие пляжи именуются медицинскими. Ничего медицинского в нем не было, просто он был достаточно отдален от пляжа женского. Здесь, как в бане, были все равны.

Какие там блистали краснобаи! Часами рассказывали, заслушаешься. Зенкевич ничего особого не говорил. А ведь мог! Он был словоохотлив, нужно было только спросить.

Недавно я прочитал в воспоминаниях В. Ардова об Ахматовой: «Она, например, любила Михаила Зенкевича — соратника по акмеизму. Про него говорила:

— Он мне дорог и потому, что это последний человек на земле, который о Николае Степановиче Гумилеве говорит "Коля"...»

Нужно было спросить, но не спрашивали. Говорили другие.

Я знал стихи Зенкевича — об острове Березань («Матрос с "Потемкина"»), «Морошку» и еще о Пушкине, стихи о наводнении 1924 года в Ленинграде. Должен сказать, они не слишком задевали.

Но ведь у него были еще и другие стихи — очень старые: «Темное родство», «Махайродусы», «Сибирь», написанные плотно, густо, даже натуралистично. Это все было как сквозь древние пласты, в геологическом разрезе — «Земля», «Металлы», «В зоологическом музее», «Человек».

В них было что-то от Верхарна: утрированное, неприятное нечто, увеличенное резко под чудовищным микроскопом. Отлично написанное.

Вот отрывок:

...Гудел и гнулся грунт под тушею бегущей,
И в свалке дележа, как зубья пил, клыки,
Хрустя и хлюпая в кроваво-жирной гуще,
Сгрызали с ребрами хрящи и позвонки.

И ветром и дождем разрытые долины
Давно иссякших рек, как мавзолей, хранят
Под прессами пластов в осадках красной глины
Костей обглоданных и выщербленных склад.

Земля-владычица! И я твой отпрыск тощий,
И мне назначила ты царственный удел,
Чтоб в глубине твоей сокрытой древней мощи
Огонь немеркнущий металлами гудел.

Не порывай со мной, как мать, кровавых уз,
Дай в танце бешеном твоей орбитной цепи
И крови красный гул, и мозга жирный груз
Сложить к подножию твоих великолепий!

Трудно поверить, что это написано Зенкевичем. А он весь такой был. Правда, здесь прослушивается и интонация Мандельштама.

А вот — из стихотворения «Мясные ряды», посвященного Ахматовой:

...И чудится, что в золотом эфире
И нас, как мясо, вешают Весы,
И так же чашки ржавы, тяжки гири,
И так же алчно крохи лижут псы.

И, как и здесь, решающим привеском
Такие ж жилистые мясники
Бросают на железо с легким треском
От сала светлые золотники...

Прости, господь! Ужель с полдневным жаром,
Когда от туш исходит тяжко дух,
И там, как здесь над смолкнувшим базаром,
Лишь засверкают стаи липких мух?

Такие он проводит устойчивые аналогии и так обращается к человеку:

...Но духом, гордый царь, смирись
И у последней слизкой твари
Прозренью темному учись!

Так он писал когда-то, но об этом почти забыли. Да и сам он словно забыл, сам этого всего словно испугался.

...«Он много лет переводил...» И вдруг, в середине пятидесятых, напечатал привлекшее внимание многих стихотворение «Найденыш», написанное совсем в другом плане и духе, будто с отголоском народной сказки. Мотив — еще живой, еще мучительный.

Пришел солдат домой с войны...

Дома никого, но топится печь, приготовлено тесто для блинов. Он нагнулся за угольком — прикурить — и обнаружил в тени трехлетнюю девочку «пугливее зверенышка».

— А дочь ты чья? —
Молчит... — Ничья.
Нашла маманька у ручья...
— А мамка где? — Укрылась в рожь.
Боится, что ты нас убьешь... —
Солдат воткнул в хлеб острый нож,
Оперся кулаком о стол.
Кулак свинцом налит, тяжел.
Молчит солдат, в окно глядит
Туда, где тропка вьется вдаль.
Найденыш рядом с ним сидит,
Над сердцем теребит медаль.
Как быть?
В тумане голова.
Проходит час, а может, два.
Солдат глядит в окно и ждет:
Придет жена иль не придет?
Как тут поладишь, жди не жди...
А девочка к его груди
Прижалась бледным личиком,

Дешевым блеклым ситчиком...
Взглянул:
у притолки жена
Стоит, потупившись, бледна...
— Входи, жена! Пеки блины.
Вернулся целым муж с войны.

Вот такие стихи.

Правда, автор не удержался и приписал еще четыре строки:

Былое порастет быльем,
Как дальняя сторонушка.
По-новому мы заживем,
Вот наша дочь — Аленушка!

Они внесли в ровный сказочный лад явственную фальшивинку и очень мешали мне. А их нужно было просто опустить.

О стихах говорили, писали, но он опять ничем новым это не поддержал, не подкрепил.

Он по-прежнему переводил с английского и рассуждал о футболе:

— Да-а, а у вас Володя Федотов!..

Когда Михаила Зенкевича не стало, время от времени начали появляться его стихи — посмертные публикации, — всякий раз удивляя меня естественностью, чистотой тона и вкуса.

Вот одно из них:

От попорченной в нерве настройки,
Как в приемнике, все невпопад.
Целый день звон в ушах, словно тройки
С колокольцами мимо летят.

Или кто-нибудь неосторожно
Кнопку двери наружной нажал,
И звонок непрерывно, тревожно
Из прихожей вдруг задребезжал...

Иль с церквушки старинной, снесенной,
Цветником замененной давно,
Звон пасхальный, звук неугомонный
Льется с ветром апрельским в окно...

Звоном жаворонков и простором
Высь весеннее небо манит...
Отгадайте скорее, в котором
Это ухе так звонко звенит.

А ведь написано это уже на седьмом десятке.

Он, оказывается, все писал и писал, а не только переводил. И не только говорил о футболе...

К нему еще обязательно и не раз будут возвращаться.

«Впереди уже нет никого...»

(О Леониде Мартынове)

Для моего поколения фигура Леонида Мартынова представлялась поначалу чуточку таинственной. После войны он несколько лет не печатался, словно уже прекратил писать. А может, так оно и было? Прежние его книги трудно было достать. Его не все знали, не все видели. Но те, кто читал, не могли не изумиться его необычности.

В середине пятидесятых вдруг снова густо появляются в журналах его стихи — одно другого лучше: «След», «Мне кажется, что я воскрес», «Балерина», «Из смиренья не пишутся стихотворенья», «Двадцатые годы», «Что-то новое в мире», «Сон женщины», «В белый шелк по-летнему одета», «О вы, которые уснули», «Дети»...

Одни написаны только что, другие чуть раньше. Значит, он все это время писал... Выходит в «Молодой гвардии» книга.

Тогда такое случилось не с ним одним. Нечто похожее произошло и с Заболоцким.

Мартынова приняли горячо, радостно. Он тут же окунулся в литературную жизнь, его избрали в Бюро секции поэтов, он стал выступать на вечерах. Манера говорить и читать была у него нервная, резкая. Высокий, с гордо закинутой рыжеватой головой, он выглядел несколько отрешенным. Казалось, он никого не знает и не замечает. Ему было тогда пятьдесят лет.

Познакомился я с ним летом пятьдесят шестого года на заседании редколлегии первого «Дня поэзии». Собственно, это не было заседание как таковое. Тогдашняя редакционная коллегия, почти всегда в полном составе, проводила целые дни с утра до вечера в верхней гостиной Дома литераторов. Прихо-

дившие авторы читали стихи, тут же, на месте, все решалось. Художники делали макет книги, Игин рисовал шаржи. Кто-то вычитывал с машинки уже принятое. Шумели, курили, пили кофе.

Я тоже принес стихи. В комнате находились Луговской, Антокольский, Мартынов, Яшин, Кирсанов. Может быть, еще кто-то, но эти — точно.

Я прочел четыре стихотворения. Одно не приглянулось, еще одно («Часы») Яшин крутил так и эдак, повторяя: «Хорошо бы его, но длинновато...» Оно, кстати, и не монтировалось с теми, что приняли («Букет», «Приезд»).

Так вот, едва я прочел, первым, кто поддержал и стал хвалить, заинтересованно, убежденно, был Мартынов. Причем он говорил обо мне так, что было очевидно: он давно меня знает. Не скрою, мне это было приятно, но и слегка удивило: мне казалось, что это не должно быть ему близко. Остальные с ним согласились. Антокольский, правда, сказал:

— Там строчка была слабая.

— Разве? — откликнулся Мартынов.

С той поры мы были знакомы и общались почти четверть века, живя по соседству, на Ломоносовском проспекте. Но об этом позже...

В одном из стихотворений Леонида Мартынова описывается человек, «с ведром огромным и пустым» идущий вброд через реку и возвращающийся тем же путем, но уже с ведром полным. И поэт говорит:

Вода реки
Ему горька,
И он несет издалека
Ведро воды
Из родника.

Это стихи о самом себе и о своем понимании искусства. Сказать, что Мартынов поэт яркой самобытности, — значит, почти ничего не сказать. Самобытен каждый истинный художник. Мартынов поразительно не похож на других — интонационно, манерой, голосом. Между самыми прекрасными поэтами России можно протянуть линии в той или иной степени

родственных связей. К нему или от него идущих кабелей не видно — это скорее уж внутренняя проводка. Прежде всего он обращает на себя внимание самим стихом. И все-таки, как это обязательно бывает в настоящем искусстве, в какой-то момент мы забываем об этом, уже не замечая стиха, но вбирая поэзию. Нас привлекает скорее необычный ракурс выбранных им предметов и явлений, срез не в той плоскости, где мы могли ожидать.

Это ему было свойственно с самого начала. Вот сейчас перечитываю его ранние стихи — «Замечали — по городу ходит прохожий?», «Река Тишина», «Сахар был сладок», «Путешественник» («Друзья меня провожали в страну телеграфных столбов»), «Царь природы», — радуясь тому, что и сейчас они меня покоряют, как когда-то юного и неискушенного.

Еще деталь. Л. Мартынов — один из лучших поэтов-«рассказчиков», мастеров стихотворного повествования, владеющий этим редким качеством с исключительной непринужденностью. Достаточно вспомнить его поэмы, которые он даже специально печатал как прозу — от поля до поля, — но читатель поэзии сразу улавливает в этих длинных строках стихотворный размер; а также многочисленные его баллады и просто стихи, где тоже по большей части что-то *происходит*.

Вспомним, его приняли не сразу. Некоторым он показался поначалу слишком необычным, странным. Говорили, что он чересчур дидактичен, фантастичен, парадоксален и т. д. В результате его признали. Все читатели и самые разные критики. Что же произошло?

Да, по своему духу и складу это поэт-исследователь, поэт-ученый, поэт-историк. Но ведь прежде всего он — поэт. И чрезвычайно современен. Остро, предельно современен. Не на словах, как некоторые, а очень органично, естественно, это у него в крови. Это в нем главное, это он сам. И поразительно, что это его свойство с каждым годом и с каждой книгой проявлялось все более. «Если бы все было, как и было, — я бы за перо и не брался!» — восклицает Мартынов, для него важнее всего, что «мир, тот, которым мы владеем, нов!». Поэт принимает новое с радостью, будь то обычное ныне зрелище, как «из норы метро вылезает город в поле чистом», или такая картина:

Сперва
Звучали выхлопы
Моторов, как всегда;
Казалось, все затихло бы,
Исчезло без следа,
Но дрогнула
Бездонная
Сияющая высь,
Где вновь изобретенные
Моторы пронеслись.
Звук
Вслед за аппаратами
Прошел одной сплошной,
Чреватою раскатами,
Шальной взрывной волной.
Вы слышали,
Вы видели,
Почувствовали вы?
Так следом за событьями
Несется гул молвы.
Теперь
Не полагается
О них предупреждать —
Событья надвигаются
Быстрей, чем можно ждать!

Вот Мартынов — с ярким, энергичным, насыщенным мыслью и звуком стихом, с неожиданным, но вполне, как тут же выясняется, логическим выводом.

Мы жили по соседству, и я часто встречал его, высокого, прямого, об руку с женой, милой Ниной Анатольевной, которую он называл Ниночкой. Он несет в сетке хлеб, пестрые бумажные пакеты с молоком. Он выглядит и чувствует себя очень естественно. А как же иначе? Ведь он поэт. Ведь если внимательней глянуть на его творчество, то нетрудно заметить, что оно при всей даже фантасмагоричности, сказочности имеет исключительно прочную, земную, человечную основу.

Мне случалось жить с ним рядом и в Крыму, в почти еще пустынном старом Коктебеле. Я поражался, как к нему, с

виду замкнутому, углубленному в себя, тянутся люди, прежде всего молодежь. Как его любят дети.

Моя дочь — художница. Рисует она с детства и как-то, учась в седьмом или восьмом классе, вдруг загорелась нарисовать Мартынова. Я сказал:

— Если нужно, звони, я этим заниматься не буду.

Она позвонила, и он тут же согласился. Она нарисовала его пастелью.

Когда она поступала в художественный вуз, преподаватель, просматривая ее работы на предмет допуска к конкурсным экзаменам, узнал Мартынова и спросил с удивлением:

— Он вам *сидел?* (Так художники говорят, желая сказать: *позировал.)*

А художник Алексей Базлаков позвонил когда-то и спросил:

— Константин Яковлевич, а что, ваша дочь — художница? Интересно было бы посмотреть ее портрет Мартынова.

Оказалось, что на вопрос о том, кто наиболее удачно писал или рисовал его, Леонид Николаевич в числе двух или трех назвал и ее.

Прекрасная его черта: он был знаком с несколькими знаменитейшими художниками, но это ничуть не мешало ему восхищаться и еще никому не ведомыми.

Даря мне свои книги (у меня много его книг с автографами), он часто надписывал их не только мне, но и моей жене, а порою и дочери, а иногда присылал каждому по отдельному экземпляру — разных изданий.

Известна его страсть к камням. Не к увлажненным прозрачным морем полудрагоценным коктебельским камешкам, а к камням серьезным, крупным, несущим в себе рисунок, форму, идею. Он собирал камни в окрестностях подмосковной деревни. А в Черемушках он обнаружил настоящий скифский курган. Что же касается Коктебеля, то там на окраине, по дороге к Лягушачьей бухте, работала археологическая экспедиция, производились раскопки древнегреческого поселения. Мартынов чуть свет уходил туда. Среди ученых и рабочих он был свой человек. Он вполне профессионально знал то, чем они занимаются.

Признаюсь, порою, при разговоре с ним, делалось неловко, что ты знаешь гораздо меньше, чем он. Хотя сам он, ра-

зумеется, совершенно не стремился дать вам это почувствовать.

Удивителен был его неслабеющий интерес к наукам, к искусствам, к природе, к деревне, к молодым поэтам — почти ко всему.

Вспоминаю, с какой радостью я открыл для себя после войны, что помимо давно любимых мною замечательных поэтов есть еще и такой. Какие стихи! «Царь природы». Или «Сахар был сладок», где говорится о том, как поэт сгружал с барок рафинад, а потом соль... «Сахар был сладок, и соль солона. Мы на закате осеннем вспомним про то за бутылью вина, прошлое снова оценим. Время уходит! Тоскуй, человек, воспоминаньями полон, — позднею осенью падает снег, тает, не сладок, не солон. Ну-ка, приятель, давай наливай! Тает, не сладок, не солон!»

Я почти непроизвольно переписал эти стихи длинной прозаической строкой. Потому что вспомнил «Тобольского летописца», превосходную, явно недооцененную у нас поэму, написанную с истинным размахом, историзмом, блеском, изяществом.

Вообще Сибирь в творчестве Мартынова — не только одна из основных «тем», но и самая основа. Он прекрасно рассказал об этом в «Воздушных фрегатах». Да и его острый глаз и тонкий слух — качества, столь нужные сибирскому охотнику, — так же необходимы поэту. Как он чуток к оттенкам народной жизни («Сон женщины», «Балерина», «Леопардович», «Растительницы кос» и многое другое).

Начал он рано, и, когда ему «шел двадцать первый год», он приехал в Ленинград («Шатался я везде, музеи посетил, и Тихонов в «Звезде» стихи мои пустил»). Но его творческая дорога не была усыпана цветами. Своеобразие, резкая непохожесть на других — в искусстве довольно часто поначалу встречается в штыки. Размеренный организм литературы, как всякий организм, пытается сперва отторгнуть новую ткань, прежде чем смириться, а затем и гордиться ею. У Мартынова есть короткие стихи о том, как к нему «привязывались пьяные», но он лишь отмахивался от них. Заканчиваются стихи словами: «Когда привязывались трезвые — вот это было пострашней». Но он сумел постоять за себя — своими стихами.

И еще. Ему было остро свойственно ощущение связи сердец и времен. Когда-то он написал известное:

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною.
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною.

А потом словно развил это, имея в виду художников, идущих следом:

Свои стихи
Я узнаю
В иных стихах, что нынче пишут.
Тут все понятно: я пою,
Другие эту песню слышат.
...Не дав и заикнуться мне,
Они уж возглашают это.

И то, что вижу я во сне,
Они вещают в час рассвета.

Когда Мартынова не стало, я начал замечать, что моим глазам здесь у нас, на Ломоносовском, не хватает его высокой фигуры, его гордо закинутой головы.

Недостает его и в литературе.

Я написал:

Эту гулкую землю покинув,
В светлых водах оставил свой лик
Леонид Николаич Мартынов,
Наш последний любимый старик.

...Как же много и щедро нам дали
От пути, от стиха своего...
Я смотрю в эти хмурые дали:
Впереди уже нет никого.

Вторая строфа — и о других ушедших стариках.

Таково ощущение.

Перед чем-то новым
(об Арсении Тарковском)

Давним зимним вечером, в Малеевке, он подарил мне свою новую книгу «Перед снегом». А до войны у него было стихотворение «Перед листопадом». Вот это *перед* — доверчивое ожидание чего-то — характерно для Тарковского. Толя Аграновский пел в тот вечер под гитару положенные им на музыку стихи:

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Их совместный романс.

Тарковские занимали гостиную, большую комнату-фонарь в конце коридора с видом на три стороны, а за окнами, вдали, меж стволами, все еще дотлевал на снегу закат.

Тарковский в пижаме и на протезе. Он гораздо реже пользовался костылями, разве уж слишком донимала боль. Я много лет спустя написал стихи об инвалиде, совершенно не о нем, но впечатление, наблюдение с той поры: «сутулят костыли, стройнит ножной протез».

В нем чувствовалась порода, утонченность, он был бледен и красив какой-то сословной дворянской красотой. Он был словно из начала прошлого века, из войны двенадцатого года. Знаете у Цветаевой: «О, молодые генералы»?..

Он был прекрасно воспитан, его отличал естественный интерес к собеседнику. Любому. (Недавно прочел о нем в справочнике: «образование среднее». Смешно! Кто-то может представить совсем другого человека.) Однако он знал себе цену — и отсюда его несколько кокетливый порою тон.

У него есть замечательные стихи о Мандельштаме, и там сказано:

В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Разумеется, у Тарковского не могло быть подобных *приступов,* но жеманство в легкой, вполне простительной форме

присутствовало. Не потому ли он и отметил эту сторону характера у Мандельштама?

Я никогда не называл его Арсением или Арсюшей, тем более на «ты», как иные мои сверстники. Меня такое коробило. А он от них терпел, ничего.

Впрочем, жену его, милую Татьяну Алексеевну Озерскую, переводчицу английской классики, я звал с самого начала знакомства Танечкой, так сложилось.

У них была «Волга», Таня ее водила. Была своя дача, просторная квартира в Москве. Но они часто и подолгу обитали в подмосковных писательских домах. Предпочитали такой образ жизни.

Известно, что Набоков с женой в последний швейцарский период постоянно жили в гостинице. Но одно дело их комфортабельный фешенебельный отель под «пятью звездочками» и другое — Малеевка или Переделкино.

Тарковский, с постели, в пижаме, хромая, пробирается по коридору в душ или в туалет, а навстречу кто-то в заснеженной шубе или в лыжном костюме — с прогулки. И все это как-то слишком на виду.

И вместе с тем они были, что называется, светскими людьми. Таня подгоняла «Волгу», он садился впереди, рядом с ней, и ехали — на премьеру, на выставку, просто в ресторан.

С годами вокруг него, особенно в Переделкине, все заметнее клубилась молодежь. Наверное, это было ему необходимо. Приезжали из Москвы, просто так, поторчат и уедут.

«Волги» уже не было. Когда нужно было по делам в город, возил его чаще всего молодой поэт Саша Лаврин на своем «Запорожце» с ручным управлением. Тарковский так же не торопясь, с достоинством, устраивался впереди, примащивал палку.

Сегодня, когда оглядываешься на Арсения Александровича, отчетливо понимаешь, что он прожил трагическую жизнь.

Только подумайте, этот томный красавец смолоду, с войны десятилетиями жил тяжелым инвалидом, без ноги. Мы-то давно привыкли, но не он — и по утрам он часто выглядел особенно незащищенным от своей постоянной беды.

И еще — переводы. Печатать свое было очень трудно, а переводить — скажем честно — очень выгодно. Тогда переводы оборачивались многократно. Но многое ли осталось?

Увы!.. В ту пору переводили почти все, однако большей частью эпизодически. И я тоже. А иных, кто всерьез втянулся в эту сферу, переводы попросту сломали.

Тарковский убивается в пронзительном стихотворении «Переводчик»:

Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Третья и четвертая строчки болезненным рефреном проходят через все стихотворение. Никто об этом не написал. Он один признался.

И еще у него есть — о том же:

К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.
(«Верблюд»)

Из тех, кто гигантски много переводил в наше время, удержались и как собственно поэты единицы: Пастернак, Заболоцкий, Межиров, Липкин... Ничто не проходит даром.

Ну, и главная боль Тарковского. Об этом позже...

После его смерти я прочел статью о нем. Там говорилось (да об этом и раньше в критике промелькивало), что он младший представитель серебряного века нашей поэзии. Но ведь дело даже не в том, что он значительно моложе, другое поколение, а в самом поэтическом принципе, что ли. У всех тех, перед кем он преклонялся (Ахматова, Цветаева, Мандельштам, не говоря уже о Пастернаке), стихи густо замешены на жизненных подробностях, конкретности, бесстрашной наблюдательности. У него этого почти нет.

В той же статье говорилось, что поскольку он воевал, то его можно отнести к фронтовому поколению поэтов. Опять неточно. Не относят же к этому поколению Твардовского или Симонова. Этими словами определяют художников, «рожденных» войной, то есть тех, кто только-только начинал перед войной или и не помышлял об этом. И опять же — у него, добровольцем пошедшего на фронт, человека такой военной судьбы, таких страданий, по сути, почти нет фронтовой лири-

ки. Нет подробностей, о чем я уже говорил. Как будто ему все время что-то мешает.

Вот стихи — о том, что кричит и кровоточит, — «Полевой госпиталь»:

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.

Похоже на перевод, на что-то западное.

Как всегда бывает в искусстве, мы хотим увидеть мир глазами свидетеля, участника, в данном случае — страдальца. Здесь он сравнивает себя с куском мяса на базарных весах. И это после того, что́ мы о нем знаем! Ужасно, но это написано словно без собственного опыта. То есть, чтобы написать это, не обязательно было пережить все то, что довелось ему.

Думаю, критика изображала его не тем, кем он был на самом деле. Он всю жизнь пытался вырваться к себе, проявиться резко и подробно. Отсюда у него стихи, похожие манерой и интонацией на Блока, Мандельштама, Гумилева, Заболоцкого. Даже Слуцкого. Не потому, что он не мог преодолеть их влияния, а потому, что он мучительно искал свое.

У него есть замечательное стихотворение, посвященное Ахматовой, — «Рукопись». Ахматова ценила и одобряла его, Цветаева им восхищалась. Итак, стихи:

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи

Людей и птиц, я пел со всеми вместе
И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

О чем эти стихи? О связи времен и всего живого. Это — как теперь говорят — прорыв. Автор хочет объясниться, но сперва объяснить свою собственную жизнь — прежде всего себе самому. Он хотел бы начать с начала. Не случайно в конце пути его так привлекает детство, где без подробностей не обойдешься. «Земле — земное» — так, может быть, неожиданно для него называется одна из его книг. Он всю жизнь хочет развить этот тезис.

И еще одно подтверждение моих слов и суждений. Он в жизни был совсем не такой, как в большинстве своих стихов. Он ценил в жизни самую ее основу, именно в подробностях. Помню, он дал мне прочесть рукописную поэму неизвестного автора, абсолютный *кич*. Там были строчки, обращенные — сперва к женщине, потом то ли к себе, то ли к другу:

Твое тело гудит над Москвой как прибой.

(Следующая строка у меня выпала.)
Но дальше:

Старичочек, мне так захотелось домой,
Старичок, так ужасно домой захотелось!

Тарковский, встречая меня в коридоре или на лестнице, восклицал с трогательной нарочитой наивностью:

Старичочек, мне так захотелось домой...

У нас была с ним игра: изменение в строке или фразе одной или двух-трех букв, меняющих и смысл.
Мы соревновались беспрерывно.
Он придумал: «Кафка Корчагин».
Я: «Угодили комсомольцы на гражданскую войну».
Он: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью».

Я: «Эта щука посильнее, чем «Фауст» Гете» (из рассказов рыболовов).

Много еще было — жаль, не записывал.

Он прекрасно рассказывал — в своей кокетливо-наивной манере. Вот удивительный его рассказ, подтвержденный другим участником — Антокольским.

В самом конце сороковых была запланирована в Москве Декада литературы и искусств Азербайджана (и состоялась, разумеется). Такие республиканские декады проводились регулярно.

Подготовка велась солидная. Лучшие переводчики, связанные с республикой, отправились заранее в Баку, жили с женами на всем готовом на правительственных и партийных дачах и переводили, переводили. Были там, помнится, Смеляков, Шубин, кажется, Луговской, Тарковский и Антокольский.

И вот — день рождения одного из ведущих азербайджанских поэтов: то ли Мамеда Рагима, то ли Расула Рза, то ли Сулеймана Рустама. Все они там присутствовали, но не помню, кто был хозяином. Но уж точно не Самед Вургун.

Переводчики, разумеется, были приглашены. Заехали и за Тарковским. Однако поблизости от нужного дома дорога оказалась перекрытой — поперек узкой улицы стояли две машины. Какие-то люди разрешили им пройти.

Гости уже собрались, но в доме висело напряжение, говорили почему-то почти шепотом. И вдруг возникло движение, и появился Багиров.

Он прошел к столу, сел, жестом предложил следовать его примеру. Он был руководителем Азербайджана, но о том, что он представлял собой на самом деле, многие — приезжие, во всяком случае, — не подозревали. Он посмотрел сквозь свое знаменитое пенсне на хозяина и поинтересовался, почему тот не позвал его на праздник.

Разговор происходил на русском — чтобы было всем понятно.

Хозяин начал лепетать, что не мог ожидать такой чести, не смел и думать... Через каждые несколько слов он кланялся и называл Багирова по имени-отчеству: Джафар Аббасович. Тот небрежно, но весьма благосклонно отозвался о стихах хозяина. Потом с таким же *разбором* перешел к другим. Обращение он начинал словами: а ты, Мамед... а ты, Расул... а ты, Сулейман... Они поочередно вставали и почтительно его выслушивали.

Последним оказался Вургун.

— Не нравишься ты мне, Самед, — начал Багиров.

— Он прекрасный поэт, Джафар Аббасович! — неожиданно выкрикнул импульсивный Антокольский.

Настала смертельная тишина. Багиров очень медленно, с выражением удивления, повернул голову и негромко спросил:

— Кто такой?..

— Антокольский, — подсказал кто-то из свиты.

Багиров еще помолчал и резко повысил голос:

— Встать!

Павел Григорьевич встал.

— Садысь!

И снова: — Встать!

И опять: — Садысь!

Антокольский выполнял команды беспрекословно.

После третьего раза Багиров удовлетворенно заметил:

— Вот так!

Затем он высказал несколько своих мыслей о развитии искусства, поднялся и, пожелав присутствующим успехов и хорошего настроения, удалился, сопровождаемый до машины благодарным хозяином.

Пиршество, разумеется, не сумело войти в привычную колею, и вскоре гости потихоньку стали расходиться.

Когда приехали на госдачу, где они жили, Тарковский сочувственно спросил Антокольского:

— Павлик, ну как ты мог?

Тот ответил:

— Арсюша, во-первых, я испугался. — И, помолчав, добавил: — А во-вторых, я член партии...

И главная, постоянная боль. У него и у Тани было по сыну — от прежних браков. Они пережили своих сыновей.

Я знал обоих. И вот — Андрей.

Встречаться и общаться доводилось не раз, и особенно, когда приезжал в Москву, в отпуск или по делам, наш общий друг, капитан теплохода «Грузия» Анатолий Гарагуля, обладающий редким талантом объединять людей. Тогда виделись, без преувеличения, каждодневно.

Андрей, конечно, был похож на отца, и порою заметно. Но мягкость, томность отсутствовали начисто. Может быть, он подавлял это в себе — жизнь заставляла. Правда, среди

своих он часто, сам того не замечая, оттаивал, влюбленно, как мальчишка, смотрел на капитана.

А так он был резкий, вспыльчивый, желчный. Даже злой. Катал желваки под кожей.

Я вот сейчас подумал, что, пожалуй, никогда не видел их вместе: отца и сына. Как они разговаривали? О чем — понятно, вернее, известно от старшего Тарковского. А вот — как?

Помню, были мы на свадьбе. Гарагуля женил старшего сына Бориса. Гуляли в доме невесты. В громадной комнате поместилось человек пятьдесят. Гости со стороны жениха были все друзьями Толи и жены его — Валерии: Поженян, первый замминистра промышленного строительства Константин Васильевич Трофимов, Артур Макаров, Андрей и мы с Инной. Были еще, по-моему, Булат и Оля... Остальные — со стороны невесты. Как обычно, говорили прочувствованные речи, сыпали пожеланиями.

И вот поднялся Андрей. Он сказал молодым, что они не должны обращать внимания на услышанные тосты, что все это ханжество и вранье, что старших нельзя уважать, а жить следует по-другому, по правде, иначе их союз изначально теряет всякий смысл. (И ведь как в воду смотрел!)

Он говорил резко, откровенно неприязненно — к большинству, — катая желваки под кожей. Толя всем своим видом его одобрял.

Речь попытались замять, вроде бы не слышали, однако на свадьбе оказался генерал. Не свадебный — это был дедушка невесты.

Он весь кипел, возмущенный кощунственными словами. Он протестовал, он не мог примириться.

Они еще долго, перебивая других, выкрикивали через столы свои аргументы. Каждый бурлил собственной убежденностью и правотой.

Андрей не мог остановиться. Это было скопившееся, спрессованное его раздражение.

Разумеется, в такой роли даже нельзя было представить себе Арсения Александровича. Он притерпелся к обидам, чувство задетости было спрятано глубоко, может быть, и от самого себя.

Его не выбирали на писательские съезды или в состав правления. Вроде бы кому это нужно? Ан нет. Помню, как-то на общем московском собрании или пленуме его назвали в прези-

диум. Он отнесся к этому очень серьезно, просидел на сцене весь день.

У него была безукоризненная репутация человека высочайшей порядочности. Понятно, он никогда не писал и не выступал против кого бы то ни было. И здесь я хочу сказать об этой проблеме *безотносительно к нему.*

Среди тех, кто подписывал что-то по поводу, скажем, Солженицына или Сахарова, есть замечательные писатели и люди, которых я, несмотря на это, не только люблю, но, не боюсь сказать, и уважаю. За другое, понятно.

Сейчас любой им это вспоминает: мол, как это они, ведь уже не сажали! Да, не выдержали, не устояли перед мощным нажимом — и вот тавро на всю жизнь. Мне самому удалось избежать этого только чудом, у них не получилось. Слава тем, кто протестовал, выступал, выходил из Союза. Но вы-то чего радуетесь и клеймите? Ведь вам и еще многим не предлагали. А предложили бы, да еще строго, — неизвестно, как бы вы реагировали. Вы же были тогда другими.

Ведь если бы раньше сказать: Слуцкий выступит против Пастернака, ни один бы человек не поверил.

А он выступил. А Шкловский и Сельвинский из Ялты прислали тогда же гневно-обличительную телеграмму, пожелали отметиться. К ним-то уж вообще никто не обращался.

Очень многих в такой роли нельзя себе представить, но их на эту прочность и не испытывали. Они, к счастью для себя, оказались за чертой официально привлекаемого круга.

А как поэту Арсению Тарковскому не следует подыскивать место: серебряный век или фронтовое поколение. Он стоит особняком. Как художник, он объективно оказался на позиции, игнорирующей личный опыт. Он как бы считал, что использовать его — это слишком просто. Он был органичен в своем состоянии, но одновременно это мучило его.

И он всю жизнь продолжал находиться *перед* чем-то иным, новым...

Жизнь на износ

(О Константине Симонове)

Когда умер Симонов — помню летний переделкинский день с этой, уже ожидаемой и все же неожиданной вестью, — когда он умер, я ощутил, как много он значил в жизни, не

только в моей. Я понял, что буду еще не раз думать о нем, размышлять, вспоминать и, наверное, напишу о нем — позже.

А тогда в Переделкине с нами за столом сидел Владимир Огнев, и он часто ездил в больницу, где находился Симонов, навещать, правда, не только его — там лежали еще двое знакомых Огнева, один даже присылал за ним машину.

Вернувшись, Огнев говорил осторожно, но мы стали догадываться, что Симонов умирает...

С чего же начать? С того, как Володька Ратковский привез из госпиталя толстую записную книжку со стихами Симонова и как они поразили меня? Или с личного знакомства?

Вероятно, это был самый *знаменитый* из всех поэтов, с которыми я общался в жизни. Почему-то захотелось начать именно с этого. Конечно, «Теркин» и тогда имел всенародную славу, но то была известность произведения и героя, персонажа, а здесь прежде всего автора. Кто-то сказал, что Твардовский — солдатский поэт, а Симонов — офицерский. Вероятно, в этом есть доля истины. У Симонова в стихах порой проступали черты даже гусарства. «Мы сегодня выпили, как дома, коньяку московский мой запас». Подумать только! У человека *на войне* московский *запас коньяку!*

(Когда впоследствии вышел его первый большой роман «Товарищи по оружию», многих восхищала сцена в ресторане, написанная со вкусом и знанием дела. «Московский запас» вполне с нею перекликался.)

Сверхпопулярность Симонова была основана прежде всего (и об этом следует сказать сразу) на его лирике, на созвучности ее миллионам в грознейшие годы войны. На чутко уловленной им потребности Времени. (Это вообще была одна из его главнейших черт. И сильная его сторона, и слабая тоже. Второе выяснилось значительно позднее.)

Но, кроме этого его чисто литературного успеха, у него был и другой успех. Он жил по законам «звезды», как бы на виду. Его сугубо интимная лирика была обращена к женщине, которую знали все, — киноактрисе. Сколько об этом говорилось, даже среди людей, которым и поэзия-то была совершенно чужда.

Все знали и первого ее, трагически погибшего мужа, фамилию которого она сохранила.

Не возьмусь утверждать, что все это Симонову не льстило.

И, однако, скажу уверенно: он писал стихи, посвященные ей, никак не с целью подогреть читательский интерес, привлечь к себе внимание, как порой бывает. Это ему было чуждо. Просто так получилось.

Тиражи книг были смехотворно малы. Телевидения фактически не существовало. Но его знала вся страна.

Думается, он был более близок, родствен своему читателю, чем поэты, пришедшие через поколение после него, эстрадные кумиры, постоянно озабоченные поддержанием высокого уровня интереса к себе. Совсем не собираюсь их осуждать в данном случае, просто отмечаю самый факт.

Что же привлекало в нем?

Его по-настоящему любовная лирика не изолирована в себе, как чаще всего бывает, а вся, без исключения, теснейшим образом переплетена с реальными, жестокими подробностями войны, становясь от этого еще более достоверной.

Поражала откровенность его лирики. Невозможно было поверить в то, что это напечатано. Его стихи переписывались и переписывались от руки, посылались любимым на фронт и с фронта.

Абсолютная свобода в стихах о женщине, бесстрашие подробностей давно свойственны и европейской поэзии, и особенно восточной. Но часто эта откровенность спокойна, задумчива, порой анализирующего или наставительного характера. Симонов же по темпераменту ближе, может быть, к Уитмену.

Конечно, и у нас в классике немало стихов подобного рода. И не только явно фривольные, но и чистейшие («Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем»). Но Симонов словно открыл заново то, что было как бы под негласным запретом.

О чем у него вспоминают мужчины на войне?

О белом полотне постели,
О верхней вздернутой губе,
О гнущемся и тонком теле,
На пытку отданном тебе,

О нежной и прохладной коже
И о лице с горящим ртом,
О яростной последней дрожи
И об усталости потом.

Понятно, не все это принимали. Твардовский с его крестьянским целомудрием и отсутствием собственных стихов о женщине долго относился к Симонову, как мне казалось, несколько иронично. Они сблизились гораздо больше, по-моему, лишь в последние годы.

Когда Исаковский в сорок седьмом году впервые читал мои стихи, он споткнулся на стихотворении о девушке, которая сидит вечером где-то в снежной глуши «над тетрадкой со стихами Симонова».

— Почему Симонова? — искренне удивился он, чем в свою очередь удивил и меня.

Издан том Константина Симонова в Большой серии «Библиотеки поэта». Давно ли он сам был здесь членом редколлегии, бился за других, отстаивал!

Татьяна Бек — составитель книги и автор примечаний — рассказала мне, что была вскоре после ее выхода в Волгограде, выступала там, читала свои стихи и как-то упомянула об этом томе, о работе над ним, и стала читать симоновское. Ее долго не отпускали, и она была поражена стойкостью — сквозь десятилетия — этого интереса.

Вот и я держу в руках этот синий том, знаю в нем почти все, перечитываю знакомое с юности. Что ни говори, это и моя жизнь.

В его стихах явственно героическое начало. Но, скажем, принесший ему первую известность «Генерал» очень подражателен прежде всего интонационно. Однако уже вскоре — сильные, провидческие строки:

Святая ярость наступленья,
Боев жестокая страда
Завяжут наше поколенье
В железный узел, навсегда.

Но преобладают еще аморфные, несамостоятельные, очень длинные стихи. Он продирается сквозь них к своему, истинному. И цикл «Дорожные стихи» — уже свое, не по рассказам и книжкам. Правда, «Вагон» написан под влиянием пушкинских «Дорожных жалоб», но в нем уже своя живая жизнь.

И уже настоящий Симонов — в цикле «Соседям по юрте». Это действительно цикл, но каждое стихотворение стоит в па-

мяти обособленно. Подчеркнуто мужские, подчеркнуто мужественные стихи. Канун войны.

И вдруг — буквально через страницу — нас окатывает: «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...».

Такое простое, естественное обращение. И такая же естественная боль.

Как ни страшно это звучит, но именно тогда он нашел свое и себя. Именно здесь. Стихи задели — и надолго! — многих. И задевали за живое других потом, по мере того как эти другие узнавали их, хотя давно уже осталось в прошлом то мучительное отступление.

В 1965 году мы летели из Италии, с конгресса Европейского сообщества писателей, с остановкой на несколько дней в Париже по приглашению французского отделения сообщества. Там нас как транзитных пассажиров опекала вначале компания «Эр Франс». И вот представитель ее, русский «из бывших», седой, подтянутый, подчеркнуто корректный, был буквально ошеломлен и преобразился, услышав, что перед ним Симонов. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» — первое, что он нашелся сказать.

А какие стихи появились тоже в самом начале:

Словно смотришь в бинокль перевернутый —
Все, что сзади осталось, уменьшено...

И:

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.

Сдержанные, глубокие, прекрасно написанные.

И — «Мы не увидимся с тобой», «Атака», «Смерть друга», «Слепец».

Не хотелось бы заниматься перечислением, но как хотя бы не назвать стихи, не слишком часто вызываемые памятью, однако до сих пор живущие, вибрирующие во мне столько лет.

И вот это стихотворение, так трогавшее когда-то, о потерявшейся девочке, бродившей «между сабель и сапог». Стихотворение романтическое (насколько строже и суровее у Твар-

довского — «В пилотке мальчик босоногий»), но зато с каким выбросом вперед! — «Через двадцать лет». Этот срок казался тогда нереально долгим. А ведь насколько больше уже прошло.

И еще. Без названия. «Если дорог тебе твой дом...» Тогда они назывались «Убей его!». А как же иначе? Стихи-призыв, стихи-приказ, стихи-наставление. Это монолог, речь, исполненная боли за мать, невесту, отеческий дом. Как на камне, выбиты слова о любимой родине и ее жестоком враге:

Знай: никто ее не спасет,
Если ты ее не спасешь;
Знай: никто его не убьет,
Если ты его не убьешь.

Думаю, эти стихи сыграли огромную роль на войне. Это одно из трех главных глубоко *гражданственных* стихотворений Симонова тех лет.

Какие же еще два? Жгучее, острое, чистое обращение к женщине — «Жди меня, и я вернусь». Тоже, если хотите, призыв. И тоже, если угодно, приказ. От его выполнения (или невыполнения) зависит жизнь — не буду говорить: лирического героя, скажу: автора этого письма-заклинания.

Помню, Симонова упрекали когда-то в психологической немотивированности строки «Пусть поверят сын и мать». Сын, мол, да, понятно, но — мать? Она не может поверить в его гибель раньше, чем жена.

Замечание, конечно, убедительное, но это никогда не мешало мне. Более того, я воспринимал это как некую гиперболу, лишний раз подчеркивающую силу женской любви.

Стихотворение «Жди меня, и я вернусь» тоже обладало колоссальным зарядом воздействия. Два стихотворения, в основе своей схожих. Два наисущественнейших обращения — к воину и к женщине. И третье из упомянутых мной в этом ряду — тоже обращение, но совсем иное, полное горечи, презрения, брезгливости. «Открытое письмо» — и даже адресат указан, хотя и без фамилии — «Женщине из г. Вичуга». А в конце — суховатое: «По поручению офицеров полка К. Симонов».

Это — ответ на письмо женщины ее мужу, уже убитому к тому моменту, и потому прочитанное вслух его товарищами. Низкое письмо из тыла — подлое, жестокое.

Конечно, война была долгой, и всякое случалось там, вдалеке, — это было для воевавших еще одной, дополнительной, маетой и болью. Это глубоко зацепляло всех — *и там, и там.*

Эти стихи будоражили, волновали, тревожили и успокаивали.

Уже давно кончилась война, а их все еще читали, часто друг другу, в застольях, вслух — я не раз бывал тому свидетелем.

Стихов подобного рода нет, вероятно, больше в нашей поэзии, и одновременно это типичные стихи войны.

И тут же, рядом, — «Жены» — солдатский сдержанный разговор о них. И «Дом в Вязьме» — о фронтовом братстве и тогдашнем уже понимании, что это навсегда.

И песни — он во всем себя пробовал, ничего не страшился — «Корреспондентская застольная», «Старая солдатская» — обе известные, но больше в профессиональном кругу.

И война, война... И другие стихи на войне, а сначала перед войной — «С тобой и без тебя».

«Тринадцать лет. Кино в Рязани»... Кто из моего поколения не помнит этих стихов? Они словно перекликаются с его поэмой «Первая любовь». О ней почему-то редко упоминают, а написана она очень точно по ощущению, мягко, пластично.

И далее — стихи с войны, — смело, откровенно, будто только для себя и для нее. На этих листках словно даже нет штемпеля «Просмотрено военной цензурой». Собственно лирика.

Он держался на этом уровне, гребне довольно долго. Вероятно, помогала война, раскрепощающая смертельная усталость, потери товарищей, ощущение того, что и с ним в любой момент может случиться то же самое. Особое состояние, которое в обычных условиях может владеть человеком лишь непродолжительное время.

Выяснение личных отношений на войне, внутри нее самой.

И главное стихотворение из этого цикла, о чем уже было сказано, — «Жди меня, и я вернусь». Хочется только добавить, что это все-таки нечто иное, словно даже не о любви, а о чем-то еще более высоком.

А вот «Майор привез мальчишку на лафете» — скорее из первого военного цикла.

Зато остальное — отсюда: и нежное, трепетное, трогательное, и роскошные «офицерские» стихи: «Я не помню, сутки

или десять», «Я пил за тебя под Одессой в землянке», «Хозяйка дома» — порой словно другой человек писал.

И опять с горькой болью — «Был у меня хороший друг» или даже «Каретный переулок», напечатанный, как мне помнится, уже после войны.

Тогда, в Переделкине, пока он был еще жив и сидевший за нашим столом Огнев навещал его в больнице, разговор то и дело возвращался к Симонову.

Вспоминали. Слава его после войны, казалось, еще более возросла. О том, чтобы купить его книжку, можно было только мечтать.

Я еще учился в геологоразведочном. Шли с моим другом Толей Клочковым вечером по Арбату и одновременно увидали в витрине магазина книгу — заглавные буквы имени и фамилии были — К и С, и первое — как будто Константин. Мы буквально бросились к стеклу. Это был том Станиславского.

А через несколько лет я заканчивал Литературный институт и заехал летом к своему однокашнику, бывшему боевому летчику, на Владимирщину. Сейчас его уже нет. А тогда, теплым вечером, мы шли по городку, встретили знакомых девушек моего друга и остановились. И тут он, обращаясь ко мне, говоря о нашей московской жизни, небрежно, мимоходом, упомянул о «Косте Симонове» — будто бы о нашем приятеле, человеке нашего круга. Меня это слегка покоробило, но еще больше рассмешило. Но он знал, что делал: девушки на это клевали. Симонов был для них эталоном некоей лирики и вообще — жизни. Причастность к нему автоматически поднимала моего товарища в их глазах.

Огнев рассказывал, как, поступив после института в «Литературную газету» (Симонов был тогда ее главным редактором), он оказался под сильнейшим гипнозом симоновского обаяния. Однажды, по дороге на дачу, Симонов подвез его на машине в Переделкино, к Федину, за обещанной статьей по поводу 2-го совещания молодых писателей (март 1951 года). Почти уже у ворот неожиданно столкнулись с представителями конкурирующей редакции, и Симонов, велев шоферу поставить машину поперек дороги (журналистская хватка), послал Огнева вперед. Тот открыл калитку и увидел на тропинке огромного, случайно, как выяснилось, не привязанного пса, но не решился при своем шефе хотя бы приостановиться, по-

шел — будь что будет! — к дому, и тут хозяин позвал с крыльца собаку.

На обратном пути машина застряла в снегу. Огнев, помогая вытаскивать, провалился, промочил ноги. Симонов дал ему на даче свои брюки и унты, и тот заявился в таком виде в редакцию. Он нарочно ходил по комнатам, чтобы спросили, почему он так обут, и гордо объяснял это всем желающим.

— Сейчас даже стыдно вспоминать, — закончил он, смеясь. — И ведь не мальчик был, сам после войны...

Тогда Симонов, придя в газету, быстро и точно, как умел только он, собрал дружный и сильный молодой коллектив. Как в хорошем сборнике стихов: и книга едина, и каждое стихотворение воспринимается отдельно. Оттуда многие вышли — писатели, литературоведы, журналисты. Стиль в редакции был деловой, но демократичный, веселый. Подражали манере главного редактора говорить, *показывали* его. Впрочем, это было не слишком трудно и удавалось многим.

Редакционный «Ансамбль верстки и правки» имел известность и за пределами «Литгазеты».

Наиболее ценных и нужных ему работников Симонов привлек обещанием дать квартиры — тогда это было особенно сложно. Многим он содействовал в устройстве на службу, вытаскивал в Москву Смелякова. И вообще помогал людям. Одновременно он работал секретарем Союза советских писателей СССР (так назывался тогда Союз писателей СССР), регулярно принимал посетителей. Так вот, рассказывали, что Симонов порой вынимал из стола деньги и тут же давал нуждающимся и неимущим, не отсылая их к официальной помощи, не заставляя дожидаться ее. Деньги свои, разумеется. Может быть, это и легенда, но, во всяком случае, на Симонова похоже.

Один мой товарищ, тоже работавший прежде у Симонова, рассказал мне однажды, что был у него в жизни трудный момент, не выходили книги, и он решился попросить в долг у Симонова. Позвонил, но сразу, по телефону, сказать об этом постеснялся, начал мямлить, спросил наконец, нельзя ли встретиться.

— Приезжайте через час к Старой площади, — тут же ответил Симонов и указал точное место. — Мне некогда, я перебираюсь на местожительство в Ташкент.

Тот примчался, но опять начал тянуть, в конце концов

Симонов понял, вынул с облегчением чековую книжку (просящий только слышал, что такие существуют) и, приложив ее к стене дома, выписал чек на нужную сумму.

Прошло несколько лет, Симонов опять жил в Москве, дела у моего товарища наладились, но еще не слишком, — подрастали дети, нужно было оплатить кооперативную квартиру. Долг очень его мучил, при встречах казалось, что Симонов смотрит осуждающе.

Наконец деньги были собраны. Он позвонил и опять попросил о встрече. На этот раз никакой спешки не было, его оставляли ужинать, но он вынул конверт с деньгами, волнуясь и сбиваясь, начал благодарить и извиняться за задержку.

— Ах, вот в чем дело, — засмеялся Симонов. — Я совсем забыл... — и положил конверт в карман.

А как он помогал с изданием книг, с печатанием — еще в сумятице войны и сразу после нее — Луконину, Недогонову, Наровчатову, Львову...

Бывали у него и поступки, о которых он потом сожалел. Сам слышал, как он, выступая в 1949 году на собрании московских поэтов, сказал, что накануне ночью прочел всего Сельвинского и насчитал у него только четыреста патриотических строк.

...Я впервые увидел его близко в «Новом мире» в конце сорок седьмого или начале сорок восьмого. Я всегда любил уютную гостиную старой редакции. Сюда выходили двери всех комнаток-отделов, здесь часто сотрудники продолжали разговор с авторами, жизнь протекала на виду у любого посетителя. Справа от входа, за столом (телефоны на отдельном столике), восседала секретарь редакции, величественная Зинаида Николаевна.

Я еще не только здесь, но вообще нигде не печатался и ждал, пока освободятся и смогут принять меня в отделе поэзии. Вошел Смеляков, в длинном рыжем расстегнутом пальто (потом он предпочитал короткие курточки), поцеловал ручку Зинаиде Николаевне, поздоровался со мной и тут же спросил:

— Откуда я вас знаю?

Я ответил, что знаю, конечно, его, но мы не знакомы.

— Да знакомы, знакомы, — ответил он и скрылся за дверью отдела.

И тут из-за плеча Зинаиды Николаевны, из своего кабине-

та, появился Симонов. В руке он держал несколько страниц какой-то рукописи или верстки. Он был без пиджака и в подтяжках («Американский стиль», — подумал я), но чувствовал себя вполне свободно — он *работал*. Он сделал несколько неторопливых шагов и отворил дверь к кому-то. Но словно искра прошла сквозь всех, кто здесь был, — Симонов!..

Вскоре он выступил с новой книгой стихов «Друзья и враги». О ней уже было известно заранее. Помню вечер в Большом зале консерватории, тогда там время от времени устраивались и литературные вечера; но это не был вечер Симонова — выступали и другие, в том числе прозаики.

От его стихов осталось чувство разочарования, не только у меня, у многих. И дело, конечно, не в тематике. Исчезла та трепетная нить, та острая общность, которая связывала его с читателями всю войну. Собственно, то, что сделало его Симоновым. Хотя он тоже первый открыл и эту рубрику, полосу, струю — зарубежных стихотворных впечатлений, доступных в ту пору немногим. И эти немногие, пойдя по его следу, тоже и без особого труда получили одобрение.

Тогда, в консерватории, ему присылали записки, просили почитать старое. Он огласил их и отказал, весьма сухо:

— Это не мой творческий вечер.

Так получилось, что свое основное (или — скажем определенней — лучшее) он завершил вместе с окончанием войны. Как поэт уж во всяком случае. Это произошло не с ним одним. Большинство поэтов так называемого фронтового поколения (он был старше) написали свои главные стихотворения в молодости — к сорок седьмому году. В самом деле, вот их позывные, вот их и теперешние визитные карточки: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой»(М. Луконин), «О мертвецах поговорим потом»(М. Дудин), «Я только раз видала рукопашный»(Ю. Друнина), «Его зарыли в шар земной»(С. Орлов), «Чтоб стать мужчиной, мало им родиться»(М. Львов) и т.д. Я не говорю об известности этих строк! Я говорю о том, что трудно найти у данных поэтов стихи, выражающие их суть в большей степени.

А тогда было странное время ежегодных гонок за призами. Никто уж и не вспомнит, за что они все получены. Что это за пьеса такая — «Чужая тень»? Я, страшась разочарования, даже не стал сейчас брать ее в руки. За лучшие стихи он не был

отмечен. Но хотел и за стихи — и своего добился. Иначе бы он не был Симоновым.

С годами он стал называть себя прежде всего прозаиком, почти не считал себя поэтом. Это глубоко ошибочно, нелепо. Как раз наоборот! Да, он пришел к большой прозе, к эпопее и имел здесь удачи, совершенно, однако, несравнимые с прежними. В этом я убежден. Да, стихов он написал впо-следствии очень мало. Вот — «Знамя». Начало, по правде сказать, раздражает:

От знамен не прикуривают.

А кто говорит, что от них нужно прикуривать? Кому автор хочет возразить? Это не *его,* это влияние куда более молодого поэта, главная особенность которого — отводить несуществующие угрозы.

Может быть, в большей степени, чем другие, Симонов был сыном своего времени, чувствовал его запросы и откликался на них. Или так казалось? Сильный, везучий, удачливый, он словно вдруг утратил что-то, вступил в другую полосу. Или само время изменилось? Или как в игре — карта не шла?

Но он был упорен и вынослив. Он уехал с семьей в Ташкент, жил там несколько лет, начал вовсю писать большую по объему прозу. Ему требовалось приложение сил, фронт работ. В войну его спасала газетная работа, заполняла его, и, может быть, поэтому он столько еще написал. Он работал как заведенный, благодаря этой его особенности появились и дневники тех лет «Разные дни войны» — лучшая, на мой взгляд, его проза. Из них и вышли потом все его романы.

Он физически не терпел недозагруженности. В Ташкенте ему и прозы было мало. Он регулярно писал очерки, щедро переводил. У него на все хватало сил. За всю жизнь он не нашел сил только для одного — приостановиться.

Тогда мне так и не удалось напечататься в «Новом мире». Я стал автором этого журнала позже, при Твардовском, впервые напечатав там в 1951 году стихотворение «Мальчишка». Симонов был в ту пору главным редактором «Литературной газеты». Туда я тоже носил стихи.

Стихами в газете занимался А. Лацис. Приносили ему, а

он — то, что считал достойным, — показывал Симонову. И мои он передавал раза два, но безуспешно. Да и печатали стихов в газете немного, все больше к случаю.

И вот держу в руках (чудом сохранились, и еще большее чудо, что нашел) два листочка с мною же перепечатанным стихотворением — «Сердце». В левом углу пометка карандашом — *«Вызвать Ваншенкина. КС»*.

Это 1952 год. Стихи о том, как заболело сердце.

...Оно жило невидимо во мне,
Послушное и точное на диво.
Но все, что с нами было на войне,
Все сквозь него когда-то проходило...

...Но я не знал об этом ничего.
Какое мне до сердца было дело?!
Ведь я совсем не чувствовал его,
Оно ни разу даже не болело.

И, словно пробудившись наконец,
Вдруг застучало трепетно и тяжко,
Забилось, будто пойманный птенец,
Засунутый, как в детстве, под рубашку.

Он рвался, теплый маленький комок,
Настойчиво и вместе с тем печально,
И я боялся лечь на левый бок,
Чтобы не придавить его случайно.

Вторые восемь строк были заключены в квадратные скобочки, то есть предлагалось их изъять. Но другой рукой — чернилами. А мне эти строчки были наиболее дороги!

Затем в стихах говорилось о том, что начался рассвет, «легли лучи» и «резко просигналила машина» (тогда это еще разрешалось). И слившееся звучание просыпающегося города постепенно заглушило бившееся в тишине сердце.

Меня «вызвали», и тогда я познакомился с Симоновым. Он разговаривал со мной около получаса, неторопливо, словно у него было много свободного времени.

Он попросил *доработать* это стихотворение.

В дальнейшем я сам не раз редактировал стихи, и не толь-

ко молодых, и часто, на глазах изумленных авторов, они явственно выигрывали от точного сокращения. Если возможно сократить — это уже улучшение.

Но тогда широко практиковались всесторонняя доработка, дотягивание. Сплошь и рядом можно было слышать: стихи приняты, но имеются две поправки. Сколько стихотворений разных авторов было безнадежно испорчено!

А здесь он терпеливо начал говорить о том, что надо бы постараться эти стихи *вытянуть*. Что жалко их так оставлять и необходимо подумать, зарядиться, что-то сделать. На том мы с ним и распрощались.

Уже в электричке (я жил за городом) я написал другую концовку.

...Прости меня, что, радуясь, скорбя,
Переживая горести, удачи,
Я не щадил как следует тебя...
Но ты бы сердцем не было иначе.

Лацис пробежал стихи глазами, кивнул и поспешил к Симонову. Стихотворение было напечатано в ближайшем номере газеты и получило, судя по отзывам, весьма широкое и стойкое распространение.

Потом я еще несколько раз печатался в «Литературке», а когда Симонов вновь стал редактором «Нового мира» (1954 год), он пригласил меня сотрудничать там.

Я продолжал выступать в его журнале и особенно благодарен за то, что там напечатали мою первую большую (в один лист) статью «Перечитывая Твардовского». Отсюда я регулярно начал работать и в этом жанре.

...Подумать только, какая жизнь прошла! Какие потрясения — и до войны, и после! И какая война!

А смерть Сталина... Хмурый снежный день. Стихи в «Правде» — Твардовского и Симонова. Их вызвали ночью в редакцию, и они написали стихи там. Траурный митинг писателей в тогдашнем Доме кино на улице Воровского. Они оба прочли те свои стихи.

Потом все пели «Интернационал». Запевал Софронов. Многие плакали.

Но жизнь продолжалась. На повестке были новые — очищающие — потрясения. И снова — работа, работа.

Должен сказать, что я, в силу своих личных особенностей, гораздо более тяготел к Твардовскому, к Исаковскому.

Но и на Симонова я смотрел со всегдашней приязнью и удовольствием. И стихи его, те, давние, поразившие меня, юного, всегда жили во мне.

Вспоминаются поездки, где мы бывали вместе. 1965 год. Осенний, но еще раскаленный и потому красноватый Рим. Конгресс Европейского сообщества писателей на Капитолийском холме. Почти каждое имя знакомо каждому. И чуть не до утра — неутомляющие прогулки по Риму. Потом одни летят в Москву — А. Твардовский, А. Сурков, В. Быков, Б. Сучков, Б. Рюриков, М. Карим, другие едут по Италии, а затем еще и в Париж. Это — К. Симонов, М. Бажан, Р. Рождественский и я — с женами, М. Алигер, Е. Калашникова, В. Левик, Б. Истру, П. Палиевский, Аг. Гатов.

Выезжали после обеда, а утром мы с Инной, гуляя, встретили Симоновых на площади Испании. Мы стояли над лестницей, возле дома, где жил Китс, говорили о вчерашнем вечере в нашем посольстве и о предстоящем путешествии.

С его женой, Ларисой Жадовой, я был знаком очень давно, раньше, чем с ним. Ее отца, известного генерала, я увидел в Венгрии, но уже после войны. Мы за него должны были голосовать на выборах в Верховный Совет, и он как кандидат приезжал встретиться с избирателями.

А сами выборы происходили в феврале, среди заснеженных Карпат, в воинском эшелоне. Мы наконец-то возвращались в Россию. Большинство из нас голосовало впервые.

А ее я увидел, разумеется, уже в Москве. Она была тогда женой Семена Гудзенко, молодого, красивого. Раза два я бывал у них дома, на улице Чайковского.

Гудзенко работал в «Литгазете» у Симонова, восхищался им. Симонов был для него кумиром, примером работоспособности, упорства, удачливости. Как распорядилась судьба! — после ранней смерти Гудзенко Лариса стала женой Симонова.

Она была искусствоведом, защитила диссертацию, печаталась в специальных журналах.

Эта поездка врезалась в сознание всех ее участников.

Стремительные дороги Италии. Золотая Флоренция с ювелирным мостом через Арно, вечерней площадью Синьории, соборами, галереями, художественными изделиями из соломы — на каждом шагу.

Флоренция и сверху — из волшебного, как сон, Фьезоле, куда мы долго поднимались на машине, потом пешком.

Не так же ли стучал топор
В нагорном Фьезоле когда-то,
Когда впервые взор Беато
Флоренцию приметил с гор? —

написал летом 1909 года Александр Блок.

Мы ехали в удобном просторном автобусе. Я часто смотрел на Симонова. Он выглядел очень уставшим. Рано поседевший, он всегда казался старше своих лет, теперь он был *старее*. Он стал хуже слышать и при разговоре часто наклонялся к собеседнику, приближая ладонь к уху — ковшиком. Порой засыпал во время езды. Это было за месяц до его пятидесятилетия.

А пятьдесят лет его однокашницы, Маргариты Алигер, мы отпраздновали во Флоренции. Хозяева нашего маленького отеля устроили праздничный ужин. Гвоздики лежали прямо на скатерти. А мы вытащили из чемоданов то, что осталось, — «коньяку московский мой запас». Но только не коньяку, а водки.

Было очень хорошо и душевно — свои вдали от родины. И вдруг в разгар пира Симонов хлопнул себя по лбу, встал и объявил, в подчеркнуто официальной манере, грассируя по обыкновению:

— Я совсем забыл: Сурков, улетая, просил передать, что Маргарита Иосифовна Алигер за заслуги в развитии советской литературы Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Все захлопали. Кто-то сказал:

— Хорошенькое дело, мог и не вспомнить!..

На что Алигер улыбнулась:

— Еще бы! У него их столько!..

Когда подъезжали к Венеции — дня через два-три, — Алигер спросила у него:

— Костя, ты бывал в Венеции?

Он ответил:

— Кажется, три раза.

Однажды вечером пошли гулять — Симоновы, Алигер и мы, отдалились от сверкающей площади св. Марка и наряд-

ных улочек, попали в темные закоулки, заблудились. Вышли к воде, пахло рыбой.

— И это Венеция, — сказал Симонов.

Где-то вдали звучал оркестр. Мы еще поблуждали, пока вышли к освещенным домам над каналом.

Гондольер что-то пел.

— Слышите? — спросил Симонов. — По-моему, «Подмосковные вечера», а? Надо будет рассказать Матусовскому.

И еще одна поездка, совсем недалеко. Редакция «Вопросов литературы» встречалась со своими читателями из известнейшего научно-исследовательского института, расположенного под Москвой. Ехали главный редактор, оба заместителя, другие ответственные сотрудники. Авторов должны были представлять Симонов, Трифонов и я.

Собрались в редакции, еще на Пушечной, долго ждали Трифонова, стали беспокоиться, звонить к нему домой — никто не отвечал. Пора было ехать, по дороге еще нужно было захватить Симонова. Я ничего не сказал, но я лучше других знал Трифонова и был уверен, что он просто опоздал, перепутал время. За ним такое водилось — явиться через час или полтора после срока. Однажды он даже не успел к заграничному рейсу — в Швейцарию, на мировой чемпионат по хоккею. Полетел через сутки. Сейчас он появился, едва мы уехали.

Все это нас задержало, да еще дорога была плохая.

Большой зал, восходящий амфитеатром, был уже полон, и вечер начался сразу. Симонов рассказывал о своей работе над прозой и в документальном кино, с похвалой отзывался о журнале. Прочел два или три стихотворения последних лет, старое читать отказался.

Встреча шла живо, и, как бывает в таких случаях, время летело незаметно. Потом устроители пригласили на ужин. Было уже поздно, Симонову и В. Озерову еще оставаться не хотелось.

Мы вместе с хозяевами вышли из здания, и тут Симонов увидел наших шоферов (мы прибыли на двух служебных «Волгах»).

— А шоферы? — спросил он. — Накормили шоферов?

— Нет еще, — ответили ему, — но сейчас покормим.

— Не накормили шоферов! — сказал он Озерову. — Поедем!

— Поехали! — согласился тот.

— Но как же... послушайте, все готово...

— Нет, нет, спасибо! Уже поздно, нам пора...

Было в этом и нечто фронтовое — там шоферов действительно следует кормить немедленно, ибо всегда может оказаться, что ехать дальше предстоит через пять минут. И нечто наивное сейчас — ведь нас-то сразу тоже не кормили.

Но первое пересилило.

— Не накормили шоферов!

Я, по совести, посочувствовал обескураженным гостеприимным хозяевам.

Отъехали с километр, остановились. У предусмотрительной Е. Кацевой оказалась сумка бутербродов, термос с кофе, и мы все, стоя на дороге возле машин, весело, с шутками перекусили.

Потом был Минск, зима 1975-го. Всесоюзная конференция, посвященная 30-летию Победы и литературе о войне.

Среди других там были С. Смирнов, М. Луконин, Л. Якименко. Их, да и П. Машерова, сделавшего на писательской конференции заглавный доклад, уже нет.

Все они прошли войну, все не понаслышке знали, что это такое. А из тех, кто ехал с нами туда в одном вагоне, нет уже А. Каплера, Ю. Друниной, Н. Лесючевского, К. Симонова и Ларисы. Кто бы мог подумать, что она переживет его так ненамного. В начале 1982 года я делал на телевидении передачу о Семене Гудзенко и собирался попросить Ларису дать для этого редкие его фотографии.

Оказалось, что она в больнице. Однако сказали, позвонить домой можно в конце недели — в пятницу она выпишется. В пятницу ее хоронили.

...Симонов был человек поразительного общественного заряда. Мне хочется напомнить сейчас только об одном. В течение ряда лет он возглавлял комиссии по литературному наследию многих и многих ушедших писателей. Это благодаря в первую очередь его усилиям и упорству вышли после долгого перерыва книги М. Булгакова, О. Мандельштама. Да и как председатель комиссии по литнаследию Твардовского он сделал немало. Сейчас большинство таких комиссий без него почти прекратили свою деятельность.

Все у него было необычно. И целый штат помощников. И его выполненное завещание — развеять его прах под Могилевом, на поле, где он впервые столкнулся с войной. Как бы объединиться с теми, погибшими.

Сильные его стороны — беспрерывность в работе, оперативность, неистребимое желание и потребность захватывать все новые плацдармы — обернулись и его слабостями.

А может быть, он и не слишком стремился закрепиться на тех плацдармах. Им двигала одна цель — вперед.

И при этом он всегда держался с достоинством, говорил неторопливо, с уверенностью человека, привыкшего к тому, что его слушают. Я заметил — с годами он говорил все более медленно, с придыханием, длинными паузами, придававшими обычной, будничной речи мнимую значительность.

Все его теле- и киноработы хочется ужать, сократить.

Потом я понял: ему было трудно дышать, это была подсознательная защитная реакция организма.

Он работал на износ. Ему бы остановиться, а он все спешил, одно наворачивал на другое. Сколько он написал! — поэм, статей, заметок, корреспонденций, пьес, сценариев, повестей, сколько оставил разного рода дневников.

Вот смотрел недавно по телевидению цикл фильмов «Солдатские мемуары» — его беседы с полными кавалерами ордена Славы. Замечательны и сама идея, и это его стремление запечатлеть войну документально.

Я смотрел и видел его, глубоко усталого, глубоко больного, не того, что прежде, словно по инерции, с исключительным упорством делающего свое дело, где главное — не он, а они: разведчик, связист, сапер, танкист, истребитель танков, наконец, просто пехотинец.

Это, конечно, не кино в профессиональном смысле, здесь нет жанра, стержня, завершенности, да и говорит он с ними первыми попавшимися словами, — верно, отбирать уже некогда. Но это *материал,* то есть то, что еще многократно может пригодиться.

И особенно для меня дорога эта симоновская тяга к солдатам войны, а не только к ее полководцам. Хотя (и в этом тоже Симонов) к солдатам, официально увенчанным и, конечно, попрактиковавшимся в общественных выступлениях.

Но все равно это жизнь — и все здесь: и горечь, и боль, и

забавное, и трогательное. И сразу видно, как много значит для этих былых солдат — он. Уже до конца.

От этого явления, имя которому — Константин Симонов, не отмахнешься.

О редакторской заинтересованности

Писатель может долго писать свою книгу, свою «вещь» — роман, поэму, рассказ, даже стихотворение. Потом он может положить рукопись в стол, где она, по чьему-то счастливому выражению, «сама за себя думает», может, не торопясь, править ее, улучшать, переписывать. А может считать ее вполне готовой, но все равно медлить, тянуть, не отдавать никому месяцами, а то и годами по причинам, часто не всем понятным, — ему жаль расстаться со своим созданием. Такова писательская психология.

Но вот автор отдает свое произведение в редакцию. И как бы долго ни держал писатель готовую рукопись до этого, едва только она попала в издательство или журнал, он хочет, чтобы ее прочли побыстрее. Как можно быстрее. Немедленно. И желает он этого мучительно. Ничего тут не поделаешь, такова психология писателя. Это важно для него — и не только в том смысле, возьмут ли рукопись, напечатают ли и когда, но и более широко — это необыкновенно важно и для последующей работы и жизни. Это может либо придать сил и бодрости, либо выбить из колеи.

Хороший редактор не только тот, у кого безупречный вкус, чувство времени, четкая позиция. Я убежден, что хорошему редактору интересно прочесть новую рукопись. Редакторскую работу он воспринимает не как обязанность, а как часть своей судьбы.

Вероятно, мне везло. Приведу два примера.

Летом 1954 года К. М. Симонов, незадолго перед этим ставший вновь редактором «Нового мира» (после Твардовского) встретил меня на Тверском бульваре и предложил сотрудничать в журнале. Он сказал: «Таскайте, куда и раньше таскали». Такие вещи запоминаются. Я уж не говорю сейчас, как важно для писателя, особенно молодого, такое вот приглашение, как оно помогает. Это разговор другой. Осенью того же года я закончил поэму «Сердце матери», перепечатал, немного сократил, опять перепечатал и положил в стол. Прошло какое-

то время, и однажды, в самом конце октября, я достал ее, перечитал и вдруг, словно спохватился, заторопился, побежал к Симонову. Был конец рабочего дня, но я не мог уже откладывать. Пошел я не в редакцию, а в Союз писателей, где Симонов одновременно работал в качестве секретаря правления. Вероятно, кто-то сказал мне, что он должен быть там, или просто Союз был от меня ближе.

Симонов полистал мою поэму и сказал, что вечером уезжает в командировку и, может быть, успеет прочесть до отъезда, но не обещает. Он спросил, есть ли у меня телефон. Телефона у меня не было. Тогда он попросил меня позвонить утром его секретарю.

Назавтра, едва дождавшись десяти часов, я побежал к автомату.

— Константин Михайлович уехал и поручил передать, что поздравляет вас с удачей, — сказали мне. — Поэма будет напечатана в «Новом мире».

Все произошло так быстро, что я был еще взбудоражен, когда пришел в редакцию рассказать о случившемся заведующей отделом поэзии С. Г. Карагановой. На столе у нее лежала моя поэма с резолюцией: *«Подготовить для сдачи в набор в № 12. К.С.»*.

В 1958 году А. Т. Твардовский, вновь ставший редактором «Нового мира» (на этот раз после Симонова), основываясь на моих же критических заметках, предложил мне написать что-нибудь в прозе. «Закончили мысль — отбив, и дальше — о другом». Опять-таки не могу не сказать, как он важен, такой заказ редактора, и не просто заказ, а серьезный, равный разговор об этом, как хочется потом работать, едва затворил редакционную дверь, едва вышел на улицу.

Я решил и решился написать о том, что давно сидело во мне, составляя часть меня самого, — о моей армейской юности. Во время войны я был солдатом и, конечно, ничего не записывал. И вот теперь все это, бурля, встало предо мной, и я стал заносить в блокнот строчки, детали, характеристики, только упоминания, чтобы не забыть, а иногда это был уже целый рассказ, совсем готовый. В общем, я с опозданием более чем в пятнадцать лет вел свой дневник, свои военные записи. Потом я поехал в Комарово под Ленинградом и там среди фантастической финской зимы написал «Армейскую юность».

В Москве я перепечатал рукопись — получилось, как мы говорим, три листа, чуть более семидесяти машинописных страниц, перечитал и, как всякий новичок — а я ведь и был новичок в этом жанре, — сгорая от нетерпения, пустился в «Новый мир».

Была середина зимнего дня, в комнатах уже горело электричество. Твардовского в редакции не оказалось. Его секретарь Софья Ханаановна сказала, что, возможно, он зайдет в конце дня, а возможно, и нет. Я, несколько разочарованный, оставил рукопись и ушел. Уже слегка смеркалось, шел снег.

Утром мне позвонил Твардовский (телефон у меня уже был). «Правда, я имел в виду не совсем это, — сказал он, — но — хорошо»...

Я говорю здесь не о «быстроте» напечатания произведения — это тоже совсем отдельный вопрос, — а лишь о возможно скором прочтении, решении судьбы. Конечно, может быть, это нетипично, чтобы судьба рукописи решалась за один вечер. Но необходимо главное — глубокое внимание и интерес к автору со стороны редакции и редактора.

Однако, к сожалению, в последнее время приходится довольно часто слышать о совсем ином стиле работы, а иногда сталкиваться с ним самому. Есть редакторы, которые стремятся всячески оттянуть момент встречи с поступившей рукописью, оправдываясь занятостью, отъездами и т. д. Пусть простят меня — это, как правило, плохие редакторы. Им неинтересно. Неинтересно узнать, что же написал писатель сейчас, и, конечно, уж неинтересна последующая жизнь и судьба этого писателя. Обычно в таких редакциях и рядовые литсотрудники читают медленно, нехотя, не понимая, что быстрое прочтение рукописи не только их прямая обязанность, но дело чести и совести.

«Сказать иль промолчать?»

(Об Александре Яшине)

Александр Яшин — фигура в литературе непростая, многократно менявшаяся, мятущаяся, ищущая — прежде всего себя. У нас в критике чаще пишутся сейчас с него этакие комплиментарные портреты, что совершенно неуместно, — как ни в каком другом случае. Они не выражают его противоречивого характера, его человеческой сути.

Писать он начал рано и печататься рано — с пятнадцати

лет. Тогда вообще рано начинали. Когда он приехал в Москву, поступать в Литературный институт, у него был уже немалый опыт — и крестьянской работы, и учительствования. Он приехал из своей лесной вологодской глухомани, куда и сейчас добраться непросто, — во всяком случае ездящие на его, «Яшинские», дни в деревню Блудново любят это подчеркивать.

Да, у него был свой опыт деревенского жителя, свой взгляд и, конечно, способности, но ведь как соперничать с Исаковским и Твардовским? У него было свое, сугубо северное, но попробуй перещеголять тут Прокофьева. Да и после войны, когда он углубился в поэму, ему невозможно было тягаться с виртуозом стиха Недогоновым.

Яшин окончил Литературный институт, его знали, но он еще не обрел себя. Тут война. Он воюет моряком, армейским журналистом. И опять он не сделал тогда необходимого рывка, который, словно сам собой, удался в те годы многим.

После войны он работает особенно упорно, зло. И вот одна из его работ, занимавшая его целиком, получает Сталинскую премию. Но ведь не лучшая! И он мучительно, не враз, осознает это. Здесь его переломный момент. Удовлетвориться или нет? Он решается быть требовательней к себе, не обольщаться, искать себя нового. Но ведь это легко сказать...

Поэма захлестнула его, оглушила. Она его засыпала, он был ею контужен. После нее он словно забыл прежнее, разучился делать то, что умел.

Непонятно, как можно было написать столько строк, из которых ни одна не запоминалась.

Как это выглядело? Идет война.

Не хватало ни людей,
Ни машин, ни лошадей,
Не хватало сил,
А все ж,
Что ни год — стеною рожь...

Или о секретаре райкома:

Никому отказа нет.
Чуть не так — и к Михалеву:
Он поддержит, даст совет.
Ободрит душевным словом.

Неловко все это приводить, но ведь нельзя иначе. Поэма «Алена Фомина» — это же не какое-то случайное его стихотворение. Это его основное на многие годы. Без этих хотя бы даже цитат нельзя в полной мере уяснить — сквозь что прошел Александр Яшин. Прошел и, как ни странно, уцелел, поднялся с таким весом на плечах.

Без этих ссылок нельзя понять — что же вообще происходило в литературной практике.

(Не забудем, однако, что в ту пору и «Дом у дороги» был написан.)

Эта гигантская поэма вымотала Александра Яшина. Он утратил уже обретенную пружинность стиха, начал писать натужно, через силу.

Именно в ту пору его столь неоднозначного триумфа я с ним познакомился.

Литературная жизнь кипела. На обсуждения, вечера, заседания Бюро поэтов приходили едва ли не все. И была категория людей, державшихся и выступавших таким образом, словно они представляли собой нечто большее, чем было на самом деле. Словно что-то еще о них известно — но только им. И хотя их поведение и манера не были всерьез подтверждены основным капиталом и достоянием — то есть стихами, — постепенно к этому привыкли.

Что касается Яшина, у меня и моих сверстников не было по отношению к нему как к поэту никакого почтения, пиетета. Наоборот, мы были глубоко уверены, хотя и не думали об этом, что мы выше, чем он. Это совершенно нормальное положение, иначе вообще не было бы искусства, его движения, его развития. Но ведь это не относилось к Твардовскому, Симонову, Смелякову. Его мнение обо мне было для меня неинтересно, их — другое дело.

А так я относился к нему с симпатией. Не было собрания секции, заседания Бюро, где бы он не выступил. Его активность так и бросалась в глаза. И еще он был задиристый, готовый всегда дать отпор. Он был остро самолюбив. Горячащийся, молодой, худой, отбрасывающий со лба густые легкие волосы.

Тогда появилась новая группа лауреатов, особая, удачливая каста, однако настоящие писатели — Казакевич, Луконин, Рыбаков. И Яшин — тоже. Недавно еще безвестные, безденежные, теперь они разъезжали в собственных машинах, Союз писателей дал им дачи по одной улице в Мичуринце. Тогда все это делалось быстро.

Им всем по-разному предстояло еще подтверждать свой успех. Может быть, Яшину в большей степени.

Удивляла необязательность его тогдашних замыслов, вялость, аморфность стиха. Вот — «Охотник», пригласивший девушку в лес, чтобы «там же открыть ей душу».

В поисках дичи, в погоне за ней они проходят многие километры. Тут «ночь в тайге наступила». И, «разжигая костер, затеял он, замирая, тот самый свой разговор».

Но девушка не отвечала,
Она ничего не слыхала:
Она
Спала.

Вот и все. Это длинное стихотворение напечатано в сборнике «Стихи 1954 года», то есть это лучшие стихи за прошедший год. Еще стихи — «Спокойнее вдвоем» — о том, что в семье должны быть дети, иначе это не семья. Фельетонно, элементарно, очень затянуто.

Я привожу все эти примеры потому, что без них не будет видно, как он переменился, вырос в ближайшие же годы. В его работе как бы произошел взрыв. Он словно очнулся, излечился — и пошел!

Мы не видели и не знали, что же происходило с ним там, за экраном, за кулисами. Но он вышел к нам другим. И ведь как долго его не было!

Появляются превосходные его стихи. Об орле, который после выстрела по нему почти в упор, «не оглянувшись даже на стрелка... не торопясь, ушел за облака».

О нищем —

Принимает трешник мой,
Вытертый до дыр,
Словно заработок свой,
Словно я — кассир...

И концовка:

Встреча наша коротка
И нехороша.
У него дрожит рука,
У меня душа.

Его трогательный в своей наивности и вере призыв «Спешите делать добрые дела» обращен, как это бывает, прежде всего к себе самому. И через несколько лет, по сути, то же самое — «Покормите птиц». Короче — будьте лучше!

Вот теперь его поэзии свойственна социальная наполненность.

Я думаю, что вернуться к поэзии ему помогла проза. Он ведь начал писать рассказы — неторопливые, подробные. Они возвратили ему внимательность и к слову, и к жизни, и к себе. Прежде всего безжалостные «Рычаги», которые власть так ему и не простила. А его яркий рассказ «Вологодская свадьба», написанный чуть позже и поначалу встреченный некоторыми критиками настороженно и даже неприязненно, уже сейчас представляется нам классическим. А тогда он выглядел, как все новое, слишком непривычным, смелым. Но ведь и к новому привыкают быстро. Этот рассказ сыграл, на мой взгляд, немалую роль в становлении последующей, так называемой «деревенской прозы», с ее не только лиричностью, но и явной сатирической струей. Он, безусловно, повлиял на Б. Можаева, В. Белова и особенно В. Шукшина — у того были даже детальные совпадения.

Наши личные отношения с Александром Яшиным сложились весьма своеобразно.

Одно время, став лауреатом, он вел в Литературном институте поэтический семинар, и вот мне передали, что он прочитал там вслух только что напечатанное в «Комсомолке» мое стихотворение «Первогодкам» — в качестве положительного примера, что ли. Я в ту пору еще был студентом.

Потом он не раз публично хвалил мои стихи, а при встречах обращался к кому-либо из стоящих рядом и говорил, показывая на меня обеими руками:

— Вот поэт! Вот люблю!..

Так и шло. Потом появилась моя вторая книга. У нас с Инной тогда еще не было своего дома, и газет мы не выписывали. Купил случайно «Литературную газету», развернул возле киоска, вижу: несколько рецензий, и первая — «Лирические стихи К. Ваншенкина». Подпись — А. Яшин.

Предвкушая удовольствие, я прошел в сквер и сел на скамейку.

Рецензия была разгромная, в клочья. Сразу же била в глаза крайняя раздраженность тона. Такая, что автор предвзято, не-

верно передавал смысл и даже содержание некоторых моих стихотворений:

«...Лирический герой проявляет не меньшую выдержку, убедившись в измене своей любимой. «Что же тут особого такого?» — говорит он и обещает даже не показываться на глаза своему сопернику, чтобы не портить ему настроения:

А пойду на станцию обратно —
Обойду то место стороной:
Может, парню будет неприятно
Встретиться нечаянно со мной.

Вот до чего он хорош!»

У меня же о другом — о грусти нового возраста, о понимании, что ты иной, — после других потрясений, после войны.

Но что толку оправдываться!

Эта моя вторая книга представляется мне сейчас крайне неровной, в ней есть слабые, просто проходные стихи. И рецензия, вероятно, была бы справедливой, если бы в этой моей книжке, собранной на переломе, не было таких стихотворений, как «Мальчишка», «Сердце», «Я прошел от самого вокзала» (о нем шла речь), «Земли потрескавшейся корка» (о том, «как пуля, что в меня летела, попала в друга моего») и еще других. Например, «Ты добрая, конечно, а не злая». Это восьмистрочье, помеченное 1952 годом, кончалось так:

Но остается горестная метка, —
Так на тропинке узенькой, в лесу,
Товарищем оттянутая ветка,
Бывает, вдруг ударит по лицу.

Позднее (в его книге «Лирика» указано — 1958-й, но, видимо, не позднее 1956-го, так как напечатано впервые в «Дне поэзии» — 1956) А. Яшин напишет:

Как будто бы в густом лесу я сам
Тугую ветку оттянул упруго.
И вот она хлестнула по глазам
Ни в чем не провинившегося друга.

Но это к слову.

Главное — в другом. Я читал: «...следы неприятного «бодрячества», лакировки...»

Чуть мягче: «...это наиболее безобидные случаи лакировки, но нам надо отказываться и от этого...»

Наконец: «...недостаточно отчетливо уяснил для себя требования партии к писателям — правдиво отображать нашу жизнь во всей ее сложности и многообразии».

Статья была напечатана в 1954 году.

Я читал ее и не мог избавиться от ощущения: это же он о себе пишет. Это же раздражение собой. Это он мне собственные грехи приписывает.

С удовлетворением и даже удивлением отмечу: как я все это спокойно тогда перенес! Это не сшибло меня и не согнуло.

Молодость, или время такое было — принятый стиль и отношения тех лет.

И когда защитили меня, воспринял это весьма хладнокровно.

Шел по улице, увидел на стенде «Известия» — и словно что толкнуло. Большая статья под рубрикой «Навстречу Второму съезду писателей» называлась «Разговор о воспитании молодых». Автора я не знал — Алесь Бачило из Минска.

Рецензии Яшина было уделено в статье немалое место. Было прямо сказано, что «субъективное авторское чувство господствует над объективной оценкой произведений». И подробней: «Об этом интересном в целом сборнике А. Яшин пишет: «Книга меня разочаровала... Минусов в ней пришлось наставить больше, чем плюсов».

Удивительный способ — арифметически определять творческое своеобразие автора!..» — и т.д.

Стояла осень, начало сезона. Вскоре состоялось первое собрание поэтической секции. Я пришел и сразу же столкнулся с Яшиным.

— Ну что, защитили тебя? — были его первые слова.

— Да уж как-нибудь, — отвечал я сухо.

Тут же, через полчаса, он вышел на трибуну и сказал примерно следующее:

— Критикуешь по-товарищески молодого поэта, а он высказывает неудовольствие, нос воротит...

Однако его рецензия и другим не понравилась.

Для чего я все это говорю? Чтобы показать Яшина. Долго

потом это его мучило, многократно затевал он со мной об этом разговор. Завод прошел, а осадок остался.

В ту пору, когда ему особенно доставалось за «Вологодскую свадьбу», я находился в Малеевке, под Москвой. Он тоже там жил, но то и дело ездил на машине в город, места себе не находил. Была зима, на дороге страшенный гололед, о нем только и было разговоров. Как-то вечером я спустился в нижний вестибюль, тут отворилась дверь и появился снаружи Яшин. Он подошел и поздоровался, от него пахло вином.

— Вот из Москвы приехал, — сказал он.

— Как, за рулем?

— За рулем. Слушай, ты читал, что обо мне пишут?

— Читал.

— Ты на чьей стороне, на их или на моей?

— Конечно, на твоей.

Он протянул руку:

— Слушай, давай все забудем...

Что мне оставалось делать?

Однажды в перерыве какого-то собрания он начал хвалить мое стихотворение «Вновь наступающих праздников зов», недавно напечатанное.

Это было уже в 1967 году.

Я прервал его:

— Остановись. Знаем, чем это кончается.

Он засмеялся и махнул рукой.

Теперь опять о стихах.

У него есть стихотворение «Бабочка ожила».

Бабочка ожила,
Летает у потолка,
Трепетных два крыла,
Словно два фитилька...

Перестаю дышать,
Глаз не оторву,
Только б не помешать
Воскресшему существу.

Но и самый стих ожил. «Только б не помешать...» И не только не помешать, но и помочь жизни.

Он хочет жить по совести, мучается, смотрит и вокруг, и в свою душу:

Какой мерой мерится
Моя несуразица?
И в бога не верится,
И с чертом не ладится.

Много сил у него ушло, чтобы так расковаться.

Я перечитываю стихи о природе, о трагической любви, о выросших детях. И стихи ухода, они писались несколько лет, — и безнадежные, бесстрашные: «О как мне будет трудно умирать» или — «Надо просто умирать, раз пришло время». И исполненные надежды — «Утром не умирают», «Перед исповедью»:

...Выговориться дочиста —
Что на костер шагнуть.
Лишь бы из одиночества
Выбиться как-нибудь.

И написанное за четыре года до смерти, но — предусмотрительно — уже завещание:

Что ж, у всех свое.
Вижу,
Пора и мне.
Только я хочу ближе
К Печоре,
К Двине,
К родной стороне.

Его воля была исполнена, он лежит у себя на родине, там, на Бобришном угоре. Вологодчина внимательно чтит его память.

Не все у Александра Яшина художественно равноценно, но нельзя не уважать его за то, что он сам переломил свою литературную судьбу, нельзя не восхищаться тем, что он нашел себя, нового. Привлекательна его поэзия поиска нравственного идеала, постоянного недовольства собой, жгучего стремления к совершенствованию.

Нилин

Большой, точнее, крупный. Хромой, заносит вбок ногу. Глазастый, раньше бы сказали: волоокий. Смотрит серьезно, но жди подковырки, об этом честно предупреждают еле заметные краткие усмешечки.

Он долгие годы возглавлял в Союзе писателей областную комиссию — официально она именовалась Комиссией по работе с областями и краями РСФСР. Вместе с ним служил тоже хороший человек — Петр Сажин. Была даже эпиграмма, построенная на рифмах: Нилина — извилина, Сажина — пересажена. Секретарем у них трудилась Анна Яковлевна. И вот они втроем заменяли целый будущий аппарат Союза российских писателей. Вызывали выборочно прозаиков и поэтов из дальних мест, подготовив заранее обсуждение высокого уровня, сами ездили по России, всех знали, помогли многим.

Потом он был еще председателем Приемной комиссии. При нем, как, впрочем, и при Всеволоде Иванове, заседания проходили открыто, любой мог прийти, выступить. Я не раз этим пользовался. Помню, защищал отчаянно бедного стихотворца, выбрал цитаты — одна к одной. Нилин слушал меня внимательно, сочувственно кивал и тут же выступил с противоположным мнением. Я не согласился, вступил с ним в спор. В результате стихотворец был принят. Впоследствии такое было бы невозможно, да и не пускают давно посторонних на заседания.

Я немало общался с ним не только в Союзе, но и в Переделкине, и на Рижском взморье, в Дубултах. Всегда относился к нему с симпатией. Главной чертой его была, пожалуй, задетость. Но активная задетость. Сказать как бы спроста что-нибудь не слишком приятное, заставить собеседника растеряться — было для него удовольствием.

Шли писатели компанией, с остановками и разговорами, по зимнему Переделкину. Встретили на тропинке Г. М. Маркова. Тот вдруг расчувствовался, стал вспоминать и рассказывать, как благодарен Павлу Филипповичу, как уважал его еще в Сибири, смотрел снизу вверх. Нилин послушал-послушал и сказал:

— Да, а теперь посмотрите — кто вы и кто я. — Помедлил и разъяснил: — Говно!..

Марков смутился, зарделся — не нашелся враз.

Живущие в Переделкине могли тогда (да и сейчас, кажется, это сохранилось), оплатив обед, столоваться в Доме творчества. Нилин поступал именно так. А после обеда еще оставался поболтать — в Доме или около него. Пообщаться.

Приезжий прозаик поведал с восторгом мне и еще многим, что Павел Филиппович прочел его повесть в журнале, очень хвалил и обещал подарить свою книгу. Сегодня принесет!

Нилин, действительно с книгой в руке, подошел к курящим возле лестницы и, обратившись при всех к прозаику, заметил, что в повести у того хотя и есть удачные места, но немало и недостатков, в связи с чем он, Нилин, решил подарить свою книгу одной даме.

Выходим вечером с Инной на освещенное зимнее крыльцо. Там Павел Филиппович в своем старом потертом пальто. Спрашивает: на прогулку? Инна отвечает, что идем в гости к Кавериным. Нилин оживляется, просит передать привет и добавляет, что, мол, Лидия-то Николаевна прекрасный писатель, очень он ее ценит. Особенно ее книгу о Миклухо-Маклае. А Вениамину-то Александровичу до нее, конечно, далеко. Так что привет передавайте...

У меня с ним, как у многих с ним, установилась своя, автономная система отношений. Определенного дружелюбия и одновременно — пикирования.

Гуляем в Дубултах по берегу. Он вдруг интересуется, читал ли я «Василия Теркина». А вот он не читал.

— Да бросьте, Павел Филиппович, не верю.

Он начинает божиться, уверяет, что времени совершенно нет, работает по двенадцать часов, руки не доходят. А вот некоторые говорят, что хорошо. И он хочет посоветоваться со мной, стоит ли ему читать...

— Павел Филиппович, я же сказал: не верю. Как Станиславский говорил актерам...

Он продолжает стоять на своем и объясняет это тем, что, хорошо зная Сашку Твардовского, сомневается, чтобы он мог написать стоящую вещь.

— А стихи его знаете?

— Читал когда-то немного. Не понравились.

— Хотите я вам прочту?

Он хочет, и я читаю:

Из записной потертой книжки
Две строчки о бойце-парнишке,
Что был в сороковом году
Убит в Финляндии на льду...

Он благодарит меня, говорит, что я его убедил и что он очень рад за Сашку.

Что же с ним происходило? Это был человек, влюбленный в литературу, очень честный. И он долго не мог выбиться.

Правда, до войны появился фильм «Большая жизнь» — по его сценарию. В основу, кажется, была положена часть его романа. Успех был грандиозный. Вся страна повторяла реплики Алейникова и Андреева. И вся слава досталась тоже им. Что ж, их актерские работы были выше всяких похвал. Но играли-то они его текст. Их линия была прекрасно прописана. Впрочем, он ведь получил Сталинскую премию I степени.

А остальное в картине? Я как-то в момент обмена легкими ударами (не боксерскими, а скорее из настольного тенниса) спросил:

— Павел Филиппович, а как насчет вредителей, которые нарочно обвалы в шахте делали? Были они, или так, для сюжета?..

Он усмехнулся и ничего не ответил...

А сразу после войны вышла вторая серия «Большой жизни», и тут же на нее обрушилось постановление ЦК. И Нилин был отброшен назад, хотя бы в представлении начальства. И опять — что ни напишет, отзывчивая критика его прикладывает, даже как-то походя, небрежно. Помню, о его романе «Поездка в Москву» так — обидно — писали.

А он все работал, и что самое удивительное: ощущал себя большим писателем. Эдакий выработался у него иммунитет, что ли. Но все равно не мог до конца расковаться, хотя и стремился к этому.

И вот во времена всеобщего подъема, или, как было сказано — оттепели, он неожиданно выдал две повести: «Испытательный срок» и «Жестокость» — об уездном угрозыске, послереволюционных временах в Сибири.

Это был новый Нилин, и письмо было другое. «Жестокость» — вещь пронзительная, тревожная, задевающая. И само это безошибочное слово — *жестокость* — само понятие, очень многое объясняло, определяло в нашей тогдашней и последующей жизни. Теперь это еще очевидней.

И критики появились в литературе другие, и писать они стали по-другому. На Павла Нилина хлынула лавина восторгов и просто похвал. Не было статьи, газеты, журнала, где бы не говорилось о «Жестокости».

Павел Филиппович держался молодцом, лишь слегка розовел от удовольствия.

Но вот ведь какая штука: оглушительный успех оглушил и его. Он еще помнил, как его долго, снисходительно долбали. Многие забыли, но не он.

Он испугался своего успеха. Удача сковала его. Он испытал страх — не удержаться на новом уровне и тем все испортить, повредить своей теперешней репутации.

А между тем его новых вещей уже ждали. «Знамя» проанонсировало повести «Убийство консула» и «Ограбление извозчика». А может быть, наоборот: «Ограбление консула» и «Убийство извозчика». Впрочем, это не имеет значения — повести так и не появились.

Я однажды, лет через двадцать, в момент нашего очередного турнира, произнес мечтательно:

— Что-то давно я не перечитывал «Убийство консула»...

Вижу, как говорят спортсмены: попал. Очко выиграл.

Вот такая у него была, если угодно, трагедия.

Он потом напечатал всего несколько рассказов, но уже иного класса, сугубо беллетристических. И еще написал о белорусском подполье — «Через кладбище». Мы тогда вместе были в Минске на большом писательском совещании, он пошел в партизанский музей и так оказался потрясен, что, когда все уехали, остался и написал повесть. Самое сильное в ней — документальные страницы.

Были мы с ним еще вместе в Польше, в семьдесят седьмом году. Он продолжал держаться, как в пору, когда бывал окружен всеобщим вниманием и интересом, но теперь многие его уже забыли или забывали, и он страдал от этого.

— Меня печатали от А до Я, — говорил он время от времени. И тут же объяснял: — От Америки до Японии...

Но немного осталось от этого алфавита.

Помнится, когда-то в Переделкине он постоял несколько минут в писательской компании и, высказавшись в том смысле, что, мол, у вас времени хоть отбавляй, а ему нужно двигать вперед литературу, пошкандыбал по снежной аллейке.

— Да бросьте, Пал Филиппыч, сейчас спать ляжете, — крикнул я ему вслед.

В начале книги пятьдесят шестого года, включающей «Жестокость» и «Испытательный срок», есть пометка: «Из цикла “Подробности жизни”». И здесь действительно множество жизненных подробностей. Но почему же он опять не возвращался к ним, счел возможным от них отмахнуться?

В письменном столе у него фактически ничего не осталось. Только на полке. Но в том числе — «Жестокость».

Сосед

(о Сергее Голицыне)

Он жил со мной в одном доме, правда, не с самого начала. Я лишь последние годы обратил на него внимание: знакомое лицо. Но где я его видел? В Союзе, что ли? Так мы с ним, сталкиваясь во дворе, все поглядывали друг на друга. Немолод, но не скажешь, что слишком стар, легок на ногу и взгляд вострый. А как-то встретились в писательском Клубе нос к носу, и он говорит нам с Инной:

— Я из второго подъезда...

Это он к тому, что мы только что перебрались из третьего во второй, то есть совсем уже стали соседи. Потом я как-то подвез его на такси. Он спросил, есть ли у меня внуки. Сколько лет? Одиннадцать? Как раз годится. И вскоре занес и подарил Кате книгу о юных следопытах и изыскателях. Тут мы и поговорили. Он рассказал, что по нескольку месяцев в году проводит в селе Любце, под Ковровом. Там у него дом. Поинтересовался, знал ли я такого Сашу Шабалина. «Сашку? Ну как же, это мой однокашник, летчик, хороший парень, жаль рано умер». — «Да, он вас часто вспоминал...»

Я не представил своего собеседника. Это Сергей Михайлович Голицын. Все князья Голицыны — его родственники. На протяжении истории. Он написал книгу — главную книгу жизни — «Записки уцелевшего». Она еще не была издана. Уцелел! И, слава Богу, не он один. Несколько раз упоминал с гордостью своего племянника художника Иллариона Голицына. И в Париже родственники. Собирается вскоре поехать, с билетами, правда, трудно. Там у него старшая сестра, девяноста лет. А ему восемьдесят.

Он еще ко мне заходил. Опять подарил книгу, уже мне —

«Село Любец и его окрестности». Надписал: *«Многоуважаемому Константину Яковлевичу Ваншенкину. Приезжайте ко мне в Любец. Автор...»* И дата: *29.X.89.*

И я ему книжку подарил. И выпили мы по рюмочке коньяку, только по одной. От второй он отказался. Но поинтересовался: где вы коньяк достаете?..

Пригласил он меня не только в Любец, но и в Ясную Поляну, где работает («там у них») внештатным консультантом по генеалогическим связям. Во как! «Поедемте, они нам все покажут...» Ну и, конечно, домой пригласил заходить. «У меня кое-что висит. Немного, но висит...» Картины, то есть.

Я раскрыл «Село...» и долго не мог оторваться от прелестных картин жизни и природы, от тамошних уходящих или уже ушедших стариков и старух. И, конечно, как это бывает, мечта: а хорошо бы, действительно, с ним выбраться... Такой симпатичный...

Вскоре я уехал за город, а вернувшись в середине месяца, перелистывал газеты. И вдруг — как ударило: «...с глубоким прискорбием... последовавшей 7 ноября 1989 года...»

В той подаренной мне книжке он пишет о гостившем у него в селе художнике Гурии Захарове: «Своей предельно лаконичной гравюрой — «Похороны в Любце» — он показал эту трагическую жизненную неизбежность». Посильней сказано, чем в официальном некрологе!

Мало я его знал, но как-то задел он меня своим появлением и уходом.

А потом вышли и «Записки уцелевшего».

Сергей Михайлович Голицын уцелел не в ГУЛаге, не в ссылке, не в тюремной камере. Он просидел всего одиннадцать дней. Он уцелел просто в жизни, что оказалось тоже совсем нелегко.

Этот умный, интеллигентный, милый и отзывчивый молодой человек происходил из самой гущи российского дворянства, из славного голицынского рода (дедушка — московский городской голова), а его ближайшие родственники — сверстники, симпатичные девушки и юноши, с которыми он повседневно общался, — носили такие фамилии: Урусовы, Трубецкие, Оболенские, Раевские, Осоргины, Шереметевы, Лопухины...

Дорого пришлось им за это платить. А за что, собственно? За то, что их предки, в большинстве своем блестящие люди,

не жалея себя, служили Отечеству? А хотя там ведь было сказано: царю и Отечеству... Вот в чем фокус!

Все более набирала силу пресловутая бдительность («В народе говорили «бздительность», — пишет Голицын). И они познали в полной мере, что такое беспрерывная травля, постоянное нахождение под прессом «ненависти, упорно и злобно насаждаемой сверху» (ну, а старшие, разумеется, испытали это все еще острее).

Регулярные вызовы, требование справок, чистки, увольнения, выселения, настоящее, но неправое следствие — на всю жизнь. Конфискация семейных (национальных!) реликвий. Полнейшее бесправие. Повседневные унижения. Они — лишенцы, загнанные «дети классовых врагов». Их заставляют испытывать и навязывают чувство собственной неполноценности, неуверенности, ненужности.

Бессмысленный, не раз возобновляющийся суд над матерью, не совершившей никаких преступлений. Или вот — чистка юного геолога Кирилла Урусова:

«Он вышел на трибуну, высокий породистый юноша со светлыми глазами и бархатными ресницами, и только сказал: «Да, мой отец бывший князь. Он всю жизнь служил, никогда никакой собственности не имел, а я его сын и никакой другой вины за собой не знаю». В зале воцарилась тишина. Вдруг одна девушка вскрикнула, ей сделалось дурно, ее увели.

Кирилл прошел чистку благополучно. Несколько лет спустя он женился на некоей Волковой ...при регистрации брака муж имел право менять свою фамилию на фамилию жены. Так князь Урусов стал гражданином Волковым и под этой фамилией благополучно прожил всю жизнь».

Оправдана была и мать автора.

И вот сквозь все повествование проходит у Голицына благодарность тем, кто помогал, выручал, стремился уберечь от беды. На первом месте здесь Екатерина Павловна Пешкова, «благодетельница Пешкова», возглавлявшая тогда Политический Красный Крест. К ней обращались Голицыны многократно. И не только она, но еще другие порядочные, бесстрашные люди: адвокаты, врачи, священники, служащие различных учреждений. Они добровольно подвергали себя смертельному риску. Сергей Михайлович перечисляет их скрупулезнейшим образом.

Но, конечно, и они были бессильны перед жестокостью могучей системы, работающей на уничтожение.

Среди сотен заключенных, расстрелянных на Соловках в конце октября 1929 года, был и Георгий Михайлович Осоргин. Буквально перед этим к нему приехала на свидание молодая жена (сестра С. М. Голицына — Лина). «Г. М. уже сидел в карцере, но его оттуда отпустили под честное слово, что он жене ничего не скажет. Слово свое он сдержал».

Сюжет шекспировской силы.

Правда голицынского сурового повествования и в том, что безжалостные его подробности порою сообщаются даже как бы бесстрастно, в манере летописцев былых времен, во всяком случае достаточно сдержанно. События сами говорят за себя. Вопиют!

И на фоне этого безумия идет обыденная жизнь, и автор смотрит на мир с поразительным оптимизмом, не утрачивая природного чувства юмора.

«Всего мы прожили в Еропкинском переулке семь лет. За эти годы в нашей квартире было четыре свадьбы, пять арестов, родились трое детей, праздновалось множество дней рождений, именин и разных других торжеств. Это были годы молодости моих сестер и моей, годы усердного труда, годы радостей учения. Горе, слезы и несчастия тогда быстро забывались, хотя пишу я сейчас больше о плохом. Смертей вообще не было. Ведь наша бабушка умерла в Сергиевом Посаде. И жили мы все в большой дружбе между собой».

Вот эти последние слова особенно дороги. Сквозь ужасающие испытания проходят невыдуманные персонажи Сергея Голицына, обнаруживая при этом достоинство, силу духа, сплоченность.

Как жалко, что не могу я поговорить с Сергеем Михайловичем, уже прочтя его воспоминания! Но что поделаешь...

«...От старинного читателя и друга»
(О Борисе Слуцком)

Последний год я стал почему-то часто думать о Слуцком, то и дело перечитывать его стихи. С каждым разом они словно обнаруживали новые достоинства, действовали не слабее, а сильнее. Я стал чуть не всем подряд говорить, какой он прекрасный поэт, и многие, кое-кто и с неохотой, соглашались. Выяснилось, что это было почти общее мнение. Образовалась как бы новая волна его признания. И вдруг эта весть...

Хорошо бы, жив пока,
после смерти можно тоже,
чтобы каждая строка
вышла, жизнь мою итожа.

«После смерти можно тоже»...

Слуцкий — по-настоящему редкостный художник. Его отличают необычность, неожиданность, парадоксальность. Изощренность под видом корявости. Тонкость под маской прямолинейности. У него, я бы сказал, рустованный стих, то есть рельефный, грубо околотый, — в архитектуре такая кладка или облицовка существует и ценится наряду с камнем полированным. У него яркий разговорный язык — различных групп, слоев. Потребность и умение внедриться в психологию разных людей, неиссякаемый интерес к ним. Множество портретов. Стихи о войне, о жизни, о людях, об искусстве — и все о себе. Забота о Земле, о живущих рядом, боль за них. Любовь к жизни, нежелание уходить. Но что делать! «Вся надежда на человечество. На себя уже никакой». Самоирония — сильнейшая его сторона.

Главный герой Слуцкого — Совесть. Замечательно у него сказано: «Соврешь — себе же повредишь». Это ведь один из основных законов искусства.

* * *

В ту пору, — кажется, это был пятьдесят третий, — мы жили в Хоромном тупике, у Красных ворот. Зрительно помню стенд с еще старой, четырехполосной «Литературкой» и эти стихи «Памятник» — «Дивизия лезла на гребень горы...» Должен признаться, они показались мне весьма обычными.

В тот же день я встретил Поженяна и он спросил, читал ли я их.

— А кто это? — поинтересовался я. — Молодой поэт?

— Нет! — сказал Поженян. — Это не молодой, это старый поэт. Я давно с ним знаком...

Потом я удивлялся: почему он назвал его старым?

Многие хорошо его знали с еще предвоенных литинститутских времен — Луконин, Наровчатов, Львов, Глазков... Он оттуда. Но войну провел не как большинство однокашников, — не уверен, писал ли он стихи тогда, во всяком случае не печатался. Только воевал. Он по писательской судьбе был ближе мне и Винокурову. Он, довоенный, пришел в литературу даже позже нас.

Но он всегда помнил, думал о своих сверстниках. Они были ему особенно дороги. Замечательна сила его товарищества. И в стихах его живут Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Ксения Некрасова...

Он по-настоящему любил, знал и мог оценить истинную поэзию, и все-таки, врожденное ли это свойство, результат воспитания или его политработа на войне, но для него параллельно существовали в этом деле и иные критерии. Вот стихи «Памяти товарища»:

Перед войной я написал подвал
Про книжицу поэта-ленинградца...

Написал отрицательную, разносную статью. «...Но через день бомбили Ленинград — и автор книги сделался поэтом».

Все то, что он в балладах обещал,
Чему в стихах своих трескучих клялся,
Он выполнил — боролся и сражался,
И смертью храбрых, как предвидел, пал.

Как хорошо, что был редактор зол
И мой подвал крестами переметил

И что товарищ, павший,
перед смертью
Его,
скрипя зубами,
не прочел.

Вот что для него главное!

Поразительно, как Слуцкого сразу приняли — и старики, и молодые. Как он естественно сблизился с Заболоцким, Мартыновым. Как к нему потянулись младшие. Он оказался как бы неким связующим звеном между теми и другими.

Меня привлекало в Слуцком многое. Его убежденность, благожелательность, объективность — как ни у кого. Его благородство.

Он был доверчив. Иных идеализировал, они ему казались лучше, чем были, — как люди и как поэты тоже. Однажды Трифонов сказал ему при мне о молодом тогда стихотворце, которого Слуцкий поддерживал:

— Что же твой ученик такие статьи пишет!

Борис ответил:

— Я его этому не учил.

Привлекала его исключительная начитанность, память, знания. Интерес буквально ко всему.

Нравилось, как он говорил — четко, резко, значительно. Каждое слово отдельно. Как он протягивал руку, высоко держал голову.

Не помню случая, чтобы Смеляков, или Луконин, или кто другой (а ведь были мастаки на это) отнеслись к нему несерьезно, иронически, просто невнимательно. К нему, к его словам. Слушать его всегда было интересно. Это была яркая, заметная фигура. Плотный, усатый, с рыжизной в волосах.

Мне нравились его стихи, многие задевали за живое, запоминались сами собой.

Конечно, он был органичным, крепко сформировавшимся поэтом, что не все понимали. Он был поэтом подчеркнуто прозаичным. Некоторым своим стихам он давал подзаголовки — определения жанра — «статья», «очерк». Нарочито? Но как же тогда Твардовский с его подзаголовками к лирике — «сельская хроника», «фронтовая хроника», а к поэме «Дом у дороги» — «лирическая хроника»?

Странно проводить аналогии между этими двумя поэтами, но вот — у Твардовского:

Что-то вяжет девушка,
Сидя за рулем.

У Слуцкого:

Шоферша вязала в кабине
Огромного самосвала.

Это не заимствование. Заимствуют строку, манеру.
Это — сходные жизненные наблюдения.
Борис Слуцкий — поэт незаурядной силы, своей интонации, индивидуальности. Суровый, корявый. Но мастер. И, конечно, по натуре комиссар — как мало кто в поэзии.

Я говорил от имени России,
Ее уполномочен правотой...

Или:

Политработа — трудная работа...

Или:

...Что я вовеки
не сбрешу,
не струшу,
Не сдрейфлю,
не совру
и не солгу.

И как запомнилось! — «Хуже всех на фронте пехоте!», «Память», «Голос друга» с его хрестоматийными уже строчками:

Давайте после драки
Помашем кулаками...

А «Баня», «Лошади в океане»! Второе — столь известное и зацепившее многих, — как он сам признавался, целиком им придуманное. Пример художественного вымысла — на вполне реальной, правдивой, жестокой основе.
А «Физики и лирики»! Вот формула — надолго. А ведь эти

ироничные стихи не так просты и однозначны, как может показаться. Некоторые обиделись, даже печатно, сочли их чуть ли не предательством по отношению к цеху. У него есть и другое стихотворение, появившееся значительно позже, — «Лирики и физики». Наоборот!

Слово было ранее числа,
а луну — сначала мы увидели.

Конечно, главное у него — война, как у многих. И как у большинства, поданная совершенно по-своему. Она — при всех его особенностях, при всей конкретности — наиболее обобщенная, что ли.

Помню, меня удивило, когда я прочел у Симонова, что ближе других стихов о войне для него стихи Слуцкого. Что он считает их сильнее своих собственных и хотел бы быть их автором. И это Симонов с его популярностью! Тогда его слова показались мне некоторым кокетством, но с годами я понял, что такое могло быть. Между ними, пожалуй, существует и определенная связь — между ранним Слуцким и поздним Симоновым.

Немалую роль в дальнейшей судьбе Бориса почти с самого начала сыграла безоговорочно-восторженная большая статья о нем Ильи Эренбурга. Приняли ее по-разному. Одних она обрадовала, других раздражила. Впрочем, со всеми ее формулировками и положениями тогда трудно кому было согласиться. Но статья привлекла к нему всеобщее внимание. Мало того, он стал европейски известным поэтом.

Он часто выступал, начал изрядно печататься, и, помню, меня всегда удивляло, что он порою соглашался на переделки строк и строф — лишь бы поскорее вышло в свет. Видно, уже надоело ждать.

С самого начала я был с ним на «ты», называл Борисом, реже Борей.

— Купите триста грамм сыра, бутылку сухого вина и зовите меня, — говорил он нам с Инной. — Мне много не нужно.

Моя жена, Инна Гофф, его землячка, харьковчанка. Иного возраста, другого района — она из центра, с Сумской, а он из рабочего, ремесленного предместья, с Холодной горы. (Помните? «Я рос в тени завода и по гудку, как весь район, вставал...») Но все же — одинаковость родного города, названий улиц, особых словечек, деталей и примет.

Было время, нам дали жилье в одном доме. Для Слуцкого это, по-моему, вообще была первая своя комната. Едва он поселился, как сразу уехал — в Италию, в составе делегации поэтов, вероятно впервые такой большой и пестрой. Твардовский, Исаковский, Прокофьев, Заболоцкий, Мартынов, Инбер, Смирнов. И вот Борис. Он бегал, покупал чемодан, срочно шил костюм. И многие, наверное, шили. Вот на фотографии: брюки почти у всех широкие, мешковатые, лежащие обшлагами на ботинках, — такие тогда у нас носили.

Делегация летела самолетом, но у Заболоцкого было больное сердце, и ему запретили. Слуцкий вызвался поехать с ним поездом. Объяснил это не своей заботливостью, а тем, что знает немецкий язык. Ехали они трое суток.

Из Италии Борис привез нам сувенир: куколку швейцарского гвардейца из охраны Ватикана, в полосатой форме. Через несколько лет мы увидели их в натуре. Эта фигурка до сих пор стоит у нас на полке. Обнаружил на ней маленькое чернильное пятнышко и вспомнил: Борис рассказывал, что вез ее во внутреннем кармане пиджака, а на обратном пути в самолете у него протекла авторучка.

Он жил наполненной жизнью: вечера, концерты, вернисажи. В современном искусстве знал едва ли не все, едва ли не всех. Он познакомил меня как-то с молодыми скульпторами Владимиром Лемпортом, Николаем Силисом и Вадимом Сидуром.

— Вижу, что не запомнишь, — улыбнулся Слуцкий, — но я скажу так, чтобы ты запомнил:

Лемпорт, Силис и Сидур
Ехали на лодке.

Мы вместе побывали и потом бывали в их общей, расположенной в подвале мастерской. С той поры у меня сохранилось несколько их работ. Давно уже они едут не в одной лодке, но стишки действительно запомнились. И то время тоже. Я еще расскажу об этом подробнее.

Однажды Слуцкий позвонил в начале дня:

— Костя! Это Борис. — Как будто его голос можно было не узнать. — Если можешь, зайди ко мне с Инной. У меня сейчас интересный молодой художник...

Слуцкий жил в одной квартире с Баклановым, товарищем

наших институтских лет. Тогда немало было коммунальных писательских квартир. Баклановы занимали две комнаты, Слуцкий одну.

Держался Гриша исключительно корректно. Он был, по сути, еще неизвестен, а Борис почти знаменит.

Слуцкий сказал мне как-то о Бакланове:

— Пишет по десять — двенадцать часов в день. Почти не вставая.

Сказано это было с уважением. Да и сам Борис был работник, что в стихах вообще редкость. Однако он признался печатно: «Выполнив свой ежедневный урок — тридцать плюс-минус десять строк...» Таким образом, он писал в день от двадцати до сорока строк! Это невероятно, чудовищно много! Обычно пишущие так пишут из рук вон плохо. Здесь — редчайший случай.

Когда он заболел и перестал писать, его запасов хватило на несколько лет регулярных публикаций, да и сейчас не все напечатано.

Критик Ю. Болдырев, — спасибо ему! — занимаясь литературным наследием Бориса, опубликовал сотни стихотворений. А посмертно составленная из них книга «Сроки», убежден, *пока что* лучшая книга Слуцкого.

Осталась у него и проза. Когда-то, давно уже, он сказал мне, что сразу после Победы заперся на две недели и записал свою войну в прозе. «Пусть будет»...

Итак, мы зашли к Борису.

Висели на стенах или были прислонены к ним рисунки, акварели, гуаши. Они производили впечатление: тоненькие деревца, огромные детские глаза, каменный колодец двора, блокада. Так запомнилось. Художник с пышно-волнистыми волосами и светлым холодно-вежливым взглядом. Тоже молодая его жена.

А на мольберте был укреплен большой лист с изображением хозяина, правда еще неоконченным (карандаш или уголь). Внешнее сходство было несомненное, но выглядел Слуцкий слишком монументальным, напыщенным, сановитым.

Я сказал об этом художнику.

— Ну почему же, — не согласился тот. — Я хочу здесь показать силу характера Бориса Абрамовича, его твердость, его большой талант. Я хочу показать глубину натуры Бориса Абрамовича...

Сам Борис ничего не говорил, но подсознательно все выше поднимал подбородок.

Потом он отвел меня в сторону и спросил, не хочу ли я заказать художнику портрет Инны. Дело в том, что художника нужно бы поддержать, и некоторые по рекомендации Слуцкого подобные работы уже заказали. Я отвечал, что у меня нет свободных денег, но я подумаю. И действительно, вскоре известный профессор-литературовед заказал ему, после моего рассказа, портрет своей жены, который за два сеанса и был выполнен.

Звали художника Илья Глазунов.

Редкостными были у Слуцкого ощущение собственной причастности ко всему в литературе, широта его понимания.

Весной семьдесят третьего он, Сергей Орлов и я встретились в Останкинском телецентре. Предполагалась какая-то, не помню уже, съемка. Должен был участвовать еще Евтушенко, но ему не выписывали пропуск, потому что он предъявлял только водительское удостоверение. В конце концов студия была уже занята другими, все сорвалось, и мы, злые, вышли на улицу. Сели в такси, и тут я вспомнил к чему-то и сказал, что тяжело болен Исаковский.

Слуцкий заметил в ответ:

— Жаль. Поэт замечательный...

Не представляю себе, чтобы кто-нибудь из его предвоенной компании, из его генерации, мог так сказать. Даже Серега Орлов глянул на него с некоторым удивлением.

У Слуцкого есть стихи о больном старике, который каждое утро настойчиво требовал, повторял:

«Принесли уже газеты?..»

Не о себе, конечно, сюжет иной, — но и о себе отчасти.

Как-то раз Борис попросил своего почти однофамильца, вильнюсского прозаика Миколаса Слуцкиса, чтобы тот устроил ему и Тане возможность пожить летом на глухом литовском хуторе, хорошенько отдохнуть. Слуцкий выдержал всего несколько дней. Дело даже не в том, что он был сугубо городской человек. Ему было необходимо держать руку на пульсе событий, самого времени, ежедневно читать *все* газеты, перезваниваться с множеством друзей.

То-то удивились хозяева, которым он заплатил вперед, допытывались у Миколаса — чем не угодили?

Вот я сказал: Борису и Тане. Да, он женился; некоторые

считали, что поздно. Таня легко и естественно вошла в его круг. Он представлял ее четко и с гордостью:

— Моя жена.

Они жили вблизи от Сокола, в странном, почти барачного типа, доме. Вероятно, он сохранился с первых пятилеток. Даже телефон у них был с добавочным номером.

Иногда Борис как бы давал понять, что он женился не для того, чтобы в доме царил семейный уют или чтобы его обслуживали. Однажды я зашел к нему, он болел воспалением легких, лежал в постели. Таня была в командировке, он не сообщил ей об этом.

— А мне ничего не нужно, — сказал он строго.

Собственно, заботящейся, ухаживающей стороной всегда должен был быть он. Так получилось и тут.

У Тани обнаружилась болезнь крови. Боря делал, казалось бы, невозможное — редкие лекарства, лучшие клиники. Безрезультатно. Улучшения если и наступали, то лишь сугубо временные. Они только оттягивали неминуемый конец.

На площади Восстания была оживленная стоянка такси. Там всегда можно было встретить знакомого. Помню, как-то я подошел — машину ждала Таня. Тут появился еще наш общий приятель драматург Исидор Шток, человек веселый, легкий, общительный.

— Здравствуйте, Танечка! — приветствовал он ее. — Что-то вы бледненькая...

Он ничего не знал. Она стойко выдержала это. В духе Слуцкого.

Смерть Тани сломала Бориса. Может быть, и не только она. Помните, как он обещал в стихах: «не струшу, не сдрейфлю»... Как был уверен. И вдруг — проскользнуло, еще при ней:

Где-то струсил. И этот случай,
Как его там ни назови,
Солью самою злой, колючей
Оседает в твоей крови.

Солит мысли твои, поступки,
Вместе, рядом, ест и пьет,
И подрагивает, и постукивает,
И покою тебе не дает.

Другой бы, может быть, и внимания не обратил. Или забыл — с кем не бывает! Но не Слуцкий. С ним «этот случай»... «вместе, рядом, ест и пьет». И тут — потеря Тани.

Видимо, одно наслоилось на другое.

Он заболел, сдал, слег. Стал ко всему безразличен.

После долгих хлопот Симонов устроил его в хорошую клинику. Он часами, сутками лежал, отвернувшись к стене. Но Слуцкий есть Слуцкий. Известна его фраза того времени: «Я говорю, что никого не хочу видеть, и мои друзья этим широко пользуются»...

Нет, в нем все-таки жил Слуцкий. Он звонил несколько раз — Инне, когда у меня был инфаркт (она сказала: голос далекий, как с другой планеты); мне, когда умер Наровчатов... Он всегда считал себя обязанным появиться, проявиться именно в трудную минуту.

Он ходил на панихиды, похороны — буквально всех — не только в Союз писателей, но и в морг или на квартиру покойного.

Несколько лет назад я встретил его у нас в поликлинике. Он познакомил меня со своим братом.

— Ну, как ты? — спросил я.

— У меня депрессия, — ответил он и тут же поинтересовался последним собранием, а потом и моим здоровьем.

— Ну, какая же это депрессия, если тебе это интересно! — воскликнул я.

И брат Бориса поддержал меня:

— Конечно.

— Нет, депрессия, — утверждал Борис грустно.

Я знал Бориса Слуцкого более тридцати лет. А кажется, что еще больше, — так время тогда было по-особому сжато.

Мы прощались с ним в тесном морге больницы на Можайском шоссе. А может быть, и не в тесном, просто народу пришло очень много.

Сейчас, рассматривая автографы на его подаренных мне книгах, я обнаружил, что уже через шесть лет нашего знакомства он надписал: «Косте Ваншенкину — от старинного читателя и друга». Вот как — старинного! Но ведь и я мог бы так же сказать о нем.

Написал он предисловие к моей книжице в молодогвардейской «Библиотечке избранной лирики». И тут меня остановила несколько, может быть, корявая, но типично его фраза: «Врать в стихах не то что не привычен, а попросту не обучен». Для него это главное — в оценке любого.

Сколько у него стихов — о жизни, о людях, о стариках и бабках, — с любовью, сочувствием! Об искусстве. И о недавних временах («Бог»), и о себе тоже («Унижение во сне»)!

Я говорил уже о том, что он очень много написал. Что есть у него и проза. А переводы? В этом тоже был он весь — с его добротой, активным желанием помочь. В этом тоже проявление его гражданственности:

Работаю с неслыханной охотою
Я только потому над переводами,
Что переводы кажутся пехотою,
Взрывающей валы между народами.

И в последней книжке — опять о переводе, как о серьезнейшем, существеннейшем деле.

Выступая на пленуме Московской писательской организации, посвященном 40-летию Победы, я закончил свою речь стихами Слуцкого:

...Мое вчера прошло уже давно.
Моя война еще стреляет рядом.

Конечно, это срыв, и перебор,
и крик
и остается между нами.
Но все-таки стреляет до сих пор
война
и попадает временами.

И вот — еще раз попала.

Борис Слуцкий — пласт жизни, поэзии, мощный, сильный. Его стихам не требуется, чтобы их значение или место преувеличивались после ухода автора.

Поэзия Бориса Слуцкого стоит прочно.

Слуцкий и Искандер

В Борисе Слуцком поразительно сочетались: сердечная широта, доброта, желание понять каждого, а поддержать многих и — устоявшееся комиссарство, наивное кастовое следование твердо определенным правилам.

Мне рассказывал Искандер, как он когда-то долго шел со Слуцким по Ленинградскому проспекту (было по дороге) и с колоссальным интересом и пиететом слушал его. Ведь Борис знал очень многое и умел это передать.

В какой-то момент он неожиданно спросил у Фазиля:

— Вы член партии?

Тот, разумеется, ответил отрицательно.

Боря промолвил сухо и твердо:

— Тогда я не смогу с вами об этом говорить...

Именно его дисциплинированность сыграла с ним в жизни злую шутку.

Семен Гудзенко

Впервые увидел и услышал его в сорок седьмом, в Политехническом, на «Вечере трех поколений». Он произвел сильнейшее впечатление. Он тогда гремел вовсю, так же, впрочем, как Луконин и Межиров.

Честно говоря, на войне я не слыхал о таком, хотя был в Венгрии где-то рядом. Его знали сотрудники газет, работники политотделов, и им казалось, что его знает вся армия и фронт. Не столь же мы (или некоторые из нас) самонадеянны и теперь, представляя себе масштаб распространения собственных сочинений?

Он был молод, красив, читал жестко и уверенно.

Так
    в блиндаже хранят уют
коптилки керосиновой.
Так
    дыхание берегут,
когда ползут сквозь минный вой.
Так
    раненые кровь хранят,
руками сжав культяпки ног.

Идя с вечера, я все никак не мог вспомнить, что́ мне эти строки напоминают, и наконец понял — Маяковского:

...Как солдат,
обрубленный войною,

ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.

Познакомились мы в сорок девятом, тоже на поэтическом вечере, на Стромынке. Это был большой вечер для студентов университета. Хорошо помню афишу: крупно набраны имена поэтов — членов Союза и отдельно, меленько, — студентов Литературного института. Я значился во втором списке.

После выступления он подошел сам, протянул руку:

— Давай знакомиться!

Доброжелательство тогда было принято. И интерес к другим — особенно к сверстникам и к тем, кто лишь немного старше или моложе. (Незадолго перед этим Гудзенко и Луконин познакомились с Винокуровым, сидели с ним за столиком, слушали его стихи и говорили друг другу восхищенно: «На пятки наступает!»)

Многие стихи Гудзенко нравились мне. Так оно и осталось. Не знаю, как у кого, но у меня первое, даже раннее впечатление обычно всегда оказывалось верным с последующей точки зрения, стойким.

У меня была его книжечка, совсем крохотная брошюрка — «После марша», — но сколько в нее вмещалось! И сейчас, не глядя в книгу, я назвал для себя десяток его стихотворений, которые помню, которые хочу перечитывать. Поверьте, это совсем не мало. В них — те давние годы, молодость, ощущение не быта, не фронтовой жизни, но войны, боя. Мне только мешают (как и тогда!) их порою излишние — от темперамента, от сил — лихость, гусарство («и выковыривал ножом из-под ногтей я кровь чужую»).

Особенно хороши стихи конца войны — сильные, энергичные, все более человечные, часто грустные. В них он достиг своей ранней зрелости.

К моменту нашего знакомства ни он, ни я, ни другие, конечно, не догадывались о том, что все свое лучшее он уже написал. Это выяснилось позднее и случилось не с ним одним. Для многих наступило время перелома, кризиса, жестоких поисков себя. Далеко не все это преодолели.

Он вошел в литературу и остался в ней поэтом, рожденным войной. Он сам предельно точно и сильно сформулировал это:

У каждого поэта есть провинция.
Она ему ошибки и грехи,
все мелкие обиды и провинности
прощает за правдивые стихи.

И у меня есть тоже неизменная,
на карту не внесенная, одна,
суровая моя и откровенная,
далекая провинция —
Война...

Скажу прямо: новые — путевые — стихи Гудзенко, его поэма оставили меня равнодушным, более того — разочаровали. Они были огорчительно слабее прежнего, им не хватало *нерва*. Мне кажется, он чувствовал это и сам, хотя критика и товарищи дружно хвалили его, нового.

Да, он упорно искал себя. Работал в газете, писал рецензии, статьи. Как и что он писал бы в дальнейшем, никто не узнает, но уверен, что он занимал бы заметное место в литературной жизни, в самом литературном процессе. Кроме чисто поэтического таланта он обладал колоссальной энергией, был, что называется, человеком действия. И все это весело, шумно, широко.

С чем бы он ни сталкивался, ему было свойственно активное вмешательство в происходящее. Он умел постоять за себя, и не только за себя.

Вскоре после выхода моей первой книжки «Песня о часовых» (1951), я зашел со стихами в редакцию «Комсомольской правды». В большой комнате отдела литературы и искусства никого не оказалось, и я еще не решил — уходить мне или подождать, когда из кабинета заведующего отделом появился Гудзенко, кивнул мне:

— Идешь? Ну, проводи меня.

Мы спустились на улицу, и он сказал бодро:

— Только не огорчайся. Я сейчас видел у него на столе рецензию на тебя. Разгромная, просто в клочья. И уже подготовлена к сдаче, на «собаке». Я говорю: ты что, с ума сошел, это отличная книга. Он, по-моему, немного заколебался...

Не огорчаться было трудно. И теперь первая рецензия на первую книгу может решить немало и по-разному развернуть судьбу. А уж тогда!..

— Ничего, что-нибудь придумаем, — утешал он меня.

Навстречу нам по улице «Правды» шел своей гарцующей походкой Сергей Смирнов.

— Сережа, как ты к нему относишься? — спросил Гудзенко, кивая на меня.

Тот слегка удивился:

— Хорошо, он знает.

Гудзенко коротко изложил суть дела. Смирнов вошел в телефонную будку и, не закрывая дверцы, набрал номер.

— Юра, ты что там за статью готовишь? Это хороший поэт, елки-палки...

Рецензия не появилась.

(Замечу для справки, что вскоре книга получила доброжелательные отзывы в «Литгазете» и в «Правде», а чуть погодя и в «Комсомолке».)

Этот давний случай стал для меня уроком внимательности и доброты.

М. Луконин пишет о Гудзенко: «Сейчас даже не верится, что вместе мы были всего семь лет... Всего семь лет! А кажутся они теперь целой жизнью — так были полны веселья, работы, действия».

А я, выходит, был знаком с ним только три года. И тоже кажется сейчас, что очень долго, такое было время, так все концентрировалось.

Он ушел молодым, каким позволяют себе уходить немногие. Редко кто остается, уйдя в таком возрасте. А он остался. Теперь это ясно видно — с появлением многих новых имен, с закатом тоже многих — и старых, и новых.

У А. Межирова есть прекрасные стихи, посвященные памяти Гудзенко:

Полумужчины, полудети,
На фронт ушедшие из школ...
Да мы и не жили на свете, —
Наш возраст в силу не вошел.

Лишь первую о жизни фразу
Успели занести в тетрадь, —
С войны вернулись мы и сразу
Заторопились умирать.

Я более всего люблю у Межирова именно такие стихи, где сила в движении человеческой души, — без напора, нашагивания. Это, конечно, стихи не только о Гудзенко. Он и умиратьто не торопился, было множество планов, и все-таки сам, как это случается с поэтами, безошибочно предсказал в похожем на балладу послевоенном стихотворении:

Мы не от старости умрем, —
от старых ран умрем.

Помню его непривычно тихого, после первой операции, гуляющего по Тверскому бульвару с маленькой дочкой в коляске.

— Знаешь, — сказал он мне, — только там понимаешь, как много в нас бывает суеты. Нужно писать стихи, а издания, рецензии — все это такая чепуха!

Помню морозный снежный день. Левую от входа сторону Ваганьковского кладбища. Луконин, тонущий в сугробе легкими туфлями. Голая голова Антокольского. А где-то рядом, под снегом, могила Недогонова. Да и Алеша Фатьянов через несколько лет ляжет поблизости. И еще — сильное ощущение, что здесь же, по соседству, могила Есенина.

...Гудзенко сказал в одном из своих самых известных стихотворений:

Нас не нужно жалеть,
Ведь и мы никого б не жалели.

Но все равно жалко.

Первые стихи

Эту историю рассказал мне известный спортивный журналист Аркадий Галинский.

Он долгие годы был близким другом Гудзенко, а в детстве жил в Киеве с ним рядом.

Нравы были патриархальные, улица тихая, и по вечерам соседи густо высыпали к подъездам, сидели на лавочках и принесенных стульях, разговаривали.

Рядом, за забором, находился особнячок крупного врача, окруженный садом. Мальчишки, разумеется, лазали за яблоками и сливами. Доктор для их устрашения завел трех собак —

Альфу, Ахилла и Вегу. Они, видимо, были довольно миролюбивые, но при случае могли прихватить зазевавшегося за штаны. В связи с этим шестилетний Гудзенко сочинил свои первые стихи:

Альфа, Вега и Ахилл
Всех за ж... укусил.

Стихи шли от жизни и пользовались на улице большим успехом.

Ксюша Некрасова

Именно Ксюша. Она была старше меня на тринадцать лет, но я обращался к ней так, и это было естественно. Так называли ее очень многие, и даже совсем молодые.

Что она представляла собою в жизни?

Вот в Доме литераторов, в Дубовом зале, большой вечер известного поэта. Зал переполнен. И едва поэт заканчивает очередное длинное стихотворение, в тот миг тишины — перед аплодисментами, — откуда-то сверху, с хоров, раздается характерный, высокий и словно дурачащийся голос Некрасовой:

— Боже мой, как пло-о-хо!..

И шумная реакция публики: шиканье, возмущенные возгласы, хохот.

Что это? Для чего и почему она так поступала? Можно сказать с полной определенностью: это были не бравада, не рассчитанное желание нарушить порядок или привлечь внимание к собственной персоне. Просто таково было ее мнение, и она его выражала, подчиняясь импульсу, порыву, не считаясь с последствиями. В этом была ее сущность.

Вообще-то она была спокойной, выглядела даже сонной, говорила тихо. У нее был несколько выпуклый живот, сложенные на нем или под ним неухоженные руки; лицо и глаза малоподвижны.

Носила она длинные пестрые платья или сарафаны, большей частью дареные. Она легко принимала подарки, могла сама попросить рубля два (в старых деньгах) на обед, не считала это зазорным. В благодарность обязательно хотела почитать новые стихи — доставала откуда-то смятые листки, обычно линованной школьной бумаги, на которых они были переписаны ее не-

уверенным, крупным, детским почерком. Многие ее стихи я услышал впервые вот так, на ходу, на бегу, в авторском исполнении. До сих пор стоит у меня в ушах:

А я недавно молоко-о пила...

К слову, о подарках. А. А. Ахматова, с которой Ксюша познакомилась в ташкентской эвакуации, тоже беззаботно их принимала.

Хорошо знавшая Ахматову художница Татьяна Александровна Ермолинская рассказывала мне, что многие женщины, в особенности жены местного начальства, считали своим долгом поддерживать Анну Андреевну.

Она жила на втором этаже, окнами во двор, и часто, выходя на галерею, обращалась к сидящим внизу:

— Мне тут платье принесли, так оно мне не впору. Может быть, кому-нибудь подойдет. — И с великолепной царственной простотой опускала его через перила. Так же раздавала она окружающим лишние, по ее мнению, продукты.

Поэзия Ксении Некрасовой чрезвычайно своеобразна, и в первую очередь самим стихом. При желании в нем можно увидеть что-то от современного западного верлибра, от старинной японской миниатюры, но более всего от свободного русского стиха. Некрасова упорно уходила, уклонялась от рифмы, но порою не выдерживала и уступала ей, — чуть-чуть, кое-где, почти незаметно, а изредка и явно. Однако и присущий ей стих, не будучи укреплен рифмой, хорошо держится, он изящен и органичен.

Мир Ксении Некрасовой — это реальный и одновременно волшебный мир. Обращает на себя внимание широта взгляда, доброта души, острая потребность в любви у ее лирической героини.

Прекрасны стихи, связанные с природой — их очень много, — с детством. Такие стихотворения, как «Русская осень», «Русский день», просто «День», стихи о Средней Азии, пронизаны различными оттенками настроения, осязаемы. Ксения Некрасова исключительно наблюдательна. Вот вздымаются стволы, «...пронзая прутьями сучков оплыв сияющих сосулек». Она предельно метафорична. Дети едут в поле, и

Один ноги свесил с телеги
и взбалтывал воздух, как сливки.

Куст сирени поднимает цветы, «как голых детей». Дыхание на морозе — «...изо рта птенцы пуховые летят»...

Но, пожалуй, более всего привлекает у Некрасовой внимание к народной жизни, знание ее в деталях и подробностях, восхищение людьми труда. Я думаю, редко кто в такой степени, как она, знал, и, главное, видел и ощущал народную жизнь изнутри. Вот описание вокзала:

Мешки, отсвечивая ткацкою основой,
наполненные девичьим приданым,
накопленным на торфоразработках,
лежат, как идолы,
у мраморных скамеек,
чуть приоткрыв оранжевые рты,
на скамьях тихо, рядом,
одетые в стеженые пальтушки,
мордовки юные сидят...
И солдат
в ожидании своего эшелона
какую-то до слез знакомую мелодию,
прижав баян к груди,
выводит медленно в тиши...

У Ксюши был явно общественный характер, она любила присутствовать на заседаниях Бюро поэтов, на собраниях. Может быть, это было связано отчасти с ее бездомностью. Как не вспомнить тут ее мимоходом оброненные строки:

...Тогда с колен
я сбрасываю доску,
что заменяет письменный мне стол,
и собирать поэзию иду
вдоль улиц громких.

Они наводят меня на мысль о Хлебникове.

Иногда ее не пускали на эти заседания, боясь, что она помешает, или предлагали покинуть их после ее реплик. За ее непосредственность некоторые считали или называли Некрасову юродивой, блаженной. После ее смерти интерес к ней стремительно возрос. Но и при жизни Ксюши ее любили и ценили многие, в том числе Асеев, Луговской, Светлов, Смеляков,

Слуцкий, Евтушенко, а по свидетельству составителя ее изящно изданной книги стихов Л. Рубинштейна, — также Олеша и Алексей Толстой.

Разумеется, стихи Ксении Некрасовой не могут быть близки всем. Они не вполне привычны и словно игнорируют блестящие достижения в области организации русского стиха. Но хорошо, что существуют в нашей поэзии и такие стихи, нельзя не отдать должное их замечательным свойствам, о которых я постарался сказать в этой короткой главе. А закончить ее мне бы хотелось стихами Ксении Некрасовой:

Мои стихи...
Они добры и к травам.
Они хотят хорошего домам.
И кланяются первыми при встрече
с людьми рабочими.

Коля Глазков

Я познакомился с Глазковым в конце сороковых годов. Даже при тогдашнем индивидуальном разнообразии поэтической среды это была на редкость колоритная фигура. Все его, и за глаза и в глаза, называли Колей. Коля Глазков. Он это принимал как должное, почти как литературное имя. Одни относились к нему вполне серьезно, даже восхищались им, другие воспринимали его явно скептически. Он же называл себя гением — трудно было сказать, в шутку или всерьез, — и когда ему дарили книги, требовал, чтобы это определение присутствовало в авторской надписи. Кажется, Винокуров начертал ему на своем сборнике: «Обычному гению».

Уже много лет спустя, размышляя о Хлебникове, я подумал, что для своего поколения Глазков был как Хлебников — для Маяковского и Асеева. Наровчатов, Луконин, Слуцкий, Самойлов, Львов и другие относились к Коле с нежностью и обожанием, но это, может быть, подсознательно, происходило с высоты их положения и успеха. Он тоже был поэтом для поэтов. И тоже учил — раскованности, свободе выражения, независимости в искусстве. Учил одним своим существованием, сам этого не сознавая.

И в быту он вел себя своеобразно. Любил демонстрировать умение поднимать стул — за самый низ ножки — высоко над головой. Но еще более — показывать силу рукопожатия. Здоро-

ваясь, он норовил поудобнее захватить вашу кисть и начинал медленно сжимать, без отрыва глядя вам в глаза.

Надеюсь, меня не осудят строго за то, что похвастаюсь на старости лет: у меня всегда были сильные пальцы. Луконин сказал мне как-то: «С тобой поздороваться — все равно что физзарядку сделать». А ведь он был настоящий спортсмен. Так вот, протягивая руку Глазкову, я всегда сам встречно стискивал его кисть и вскоре заметил, что он здоровается со мной за руку без особого энтузиазма.

Он был добрым, расположенным почти ко всем. Проявлялось это тоже по-своему. Скажем, в Москве существовало «Бюро вырезок», откуда за умеренную плату и с претензией на полноту охвата могли по вашему заказу присылать все напечатанное вами или о вас. Я тоже пользовался этим, скорее из любопытства, пока не надоело.

Так вот, Коля представлял из себя ходячее бюро вырезок, вполне, разумеется, бескорыстно. Он останавливал в Центральном Доме литераторов то одного, то другого стихотворца, лез во внутренний карман пиджака и доставал бумажки с их публикациями, часто не известными авторам, — из «Московского комсомольца» или отрывного календаря. И сам получал от этого огромное удовольствие.

«У каждого поэта есть провинция», — сказал Гудзенко. Но кроме той «провинции», откуда поэт произошел и которая живет в его стихах (ею может быть и столица), почти у каждого существует еще одна — с нею он связан особыми нитями судьбы, дружбы, перевода. У кого это Грузия, у кого Дагестан, у кого Белоруссия. У Глазкова была Якутия. Он летал туда не раз, переводил якутских поэтов. И свои стихи о ней писал тоже.

Однажды он принес на заседание редколлегии «Дня поэзии» целую кипу стихов о Якутии. Читал их, как всегда, слегка, что ли, размагниченно, остраненно, даже безразлично, в своей манере, не улыбаясь в смешных местах.

И там было стихотворение о том, как автор встретил в якутской тайге женщину, которая шла на лыжах, будучи совершенно голой. Поэт ничуть не удивляется данному обстоятельству и даже подчеркивает, что это не обман зрения, потому что находившийся с автором фотограф (он назван по имени и фамилии) «сфотографировал ее».

Зачем я рассказываю об этом?

Затем, чтобы подчеркнуть, что одна из главных его особенностей — склонность к гиперболе, гротеску.

Как-то я сидел в кабинете С. Наровчатова в «Новом мире», там находились еще М. Львов и Д. Тевекелян, и зашел разговор о Глазкове, — его уже не было. И Наровчатов вспомнил Колины строчки еще их институтских времен:

Я жил в ужасные года,
Когда Кульчицкий съел кота.

Никакого кота Кульчицкий, конечно, не ел, но история, однако, существовала. У профессора Л. И. Тимофеева (тогда, как и в мое время, он жил во флигеле, во дворе Литинститута) пропал любимый пятнистый, яркого окраса кот.

Через несколько дней, придя на лекцию, профессор увидел у одной из студенток меховую муфту. Тогда это было модно. Тимофеев долго смотрел на нее и наконец спросил через силу:

— Откуда у вас... это?

Студентка ответила с гордостью:

— Мне подарили.

Он произнес упавшим голосом:

— Еще недавно она бегала и мяукала.

Муфту преподнес ухаживавший за девушкой Кульчицкий.

Глазков же написал приведенные выше строки. Ему это было свойственно: чудовищное преувеличение, подаваемое как обычное явление. Это типичный Глазков.

Он много написал, очень много. В том числе стихи, по-настоящему замечательные. Их помнили наизусть — «Ворон», «Шуточные стихи, написанные под столом» и другие. Еще во время войны Николай Глазков написал:

Писатель рукопись посеял,
Но не сумел ее издать.
Она валялась средь Расеи
И начала произрастать.

Да, настал момент, и стихи его «произросли». Это все издано, пришло к читателю.

Не могу не вспомнить в связи с этим учившегося в Литературном институте в одни годы со мной Сашу Парфенова, инвалида войны. Он стал потом директором Калининского областного издательства и выпустил первую, если не ошибаюсь, книгу Глазкова. А затем Коля начал печататься шире — в газетах, в журналах, в «Дне поэзии».

А Сашуни Парфенова теперь тоже нет.

Глазкова долго не принимали в Союз писателей — из-за его необычности, непохожести. Кого-то это смущало. (Ксюшу Некрасову ведь так и не приняли.) Но все же Коля стал полноправным поэтом, членом Союза.

Об умерших обычно пишут в некрологах: «навсегда сохранится в наших сердцах». Не всегда это бывает действительно так. Но здесь-то уж точно.

Хочу закончить стихами. Они называются «Коля Глазков. Штрихи к портрету». Я написал их в 1980 году.

Был он крупен и сутул.
Пожимал до хруста руки.
Поднимал за ножку стул,
Зная толк в такой науке.

Вырезал стихи друзей,
Что порой встречал в газете,
И с естественностью всей
Им вручал находки эти.

Не растрачивал свой пыл
На душевные копанья,
А Якутию любил
И публичные купанья.

Пил грузинское вино —
Большей частью цинандали, —
И еще его в кино
С удовольствием снимали.

...Это беглые штрихи
К бытовому лишь портрету.
Ибо главное — стихи,
Жизнь дающие поэту.

Краткий бег карандаша,
Откровения услада
И — добрейшая душа
Иронического склада.

Колины штучки

Между тем Колины штучки бывали не просто экстравагантными.

В самом начале шестидесятых, в хрущевские времена, я вел большой поэтический вечер в Доме культуры завода «Калибр». Вообще-то я не любитель выступать — так получилось. Народу было полно не только в зале, но и на сцене. Заранее договорились: каждый читает не более трех стихотворений.

И вот выходит к трибуне Глазков и начинает будничным вялым голосом стихи о том, как было плохо при культе личности. И дальше:

Теперь все это позабыто,
К другому движется народ.

(Эти две строчки привожу по памяти, но следующие — с буквальной точностью.)

За что мне нравится Никита,
Что он ноздрею мух не бьет.

Я посмотрел в зал. Публика — вся сразу — откинулась назад, затылками на спинки стульев, — как в мужской парикмахерской. Потрясение было столь велико, что никто не засмеялся. Повисла общая тишина.

И почти мгновенно мне передали записку: как это вы допускаете такие политические демарши?.. От кого — не помню.

А Коля, пользуясь всеобщей ошеломленностью, продолжал своим скучным голосом читать дальше.

Я встал и, дождавшись конца очередного стихотворения, сказал:

— Коля, ну хватит, выступающих много, мы же договорились...

Он безропотно сошел с трибуны.

Любопытно, что никаких последствий данный казус не имел.

«Предстоит на свете жить...»

(об Анатолии Аграновском)

Начну с конца. С того субботнего раннего звонка, когда сперва ни слова нельзя было разобрать. Потом второй, слышнее: это Галя Аграновская, говорит из Пахры, — мы это зна-

ем, — у Толи подозревают инфаркт, нужно подняться к ребятам, чтобы включили телефон, она не может до них дозвониться. Нужно организовать перевозку. Договориться с клиникой... Потом наши лихорадочные, разыскивающие звонки. А потом звонок в дверь, заплаканная невестка. Ничего уже не нужно. И все это в течение часа.

Потом «Известия», панихида, дождь — как сквозь сон. Речи, цветы...

Теперь по порядку. Галю мы вообще знаем с незапамятных времен. А его? Помню «Литгазету» начала пятидесятых. Ее коллектив, подобранный Симоновым поштучно, как собирают коллекцию. Многие оттуда вышли. Ее «Ансамбль верстки и правки»... Выступление в перерыве московского писательского собрания в пятьдесят четвертом году, — наверное, пока печатали бюллетени для голосования. Аграновский — солист, красивый, почти смазливый, в тельняшке. Исполняется на мотив «Раскинулось море широко» песня о том, что честь смолоду нужно беречь, «а также и в зрелые лета». Толя поет со вкусом: «в зрелаи лета...»

Еще раньше я видел и слышал его отца, известного в ту пору журналиста. Я учился в Литературном институте, а он в качестве руководителя ездил с тремя нашими студентами — Борисом Бедным, Владимиром Тендряковым и Григорием Бакланом — на Волго-Дон. Каждый из троих написал в результате очерк, их публично обсуждали в институтском конференц-зале. Лучшей была признана работа Бориса Бедного.

Документальную повесть о Волго-Доне «Утро великой стройки» (в соавторстве с В. Галактионовым) написал и Толя. Она была выдвинута на Сталинскую премию, но осталась за чертой отмеченных, — к удивлению многих. А получи он тогда премию, как бы сложилась его судьба? Думаю, что так же.

С 1957 года мы жили в одном доме. Рядом росли, а потом учились в одной школе наши дети. Аграновские сначала занимали двухкомнатную квартиру. Однажды, придя на день рождения Толи и собираясь позвонить в дверь, я обнаружил, что количество прожитых им лет совпадает с номером квартиры — 37. Спустя немалое время, когда они жили в нашем же доме, но в трехкомнатной квартире, я, тоже на дне рождения, вспомнил об этом и выразил пожелание, чтобы подобное совпадение в будущем повторилось — теперь номер их квартиры был 83. Увы, до этого возраста ему не хватило более двадцати лет.

Широко известны его очерки, его книги. Он имел своего умного, постоянного читателя. Но как он стал журналистом такого класса? Конечно, способности, дарование. Однако главное: он поднял, воспитал и усовершенствовал себя сам — путем огромной внутренней работы. И в своих «известинских» очерках ставил проблемы государственной важности. Для этого нужна немалая смелость. Он развил и продолжал развивать в себе это качество.

Он болел за дело не на словах. Он бывал как бы оппонентом, — если хотите, даже официальным, — как при защите диплома или диссертации.

«Принципиальность» — пишут в служебных характеристиках едва ли не каждому. А у него были *принципы.* Не специально сформулированные и расположенные по параграфам, нет, они жили в нем самом.

У него был друг Олег Писаржевский, я его хорошо знал, — публицист, ученый, занимавшийся главным образом делами и вопросами науки. Работал взахлеб, не жалея себя, по восемнадцати часов в сутки, беспрерывно глотая кофе и дымя сигарой. Он все делал стремительно, он и умер на бегу, упав на улице. Но ведь, в общем, похоже умер и медлительный Толя.

И вот в день смерти Писаржевского пришло в редакцию обращенное к нему наглое, развязное письмо от очковтирателя, невежды, уверенного в своей неуязвимости.

Ответил Аграновский. Сдержанно, холодно, вежливо расщелкал адресата по всем пунктам. Но сперва поехал, конечно, в то хозяйство, изучил положение на месте, — он всегда шел от жизни, а не от придуманных заранее схем.

Он был остроумен, тонок, ироничен, саркастичен, наконец, резок.

Он умел получить от собеседника то, что ему было нужно. У него, безусловно, была хватка — прежде всего журналистская. Он не стеснялся уточнять, надоедать, переспрашивать, — ему нужно было дойти до сути.

А вообще-то он был, если угодно, тугодум. Писал не как газетчик — по темпу, оперативности отклика. Не обладал быстротой реакции. В этом было и что-то защитительное.

Мы с женой, а потом и с дочерью обычно читали в газете все его статьи. Я тут же и звонил: высказывал мнение.

Однажды, уже поздним вечером, позвонила Галя Аграновская:

— У вас все в порядке?

— Да, — ответила жена. — А что случилось?

— Напечатана статья Толи, а вы молчите, я и решила проверить...

Тогда сказал я:

— В нашем экземпляре не было... (Разумеется, мы просто пропустили ее.)

Эта фраза вошла у нас в обиход. Когда печатали что-нибудь я или Инна, звонили Аграновские и начинали так:

— В нашем экземпляре есть.

И еще — забавная деталь. Люди, столь близко знающие друг друга, говоря по телефону, обычно не называют себя, за них представляется их голос. И вдруг — что случилось? — Толя не узнал меня. Сказал свое обычное «аллёу», но чувствую, говорит с кем-то другим. Я спрашиваю:

— А ты знаешь, с кем беседуешь?

Он несколько опешил и назвал имя — не мое.

Я предложил:

— Называй уж меня просто Петей.

Он уже узнал и, несколько смущенный, протянул:

— Ла-адно. И ты меня, Петюня...

И мы стали так друг друга называть, сначала смеясь, а потом, попривыкнув, и серьезно. Люди, даже знавшие нас, порой таращили глаза, ничего не понимая.

Дошло до того, что его сыновья начали называть меня дядей Петей, а моя дочь именовала так его. Как-то — Толи уже не было — я поднялся к ним, и Антон, врач-офтальмолог Антон Аграновский, открывая мне дверь, сказал:

— Здрасьте, дядя Костя, — и тут же поправился: — Дядя Петя...

В этой его нарочитой как бы оговорке было что-то очень трогательное, преемственность, что ли.

Толя любил футбол, был давним приверженцем «Спартака». Предпочитал смотреть в одиночестве, на кухне, по маленькому черно-белому телевизору. Вертел шеей, словно ему что-то мешало, грыз от волнения ногти. То и дело хватался за коробку «Казбека» и, постучав мундштуком папиросы о коробку, закуривал. (Даже когда он пел, у него часто торчала в углу рта «казбечина».)

Однажды я взял его на стадион. Сначала он колебался, принять ли приглашение, потом согласился. Был прекрасный лет-

ний вечер, мы пошли пешком, загодя, и уже на Ленинских горах почувствовали себя причастными к некоему важному общему событию. Народ валил валом. Игрался официальный матч СССР — Венгрия на первенство Европы. В Будапеште наши недавно проиграли 0:2 и теперь жаждали реванша. Команда у нас была еще настоящая. Когда мы поднялись на трибуну и, отыскав свои места, уселись, Толя был слегка ошеломлен реальностью густо заполненной лужниковской арены. Стемнело. Включили прожектора. «И освещен прямоугольник поля, как поле биллиардного стола».

Преимущество наших было подавляющее, но забили они в первом тайме только один гол.

— Ну как? — спросил меня Толя в перерыве, глубоко затягиваясь.

— По игре должны были закатить еще два, — ответил я.

На футболе незнакомые люди общаются, обмениваются мнениями и репликами с совершенной естественностью.

— Ну как? — спросил Толю человек, сидевший с другой стороны.

— Что сказать? — произнес Толя веско. — По игре ведь еще должны были закатить парочку. Так я понимаю.

— Да-да! — соглашался сосед с пылкостью.

Тем, действительно, и окончилось.

У них дома обычно бывали одни и те же люди: два-три литератора, крупные медики, партийные работники, авиаторы.

Это те, кто всегда. А еще я встречал у него академиков, генеральных конструкторов. Он не стеснялся приглашать их в свою маленькую двухкомнатную квартирку. Они интересовали его, а им было интересно с ним.

Чаще всего он писал на экономические темы, в том числе и тогда, когда говорил, к примеру, о медицине. Главной же привязанностью его жизни была авиация. И последняя его, неоконченная статья начинается так: «Как сокращают аппарат? Любой. Ну, скажем, летательный. Способ один: убрать лишнее».

«Убрать лишнее» — главный принцип и в искусстве. Уметь это — признак высокого мастерства. В нынешней литературе это встречается столь редко.

Работа в газете, его статьи и очерки были для Аграновского основным. Но он писал и прозу, и сценарии художественных фильмов. А в документальном кино считался мэтром, его при-

глашали не только с собственными сценариями, но частенько — дотянуть чей-то, помочь, написать дикторский текст. В кино он подписывался А. Захаров — и на Аграновского смотрел снизу вверх, хотя и здесь порой с гордостью рассказывал о какой-нибудь находке.

Он был отчасти артистом, не только когда брал в руки гитару. Хорошо рисовал, мастерил всякие поделки: руку с факелом из мягкого песчаника или подаренную моей жене фигурку из яичных скорлупок, сидящую и читающую книжку с надписью на обложке: Инна Гофф. «Поэтом можешь ты не быть». А сколько он придумывал и конструировал всего для внучки Машеньки!

Он любил иногда сказать что-нибудь подчеркнуто аффектированно или пройтись по комнате, что называется, эдаким фертом.

Они оба с Галей были в некотором роде светскими людьми: любили всевозможные премьеры, просмотры, вечера, посиделки. Он оживлялся там, даже преображался и казался не таким, каким я привык его знать.

Они любили ходить в гости и принимать гостей. За столом у них бывало весело: рассказывали, каламбурили, острили, но, как правило, не он. Он посмеивался, похмыкивал, иногда несколько таинственно.

Вот я сказал, что он любил повеселиться, рассеяться. Но, казалось, и тогда что-то не отпускало его.

Он был очень внимателен к друзьям. За последние годы я трижды лежал в больницах, и всегда он меня навещал. Мчался одним из первых. И посещал не меня только, разумеется.

(И вот тогда, апрельским утром, когда раздался звонок из Пахры и Галя сказала, что у Толи подозревают инфаркт, в голове у меня мелькнуло: ну, инфаркт, ничего, выберется. Переведут из реанимации в палату, я приду к нему... Мелькнуло на миг, а потом уже было не до этого.)

Он многим помогал в жизни, в том числе живущим в нашем доме. Люди ценили это, уважали и уважают его...

Да, так вот опять о другом, о другом его таланте.

Он пел — под гитару. Что он пел? Сперва чужое: песни Булата Окуджавы, Анчарова, старинные романсы, всяческую стилизацию. Они лихо пели с Галей на два голоса, он кивал ей в нужных местах: «Галка, давай!» С годами, когда он пробовал вспомнить что-то старое и сбивался, она подсказывала ему сло-

ва. Оба сына, Алеша и Антон (у того и у другого в детстве была во дворе кличка Агроном), когда подросли, тоже играли на гитарах — здорово, лучше, чем отец, помогали, аккомпанировали ему. Гитары у всех троих были настоящие, старые, кажется, краснощековские.

А потом он начал исполнять свое. Сочинял музыку на отысканные или приглянувшиеся стихи. И так же, как над статьями, работал долго, упорно.

Он пел песни и романсы на стихи Твардовского, Пастернака, Ахматовой. Пел Кедрина, непесенного Слуцкого (чем особенно был горд), Межирова, Самойлова, Тарковского.

Кайсын Кулиев, учившийся вместе с Толей на Высших литературных курсах, и не подозревал об этом его занятии и, помню, восхитился через много лет, в Дубултах.

Пел Анатолий Аграновский и мое. А нашу совместную с Инной песенку «Пока ты рос, носил матроску» Сергей Орлов услышал на Беломор-канале и потом не хотел поверить, что она наша.

Толя обижался, если я отдавал стихи — после него! — профессиональным композиторам, — бывали и такие случаи. Обижался не вполне всерьез, конечно, но из своего репертуара песню исключал.

Одно время он пел мою песенку «Пожелай удачи!»:

Отплываю завтра я.
Что ж, не первый случай.
Ты, хорошая моя,
Зря себя не мучай.

Я вблизи тебя люблю,
А вдали тем паче.
На прощанье кораблю
Пожелай удачи.

и так далее.

Он очень душевно ее пел.

Это было в пятьдесят девятом году.

Вскоре я напечатал это стихотворение в «Правде». И вдруг, через месяц с небольшим, получил следующую радиограмму:

«Москва Воровского Союз писателей поэту Константину Ваншенкину — 28 ноября ДЭ Обь направляющемся Антарктиду

вечере самодеятельности связи прохождением экватора впервые была исполнена ваша песенка Пожелай удачи мелодия моя тчк Успех объясняю прежде всего вашим искренним текстом близким каждому участнику экспедиции привет южного полушария — Кричак —».

Согласитесь, приятно. Кто этот Кричак? Ясно, один из ученых-зимовщиков. Интересно с ним будет потом встретиться. (Его хорошо знал Юхан Смуул, ходил с ним в предыдущую экспедицию, после которой написал «Ледовую книгу». Он с ходу назвал мне несколько других его песен: «Антарктический вальс», «Белый айсберг», — Кричак был там признанным бардом.) Я послал на борт дизель-электрохода ответную телеграмму с пожеланием удачи и сказал Толе:

— Слушай, у тебя появился конкурент...

А потом было напечатано сообщение о трагической гибели в Антарктиде нескольких наших зимовщиков. В том числе Оскара Кричака. Не только я, но и Толя принял это близко к сердцу. По его инициативе появилась в «Известиях» статья об этой истории.

А я с тех пор печатаю эти стихи с посвящением «Памяти Оскара Кричака». Потом их положил на музыку Э. Колмановский, песня довольно часто исполнялась, была записана на пластинку.

Кончалась она так:

Светят звезды в вышине,
Ветер. Ветки гнутся.
Предстоит уехать мне,
Предстоит вернуться.

Предстоит еще решить
Разные задачи.
Предстоит на свете жить,
Пожелай удачи!

Так и звучит в ушах хрипловатый Толин голос...

Когда я стоял у его гроба, а потом сидел у них дома, я думал и о том, что сыновья его уже взрослые мужчины, что невестки потрясены горем как родные его дочери.

Вижу его за машинкой, с папиросой в углу рта, на диване, с книгой, в разговорах, у нас или у них, запросто, на кухне,

сначала вчетвером, а впоследствии и с подключением ставших взрослыми детей. В разговорах — о чем? Как ответить? О жизни, вероятно.

Принято считать, что напечатанное в газете работает один день, ведь назавтра выходит следующий номер.

С ним не так. Тому, что сделал он, — *предстоит на свете жить.* А нам предстоит его помнить, о нем думать.

Ведь я знал его
(о Викторе Некрасове)

Летом 1987 года среди писателей прошел слух: возвращается Некрасов. Это известие вызвало интерес и оживление — и у тех, кто знал его прежде, и у тех, кто хотел, даже мечтал познакомиться.

Но почему? Думается, главная причина в одном: Виктор Некрасов — автор книги, которую невозможно замолчать или отодвинуть в сторону. Это давно уже очевидно. Без преувеличения, из этой книги вышла вся последующая пронзительная литература о войне, та самая «проза лейтенантов», да и рядовых тоже. Так, по слову Достоевского, «все мы вышли из гоголевской “Шинели”». Так наша послевоенная «деревенская проза» произошла от яшинских «Рычагов» и «Вологодской свадьбы».

До «Окопов» я успел прочитать несколько книг о войне — и никудышных (не хочется называть авторов), и хороших, как мне тогда казалось (потом я их не перечитывал). Но если те книги были хорошие, то в этой была правда. Повесть называлась поначалу «Сталинград», помню, читал я ее, демобилизовавшись, в журнале «Знамя», в старом еще «Знамени» небольшого формата.

Разговоры о возвращении Некрасова не подтвердились, заглохли, — вряд ли за ними было что-нибудь реальное, — зато в сентябре пришла вполне точная весть о его кончине.

И захотелось написать о нем, ведь я знал его, встречался, общался. Я и раньше, пока он был еще здесь, несколько раз упоминал о нем в книге «Наброски к роману», но сейчас возникла потребность рассказать подробней, по возможности подряд.

В мае 1954 года я участвовал, в составе совершенно грандиозной делегации писателей, музыкантов, артистов, в праздновании трехсотлетия воссоединения Украины с Россией. И вот

перед началом открытия торжеств за кулисами Киевского оперного театра Николай Иванович Рыленков, которого я узнал за два дня до этого, познакомил меня с Виктором Платоновичем Некрасовым.

В сановной тесноте и сдержанном гуле собравшихся (за опущенным занавесом переполненный зрительный зал) передо мной стоял крепкий, загорелый, худощавый человек в коричневом пиджаке и с широко распахнутым воротом белой рубашки. У него был умный независимый взгляд, тонкий хрящеватый нос, небольшие, аккуратные, очень идущие ему усы; темные волосы кольцом ложились на лоб.

Он выглядел моложе своих лет. Ему оставалось жить тридцать три года.

Через несколько секунд Рыленков шепнул мне:

— Правда, похож на белого офицера?

Я очень удивился:

— Почему!

Мне он показался скорее эдаким городским, чуть приблатненным парнем.

Свободного времени совершенно не было, — беспрерывные встречи и выступления. Наша группа, которую возглавлял Николай Тихонов, ездила еще в Чернигов, в Переяслав-Хмельницкий.

И вдруг — почему-то интервал, окно, и мы, словно очнувшись, сидим в малолюдном ресторанчике в парке, обедаем вчетвером: Н. Н. Ушаков, Некрасов и мы с Рыленковым.

Николай Николаевич мягкий, интеллигентный, очаровательный. И соответственно разговор — о поэзии, об архитектуре — негромкий, вежливый. А вокруг цветут каштаны, слабеет синева гаснущего дня, где-то вдали золотятся церковные маковки.

Потом мы провожаем Ушакова до такси, прощаемся, усаживаем, он уезжает. Некрасов тут же приглашает к себе.

Он живет вдвоем с матерью в двухкомнатной квартире на Крещатике.

— Где же мама? — удивляется он, едва мы входим, и тут же вспоминает и огорчается, что она сегодня дежурит: мать у него врач.

Во второй комнате он показывает нам какие-то книги и фотографии, и отчетливо помню его слова:

— А это мамино детское распятие...

Он из семьи политических эмигрантов, в самые ранние годы жил в Швейцарии, его держал на коленях Ленин.

Потом мы сидим за столом, пришли еще какие-то люди, один малый работает на заводе, слесарь, имеет влечение к литературе.

Там я впервые обратил внимание на удивительный и такой естественный интерес Некрасова к собеседнику, особенно к каждому новому человеку. Он подходил к моему стулу, опускался на корточки, живо расспрашивал. А вообще-то разговор был общий.

Потом он подарил мне книгу. Было уже очень поздно, глубокая ночь. Они всей компанией отправились нас провожать на бульвар Шевченко, в гостиницу, и не успокоились, пока мы не вошли внутрь.

В гостинице, заполненной только участниками празднеств, кафе работало круглосуточно — ведь та или иная группа могла прибыть с выступления в другом городе в любое время.

Мы с Николаем Ивановичем завернули туда, сели в уголке и разлили на двоих бутылку кефира. В кафе никого не было. И тут отворилась дверь и шумно ввалилась припозднившаяся бригада. Они устроились вдалеке от нас, и вдруг раздался характерный голос Суркова, возбужденный дорóгой, успехом, не знаю, еще чем:

— Посмотрите, посмотрите, вон Рыленкóв с Ваншёнкиным кефир пьют!..

Мы потом часто, смеясь, это вспоминали. А тогда напустили на себя скромный вид: да, мы такие...

Я стал рассматривать дарственную надпись на книге. Она и сейчас предо мной:

«Косте Ваншенкину,
чтоб он был таким же хорошим,
какой он есть.
В.Некрасов
15.V.54. Киев».

На обороте титульного листа напечатано:

Постановлением Совета Министров Союза ССР
Некрасову
Виктору Платоновичу
за повесть «В окопах Сталинграда»
присуждена Сталинская премия второй степени
за 1946 год.

Затем я встретил его в «Новом мире», — вероятно, уже поздней осенью. Там шла его книга «В родном городе». Твардовский был в первый раз смещен с поста главного редактора (это ведь с ним случалось дважды), но Симонов привлекал прежних авторов.

Некрасов стоял посреди редакционной гостиной, рядом с ним — грузный, молодой, весело смеющийся человек на костылях.

Я подошел.

— Костя! — воскликнул Некрасов и тут же спросил, есть ли у меня «Теркин на том свете». Получив отрицательный ответ, он на мгновение задумался, а затем осведомился: — Вы знакомы?

Его смеющимся собеседником оказался Марк Щеглов.

Я потом не раз коротко общался со Щегловым — в Коктебеле и в Москве, бывал у него в Электрическом переулке, возил его на такси к себе, знал его мать Неонилу Васильевну, надолго пережившую сына.

— Марк! — сказал Некрасов тоном, не терпящим возражений. — Дай Косте эту гениальную поэму, он перепечатает и тебе вернет.

Щеглов тут же полез в портфель, лежащий рядом на стуле.

У меня не было тогда пишущей машинки, и я переписал всю вещь от руки. Мы жили на Арбате (теперь многие говорят: «Старый Арбат», как будто есть еще какой-то другой), а поблизости, кажется в Хлебном переулке, поселился тогда Тендряков. Я встретил его, гуляя, и к слову сказал о поэме. Володя попросил перепечатать и один машинописный экземпляр вручил в благодарность мне. Так они у меня и сохранились — от руки и на машинке.

Нет, это не был так называемый «самиздат». Это был живой интерес людей, близких к «Новому миру», к Твардовскому.

Кстати, через девять лет поэма была опубликована. Мне сразу бросилось в глаза, что автор еще поработал над ней, — не в смысле смягчения острых мест, а просто кое-что изменил, — как я полагаю, не в лучшую сторону.

А в тот раз, когда мы встретились в редакции, Виктор пригласил вечером меня с женой к себе в гостиницу «Советская», которая только что открылась после реконструкции. Он с гордостью демонстрировал свой номер, и особенно ванную, сверкающую плиткой и никелем. Были еще приглашенные, и глав-

ный из них — дорогой лихой однополчанин, выведенный в «Окопах» под именем Чумака. Они, как видно, отмечали встречу уже не первый час. Спустились в ресторан. Виктор с Чумаком оба были без пиджаков, в рубашечках с коротким рукавом, явно не по сезону.

И в том же пятьдесят четвертом году, в декабре, — Второй съезд писателей. Какое событие, если Первый был в тридцать четвертом году!

Оторопь брала.

Я оказался в числе делегатов. Вероятно, ввиду моей относительной молодости и того обстоятельства, что я был членом Союза, а большинство моих литературных сверстников кандидатами, — этот институт был впоследствии упразднен.

В первый день съезд работал в Кремле, все еще закрытом для общих посещений. Что там, за его таинственными воротами? И вот писательская толпа спешит по припорошенному утренним снежком двору. Это ведь сейчас обычное дело. А тогда — глазам своим не веришь. В голове у меня звучит:

Кто Царь-колокол подымет?
Кто Царь-пушку повернет?..

Внутри Большого Кремлевского дворца обязанности гардеробщиков выполняют солдаты. Вмиг забирают пальто и суют номерок.

А наверху, перед несколькими входами в Зал заседаний дежурные распорядители в который раз проверяют паспорта и мандаты. Хотя нет, здесь уже только мандаты, вернее временные удостоверения.

Дежурные привыкли к заведенному порядку: звонок на заседание — все входят в зал, звонок на перерыв — выходят. Поначалу так и было. Но потом — скучный выступающий — повалили курить, объявлен интересный — обратно. Дежурные сперва грудью вставали, не пускали, но не выдержали, сникли, отступились. Смотрели потрясенно, растерянно, их даже становилось жалко.

А зачем открыли заповедные двери для такой несерьезной публики?

Но поначалу все в новинку: и длиннейший зал, и наушники у каждого делегата, и, ух ты, правительство в президиуме!

Открывала съезд старейшая писательница — Ольга Форш.

Это ведь теперь открывает руководство. А тогда какие корифеи были в секретариате, но нет, открывает старейший. Достойно подражания.

И все это было смешано с шуткой, розыгрышем, забавой. Ведь творческие же люди, писатели. Да и время было такое, хотелось сбросить оцепенение. Один писатель из Средней Азии опоздал на минуту, сел, отдышался. Говорит Форш, медленно, основательно.

Писатель подождал немного, спрашивает у соседа:

— Кто это?

Сосед (им оказался Казакевич) объясняет небрежно:

— Фадеев.

Опоздавший молчит потрясенно, думает и наконец произносит:

— А-я-яй, как постарел!..

Тогда Казакевич сочувственно говорит о необходимости вести размеренный образ жизни.

В большие перерывы писатели, уже освоившись, болтая, гуляют по дворцу: Георгиевский зал, терема Грозного, Святые сени, Грановитая палата...

В последующие дни съезд, как и было предусмотрено заранее, проходил в Колонном зале. Какой-то бесконечный съезд: длинные обзорные доклады, отчеты, вспыхивающие сшибки в прениях, бурлящие фойе и буфет, часто меняющаяся стенгазета съезда, возле которой тоже толпы, остроты, обиды, знакомства, встречи, объятия.

Пришелся на это время и мой день рождения — двадцать девять лет. Я заранее пригласил Некрасова, Рыленкова и незнакомых с ними двух моих испытанных институтских друзей — Винокурова и Трифонова.

Ехать уговорились вместе, прямо отсюда. Да что там ехать — одна остановка на метро от «Площади Революции».

Однако, ближе к вечеру, подошел Виктор и сказал, что хотел бы послушать выступление Б. Агапова, который собирается долбать его новую вещь и называет его прозу планктоном. Об этом Некрасова предупредил какой-то доброжелатель.

В принципе такая оценка не была новостью. Некрасова, как это не раз бывало в литературе, чаще всего критиковали за его сильные стороны. Он впитывал жизнь во всех ее подробностях, был ее ценителем, что ли. Он все подмечал, видел, слышал и бесхитростно хотел поделиться этим с читателем.

После первой книги наиболее удачны у него вещи очеркового плана, *как бы* очерки — об Италии, о Дальнем Востоке. За них его называли печатно «туристом с тросточкой» и как-то еще в этом же роде.

Демократичность его описаний квалифицировалась как бытовизм.

Там, где он начинал писать *художественно,* выдумывать психологию, он сразу терял. Но живые, жизненные детали оставались, западали. Помню, много было сломано копий вокруг мимоходного взгляда вернувшегося с войны героя, увидевшего на полочке в ванной не одну зубную щетку, а две.

В дальнейшем, в Париже, он утратил эту свою безошибочную точность детали в настроении. Да и не хватало запаса художественной памяти, столь свойственной Бунину.

А тогда, в фойе Колонного зала, я ответил ему весьма кисло:

— Ну что ж, конечно. Подождем...

Остальные мои гости, я чувствовал, уже испытывали нетерпение, настроились. Между тем объявляли одного оратора за другим, а обещанного Агапова все не было.

Наконец не выдержал и Некрасов:

— Было бы чего ждать! Поехали!..

Особняк стоял посреди двора. Нужно было подняться по опасно сбитым ступеням, пройти через неухоженную коммунальную кухню, темный коридор и отворить дверь в наши две смежные комнатенки — крошечные, но уютные, из другого мира — с книжными полками, горкой, тахтой, письменным столом. А всю первую комнатку занимал сейчас раздвинутый и соответственно накрытый уже готовый стол, вызвавший ликование гостей, особенно Некрасова.

Инна скромно улыбалась.

Таким образом, я впервые познакомил моих гостей между собой, и, нужно сказать, они очень понравились друг другу.

Сидели долго, шумно, с удовольствием, но утром, как штык, были к началу заседания. Тогда это в охотку шло.

Назавтра я спросил:

— Ну, что Агапов? Тебе рассказали?

Он посмотрел с недоумением:

— Наверно, не выступал. Не знаю.

Наконец съезд, к которому мы уже так привыкли, окончился, и в Кремле состоялся торжественный прием.

Сейчас это обычно а-ля фуршет, — стоя, неудобно, но тоже не жалуются. А тогда — настоящий, солидный, сидячий ужин, с несколькими переменами блюд, множеством напитков, с официантами за спиною. Что называется, на старый лад.

Столы были нумерованные. Нам с Инной места достались не в Георгиевском зале, а в Грановитой палате, — не потому, что я был молод, рядом с нами сидели и маститые. Мне здесь даже больше нравилось, в близости к другим, под картинно расписанными сводами.

Но по мере течения этого долгого ужина захотелось размяться, встретить кого-то еще, посмотреть, что делается на белом свете. Оставив жену на попечение знакомых соседей, я отправился в путешествие.

Георгиевский зал слепил глаза. Первоначальная торжественность приема была уже нарушена, кое-кто тоже болтался между столами. Слышались шум, смех, чоканье. Мне махали, приглашали присесть, но я удерживался.

У дальней торцовой стены стоял поперек стол президиума. Вернее, не вплотную к стене — за ним еще была возведена эстрада, выступали артисты, шел концерт. Я запомнил Райкина и Рашида Бейбутова.

Выступающие, естественно, находились лицом к залу, а внизу, под ними, спиной к ним, сидели члены правительства. Изредка они поворачивали головы и аплодировали — через плечо. А вообще-то непроизвольно растущий гул огромного зала глушил голоса актеров, посылаемые через микрофон.

Мне хотелось подойти поближе, меня обуяла дурацкая идея: посмотреть, кто как пьет. Но чем дальше, тем продвигаться было все труднее, меня выручало только то, что я время от времени подсаживался к знакомым.

Наконец я оказался метрах в пятнадцати от главного стола.

Не помню, был ли Маленков, — в середине сидел Никита Сергеевич. Каганович не пил, Молотов едва пригубливал, краснолицый Булганин пил маленькими рюмками водку, Микоян — коньяк. Зато Хрущев чередовал то и другое, да еще вдруг налил себе фужер красного вина.

Спич в честь писателей и литературы провозгласил Молотов.

Я двинулся обратно, за Инной. Хотя никто не давал никаких сигналов или рекомендаций, столы неожиданно быстро начали пустеть. Лишь отдельные художники слова проявляли

склонность задремать, уронив голову между бутылок. Но и их тоже можно было понять: в кои-то веки попали сюда, в святая святых не только отдаленной, но и самоновейшей истории, и захотелось отметить этот факт от души.

Но им уже помогали те, в чьи обязанности это входило.

И тут мы увидели Некрасова. Он целовался с чехом, толстяком Яном Дрдой, о котором, по его словам, был не самого высокого мнения. Но вот они отпустили друг друга, Дрда пошел в одну сторону, а Виктор остался на месте, похоже, слегка потеряв ориентацию.

Я приблизился к нему и взял его под руку. Он слабо удивился, но выразил полнейшее удовлетворение. Когда мы спускались по широкой парадной лестнице, мне пришлось напрячь руку почти до предела. Инна мужественно держалась рядом.

Потом он долго искал номерок, все же нашел, и бодрый солдатик бросил на стойку гардероба его пальто.

Мы в числе последних вышли на кремлевский двор. Воротник пальто и рубашки у Некрасова, как всегда, были распахнуты.

Стоял поздний зимний вечер, хрустел снежок под ногами. Идущие поблизости наши коллеги разговаривали негромко, все еще ошеломленные небывалыми впечатлениями этого длинного дня.

И лишь Виктор Некрасов не снижал голоса.

— Костя! — кричал он. — Да ты не бойся. Что нам эти писатели! Нет, ты скажи! Что нам это правительство! Да ты не бойся!..

На тихом кремлевском дворе от нас только шарахались. Я по-прежнему крепко держал его под руку.

Звучали ли здесь до этого такие слова? Может, уж очень давно. Что сказать в его оправдание? Что ряд членов тогдашнего правительства вскоре оказались членами антипартийной группировки?

Он, правда, не подозревал об этом, но ведь — факт.

Мы вышли через Спасские ворота, пересекли по диагонали Красную площадь и расстались у гостиницы «Москва», где я отпустил его руку и он исчез за дверьми.

Назавтра в Доме литераторов было заседание правления. Некрасов встретился мне еще на улице.

— Низко тебе кланяюсь, — сказал он серьезно и действи-

тельно поклонился в пояс. И тут же, засмеявшись, добавил: — Сейчас прошел Василий Семенович Гроссман. Спрашивает: «Кто это вел вас вчера в Кремле?» Отвечаю: «Ваншенкин». А он: «Я-то думал, охранник».

Дело в том, что на мне была длинная болгарская дубленка, ничуть не являющаяся тогда модной или престижной вещью, — скорее наоборот.

Он много раз бывал у нас на Арбате. Это была и его трасса: вблизи Киевского вокзала жил Твардовский, на углу Смоленской — работавший в «Новом мире» Игорь Александрович Сац, потом, ближе к началу, мы. Он, гостя в Москве, часто забегал к нам запросто, по дороге, — телефона у нас не было. Иногда Инна заранее приглашала его на обед. Он обычно приводил с собою Саца.

Он вообще имел манеру кого-нибудь с собой притаскивать. Однажды, когда Инна была в отъезде, заявился с киевским приятелем, плотным, очень компанейским, глядящим выпуклыми добрыми глазами. Это был некий Миша Пархомов. Как выяснилось, он обладал замечательной способностью к адаптации и скоро был уже своим человеком в домах многих московских писателей. Как друг Некрасова.

Не помню уже почему, но в тот вечер оказался у меня и Володя Тендряков. Я, разумеется, их познакомил. Сели ужинать и уничтожили почти все запасы, оставленные мне уехавшей в командировку женой. Тендряк все восклицал, вскрикивал:

— Неужели Инка это сама готовила!

Некрасов восторгался последними работами Тендрякова, и особенно повестью «Не ко двору». Он говорил о том, что у него, Некрасова, очень образованная и много читающая тетя, замечательная женщина, она поклонница Тендрякова, написала ему восторженное письмо, но не получила ответа. Володя обещал эту ошибку исправить.

Через некоторое время Тендряков пожаловался мне при встрече, что он и вправду решил, что тетя образованная, а она пишет слово «шофер» с двумя «ф». Я объяснил ему, что это раньше так писали, на французский манер, и не через «ё», а через «е», чем снял с его души сомнения.

Тогда, в разговоре, выяснилось, что по повести «Не ко двору» отснят уже фильм, — правда, он назывался по-другому. Но

главное в том, что автора сценария убедили изменить конец и сделать, чтобы герой не уходил из дому.

— Как! — закричал Некрасов. — И ты согласился?

Тот потупился. Некрасов схватил со стола небольшое такое яблочко и в ярости запустил в Тендрякова, но не попал.

Володя даже не обиделся, хотя отличался в ту пору чрезвычайно вспыльчивым нравом. Впрочем, они тут же и помирились. Уже в дверях Виктор сказал мне:

— На днях зайду, поедем к Юре. Мы же давно обещали.

Да, Трифонов звал и ждал давно.

И на этот раз Некрасов прибыл с другом, с фронтовым другом, живущим постоянно где-то на Севере и направляющимся отдыхать в зимний Крым. Это был крупный молчаливый человек, уже несколько оглушенный их встречей.

Замечательное это у Некрасова было качество — верность фронтовому товариществу, не формально, а всей душой, всеми печенками.

Война, однополчане, воспоминания в мельчайших подробностях — это в нем сидело. Его тянуло к тогдашним солдатам и к сегодняшним работягам, он испытывал к ним жгучий интерес, растворялся в них, был такой же, как они.

Он мог бы сказать тоже:

Пусть нас где-нибудь в пивнушке
Вспомнит после третьей кружки
С рукавом пустым солдат.

Я потом часто думал: как он *там* безо всего этого? Конечно, в бистро или в кафе тоже есть, наверное, простые симпатичные ребята, но ведь все другое, и психология тоже.

Мы тут же вышли на улицу, позвонили из автомата, сели в такси — их было тогда полно, на каждом шагу, — и поехали.

Трифонов жил на Масловке у своего тестя, старого художника, в специально построенном доме, где помещались и квартиры, и художественные мастерские. Этот дом описан им в позднем рассказе о посещении Шагала. В 1951 году Юра получил за повесть «Студенты» Сталинскую премию и вскоре женился на солистке Большого театра Нине Нелиной. Она, видимо, предполагала, что он и дальше пойдет щелкать премии одну за другой, как тогда не раз бывало. Но у него дело застопорилось,

заколодило, да и другие появились неприятности, он стал сбиваться с тона, но держался, упорствовал.

От того, последующего, настоящего Трифонова, которого все знают, его отделяло почти целых пятнадцать лет.

А пока что жить было негде, Нинины старики уступили им квартиру, а сами устроились в мастерской. Маленькой Олечке было, думаю, года три-четыре. Она до сих пор, или, вернее, с тех пор, называет меня «дядя Костя».

Наш приезд вызвал оживление: еще бы, знаменитый Некрасов! Нина с матерью накрывали на стол, друг, похоже, уснул в уголке, в кресле, а мы вели беседу об искусстве.

Один наш поэт в телевизионной передаче о Трифонове охарактеризовал его так: «молчун, думающий валун».

Совершенно неверно, — кроме, разумеется, второго слова. Юра был очень остроумен, бывал весел, даже смешлив. А если бы вы видели, как он слегка тяжеловато, но изящно отбивал чечетку!

Разговор сразу повернулся к живописи. Старик-тесть блаженствовал: Некрасов прекрасно знал импрессионистов и постимпрессионистов. Трифонов тоже во всем этом неплохо разбирался, он был образован достаточно глубоко и разносторонне. А я вспомнил лекции Тарабукина и тоже вставил словечко о французской живописи, назвав имена Лоррена и Лебрена, чем несколько удивил Некрасова и заставил старика воскликнуть:

— Да, да, конечно! Были такие...

Зашла соседка, дочь известного поэта и художника, села к столу, заслушалась Виктора, не скрывая своего восторга. Олечку уже уложили в соседней комнате. И вдруг непосредственная Нина издала вопль. Нужно сказать, что в столице было тогда время разнообразного изобилия. Но как у нас бывало, какой-нибудь дефицит обязательно обнаруживался. Теперь это были апельсины.

Так вот, в стороне, на столике, стояла ваза с апельсинами — для Олечки, наверное, по одному в день. Некрасовский молчаливый друг, желая более активно участвовать в теплой встрече, вынул перочинный нож и один за другим вскрыл все апельсины, взрезал фигурно, в виде раскрывающихся бутонов. Его действия были замечены хозяйкой слишком поздно. А он недоумевал — что же, собственно, произошло?

Потом мы долго прощались. Виктор обнимался со стари-

ком, а соседка безуспешно пыталась выудить у Некрасова его телефон.

Завезли однополчанина к его родственникам, куда-то на Пресню, ночевать поехали ко мне. По дороге Некрасов сказал, что нужно заехать в магазин, я отвечал, что все уже закрыто. Тогда он велел шоферу повернуть к Киевскому вокзалу.

На ступеньках стояло несколько забулдыг, внутрь пускали только по железнодорожным билетам. Некрасов крикнул:

— Я лауреат Сталинской премии! — И его, как ни странно, пропустили. Вскоре он появился с тремя бутылками пива. — Последние, — объяснил он, сев в машину, помолчал и спросил: — Ты слышал?

— Да, — признался я.

Он стал тыкать себя кулаком в лоб:

— Какой позор!..

Я постелил ему на раскладном кресле. Отопление у нас было печное, в тот день я не протопил, и он проснулся утром, стуча зубами... Впрочем, это описано у меня в «Особняке на Арбате».

Он пристрастился ездить зимой в писательский подмосковный дом Малеевку — тяга южанина к морозу, к слепящему снежному простору. Прибывал с матерью своей, милой и интеллигентной Зинаидой Николаевной, только недавно вышедшей на пенсию. Он, человек достаточно безалаберный, относился к ней с редкостной сыновней почтительностью и вниманием.

Еще в первые дни знакомства, у него дома, на Крещатике, я обратил внимание, что друзья называют его — Вика. Нетрудно было догадаться, что это его детское имя. Так же звал его Пархомов. Викой иногда называл его и Твардовский. Но лишь сейчас, в Малеевке, услышав это имя из уст его матери, я незаметно для себя тоже стал называть его так. А на «ты» мы оказались с самого начала.

Рядом с Зинаидой Николаевной гулял по дорожке перед фасадом высокий красивый старик, вполне еще прямой и бодрый — Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Это было время, когда он как раз колебался, не пора ли ему уже вешать свое охотничье ружье на гвоздь. Не здесь, разумеется, — у себя, в Карачарове.

А Некрасова Володя Тендряков приобщил к лыжам. Тот

прежде не знал, что это такое, — только так, со стороны. А тут выбрал ботинки по ноге, и крепления оказались удачные, — и пошел, не оттянешь.

Тендряков, как всегда, много писал, работал зверски, и, пробежавшись, оставлял Вику на лыжне одного. И вот выйдешь из лесу и видишь: пашет кто-то по полю, да быстро, ближе, ближе, и вот он, крепкий, жилистый, только пар валит.

Крикнешь ему: — Пожалей себя! — или что-нибудь в этом же духе, а он уже мимо. От души катался.

Недавно нашел снимки: мы — Некрасов, Солоухин и я — выступаем в близлежащей воинской части. Вика, когда видел солдат, прямо-таки таял. На одной из фотографий он, развернув, держит перед собой только что врученную ему «Почетную грамоту».

В нем сидел огромного заряда интерес — не только к общению, к собеседнику. Он очень много читал, чуть не все. Порой звонил по поводу прочитанного или присылал телеграмму. Впрочем, в стихах он не слишком разбирался. Иногда просил Твардовского высказать мнение о том или ином стихотворце. На вопрос, как пишет один (и ныне здравствующий) нравящийся Некрасову поэт, Твардовский ответил:

— Как все!

Вика, смеясь, мне об этом рассказывал.

Что же касалось прозы, здесь ему не требовалось консультаций. Вот открытка.

17/VI-62.

Привет, Костя, из жемчужины Крыма — Ялты.
Жалеем, что пьем без тебя.
От души радуемся твоей прозе. Ей-богу, хорошо!
Как оно там в Варшаве? Как бимбер? С кем
пил? Не забывай.
Вика.

Тут же еще и другие приложили руку. Ниже: *Миша* (это Пархомов). А внизу — уже слегка дрожащим почерком:

«Привет и от меня тоже! З. Некрасова».

Типичный Некрасов: хочет похвалить, но, словно смущаясь и не желая выглядеть мэтром, тут же снижает, переходит на пресловутый «бытовизм».

Речь идет о моей повести «Авдюшин и Егорычев» («Новый

мир», № 5 за 1962 г.). Варшава упоминается в связи с тем, что я там был в составе делегации в мае того же года.

Сколько людей было всегда вокруг него — тянулись встречно: Хуциев, Шпаликов, молодые артисты.

Когда снимался фильм по «Окопам Сталинграда» (название было другое — «Солдаты»), он по своей непоседливости и дотошности тоже часто крутился в группе. На первом же черновом просмотре обратил внимание на артиста, исполняющего роль Фарбера. Тот играл потрясающе точно и правдиво. Спросил у режиссера — фамилия ни о чем не говорила. Это был Иннокентий Смоктуновский.

Я уже упоминал: он любил писать письма, — вероятно, особенно, когда не писалось другое. Так вот. Однажды, уже на Ломоносовском, он начал внимательно рассматривать рисунки моей дочери, помещенные за стеклами книжного шкафа. Ей было тогда, наверное, лет двенадцать или меньше.

— Послушай, — спросил он, — почему они у тебя все такие грустные? Ты что, грустная?..

— Нет, — ответила она беспечно, — я не грустная, это жизнь такая...

Через какое-то время, может быть через год, меня как-то познакомили с Виталием Семиным.

— О! — воскликнул он живо, услышав мою фамилию. Я грешным делом подумал, что он хочет что-то сказать о моих стихах. Но у него было совсем другое: — Мне о вас Виктор Платонович писал. Ведь это ваша дочка сказала: «Я не грустная, это жизнь такая»?..

Потом мы стали встречаться реже, только случайно. Без всякой видимой причины, просто так. В нем уже не наблюдалось той его шумной открытости. Все шло как-то туго, в Киеве у него были неприятности. Некоторые, слышал, советовали ему перебраться в Москву. Но и здесь у него рассыпали набор двухтомника, да и слишком он был киевлянин.

В одну из годовщин массового расстрела он пришел в Бабий Яр. Там клубились толпы народа, никто к ним не обращался, и он взял это на себя. Он обещал людям, что здесь будет мемориал, памятник и все, что этому месту подобает. Потом им были недовольны. А ведь все случилось как он говорил, да и могло ли случиться иначе!

Об его отъезде жалели многие. Я думаю, не ошибусь, если

скажу: литература жалела. Еще в 1975 году в Минске на Совещании, посвященном тридцатилетию Победы, Василь Быков сказал с трибуны о том, как много значит для всей литературы о войне книга Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда».

Сейчас Некрасова нет, но ясно, что книга эта осталась, ясно, что и останется. Тем более что в лучших его творениях столько света и добра!

Тендряков и Некрасов

Тендряков и Некрасов познакомились у меня дома в январе 1955 года и сразу же очень расположились друг к другу. Можно подумать, что их сблизила непохожесть, взаимная дополняемость. Ничего подобного. В них как раз было много общего, — не внешне, конечно, — в окающем парне из вологодской деревни и в слегка нарочито, по-южному, тянущем слова, до предела демократичном интеллигенте.

В них были главные общие черты — смелость, естественность, независимость. И еще, они оба были непосредственны, экспансивны. А Володя и нервен, вспыльчив. Я с ним вместе учился. Некрасова же знал всего восемь месяцев, но казалось, что тоже давно.

Они потом, разумеется, многократно встречались и не раз еще, как у нас говорят, *совпадали* в Малеевке. Иногда бывал вместе с ними и я.

Тендряков работал тогда исступленно, писал короткие повести — одна лучше другой. А Некрасов, как он сам утверждал, лентяйничал, предпочитая, главным образом, эпистолярный жанр. Но ведь мало ли что говорит о себе писатель!

Вика был там с матерью, Зинаидой Николаевной. Очень увлекся лыжами и немало в том преуспел. Люди, бывавшие с ним на юге, говорят, что он прекрасно плавал, заплывал страшно далеко. Ничего удивительного — вырос на Днепре.

А Володя писал дни напролет, только брызги летели.

Вика напоминал ему каждый день:

— Володя, ну когда мы себе что-нибудь позволим?

Тот отвечал:

— Погоди, погоди, вот закончу вещь...

Наконец сказал как-то:

— Приходи завтра за час до обеда.

Некрасов постучался, вошел. Тендряков продолжал писать.

— Володя, — начал Вика неуверенно.

— Погоди, погоди, сейчас!..

Некрасов деликатно подошел к окну, посмотрел на сверкающий под солнцем зимний двор, дорожку, где прогуливалась с кем-то об руку его мама, глянул на часы, хмыкнул и в нетерпении вернулся к Тендрякову. Тот не обращал на него внимания.

Некрасов читал горячие, прямо из-под пера, слова:

«Семен сжимал голову, готов был выть в один голос с Калинкой.

Нет более тяжкого суда, чем суд своей совести».

Тут Тендряков откинулся на спинку стула и сказал:

— Все!..

Некрасов с облегчением поздравил его.

Тендряков сложил рукопись, постучал ее ребром о стол, выравнивая страницы, отложил в сторону и подождал с минуту. Затем Некрасов с ужасом увидел, как он взял чистый лист и вывел заглавие:

«Тройка, семерка, туз».

И пошел: *«Сотни, а может, тысячи (кто считал!) речек, речонок и упрямых ручейков, протачиваясь сквозь прель опавшей листвы и хвои, прорывая путь в корневищах деревьев, несут из ржавых болот воду в эту большую реку. Потому-то вода в ней темна, отливает рыжей накипью».*

— Володя! — закричал Вика в отчаянии.

— Пошли, пошли, — успокоил Володя, закрывая папку.

Эту историю я слышал от Некрасова несколько раз. Конечно, здесь и нежность, и шутка, и преувеличение, но все в границах образа.

«Ты — мне брат»...

(О Кайсыне Кулиеве)

Когда я познакомился с Кайсыном? Может быть, когда он учился на Высших литературных курсах? Помню, мы стоим и разговариваем в садике Дома Герцена. Нет, мы тогда уже знали друг друга, но слишком бегло, и вдруг встретились, остановились, а потом пошли в кафе «Мороженое», поблизости, на улице Горького, — это объяснялось, видимо, тем, что у нас было мало времени, но просидели там долго, пили шампанское и ели мороженое — тогда так было принято.

Я испытывал к нему безотчетную симпатию. Думаю, что и он ко мне тоже. Впоследствии я прочитал в подаренной им книге «Так растет и дерево», что он включил меня в очерченный им относительно небольшой круг его друзей. Это меня и смутило, и растрогало.

Вот я сказал о безотчетной симпатии. Но почему безотчетной? Ведь он был прекрасный поэт. К тому же выяснилось, что мы оба служили в воздушно-десантных войсках (он предпочитал называть себя не десантником, а парашютистом), что комиссаром 201-й бригады, где он начинал, был С. Н. Киреев, ставший затем командиром 4-й бригады, куда попал я. Были у нас и общие привязанности среди литераторов, о чем позже.

И все-таки безотчетная. Ведь мало ли хороших писателей или испытанных однополчан, к которым мы достаточно равнодушны.

Когда, еще во время войны, балкарский народ был насильственно переселен с Кавказа в Среднюю Азию, Кулиеву — как заслуженному офицеру и талантливому поэту — предоставили право жить там, где он захочет, кроме, правда, Москвы и Ленинграда. Сообщил ему об этом Н. Тихонов. Кайсын отказался. Он хотел разделить судьбу своего народа. Он был человеком чести, человеком определенных правил, которые он установил для себя и никогда не преступал.

Много раз, но всегда сдержанно, он возвращался в разговоре к тем временам. Я даже вижу как воочию маленький домик во Фрунзе, горы вблизи и письменный стол Кайсына, за которым он работал прямо под открытым небом.

Впоследствии он немало написал об этом.

Обращаясь к судьбе, он говорил: спасибо за то,

Что ты вернула мне, пока я жив,
Снега Эльбруса и рассвет Чегема,
За то, что был я только молчалив
В те дни, когда другие были немы.

(Перевод здесь и далее Н.Гребнева.)

Сильно сказано.

В дальнейшем мне доводилось несколько раз жить с ним в Прибалтике. Бывали трудности с обратными билетами. К нему, как к депутату Верховного Совета СССР обращалось множество людей: матери с детьми, пожилые пары, просто нагле-

цы. Он никому не отказывал. Он именовал себя самым демократичным сенатором, самым доступным конгрессменом.

Там, на Рижском взморье, он бывал чаще всего с сыновьями и, пока они болтались по пляжу, работал: составлял собрание сочинений, писал статьи, реже — стихи; читал. Он не хотел зависеть от библиотеки и всегда привозил с собой несколько книг, которые собирался прочесть.

Обычно он располагался на высоком этаже, окна и дверь балкона были распахнуты. Он сидел, крепкий, круглоголовый, вдыхая балтийский воздух.

Когда он приезжал в Москву, а это случалось довольно часто, он, особенно раньше, пока еще был здоров, регулярно звонил мне, приглашал в гостиницу. И сам у меня бывал. Мы хорошо знали семьи друг друга.

При встречах и по телефону, здороваясь и прощаясь, или просто посреди общения он время от времени проникновенно говорил: «Здравствуй!» (Это звучало у него как «Сэдэравствуй».) Он вкладывал в это слово первоначальный смысл, то есть: «Будь здрав!..»

Как-то раз он пригласил меня и Эдуарда Колмановского отобедать в ресторане «Москва». Когда мы пришли, выяснилось, что это отнюдь не обед, а свадьба. Кайсын женил своего старшего сына Эльдара. Мы ничего не знали и чувствовали себя неловко из-за того, что пришли без подарков, но Кайсын упорно объяснял, что заставлять нас заниматься их поисками было бы с его стороны бестактным. Однако в день моего пятидесятилетия он преподнес мне большой рог для вина с надписью золотыми буквами: «Константину Ваншенкину от Кайсына Кулиева» и перед этим публично его обновил.

Вот я сказал о Колмановском. Кайсыну очень хотелось быть автором известной, даже популярной песни. Он познакомился с моим близким другом Марком Бернесом, — по его настойчивой рекомендации и инициативе Колмановский и сочинил первую песню на стихи Кулиева «Все еще впереди». Ее записал Бернес, она широко зазвучала, но, к великому сожалению, оказалась одной из последних песен Марка, болезнь и уход которого Кайсын, знавший его совсем недолго, остро переживал.

Потом появилось еще несколько песен на стихи Кайсына Кулиева и особенно запомнившийся монолог «Та женщина, которую люблю». Однажды на концерте в Колонном зале, где при-

сутствовали и Кайсын, и я, Иосиф Кобзон, исполнявший эту песню, не сумел скрыть слез и едва удержался от рыданий.

У Кайсына была замечательная черта — объединять людей, особенно поэтов. Расул, Мустай, Чингиз, Давид — эти экзотические имена не требуют прибавления фамилий. Мне кажется, никто не связывал их так, как Кайсын. Он серьезно и трогательно говорил с ними — со всеми вместе и с каждым в отдельности. Они любили его, Дудин и Кугультинов называли его Кайсынчик. И в молодых он был заинтересован, к нему тянулись и Олжас Сулейменов, и Борис Укачин, и Инна Кашежева. И еще многие поэты — из различных республик, и русские тоже.

Я уже говорил, что у нас было немало общих литературных и человеческих привязанностей. Мы знали и любили Твардовского, Симона Ивановича Чиковани, Владимира Николаевича Орлова. Кайсын обожал и чрезвычайно высоко ценил Аркадия Кулешова, я тоже был к нему сердечно расположен. Все это также не могло нас не сближать.

Помню, сидим мы в ЦДЛ такой компанией: Кайсын, Аркадий, Резо Маргиани, Владимир Николаевич, Хелемский и я. И не случайно так получилось, а специально собрались, только Орлов присоединился, ко всеобщему удовольствию. Кайсын блаженствует, для него радость, когда рядом друзья. Начинают приглашать на Кавказ: сперва в Чегем к Кайсыну, потом в Сванетию к Ревазу. Они соседи, их аулы рядом, они разделены только хребтом. А затем по Военно-Грузинской дороге — в Тбилиси. И все возбуждены, радуются, строят планы... Боже мой, четверых уже нет.

В 1977 году в Польше находилась большая наша литературная делегация. Я был в автобусе, который между Краковом и Закопане столкнулся на полном ходу со встречной машиной, перевернулся, упал вверх колесами в пятиметровый кювет. Я успел сгруппироваться, ухватиться, не получил даже синяка или царапины.

На другой день, в Катовицах, я встретился с Кайсыном. Он расцеловал меня, возвел глаза к небу и прочувствованно произнес с характерным придыханием: — Брат мой!.. Сэдэравствуй!..

А потом, уже в поезде, когда ехали обратно, предложил тост за мое чудесное спасение. В его повадках иногда проглядывала некоторая театральность (не зря же он до войны учился в ГИТИСе), например, привычка к воздеванию рук, но в его ис-

кренности, склонности к сопереживанию никогда нельзя было усомниться. Однако сам он восхищался сдержанностью своих земляков:

Речь горцев не цветиста, а сурова,
Их разговор бесхитростен и прост
Настолько, что боюсь я вставить слово,
Как конь боится выскочить на мост.

Через полтора года я тяжело заболел. Он посетил меня в больнице, привез большой кулек кураги: — Это тебе будет очень полезно!..

Больница была отдаленная, до метро полчаса на автобусе, и он, услышав, что скоро собирается домой дочь моего палатного соседа, тут же предложил подвезти ее на своей машине. Это в нем сидело крепко.

Я тоже навещал его в больнице. Внешне он мало изменился. Но исчезла его оживленность, экспансивность. Ему теперь было присуще сдержанное достоинство — как у тех стариков-горцев.

Потом я видел, как он страдал от боли, — там, в Прибалтике, — от последней или, может быть, предпоследней боли. Он метался, хватался за новые лекарства и методы, но ничто не помогало, да и не могло помочь.

Когда думаешь об ушедших, ужасаешься при мысли, сколько там дорогих тебе людей, близких и знакомых.

И я вспоминаю строчки Кайсына:

Ты — мне брат, ты любимее брата,
Если грудь твою давит и жжет
Боль за всех, кто ушел без возврата,
И тревога за всех, кто живет!

Высоцкий и Кайсын

Слышал по телевидению рассказ Валерия Золотухина о том, как у них в театре встала когда-то на собрании молодая актриса и заявила, что Владимир Высоцкий невежлив, заносчив, не здоровается. Ее не опровергали. Чувствовалось, что такую точку зрения разделяет и кое-кто еще. Высоцкий был растерян, обескуражен, смущен.

Через несколько дней Золотухин столкнулся с ним в тесном служебном переходе, где тянулась по стенам кабельная проводка и было непросто разминуться. И Высоцкий прошел, коснувшись его плечом и вроде не замечая. Конечно, Золотухин, сам человек пишущий, понимал, что тот углубился в себя, отключен, вероятно, что-то сочиняет, но все-таки осадок остался.

Однажды на Рижском взморье около нашего писательского дома я встретил Высоцкого. Я был с ним знаком и уже видел несколько дней назад, — он там поблизости снимался. Вид у него был крайне расстроенный.

Он тут же объяснил мне, что повстречался только что с Кайсыном Кулиевым, поздоровался с ним, но тот не ответил.

— Да он не узнал вас, — успокоил я его решительно.

— Как он мог меня не узнать! — И Высоцкий пошел по диагональной дорожке, мимо цветника под окнами библиотеки (говорю это для тех, кто там бывал). На нем был потертый джинсовый костюм.

И тут из-за другого угла, со стороны моря появился Кайсын, окруженный слушателями, благодушно витийствующий.

— Кайсын, — сказал я, — что же ты с Высоцким не здороваешься? Он на тебя обиделся.

— Володя? — изумился тот. — Где он?..

Высоцкий уже скрывался за углом.

— Володя! — закричал Кайсын. — Володя, я не узнал тебя! — и пошел к нему, воздевая и распахивая руки.

Тот обернулся, постоял миг и двинулся навстречу.

— Володя! — восклицал Кайсын с характерным своим придыханием. — Сэдэравствуй!..

Они обнялись, и я увидел, что Высоцкий, попросту говоря, счастлив.

Свадебное путешествие

Капитаном теплохода «Грузия» долгие годы был Анатолий Гарагуля — яркая личность и, между прочим, настоящий меценат. Люди искусства всегда находили на его корабле пристанище и ласку, пока «Грузия» ходила во внутренних водах, по Крымско-Кавказской линии. Каких только блистательных писателей и артистов я на ее борту не встречал!

Совершали на «Грузии» по приглашению капитана свое свадебное путешествие и Марина Влади с Владимиром Высоцким.

Это была еще старая, довоенная, трогательная «Грузия», впоследствии списанная и замененная новым кораблем финской постройки под тем же названием.

А первым помощником был в ту пору у Гарагули Воронкин. Что это значит — первый помощник? Есть во всем мире и у нас тоже старший помощник, старпом, заменяющий при надобности капитана. Но еще и первый? Заграничные моряки сперва не понимали, а потом догадались: «А, комиссар!..» Да, замполит.

Они часто у Гарагули менялись, отступали в неминуемых схватках с несокрушимым капитаном, и Воронкин заступил недавно.

А Высоцкий был на корабле своим человеком.

Воронкин увидал на палубе эту пару и, потрясенный, спросил:

— Анатолий Григорьевич, это что, Высоцкий?

Капитан невозмутимо подтвердил его наблюдение.

— А с ним кто?

— Его жена, Марина Влади.

— Марина Влади? Серьезно?..

Он все же не совсем поверил, подбежал и обратился к ней:

— Простите, вы Марина Влади?..

Она улыбнулась:

— Да.

Воронкин счастливо засмеялся, козырнул и произнес с облегчением:

— Отдыхайте!..

Он пробыл на «Грузии» два или три года.

Гитара Тодоровского

Кинорежиссер Петр Тодоровский замечательно играет на гитаре.

Его привел когда-то к нам домой капитан Анатолий Гарагуля. В середине обеда Толя поинтересовался, нет ли у нас гитары. А у соседей?

Пришлось послать сына капитана Борьку за гитарой для Тодоровского.

Тот играл потрясающе, совершенно виртуозно. И то, что сам хотел, и все, что просили.

Истинное наслаждение от его игры получали не только мы, но и он тоже. Он, возможно, даже большее.

Со временем я рассказал об этом визите Зиновию Гердту. И Зяма вспомнил, как снимался когда-то в картине у Тодоровского, — тот постоянно жил еще в Одессе, — и вот в выходной (кажется, не было погоды, от которой киношники порой зависят еще больше, чем авиаторы) Гердт пригласил группу к себе на обед.

Тодоровский мечтательно спросил:

— А гитара будет?

— Вы играете? — вежливо осведомился Гердт.

Петя ответил:

— Но как!..

Два письма
(о Федоре Абрамове)

Федор Абрамов приехал из Ленинграда по договоренности с Твардовским в «Новый мир», но Александр Трифонович оказался нездоров и пригласил Абрамова на дачу, в Пахру, где Федор прежде не был. Это происходило во второй половине шестидесятых.

Абрамов провел там почти весь день, а ночевать его позвал к себе сосед Твардовского — Юрий Трифонов. Федя еще у него на крыльце нарочито запричитал:

— Это как же писать-то надо, чтобы так жить! Это какими же художниками надо быть, чтобы в таких-то хоромах...

Юра только добродушно посмеивался. Хочу засвидетельствовать, однако, что у Трифонова и на даче, и в городской квартире была очень скромная обстановка. В ту пору во всяком случае.

Что же касается самого Абрамова, то он по мере возрастания литературного успеха и упрочения своего положения, обращал на эту сторону жизни все большее внимание. Известно, что одна женщина, горячая его поклонница, чрезвычайно высоко ставившая Федора Абрамова как народного писателя, была разочарована его квартирой и даже назвала ее буржуазной. Наивно, конечно. Что же, он должен на полатях спать, если он народный?

Но иногда в нем проглядывала удивительная, может быть, отчасти и наигранная спесь. Прочитайте его рассказ «Елочка».

Он любил повалять дурака, просто покуражиться. Порой это выглядело трогательно-наивно. Так, вернувшись из Франции,

он говорил, что Пряслиных там знают больше, чем Ругон-Маккаров.

Однажды вечером я стоял в ЦДЛ поблизости от контроля на ступеньках, чтобы лучше видеть входную дверь, и ждал гостя. Вошел Абрамов, вынул членский писательский билет и безропотно отдал его в руки контролерши. Нужно сказать, что многие наши дежурные дамы никого не запоминают в лицо.

Тогда я крикнул со ступенек нарочито форсированным, театральным голосом:

— Пропустите его! Это же Федор Абрамов! Это европейски известный писатель Федор Абрамов...

Тут Федя воскликнул:

— Негодяи! — вырвал свой билет и направился к гардеробу.

Он был высокого о себе мнения, но в нем чувствовалась университетская закваска, вкус, интерес к литературе не только о деревне и почти не было присущей сейчас многим угнетающей внешней серьезности, озабоченности.

Встречая его вместе с Борисом Можаевым, я часто спрашивал:

— Нет, вы мне все-таки объясните, кто же лучше: Федор Абрамов или Федор Кузькин?

Федя всегда подыгрывал — сперва приосанивался, а потом изображал возмущение.

Всходя на трибуну на пленумах и съездах, он вдруг начинал говорить не вполне *своим* голосом, кричал, словно его переключили на другой регистр. Однако подобные метаморфозы случались не с ним одним. Меня, помню, поразил М. Дудин, когда я впервые услышал его общественное выступление. Его подчеркнуто простецкая в быту манера разговора сменилась откровенной декламацией.

Абрамову была присуща не только любовь к спору, но и внимание к иному мнению.

Помню, он говорил с трибуны об ужасном явлении: дети у него на родине, в деревне, не хотят учиться, кончают с грехом пополам пять классов — и все. Абрамов объяснил это отсутствием учителей-мужчин и, таким образом, падением авторитета школы.

Я сказал ему в перерыве, с трудом прорвавшись сквозь хвалебный хор:

— Это, конечно, верно, но лишь отчасти. Вспомни, у нас,

помимо отличных учителей, были и замечательные учительницы. Беда в другом. Дети не хотят учиться потому, что взрослые не хотят работать. Это передается уже как опыт. Ведь учеба — тоже работа.

Он согласился со мной.

Помню еще Дубулты, песчаный пляж, глубокий длинный шрам на ноге Абрамова. Их бесконечные беседы-дискуссии с Трифоновым об Октябре, о гражданской войне, — один как бы представлял крестьян, другой — профессиональных революционеров. Федор горячился, Юра отвечал спокойно, рассудительно:

— А имения барские тоже большевики пожгли?

Подошел кто-то из поклонников Абрамова, предложил перед обедом заглянуть в бар.

— Выпить, что ли? — уточнил Федор. — Пить я бросил. — И объяснил еще: — Пустая трата денег...

Федор Абрамов был по-настоящему крупным писателем, вышедшим из гущи народа. Серьезное образование тоже не повредило. Привлекает в нем его упорство, стремление к намеченной цели, его подвижничество. Ему повезло, что он встретился с Твардовским, который поддержал, укрепил веру в собственные силы, призвал к постоянной требовательности, к совершенствованию, наконец, просто напечатал.

Я больше всего люблю короткие повести Абрамова «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька».

Я услышал о нем до того, как увидел или прочитал. Помню, В. Ф. Панова говорила в выступлении, что ленинградского писателя Абрамова несправедливо не печатают. Но и лично знаю его, кажется, с незапамятных времен. Чуть ли не всегда мы были с ним на «ты», хотя иногда он начинал говорить мне «вы», на что я не обращал внимания.

Таковы «штрихи» к моему портрету Федора Абрамова. К портрету достаточно будничному — парадные надоели.

Да и это вряд ли стал бы писать, если б не отыскались среди моих бумаг два его коротких письма ко мне, которые захотелось привести, а заодно прокомментировать.

Итак, первое.

Константин,

просматривая «Литературку» за последние 3 недели (я только что вернулся из ГДР), я, между прочим, натолкнулся в одном из номеров на твою фотографию (где-то на заднем плане, на периферии

стоишь) и вот что хочу сказать тебе: разуй голову! Что ты все прячешь ее в мануфактуру!

Нам, читателям твоим, хочется видеть поэтическое солнце, которое излучает такие дивные стихи.

Это — раз. А два... А два и нету. Передай привет милой Ирине (так, кажется? Я не ошибся?).

Ф. Абрамов.

23/V-77 г.

Вот такое послание, весьма решительное. Но о чем? О том, что я люблю носить кепку? «А два и нету». Но есть и «два». «Милая Ирина» — это Инна Гофф. Абрамов был с ней знаком, читал ее, но упорно называл Ириной. Однако все-таки не вполне был уверен («я не ошибся?»).

А Инна прочитала где-то, что у него была любимая бабушка Иринья, и этим оправдывала его оговорки.

И второе письмо. В 1980 году отмечалось семидесятилетие Твардовского. Был торжественный вечер в Зале им. Чайковского, среди прочих выступал там и я. А непосредственно в день рождения, двадцать первого июня, должно было состояться возложение цветов на могилу, — мне об этом сообщили заранее. Прежде, пока Новодевичье было открыто для посещений, я в этот день рано утром покупал на ближайшем рынке пять красных гладиолусов, приезжал и ставил их в одну из приготовленных банок с водой. Потом подходил еще к могилам Исаковского, Бернеса, Смелякова. Но когда кладбище сделали закрытым, я перестал навещать их, — не хотелось добиваться, доказывать, убеждать. (Теперь начал ездить снова.)

А тогда, купив гладиолусы, я поехал, уверенный, что встречу у ворот писательскую толпу. Но у входа было пустынно, и я решил, что все уже внутри ограды. До сих пор не знаю, чем объяснить, но, подойдя ближе, я увидел только тогдашнего председателя Литфонда СССР Алима Пшемаховича Кешокова и Федора Абрамова с толстым портфелем командированного в руке.

Утро было очень жарким, они стояли в тени и разговаривали. Я поздоровался и стал рядом, не принимая участия в их беседе.

Абрамов говорил о том, каким должен быть новый Дом творчества для писателей Ленинграда. Кешоков соглашался и обнаруживал знание предмета, что удивляло Федора. Затем Аб-

рамов сообщил, как его ценит ленинградское высокое руководство. Кешоков разговаривал с ним очень вежливо и уважительно, но называл не Федором Александровичем, а наоборот, Александром Федоровичем, — как Керенского. Это бесило Абрамова, но он ни разу не поправил собеседника. Настроение у меня было скверное.

Приблизился сотрудник Литфонда, сказал, что никого уже, видимо, больше не будет, а родственники ждут давно. Мы пошли. Две корзины цветов стояли поблизости от могилы. Одну подняли Кешоков и Абрамов, — в другой руке у Федора был портфель. Вторую — я и нашедшийся поблизости молодой поэт. Обе дочери с мужьями и детьми стояли у могилы. Глаза Валентины были полны слез. Пока мы ставили корзину, она взяла у меня из руки мой букет.

Через несколько дней я получил письмо:

Уважаемый
Константин Яковлевич!

Уже который день на душе свинарник. Отчего? Перебираю в памяти последние дни и — не обидел ли я Вас?

Во-I-х, вдруг ни с того ни с сего начал тыкать. А во-вторых, по дороге к могиле Твардовского, сдается мне, я несколько небрежно и даже высокомерно разговаривал с Вами.

Если так, бога ради, простите.

Спасибо за статью в «Правде». Хорошо!

Марии Илларионовне, добавлю к этому, понравилось и Ваше выступление в Зале Чайковского, которое я, к сожалению, будучи на президиумовской Камчатке, не слышал.

Привет Вашей милой супруге.

Ф. Абрамов.

24.VI.1980 г.

Что сказать? Осадок у него, конечно, остался — от того разговора с Кешоковым, от самих тем разговора. Что же касается «высокомерного» обращения ко мне, то тут каждый, знающий меня хоть немного, только улыбнется. Со мной это не пройдет: где сядешь, там и слезешь. Так что просить прощения было ему не за что.

Статья в «Правде» — это моя статья о Твардовском; она была напечатана в тот день, но тогда он ее еще не видел. Называлась она «Народность таланта».

После этого мы еще не раз виделись и говорили друг другу «ты», и я спрашивал:

— Кто же все-таки лучше: Федор Абрамов или Федор Кузькин? — а Абрамов подыгрывал.

В Тарханы!

Я не раз уже обещал Ираклию Луарсабовичу Андроникову поехать на пушкинские торжества в Михайловское и, конечно, не собирался нарочно его обманывать. Но каждый год что-нибудь мешало. И еще, по правде говоря, я побаивался этой поездки.

Прекрасно, что в день рождения поэта собираются из окрестных, да и из дальних мест тысячи и даже десятки тысяч людей. Неплохо, может быть, что среди них и современные стихотворцы. Но вот должны ли они демонстрировать публике собственную продукцию — в этом я не уверен.

Летом 1960 года мне предложили поехать в Тарханы. Конечным пунктом была Пенза, но с заездом в лермонтовские места. Я подумал о том, что ведь специально не выберешься, и согласился. Привлекала и возможность хоть отдаленно представить себе, как ездил к бабушке Михаил Юрьевич.

Дело в том, что организовала путешествие «Литературная газета», всерьез увлеченная тогда передвижным способом пропаганды. Редакционный микроавтобус «УАЗ» с красочной надписью на борту «Подписывайтесь на "Литературную газету"» можно было повстречать на многих дорогах Европейской части Союза. Возглавлял экспедиции «вечный» член редколлегии Георгий Гулиа. Он и пригласил меня поехать.

— Сперва в Белинский, в Чембар, — кричал он в телефон так, что я относил руку с трубкой далеко в сторону. — В шесть утра выезжаем, слушай, семьсот километров всего. За десять часов доедем. Шоссе, слушай, Москва — Куйбышев, водитель хороший, компания отличная...

Кроме него в составе экипажа были Булат Окуджава, заведовавший в газете отделом поэзии, тоже не новичок в таких операциях, и авторы Евгений Винокуров, Михаил Львов и я.

Выехали, разумеется, не в шесть, а позже, без обгона тянулись до Люберец, потом разогнались по живописной, с пригорка на пригорок, дороге. Солнце едва набирало силу, настроение было хорошее, то один, то другой что-нибудь тихонечко

напевал. В Рязани, о которой тогда много писалось, остановились ненадолго, перекусили в молочном кафе и покатили дальше.

Гулиа, сидящий впереди, рядом с шофером, повернул голову и сообщил, что представители райкома будут ждать нас у развилки, в степи, в четыре часа. Он договорился. Так что все в порядке. А там еще в сторону. Сколько? Километров десять. Еще выступим сегодня. В библиотеке...

Но началось непредвиденное: дорожные работы, заторы, объезды. Автобус раскалился. Окна не открывались. Лишь нелепо раскачивалась распахнутая задняя дверца, когда «уазик», опасно кренясь, сползал с шоссе и окунался в густую горячую пыль, — видно, дожди здесь не выпадали давно. Поболтавшись по ухабам, он снова вылезал на дорогу, водитель тут же давал газ, и мы каждый раз верили, что худшее позади, но начинался новый объезд, и все повторялось.

Сперва мы делали вид, что не обращаем внимания на неудобства, потом начали подтрунивать друг над другом, затем помрачнели. Винокуров ворчал, Львов покусывал костяшки пальцев, я укорял командора в легкомыслии. Лишь фаталист Окуджава сохранял невозмутимость, что, впрочем, полагалось ему и по должности. Молчали также Гулиа, шофер, бессменно ведущий машину, и его сын, мальчик лет двенадцати, взятый отцом, чтобы посмотрел новые места, а не болтался бесцельно в городе. Последние двое переносили тяготы пути особенно стойко.

Мы ехали и ехали сквозь Россию. Объезды наконец кончились, пошли длинные мордовские села, на обочинах женщины в разноцветных платках и паневах, и опять степь, степь, лишь изредка рощица близ дороги. Но остановиться не было возможности, мы и так безнадежно опаздывали.

Все-таки наш водитель сдался на уговоры, и в городке Нижний Ломов мы остановились на узкой зеленой улочке у водоразборной колонки. Мы снова и снова намыливали руки, лица и головы и все не могли смыть въевшуюся пыль и грязь. Маленькая толпа молча смотрела на наш усталый «уазик». С его запыленного борта «Литературная газета» призывно напоминала миру о своем существовании. Один из горожан, обративший на это внимание, шумно выражал неудовольствие отсутствием Шолохова.

К обещанной развилке в степи мы прибыли в восьмом часу.

Мы бы, конечно, проскочили ее, если бы не стоявший на обочине райкомовский газик. На всякий случай нас встречали здесь с двух часов. Оказалось, что до города Белинского еще около ста километров в сторону. А дорога? Неважная дорога. Дожди сильные прошли.

И опять мы ехали. И опять наш удивительный водитель вел машину, сперва в сумерках, потом в полном мраке, чудом вылезая из густой грязи, чудом удерживаясь на скользком склоне, вслед за газиком минуя узкий мосток, оставляя в стороне застрявший мощный автобус.

— Лермонтово проезжаем, Тарханы, — сказал севший к нам райкомовец, и мы различили два или три огонька.

Прибыли глубокой ночью. В доме приезжих нас уже не ждали, но самовар еще не остыл.

Днем мы пересекли старую торговую площадь, обставленную лабазами, и выступили-таки в библиотеке. Мы читали стихи, Гулиа рассказывал о работе редколлегии. В конце он спросил:

— Скажите, а не найдется у вас гитары?

— Есть, — ответили с радостной готовностью.

— Понимаете, — объяснил Гулиа, — я иногда пою, для себя... Вы не будете в претензии?..

— Нет, нет, — оживились все. — Спойте.

Ему через головы уже подали гитару, и он тут же протянул ее пожимающему плечами Булату.

— Я пошутил, пою не я, — сказал Гулиа, — а мой друг Булат Окуджава. Но это все равно...

Ни его, ни его песен еще не знали. Он исполнил несколько вещей, в их числе «Леньку Королева».

Принимали его доброжелательно.

Над Тарханами стоял будничный пасмурный день. Экскурсантов не было. Только что отъехал большой автобус. Поразительна все-таки эта тяга к дорогим сердцу местам — в любую глушь, по плохим дорогам, — лишь бы побывать, увидеть.

Витало ощущение тревоги: оказалось, в пруду утонул человек, не местный, из экскурсии, полез купаться, никто не заметил. И этот несчастный случай придал какую-то дополнительную печаль нашему здесь пребыванию, словно подчеркивая ее.

Густой парк среди степного простора. Симметричный бар-

ский дом с мезонином. Сюда Лермонтов был привезен в младенчестве и прожил здесь тринадцать лет, да и потом наезжал погостить.

Я не слишком подробно рассматривал экспозицию, рисующую его жизнь, старинную мебель и картины. Но я подходил к окнам и не мог оторваться от них, остро представляя себе, как он мальчиком подолгу смотрел на черные стволы парка, на сквозивший за ними беспредельный простор.

Потом мы бродили по усадьбе, внизу, в парке, стояли у огромного дуба, посаженного еще им самим. А другой, завещанный им «темный дуб» посадила уже над его могилой бабушка. Его останки в запаянном цинковом гробу привезли из Пятигорска не скоро, лишь в 1842 году. Местное предание утверждает, что перед тем, как установить гроб в фамильном арсеньевском склепе, бабушка приказала вскрыть его, взглянула — только она одна — и велела запаять снова.

Кавказ, *воды,* где ему суждено было столь горько погибнуть, давно не были для них, как для иных, диковиной, экзотикой, — еще в детстве он ездил туда с бабушкой трижды.

Мы спустились в склеп и постояли перед могилой с высоким надгробием за легкой металлической оградкой.

Нас попросили оставить запись в толстой книге почетных посетителей, и я ужаснулся: ну что тут напишешь? Но Гулиа оказался опытней, он вывел: «Были здесь и преклонили колени» — и мы поставили под этими словами свои подписи.

В клубе или в школе — не скажу точно, я даже не обратил на это внимания — собрались молодые учителя и экскурсоводы. Георгий Гулиа ответил на несколько их вопросов. Мы не выступали. Было бы как-то странно читать свои стихи.

С чувством некоторого облегчения я вышел на тихую сельскую улицу. Стоял пасмурный летний день, начинал накрапывать дождик.

Мне не хотелось бы приезжать в Тарханы в составе представительной писательской делегации.

Точный ход

Людям, знающим меня, известно, что я не люблю выступать. В Бюро пропаганды художественной литературы на меня давно махнули рукой. Изредка бывают, конечно, случаи, когда невозможно отказаться, а постоянно — нет. По радио и те-

левидению еще куда ни шло — там за один раз тебя слышат и видят миллионы. И не потому не выступаю, что плохо получается, просто неинтересно добиваться эстрадного успеха. Всегда с удивлением смотрю на коллег, годами читающих одно и то же, проверенно-выигрышное. Да и выбивает это меня из колеи, мешает работать.

Давно когда-то жили мы в писательском доме в Ялте, над городом, на горе. И вот светлым вечером, после ужина, стоят все около дома компаниями — кто выше, кто ниже, — курят, разговаривают. Снизу, из парка, появляется молодой человек, одет не по-нашему, а по-городскому, тщательно: костюм, галстук, платочек в кармане пиджака. Крутит головой и направляется к Окуджаве.

Он представляется ему: ответственный работник Ялтинской филармонии — и объясняет причину визита. В городе открыт летний театр более чем на три тысячи мест. Заполнить его трудно.

Недавно с успехом выступали цыгане. Из всех санаториев возили автобусами отдыхающих, гастроли вполне удались, но аншлага все-таки не было. Филармония просит выступить Булата Шалвовича. Два-три раза, сколько он захочет. Платят они хорошо. А кроме того, филармония — могущественная организация. Понадобится в дальнейшем гостиница или билеты в «СВ» — всегда пожалуйста...

Булат тут же согласился. Он даст концерт, но при условии, чтобы в нем принимал участие Константин Ваншенкин.

— Хорошо, — вскричал молодой человек радостно. — Мы согласны. — И опять закрутил головой: — Где он?..

Булат вежливо указал.

Тот подлетел ко мне, возбужденный своей удачей.

— Константин Яковлевич, — крикнул он, — я из филармонии. Булат Шалвович дал согласие выступить. Он предлагает включить и вас. Мы рады...

— Я выступать не буду.

— То есть как? Но Булат Шалвович уже дал согласие...

— Это его дело.

Тот бросился к Окуджаве:

— Он отказывается!..

Булат терпеливо объяснил:

— Я же вам сказал: только вместе с Ваншенкиным. Договаривайтесь...

Разумеется, нехитрый ход Булата был мне ясен. Он приехал в Ялту поработать и отдохнуть, но не выступать. Уверенный в том, что меня не сокрушить, он решил избавиться от посетителя таким образом.

Молодой человек в крайнем волнении снова подбежал ко мне. Он ничего не понимал и бормотал что-то о цыганах, гостинице и билетах «СВ».

Я еще раз подтвердил свой отказ и, сославшись на неотложные дела, покинул его.

Когда я спустился через полчаса, Булат помахал мне издали и заговорил о чем-то другом как ни в чем не бывало.

Автограф и рукопись

Когда-то очень давно, зимой, прогуливались мы с Владимиром Лакшиным перед писательским домом в Переделкине. Подошел человек с моей книжкой в руке, попросил автограф. Тогда такие любители встречались там нередко. Я достал ручку, а он назвал себя и добавил, что очень бы хотел, чтобы я включил в автограф какое-нибудь свое четверостишие.

Я отказался — в книге и так много стихов. Он начал настаивать, чуть ли не умолять: вот у него папка, он ее подставит, как пюпитр, мне будет удобно. Что поделаешь, я стал писать, взглянул на Лакшина: смотрю, тот саркастически улыбается.

Когда человек удалился, Володя объяснил мне, что в букинистических магазинах, особенно в антикварных отделах, книги с автографами ценятся выше, а если уж в дарственной надписи шестнадцать или более слов, то это попадает в разряд рукописей и соответственно поощряется. Таким образом просимое четверостишие уже гарантировало нужный результат.

От Лакшина часто можно было узнать что-нибудь любопытное.

Трогательный Эдик

Если бы потребовалось охарактеризовать его только одним словом, я бы выбрал эпитет: *трогательный*. Да, Эдик (я всегда его так называл) был в моем восприятии очень трогательным, и если развернуть это понятие — наивным, доверчивым, добрым.

Я познакомился с Эдуардом Канделем в пятидесятые годы. Может быть, у Аграновских, или в ЦДЛ, или в одном из под-

московных писательских домов. Помню, как-то зимним вечером он, едучи к Аграновскому (мы жили в одном доме), подвозил меня на своем стареньком «Москвиче». С моей стороны почему-то плохо закрывалась дверца, о чем Эдик предупредил меня, и тут же рассказал, как летел в войну на санитарном самолете и там тоже все время распахивалась дверь.

Я знал, что он нейрохирург и принимал участие в оперировании Семена Гудзенко.

Операция прошла вполне успешно, и довольно скоро, как показалось, Семен катал уже по Тверскому бульвару коляску с маленькой Катей. Но время тикало слишком быстро. Приближалась неизбежность второй операции. Вел ее профессор Корейша, а Эдик был палатным врачом. Гудзенко, как и предполагалось, оказался обречен. Ему было по сути тридцать лет. Это была одна из первых послевоенных потерь фронтового поэтического поколения. Воспринималось поэтому все особенно больно.

Кандель сказал мне как-то, что у поэтов есть, по его мнению, какие-то скрытые, непонятные ресурсы, которые позволили Гудзенко продержаться гораздо дольше, чем предполагали объективные научные данные. Это его просто изумило. То есть он как бы поверил в чудо. И в то же время его почти возмутил впоследствии мой рассказ о произошедшем на борту теплохода «Грузия».

Впрочем, по порядку. Много лет спустя мы с Инной плыли на «Грузии»: Одесса — Батуми и обратно. В Сочи к капитану Анатолию Гарагуле пришли гости, пара, отдыхавшая в санатории, и мы вместе ужинали на корабле в салоне «Ханко». И вот гостья, молодая милая женщина, ее звали Тамара, рассказала, что недавно обнаружила у себя способности экстрасенса, и предложила их продемонстрировать.

— Давайте попробуем поднять Анатолия Григорьевича, — сказала она и объяснила, каким образом. Поднимали вчетвером: сама Тамара, ее муж, Инна и тоненькая смущающаяся подавальщица. Каждый двумя сложенными вместе указательными пальцами цеплял Толю, — двое за подмышки, двое под колени. Пальцы, разумеется, соскальзывали. Капитан сидел неколебимо: могучий, литой, загорелый моряк, килограммов за восемьдесят.

— А теперь давайте так, — продолжала Тамара и простерла над капитанской головой ладонь, выше на десять сантиметров

поместилась в воздухе ладонь Инны, еще выше — остальных двоих. Получилась этажерка из ладоней.

— Константин Яковлевич, — попросила она, — заметьте, пожалуйста, время и скажите через минуту...

Я сидел в стороне.

— Сколько прошло?

— Сорок пять секунд...

— Достаточно, — кивнула она и скомандовала: — Давайте снова!..

И капитан взмыл на их пальцах в воздух. На лице его застыла мина потрясения. Они с легкостью держали его. Они могли поднять его и выше, ограничивала только длина их рук.

Потом опыт повторили со мной. И я тоже со второго раза взлетел в вышину, как в корзине аэростата.

Когда я рассказал в нашей дружеской компании эту историю, Слава Федоров ни на секунду не усомнился, Толя Аграновский не вполне внятно похмыкал, а Эдик осведомился весьма ехидно:

— Это что, с тобой было?..

— Да. Вот Инна свидетель.

— Ты был пьян, тебе показалось.

Инна удостоверила:

— Он не был пьян, я — тем более.

Эдик не унимался:

— Тогда это был массовый сеанс гипноза...

— Да какой там сеанс!..

Но он заупрямился не на шутку:

— Где эта женщина? Покажите мне ее! Если я это увижу сам, я брошу диплом, перестану заниматься медициной!..

Боже мой, за последующие годы чего только мы не наслушались и не насмотрелись! И необъяснимые точнейшие предсказания, и лампочки сами выкручиваются, и посуда по комнатам летает. И ведь верим.

Я думаю, причина его реакции была в основательности школы, которую он прошел, в старой закваске, исключавшей и презиравшей любое шарлатанство в науке. У него были выдающиеся учителя, он занимался чуть ли не у всех «врачей-отравителей» — у Виноградова, Вовси, Егорова. Худому не учили.

Но ведь эта его некоторая, скажем, старомодная недоверчивость прекрасно сочеталась у Эдика с поисками и открытиями своего, фирменного, поистине нового.

Когда-то у него возникла и, что самое удивительное, была осуществлена идея проложения чуть ли не через всю Москву подземного кабеля — от института проблем управления, которым руководил академик Трапезников, до клиники, где работал сам Кандель. По этой связи молниеносно просчитывались и передавались нужные хирургу во время операции данные — компьютеризация еще не вошла в силу.

Куда бы он ни поехал, в какой бы город ни попал по служебным делам, он обязательно посещал все местные достопримечательности. Так, например, в Рязани он побывал даже в музее ВДВ. Ну зачем он туда потащился?

Эдик объяснил коротко:

— Очень интересно.

А поведал он об этом в связи с тем, что встретил там мою фотографию — как бывшего десантника. Сколько раз меня приглашали — я так и не выбрался. А он — пожалуйста.

Неожиданное воспоминание. После очередного писательского съезда состоялся, как всегда, прием в Кремле, на этот раз в Георгиевском зале. Шел семьдесят шестой год. В магазинах и ресторанах еще наблюдалось относительное изобилие, но писательская публика, скапливающаяся у закрытых высоких дверей, выглядела так, будто все эти дни ничего не пила и не ела. Наконец двери открыли, толпа, теснясь, хлынула в прекрасный зал, уставленный столами с яствами и винами. Большинство повалило вперед, поближе к начальственным столам, а мы пристроились сразу — почти у входа. Одни тут же приступили к делу, другие, подисциплинированней, ждали первого официального тоста.

И вдруг я увидел Канделя. Он вел себя так, будто был в зале один. Ни на кого не обращая внимания, он медленно шел вдоль стены, изучая выбитые золотом по белому мрамору названия подразделений, частей и соединений былых времен. Фамилии Георгиевских кавалеров уходили круто вверх, — чтобы прочесть их все, нужно было быть ангелом и парить под высоким потолком над хмельным писательским гулом.

— Эдик! — окликнул я его.

Он подошел и объяснил, что давно мечтал здесь побывать, но ведь Большой Кремлевский дворец закрыт для посторонних. А теперь ему дали гостевой билет (как я понял, в нашей литфондовской поликлинике, где он консультировал).

Я, с его согласия, налил ему бокал густого грузинского

вина, показал, где находятся Святые сени и Грановитая палата, и пожалел, что, наверное, закрыты терема Грозного.

Эдик поблагодарил и удалился, углубленный в себя и свою задачу.

Скажу честно, я долго не знал, что Эдуард Кандель — ученый с мировым именем. Он держался не то чтобы скромно, но очень просто, естественно. До трогательности. С людьми искусства, во всяком случае. Он представлял собой гораздо больше, чем многие из них, но нельзя было себе даже представить, чтобы он захотел дать это кому-нибудь понять. А может быть, он и сам не догадывался о своем превосходстве. Он много читал, обожал премьеры, просмотры, вернисажи. Он был глубоко интеллигентен. Я ни разу не слышал, чтобы он повысил голос. Его отличал истинный интерес к собеседнику. К любому. Кстати, это один из главных признаков интеллигентности. Он очень располагал к себе мягким добрым взглядом чуть выпуклых глаз. Он нравился женщинам. Возможно, причина крылась в неподдельном к ним внимании.

Его болезнь и уход задели меня странной поспешностью и несправедливостью. О нем хочется вспоминать, размышлять...

Сердце Василя Быкова

В нашей литературе последних десятилетий трудно назвать более очевидный пример писательского упорства, уверенности в своей правоте, в необходимости поведать людям то, о чем он знает, и так, как он этого хочет, чем пример Василя Быкова.

Одну за другой писал он свои бесстрашные книги («Круглянский мост», «Атаку с хода» и другие), а критика столь же последовательно находила в них частные удачи и коренные изъяны. Его словно испытывали на прочность. Быков продолжал свое. Но, по правде сказать, и поддержка была, да какая — Твардовский! Быков писал, Твардовский его печатал.

Мне после уже смерти Твардовского довелось среди прочих разного рода материалов Александра Трифоновича (я писал вступительное слово к одной из публикаций) прочесть краткий, на страничку, редакционный отзыв об очередной вещи Быкова. Отзыв восторженный и даже с оттенком нескрываемой зависти, в том смысле, что Быков видел войну как прямой ее участник, непосредственно из окопа, — «нижний ее слой», — написал Твардовский.

Начиная с «Сотникова», тон статей и рецензий переменился, автора начали хвалить столь же привычно, как прежде ругали, и даже за то же самое. Все переменилось, но усталость от многолетнего давления, вероятно, осталась.

История, которую сейчас рассказываю я, произошла в 1977 году в Болгарии. Мы давно не виделись, и я обрадовался, узнав, что мы в одной делегации.

В ту пору мы еще вели себя как будто мы молоды. Что делать — нам так казалось. Нам было едва за пятьдесят, и реанимационные отделения, как и прочие напасти, нас еще только ожидали. Об этом мы, разумеется, не думали.

Была зима, старый Пловдив, новые античные раскопки, только что построенный *французский* отель.

Наши номера оказались рядом. Утром он позвонил:

— Зайди ко мне!

— Лучше ты зайди!

Потом мы, вместе еще с Евгением Сидоровым, — я их познакомил накануне, — стояли у окна, смотрели на белый от снега город. Потом спустились завтракать.

Быков называл меня Алешей.

— Вася, прекрати, — говорил я. — Я не Алеша. Алеша из камня.

— Нет-нет, не спорь, ты — Алеша.

И даже фотокарточку свою подарил с надписью в таком роде.

Это было время, когда он перебирался на жительство в Минск. А до этого он долго жил в Гродно.

— Город Василя Быкова и Ольги Корбут, — сказал я как-то.

Он ответил, улыбнувшись:

— Я жил с ней в одном доме.

— Дом, надо полагать, не худший в городе.

— Хороший дом.

Дни, наполненные выступлениями и встречами, пролетели быстро. Завтра — в Софию.

Лег я не слишком поздно и тут же уснул. Меня разбудил мягкий телефонный звонок.

— Костя, ты спал? — спросил Быков.

Он секунду помедлил:

— У меня сердце останавливается.

— Не вздумай встать, — сказал я и посмотрел на часы. Было около часа.

...Вася сидел у раскрытого окна.

— Что же ты делаешь! — крикнул я так, будто испытал уже это все на себе. — Ложись немедленно.

Быков лег.

Я не знал, как позвонить портье, и бросился к лифту. Не успел я договорить, а дежурный уже вызывал неотложку.

В большом полуосвещенном вестибюле сидел Сидоров с молодыми болгарскими журналистами.

— Константин Яковлевич, идите к нам! — позвали они.

Я извинился и сказал:

— Женя, можно вас?

Неотложка приехала очень быстро. Начали измерять давление, выслушивать. Быков этим явно тяготился. Каким-то образом узнали о случившемся и стали заходить проведать еще наши — Гранин, Ахмадулина.

— Ну что? — спросил я врача.

— Мы вызвали кардиологов.

Прибыла новая служба. В комнате стало тесно. Сняли кардиограмму, еще одну. Объявили, что забирают больного в стационар, там обследуют более подробно. Быков запротестовал. Мы начали убеждать: надо. Он попробовал приподняться, но ему запретили — только на носилках. Он вновь было заупирался, но тут же сдался — ладно. Мы с Сидоровым поехали вместе с ним.

В обычный лифт носилки не помещались, спустились грузовым. Стояла глубокая ночь. В машине было холодно, Быкова укрыли двумя одеялами. Город был совершенно безлюден.

Подъехали к университетской клинике. Больничные здания старые, вроде наших Пироговских или Градских, зато медицинский уровень, как нам объяснили, тоже очень высокий.

Мы ждали в коридоре. Через полчаса объявили: надеются, что ничего серьезного нет, но оставят до завтра.

Когда мы попрощались с ним от дверей, Вася был расстроен, но он уже был занят и другим, своим, он уже переходил в иное качество, его уже переодевали.

На санитарной машине нас любезно довезли до гостиницы. Все уже спали. Около дежурного портье стоял только Камен Калчев, он ждал нас, чтобы узнать обо всем из первых рук.

Утром остальные уехали: им по дороге в Софию предстояли остановки и встречи в нескольких маленьких городках. Мы с Сидоровым остались.

После завтрака снова отправились в больницу. Быкова перевели на второй этаж в большую палату, где, кроме него, лежали еще только двое.

— Инфаркта нет, — сказал врач, — но пусть он побудет у нас денек-другой.

— А сейчас не отдадите?

— Еще нельзя. Посмотрите, он, кажется, спит.

Палатная стеклянная дверь была наполовину закрашена белилами, мы смотрели поверх. Быков тихо лежал на боку, потом пошевелился.

Я осторожно толкнул дверь, он повернул голову и увидел нас. «Ну что?» — на миг вспыхнуло в его взгляде.

— Вася, все в порядке, но сегодня не отпускают, обещают завтра. Вещи твои в номере, ключ в рецепции, внизу.

Он кивнул и прикрыл глаза.

— Как чувствуешь себя?

— Неплохо.

— Ну, Вася, пока, не скучай. До встречи.

Мы вышли, и Евгений Сидоров еще задержался у двери, глядя на Быкова поверх белой краски.

— Все нормально, — сказал врач и спросил меня: — Он известный писатель?

(Он произносил без смягчения: «нормално», «писател».)

— Конечно! — воскликнул я. — Василь Быков! Он всемирно известный писатель.

— Да, — сказал врач, — я знаю. Хотите увидеть его сердце? — И подвел меня к стоящему в коридоре монитору: — Он сюда подключен.

На темно-сером, почти черном экране ритмично вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла сильная голубая искра. Я смотрел, затаив дыхание. Это билось сердце Василя Быкова.

На другой день он уже был с нами в Софии.

«Пластинка должна быть хрипящей»

(о Владимире Соколове)

У него была прочная репутация истинного поэта.

На его похороны пришло много народу. Много — для Малого зала.

Когда он получил Российскую Пушкинскую премию, моло-

дая дикторша ТВ сообщила в последних известиях: «Премия присуждена писателю Саше Соколову...»

Я знал его фактически полвека, и достаточно хорошо. Жизнь его была трагической. Хочется написать о нем, — ведь о многом в его жизни никто, кроме меня, уже не напишет.

В послевоенном Литинституте он, пожалуй, единственный из нефронтовиков был признан всеми безоговорочно. Била в глаза его одухотворенность. Он был хорошенький. Как девочка. Лицо, правда, чуть желтоватого тона, без румянца.

Стихи его были очень серьезны, по-школьному трогательны:

Четвертый класс мы кончили в предгрозье,
Из пятого мы перешли в войну.

Где-то с «Первого снега» он начал меняться, оттаивать. Это поистине прелестное стихотворение о первой любви сразу сделалось известным. С каким умильным ликованием встречали его тогдашние слушатели и особенно слушательницы!

Он с радостью обнаруживает у себя обострившееся зренье:

На мокрых стенах ежатся газеты,
Им забегает за ворот вода.

Позднее эта предметность, развиваясь, вновь приобрела черты серьезности, точнее — тревожности:

Уже привозят снег на крышах
Вагоны дальних поездов.

Это было мне очень близко.

Еще в институте мы были явно расположены друг к другу. Но жизнь продолжала сводить и разводить, тасовать колоду. После окончания многие, даже те, у кого вышли первые книжки, оказались в растерянности. Время было неустоявшееся — не только вокруг, но и у каждого тоже. Володя поступил в аспирантуру. Правда, до диссертации дело не дошло. Дважды ездил зачем-то на Куйбышевгидрострой. Впрочем, никакие знания и впечатления не бывают лишними.

Мы долго не виделись, случайно столкнулись возле кинотеатра «Метрополь» (к слову, помните, там было два зала —

«Красный» и «Синий»?). Обрадовались. Володя пригласил заходить. Началась полоса нашего нового общения.

И вот что я хочу сказать. Иные читатели воспоминаний, и не только близкие родственники любимого персонажа, предпочитают видеть его портрет отретушированным. «Ах, зачем еще и это?..» Но тогда всякие мемуары теряют смысл. Перечитайте бесстрашные воспоминания Бунина, Ходасевича. Позволю себе напомнить слова, сказанные Горьким Ходасевичу после прослушивания его воспоминаний о Брюсове: «Жестоко вы написали, но — превосходно. Когда я помру, напишите, пожалуйста, обо мне...»

Думаю, что мои скромные записи как раз не жестоки. Просто я стремлюсь передать в них то, чему был свидетелем.

Стояла осень пятьдесят третьего, почти зима. Мы с Инной снимали комнату в Хоромном тупике, у Красных ворот. Володя с матерью и сестрой Мариной жил на Никольской (тогда 25 Октября) в бывшем «Славянском базаре». Их «номер» состоял из двух смежных комнат.

Когда мы пришли туда впервые, они втроем сидели за пустым столом. У матери было безразличное, отрешенное лицо. Я вынул из пальто бутылку. Они слегка оживились. Но не оказалось никакой закуски, и мы с Володей сбегали в продмаг на углу Большого Черкасского.

В доме ощущалась крайняя бедность. Мебель оставляла впечатление самодельной: тяжелый непокрытый стол, громоздкие стулья, а может, и лавки. Потом уже мне пришло в голову, что это могло быть былой стилизацией, — базар-то как-никак славянский. Однажды очень много выпили, и я вынужден был остаться у них ночевать. Инна была за городом, в Воскресенске, где у ее родителей жила тогда наша маленькая дочка. Я лег, вернее, рухнул на железную кровать во второй комнате. Утром обнаружил, что панцирную сетку заменяют едва оструганные доски, застеленные никогда не стиранной простынкой, а на подушке отсутствует наволочка. Однако война отошла еще не слишком далеко, и меня такие мелочи не смущали.

Когда же Володе нужно было в редакцию или на выступление, он надевал аккуратную рубашечку, вполне приличный костюмчик и делался будто бы жильцом не этого ковчега, а совсем другого дома, выглядел человеком из ухоженного, благополучного, устоявшегося мира.

И почти всякий раз, как мы входили к ним, они опять сидели втроем за пустым столом. «Будто ждут конца света», — сказала как-то Инна. Но они ждали другого — перемен. Вот входили мы или Алеша Фатьянов с Серегой Никитиным, или еще кто-то, и все действительно менялось. Не менялось только выражение лица его матери. Я ничего не знал о Володином отце и легкомысленно предполагал, что он оставил их, не вынеся ее неделушества. Лишь со временем выяснилось, что он был репрессирован, и я заново увидел лицо женщины, навсегда оглушенной горем.

Фатьянова, своего земляка, привел туда однокурсник Володи, Сережа Никитин, регулярно печатавшийся в ту пору способный рассказчик. Но ведь это были люди другой закалки. Светлов сказал однажды: «Фатьянову выпить два литра водки — все равно что мне помочиться в Черное море». Проникся к Соколову и Миша Луконин. Их дозы оказались губительными для нежного Володи, не прошедшего предварительной подготовки. Но он втянулся. А потом появился еще и Смеляков — после последнего своего четырехлетнего отсутствия. Но о нем позже. Был еще Додик — друг детства Соколова, маленький, трогательный. Володя впоследствии написал о нем: «Русский более, чем русский»... Его тоже нет, как и остальных названных.

Уже в последние годы Соколов рассказал мне, как однажды увидел идущего навстречу по тротуару Додика, и тот его увидел. Между ними было метров двадцать. Додик просиял, и вдруг лицо его исказилось страхом, он замахал на Володю обеими руками, повернулся и побежал от него, продолжая отмахиваться. Наверное, объяснил Соколов с особой своей снисходительно-грустной усмешкой, Додик понял, что заговори они друг с другом, и не обойдется без выпивки, а он, скорее всего, лечился, сделал себе «вшивку». Больше он Додика не видел, а о его смерти узнал стороной.

А тогда, давно, я часто бывал в доме на Никольской, и было приятно встречаться за столом с таким доброжелательным, всегда заинтересованным взглядом Володи Соколова. Все чаще просверкивали в его стихах по-настоящему задевающие строчки. Его безусловно одобряли люди, мнением которых он дорожил. Тогда он еще не был, как заяц собаками, затравлен похвалами.

Многое вспоминается. Вот он прямо с заседания бюро секции поэтов везет меня на такси в поликлинику Литфонда по

поводу неожиданно случившейся у меня почечной колики. Поликлиника еще в Лаврушинском, где он впоследствии будет жить с Марианной. Он то и дело спрашивает взволнованно: «Ну как, ничего?..» И наоборот: он жалуется в разговоре, что они с сестрой Мариной (не путать имена!) плохо себя чувствуют — слабость, вялость, — и Инна предлагает показаться ее отцу, опытному доктору, который заведует отделением в Воскресенской горбольнице, — туда более двух часов на паровике. Они приезжают, ночуют у нас. Причина недомогания обнаруживается и вскоре устраняется.

Или совсем другое. Шел я по Тверскому бульвару, нес в издательство «Советский писатель» рукопись новой книги. Издательство помещалось в Большом Гнездниковском. По дороге заглянул в редакцию недавно заново открытого журнала «Молодая гвардия», она располагалась во дворе нашего института, в административном здании. Главным редактором был тогда А. Макаров, а работали там мои приятели Е. Винокуров, Б. Бедный, А. Турков. Я зашел просто так, без всякого дела. В комнате у Винокурова сидел Соколов. Узнав, куда и с какой целью я направляюсь, Женя попросил одно из стихотворений посвятить ему. Володе эта идея тоже понравилась.

Я развязал папку:

— Выбирайте!..

Должен сказать, что Инна не одобряла, когда я посвящал стихи кому-либо. Особенно сердилась, если это были ее любимые стихи. Она считала, что я их этим порчу: необъяснимые посвящения вызывают недоумение у читателя, сбивают его с толку. Действительно, раньше ведь посвящений, не связанных с данным лицом, не было. Существовали только послания, обращения. В наши времена нет посвящений у Твардовского. Впрочем, все-таки есть два: «Сто двадцать третьей ордена Ленина дивизии посвящается» и «Танковому экипажу братьев Пухолевич». Зато у Окуджавы ими все испещрено, они пугают, как сыпь. Правда, и мне посвящено одно из лучших стихотворений, скорее крохотная поэма — «Жизнь охотника».

Итак, я предложил выбрать, и они выбрали. Они их уже знали. В 1956 году появилось два выпуска альманаха «Литературная Москва», вскоре жестоко разгромленного. В обеих книгах были мои стихи. Женя выбрал «Стучит по крыше монотонно», а Володя — вот это:

x x x

Вл. Соколову

Зимний лес! От края и до края
Он застыл смолистою стеной,
Сердце беспокойное смущая
Неправдоподобной тишиной.

Он меня гнетет своим величьем,
Полным отрешеньем от всего
И высокомерным безразличьем
К жизни за пределами его.

Будто нет веселого сиянья
Городов, затерянных вдали,
Будто нет ни счастья, ни страданья,
Будто нет вращения Земли.

Лишь порой взлетает ворон круто,
Потревожив царственную ель,
И бушует целую минуту
Маленькая тихая метель.
1955

Они оба ответили мне. Винокуров просто стихотворением «Марсиане», а Соколов, не сразу, тоже стихами о зимнем лесе:

x x x

К. Ваншенкину

Легко обремененный снегом,
Зеленый, постоянный бор
Возносит вровень с желтым небом
Свой пухом веющий убор.

На плавных вогнутых сугробах
Мерцают иглы и сучки,
А между елей густобровых
Проталин черные очки.

Иду сквозь эту колоннаду,
Прислушиваясь на ходу
К улегшемуся снегопаду.
Он слушает, как я иду.

Я здесь прямею и не трушу
Того, как даль вступает в близь,
Когда приструнивает душу
Сосна, настроенная ввысь.

Здесь, где сомнения нелепы,
Милы мне всплески зимних птах
И снега влажные прилепы
На бронзовеющих стволах.
1963

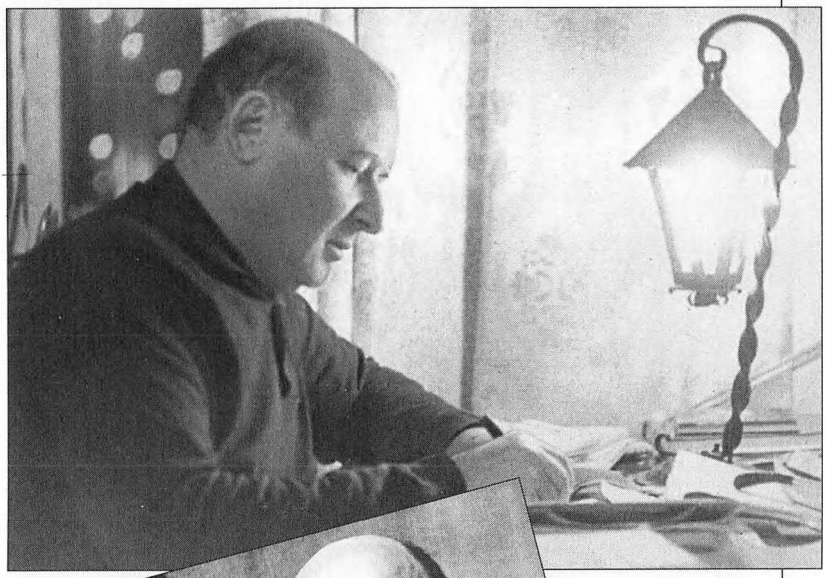
Году, кажется, в пятьдесят пятом он женился на жившей тогда в Москве болгарке Бубе. Уже много спустя после ее страшного конца, в бытность мою в Софии, зашел ко мне в гостиницу высокий большелицый поэт Божидар Божилов и за рюмкой «плиски» стал грустно говорить о том, что все русско-болгарские или болгаро-русские браки оказались неудачными. Он сам долго и мучительно был женат на москвичке. Я спросил: а как же Митя? Он ответил: это потому, что Наташа — болгарка. Речь шла о моем однокашнике Димитре Методиеве, женившемся на русской, но, как все здесь считали, с абсолютно болгарским характером. У них одних было все в порядке.

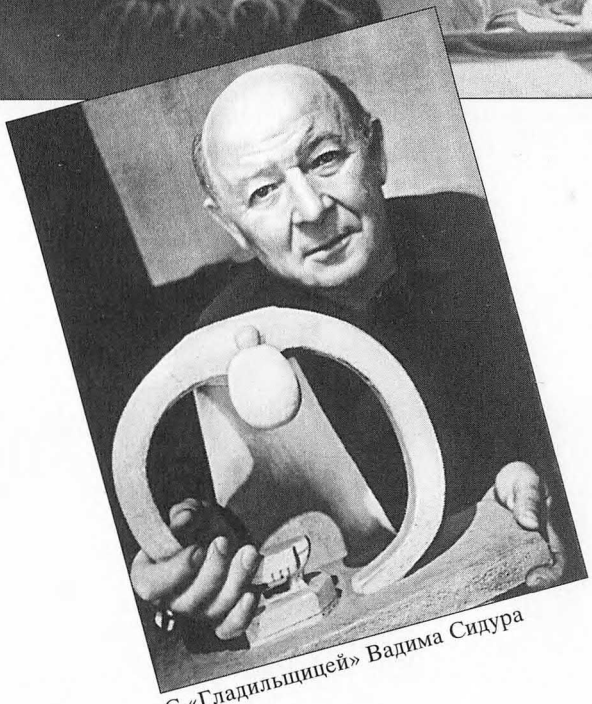
Сейчас я думаю, что ведь и государственный бурный роман между Союзом и Болгарией тоже в результате пошел наперекосяк.

В октябре 1957 года произошло заселение нового, отчасти писательского дома на Ломоносовском. Среди прочих получили квартиры и мы, и Володя с Бубой. У них пошли дети — Андрей, следом Снежана (уменьшительно — Снежка). Но образ жизни и быта остался прежний. Разве что не было той тяжеловесной мебели. По правде, вообще никакой.

Собирались чаще у них: во-первых, им не с кем было оставлять детей, а во-вторых, для остальных отсутствовало здесь сдерживающее или смущающее начало. Луконин с Галей (потом она уже была женой Евтушенко), живший в соседнем доме Смеляков, Майя Луговская... Отпал Алеша Фа-

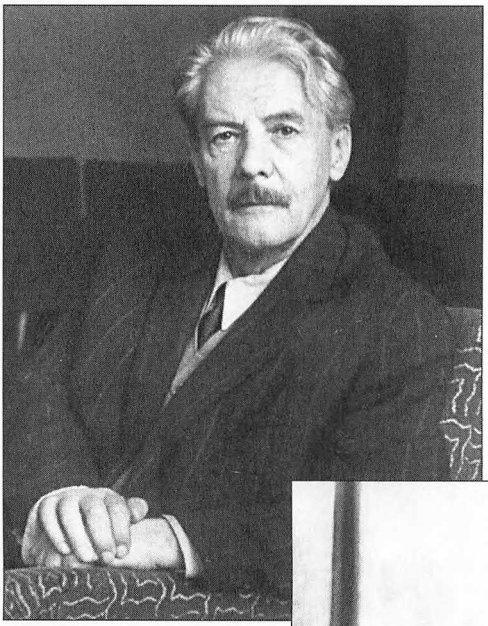
За прозой

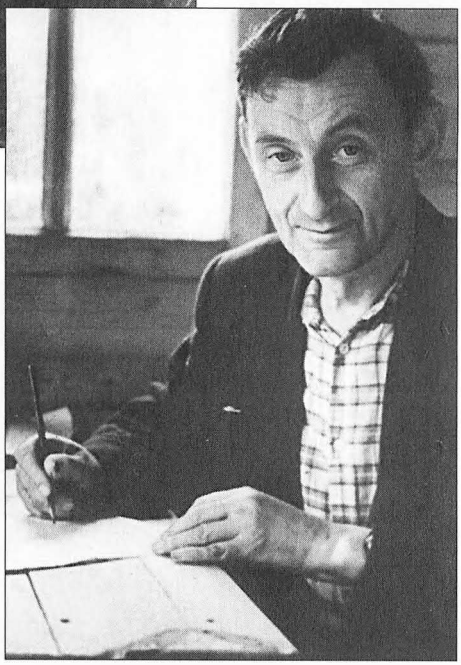




С «Гладильщицей» Вадима Сидура

М. Зенкевич – последний акмеист

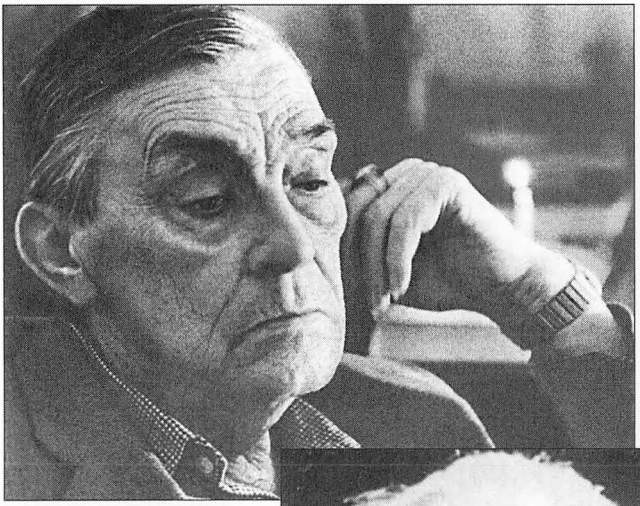


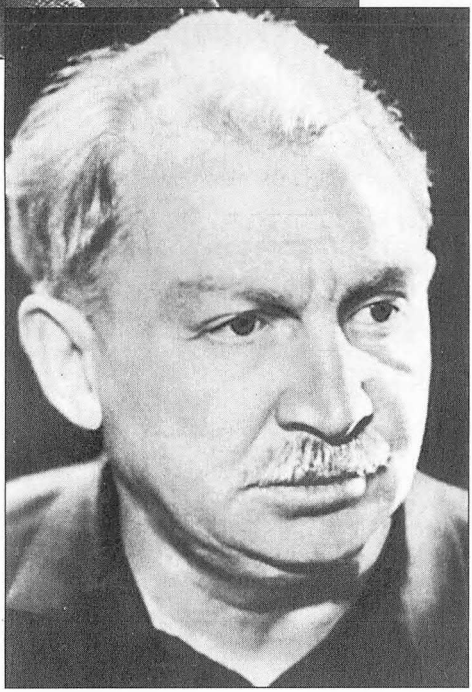


Мой недолгий сосед – С. Голицын

Четыре судьбы. И каждая по-своему трагична

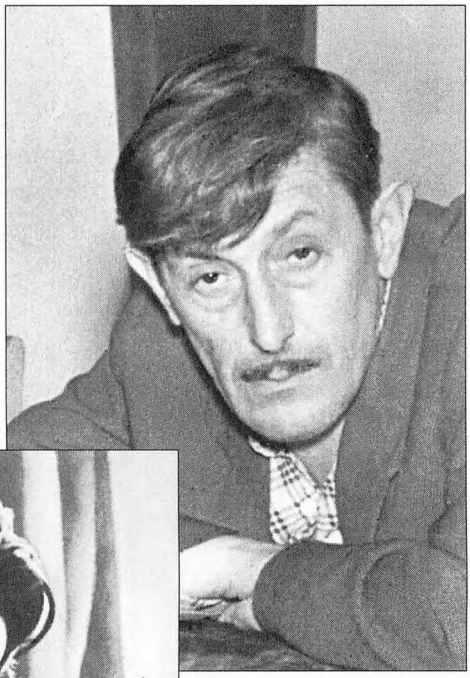
Арсений Тарковский

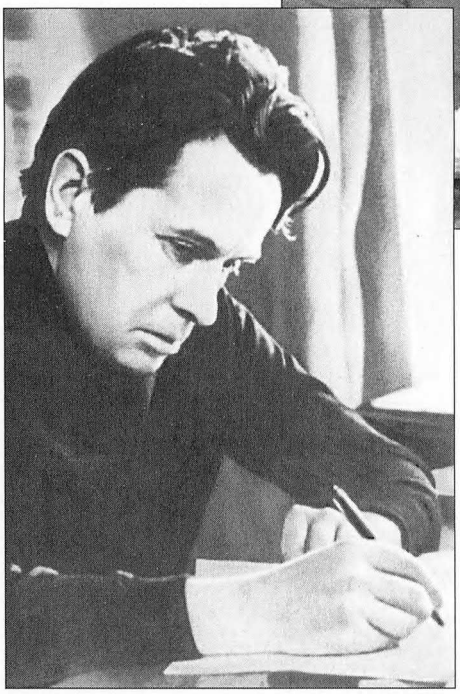




Борис Слуцкий

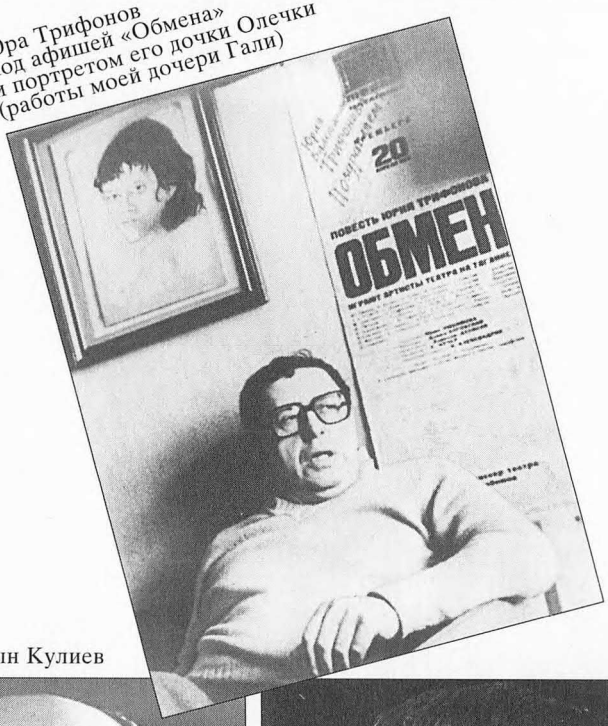
Вика Некрасов



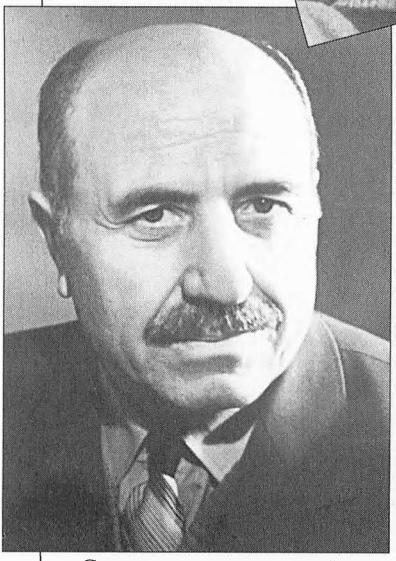


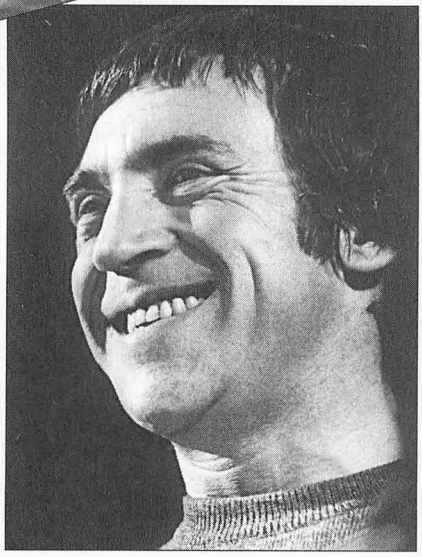
Федор Абрамов

Юра Трифонов
под афишей «Обмена»
и портретом его дочки Олечки
(работы моей дочери Гали)



Кайсын Кулиев





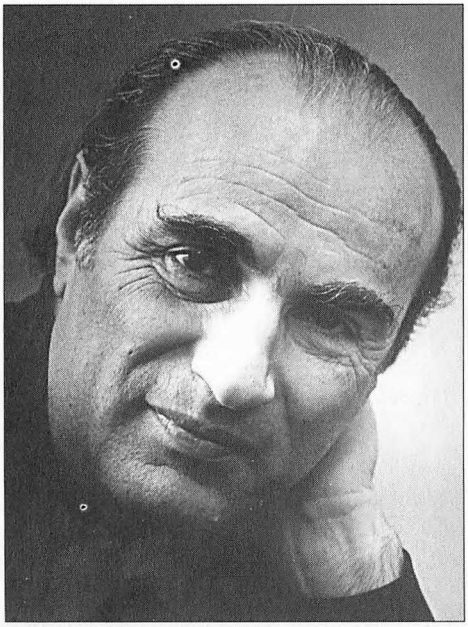
Сразу вспоминается кайсыновское «Володя! Сэдэравствуй!» и улыбка Высоцкого в ответ...

4 мая 1961 г. С только что слетавшим в космос Юрием Гагариным

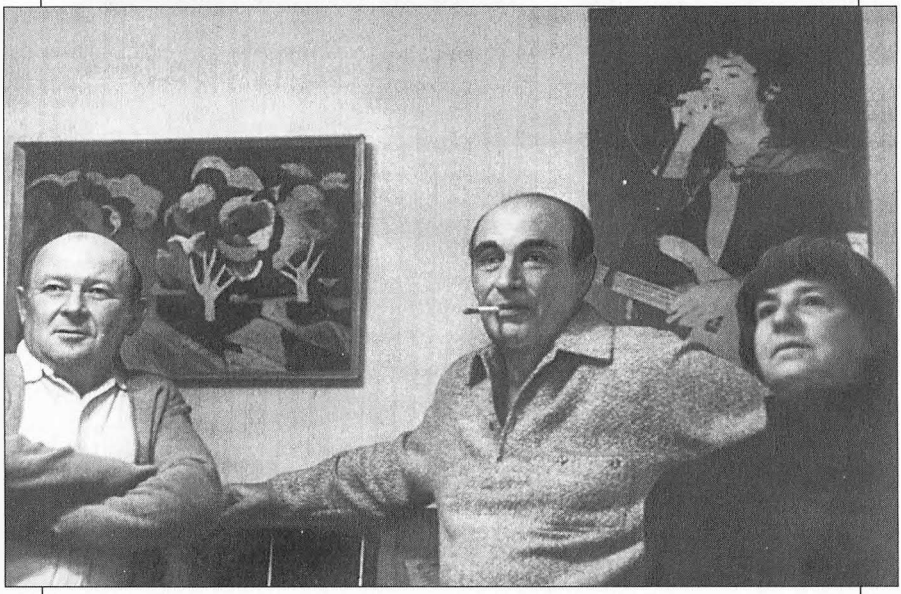
Мы с Эдиком Колмановским. Рука не поворачивается написать: «С Эдуардом»

Во Флоренции.
С Инной,
Р.Рождественским,
Аг.Гатовым

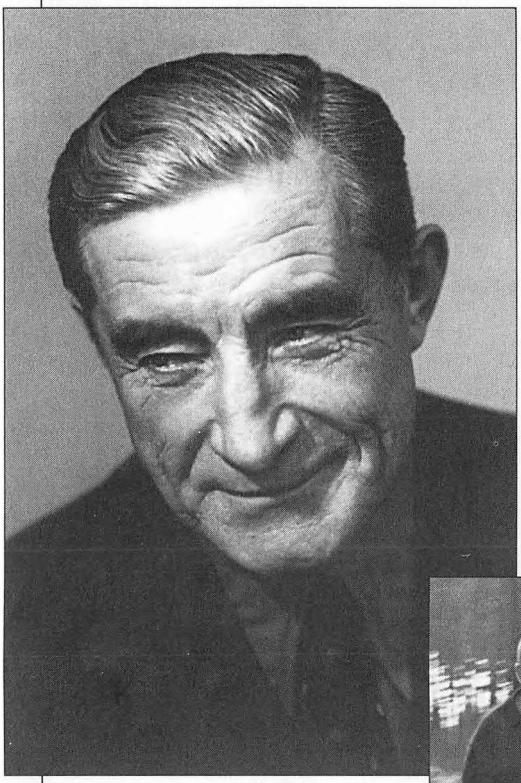
В Ялте. На палубе теплохода «Грузия». Я, Инна, капитан А.Гарагуля, Булат, В.Аксенов



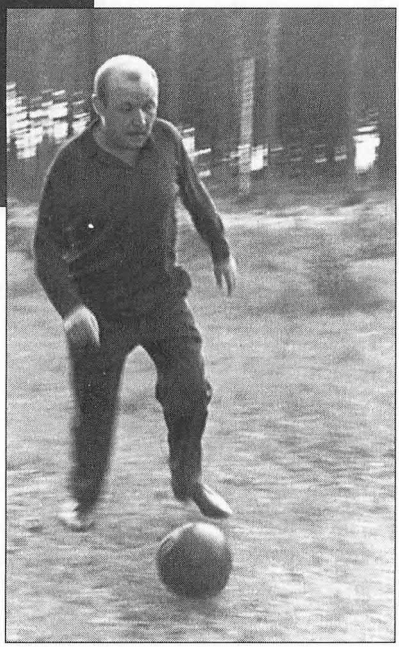
Толя Аграновский



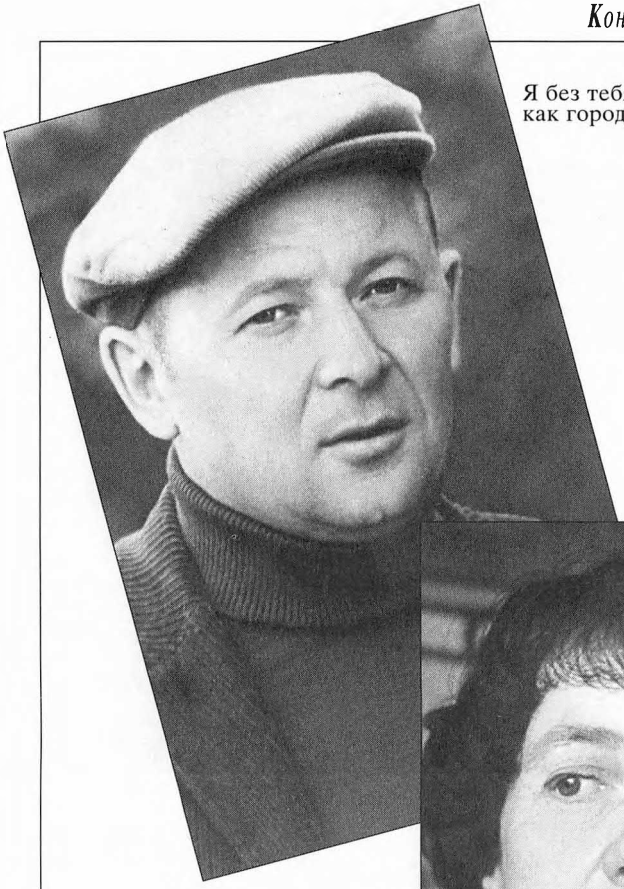
Мы общались домами, семьями



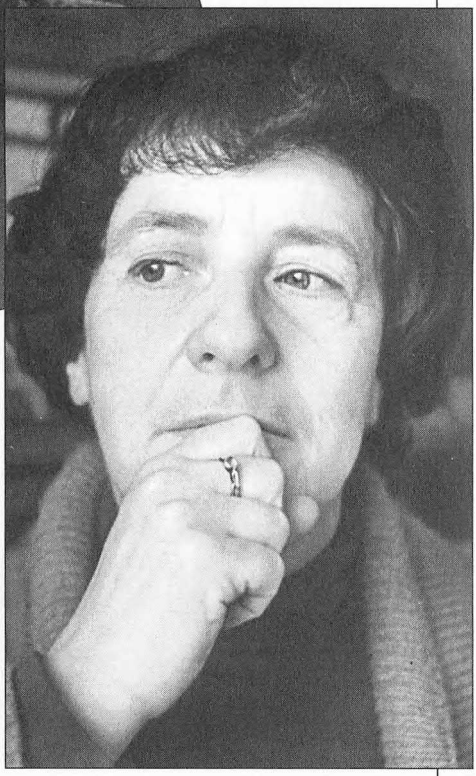
Кумир многих – Андрей Старостин



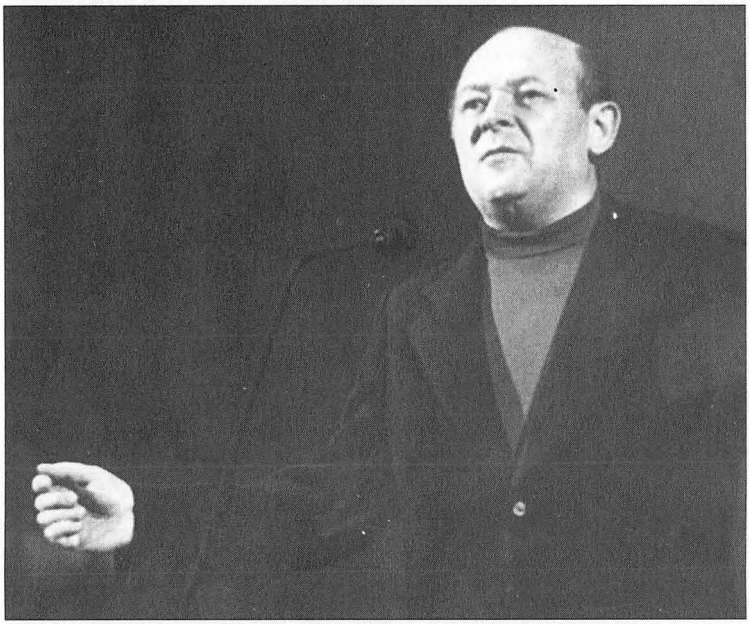
И мы тоже играли...

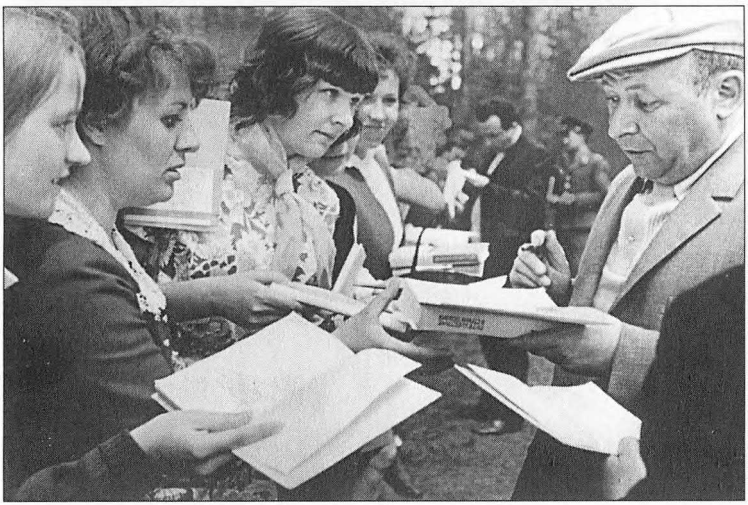


Я без тебя –
как город без реки...

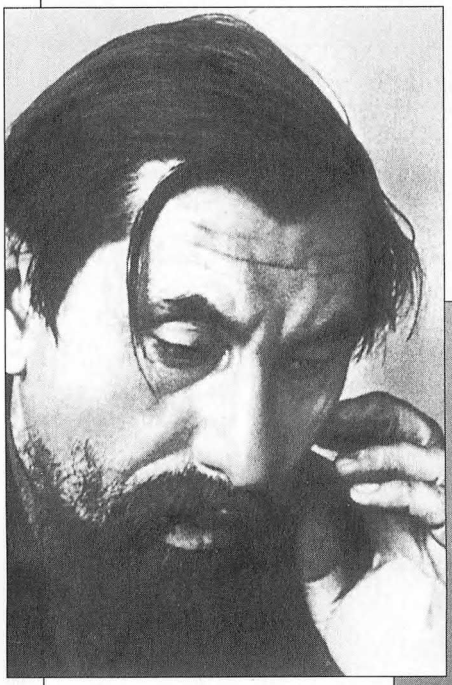


В Концертной студии «Останкино»





Читательницы и читатели



Все от мала до велика
звали Глазкова Коля.
Это было почти его
литературное имя

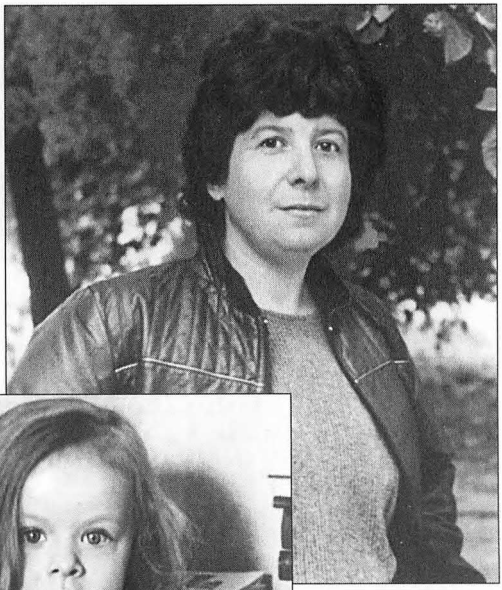
А вот Владимир Соколов был
Володей далеко не для всех

С фронтовыми друзьями (Б.Бурков, И.Шибанов)

Все как положено, только вместо финки – авторучка. Рисунок однополчанина Арк.Зайцева

У десантников

Я живу лишь из-за вас...



Дочь...

...и внучка

тьянов — ему было лень так далеко ездить, а вскоре его и не стало.

Однажды я шел к метро осенним холодным утром, после дождя. Возле трамвайной остановки внезапно увидел Володю и Бубу, безуспешно пытающихся подняться с земли. На мгновение показалось, что их сбило трамваем, но лишь на мгновение. Прохожие посматривали с ужасом.

Что дальше? Многим было известно, что Буба влюблена в Ярослава. Но ведь и Володя тоже! Он был покорен Смеляковым, его личностью, стихом, интонацией. Пастернаком — издалека, а Смеляков — вот он, рядом. Он и в Братск-то поехал под его влиянием, из желания подражать, придумал себе эту якобы органичную гражданственность. Но ведь и его кумир во многом тоже.

Как было сказано, я жил в том же доме. Но, собираясь писать это, еще раз расспросил свидетельниц случившегося — Ирину Ажаеву и Галю Евтушенко.

За день до этого Буба заночевала у Майи Луговской, и та обратила внимание на настойчивый интерес гостьи к балкону (этаж был высокий). Это так встревожило хозяйку, что та ни на минуту не прилегла.

В самый день Соколов уехал на работу, он служил секретарем секции поэтов. Дети были в Болгарии, у второй бабушки. Буба пошла к Смелякову, но жена его, Таня, не впустила ее. Ажаева обнаружила Бубу сидящей в подъезде с лифтершей. Пальто она оставила дома, ключи потеряла. Ирина забрала ее к себе, позвонила в поликлинику Литфонда, там предложили привезти больную, ибо сегодня будет опытный психиатр. Тогда она вызвала Галю и Межирова, чтобы те доставили Бубу в поликлинику на машине.

Галя приехала первой, выкупала Бубу в ванне, одела.

— Помните, Костя, — сказала мне сейчас Ирина, — у нее был такой костюм с широкой юбкой?.. — Я, понятно, не помнил, это сугубо женская острая и долгая наблюдательность.

Они уложили ее пока в соседней комнате, и она заснула (или притворилась?). Ира, зная о ночевке ее у Майи, встала на подоконник и закрепила створку еще и наверху.

Вскоре позвонил в дверь Межиров.

— Где она?

— В той комнате...

Он заглянул:

— Но ее здесь нет...

Они бросились, еще не веря. Покачивалась распахнутая створка окна. Это был шестой этаж.

А на третьем жил тогда Солоухин, и его маленькие девочки играли, сидя на широком подоконнике. Одна из них воскликнула:

— Ты видела, тетя Буба пролетела на парашюте?!

Ирина спустилась и накрыла ее простыней.

Володя сидел в клубном ресторане, и когда оргсекретарь В. Н. Ильин пытался намеками, а наконец и прямо что-то ему объяснить, только отворачивался и не хотел слушать. Долго до него не доходило.

Вечером позвонила Таня Смелякова и сказала, что Ярослав просит меня поехать с ней к Володе на Никольскую. Сам он не может. Она дала понять: боится. Мы поехали.

Володя лежал во второй комнате, там свет не горел, но дверь была открыта. Майя сидела рядом с кроватью, гладила его по голове.

В первой — мать с обычным опустошенным выражением лица, сестра Марина и все, кого я недавно упоминал. Потом я один шел по Никольской в сторону ГУМа. Была мерзейшая погода, летел крупный мокрый снег. Соответственным было и настроение. Я уже повернул направо, вниз, к Охотному, когда услыхал рядом знакомый голос. Не замечая меня, шли под руку Межиров и Галя Евтушенко. Саша что-то говорил. Я случайно расслышал два слова:

— Б-блоковская метель...

Я люблю многое у Соколова. Но особенно: «Первый снег», «Муравей», «Спасибо, музыка, за то», «Как я хочу, чтоб строчки эти», «Хотел бы я долгие годы», «Вдали от всех парнасов», «Вот мы с тобой и развенчаны», «Пластинка должна быть хрипящей», «Я устал от двадцатого века».

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек,
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек...

Вот вам и «тихая лирика»! Был такой шумно повторяемый термин, под который критики дружно загоняли Соколова.

От очаровательного «Первого снега» («Были танцы бальные/ В физкультурном зале») — к этому безжалостному позднему выводу. Но я совсем не склонен противопоставлять одно другому.

Конечно, каждый может выставить свой собственный список лучшего Соколова, либо согласиться с моим, либо его существенно дополнить. Суть не в этом. Суть в том, что Вл. Соколов — литературное имя, волнующий позывной в разнообразно шуршащем мире стихов, и все, кто настроен на эту волну, сразу живо на него откликаются. Соколову ни к чему, да и не к лицу ничего не значащие пошлые клички: «великий», или «выдающийся», или «классик», тем более что они несут в наши дни только обратный заряд. Я не знаю ни одного художника, кому бы они пошли на пользу.

Когда-то Рубцов назвал его в разговоре *дачным поэтом.* Вполне добродушно, с малой толикой иронии. Но в этой оценке есть и что-то пронзительное, тревожащее. Один из не стихающих мотивов Соколова. Сумерки, музыка, сад. Родные голоса. Мучающие предчувствия. Нет, его пластинка не была хрипящей. Нарочито хрипящей она была, скажем, у Слуцкого. Но тоже, конечно, не заигранной. Однако Соколов, ища новое, иногда пытался насильственно привлекать в стихи не свойственные ему прозаизмы:

Мы в Исторической библиотеке
С ним познакомились у картотеки.

Это, конечно, не настоящий Соколов. Почему же ему не говорили это?

Первым, кто привлек к нему всеобщий интерес, громко сказал о нем в печати, был Евтушенко, которого тогда слушали внимательно. И всю жизнь он не уставал восхищаться Володей Соколовым и прилетел на два дня хоронить его из Штатов, где читал лекции. Кожинов тоже сделал для Соколова очень много. Даже слишком. Он зажал его в угол и бил похвалами. За все. И других приохотил. В результате Соколова стали восхвалять наповал, вусмерть. А ведь Кожинов человек с поставленным вкусом.

В поэме «Сюжет», из которой я только что привел две строки, есть нечто фантасмагорическое, перекликающееся с «Моей Африкой» Б. Корнилова, есть замечательно точные строки (на-

пример, о живописи: «я не судья соседнему искусству» и др.), и уязвимость ее, думаю, не в затянутости и фактическом отсутствии *сюжета*. Нельзя, арендовав для росписи огромную стену, пытаться разрисовать ее маленькой школьной кисточкой. Соколов — лирик. Поэмы не были его сильной стороной. Так же как для Тютчева или Фета. Но ведь те их и не писали. Почему же никто не попытался ему это сказать? Он бы, полагаю, понял, даже — с облегчением.

Достаточно влиятельна у Соколова пастернаковская интонация. Перечитайте под этим углом зрения его стихи о зимнем лесе, ответно посвященные мне. Это типичный «переделкинский» Пастернак пятидесятых годов. Особенно со второй строфы. Только чуть смазанный. А вот более ранний:

Не падать, не плакать! В осеннюю слякоть
Врывается первого снега полет.
Капель начинает копейками звякать,
Считать свою мелочь и биться об лед.

У меня впечатление, что Соколов иногда сознательно испытывал потребность уступить стиху сильных любимых поэтов. Приехал в Братск позже Твардовского и принял его интонацию как деталь сибирского пейзажа.

Но Твардовский у него — случайность. Гораздо сильней близость к Смелякову.

Не в смысле каких деклараций,
не пафоса ради, ей-ей, —
мне хочется просто признаться,
что очень люблю лошадей.

(Смеляков)

И —

Я вовсе не божий угодник.
Но даже в немногих словах
Хочу я напомнить сегодня
О старых болгарских церквах.

(Соколов)

Не в размере дело — в интонации.

И опять же, без упрека, но с удивлением: как же все его доброжелательные критики не сказали ему этого, не предостерегли от привычного вывиха? Не посоветовали быть внимательней? От нежелания огорчить, от равнодушия, по недогляду?

Он уже не жил в нашем доме. Лишь изредка его можно было встретить во дворе, когда он заезжал к своим. Он обитал в однокомнатной квартире в Астраханском. О его тамошней жизни я знаю мало. А здесь остались мать, сестра, дети. Мать устроилась подсобной рабочей в магазин потребкооперации (позже — «Олень») поблизости, на Ленинском. Нас она не узнавала.

Он часами сидел в ресторане писательского Клуба — в Дубовом, но чаще в Пестром зале, окруженный стихотворцами помоложе и сверстниками. И те, и другие смотрели на него снизу вверх. Иногда в нем замечалась некоторая томность, порой он бывал утомителен, но реже, чем другие завсегдатаи. Клубящиеся вокруг принимали его всякого. Он был их воплощенной мечтой. Он мог кого-то оборвать, ему все прощалось: он был свой. Молодые, случалось, оказывались за одним столиком со Светловым, Смеляковым или Лукониным, но тех они слегка стеснялись, были скованы. С Соколовым — никогда.

У него выработалась такая, отчасти смеляковская, раздраженная гримаска: он, щурясь, морщился — от плохих стихов, от пошлых слов, от всякой нелепицы, ничтожности, безвкусицы. Он пропадал.

Нет сомнений в том, что его вытащила Марианна. Однажды, значительно позже, она рассказала нам с Инной, что не раз бывала когда-то на поэтических вечерах, где читал и Соколов, и он ей нравился, а через много лет снова попала на такую встречу и увидела падшего ангела.

Рядом с ней он очень изменился. Я, разумеется, то там, то здесь регулярно встречал Володю, привычно, большей частью бегло, общался с ним и вдруг обратил внимание на его прежний, заинтересованно обращенный к собеседнику взгляд, мягкость и доброжелательность. Однако что-то неуловимо жесткое осталось.

Мы несколько лет жили в соседних литфондовских коттеджах во Внукове. От Марианны веяло умиротворяющим спокойствием. Во всяком случае, наружным. Здесь же часто находилась ее мать — милая, интеллигентная Нина Петровна. Моя дочь Галя

сделала два ее карандашных портрета. У Володи давно уже и сильно болела нога, он ходил с замысловатой палкой. Дома стояли по сути в лесу. Аэродром был рядом, но самолеты досаждали меньше, чем в Переделкине. Я написал в ту пору:

Платочек брошкой заколов,
Ступает чинно Марианна,
Хромает рядом Соколов,
Восходят сосны из тумана.

День, как ни странно, без забот,
Свои вычерчивает знаки.
Шумит недальний самолет,
И слышен дальний лай собаки.

Однажды, остановившись на дорожке, мы чуть ли не впервые, неожиданно, к слову, заговорили о стихах и тогдашних стихотворцах — совершенно откровенно, с множеством имен и примеров, и, смеясь, удивлялись, насколько сходятся наши мнения и оценки.

Вл. Соколов — настоящий художник, и в момент раскола писательского союза, да и после, разные группировки вели борьбу за влияние на него, исходя из собственных интересов. Он предпочел заниматься своим делом.

Все-таки какой-то рок висел над Соколовым, и в счастливые его годы вдруг погиб нелепо его сын Андрей. Володя сам сказал мне об этом.

В 1985—1986 гг. я сделал на ТВ авторскую программу «Поиски себя». В большой заключительной передаче «Молодость поэтов» отснялись приглашенные мной Юлька Друнина и Володя Соколов. Трогательно они рассказали о первых шагах к Литинституту. И вот во время съемки режиссеру В. Ежову (его уже тоже нет) не понравился Володин пиджак. Знаете эти режиссерские причуды: не смотрится в кадре! Он попросил, чтобы я дал ему свой. Так и снялся Володя в моем сером пиджаке. Эта программа повторялась опять в последнюю его осень.

В начале 1996 года закончился фантастический ремонт ресторана ЦДЛ, изменивший его до неузнаваемости (кроме, слава Богу, олсуфьевского Дубового зала). Как бывает те-

перь в подобных случаях, устроили презентацию с фуршетом, — за счет фирмы, разумеется. Я решил пойти — общения бывают ныне так редки. И действительно, кое-кого повидал.

В полусветском отчете «Московского комсомольца» появился снимок и подпись к нему в духе их ненавязчивого юмора: «Константин Ваншенкин, Владимир Солоухин, Владимир Соколов. На троих». Ну, ладно.

А в самом конце года мы внезапно встретились на трехлетнем юбилее одного роскошного журнала. Не называю его, ибо не уверен, что он еще существует. Солоухин заметно скверно выглядел и сказал мне, что ему предлагают операцию, но он колеблется. А Соколов, наоборот, весь светился.

— Мы опять на троих, — вспомнил он улыбаясь.

И Марианна, всюду сопровождавшая его, на этот раз нашему чоканью почти не препятствовала.

В этот зимний вечер я последний раз видел живого Володю Соколова, — через месяц его не стало. Весной умер и Солоухин.

...Ну а пластинка? Должна ли она все-таки хрипеть? До какого-то момента — возможно. Но наступает время, когда она уже звучит ясно и внятно.

«Нам расставаться настала пора...»
(О Яне Френкеле)

С ним рядом невозможно было ходить. Половина улицы здоровалась с ним — чаще всего просто от неожиданности, увидав знакомое лицо. Он беспрерывно отвечал — вежливо и благосклонно. Другие, уже миновав его, чувствовали по общему оживлению, что ими что-то упущено, спрашивали, оборачивались. Не замечали его лишь наиболее углубленные в себя или те, кто вообще ничего не замечает.

Когда он заходил в какой-либо магазин — это случалось не столь часто, — обязательно находились желающие пропустить его вне очереди. На Центральном рынке с него не раз отказывались брать деньги. Он мягко, с улыбкой убеждал.

Что это было? Любовь? Слава?

Буквально каждый день я ловлю себя на том, что до сих пор не могу поверить в его уход, и безжалостно понимаю, что с этим никогда невозможно будет смириться.

Для меня окончился огромный временной отрезок — с того счастливого дня, когда он телефонным звонком буквально из небытия возник в моей жизни. Это было так давно, что сочетание двух этих слов — Ян Френкель — мне ни о чем тогда не сказало. Его фактически никто не знал.

Правда, я был уже предупрежден моим однокашником Рамазом Мчедлидзе. Он и сообщил, что есть такой композитор, его друг, написавший музыку на мои стихи.

Но цель звонка была еще и в ином.

— Он тебе скоро позвонит, так ты будь с ним, пожалуйста, повнимательней, помягче, — попросил Рамаз, — а то он такой деликатный, робкий...

Я обещал.

Композитор позвонил месяца через два, и мы договорились встретиться в Доме литераторов, где всегда можно найти свободный инструмент. Я стоял против входа и ждал робкого Френкеля.

Он вошел, спросил меня, и я был поражен его ростом, живым взглядом и густыми, поистине гренадерскими усами. Тогда они у него торчали совершенно горизонтально, по-кавалерийски.

Он мне понравился. Но еще важнее — очень понравилась музыка. Песня «Солдаты».

Я был к тому времени автором одной песни, но зато она звучала со всех подмостков, гремела из всех рупоров от Бреста до Курил, да и за границы перехлестывала.

Мне, понятно, хотелось и следующей.

Мы не стали тут же отмечать наше знакомство, он оставил свой телефон и сдержанно попрощался.

Увиделись снова через несколько дней, и так получилось, что в течение почти трех десятилетий мы общались беспрерывно, просто как близкие друзья, а не только как соавторы.

Он был высок, элегантен, красив. Одет тщательнейшим образом. У него всегда были прекрасные платки, сигареты, зажигалки.

Многие думают, что жизнь его сложилась легко. Как раз наоборот: у него была трудная жизнь. Длительная болезнь в детстве, прерываемая учеба, скитания по школам-санаториям. Но упорные занятия музыкой. Он учился в Киевской консерватории по классу скрипки. Потом война. Он был нестроевой, но пошел работать во фронтовые кочевые ансамбли. Фронтовые бригады, понятно, были разные. Одно — приезжает Русланова, Шульженко или Утесов, и другое — безвестные актеры. Но ведь тоже артисты, и тоже прием был теплейший, только ниже рангом. О тех временах Ян всегда вспоминал с умилением, — бывший юный долговязый скрипач.

А затем послевоенные голодные годы, женитьба, нужда.

Многие отмечают, что он прекрасно знал и чувствовал оркестр. Причина и в том, что после войны он работал корректором в комбинате музыкального фонда. Через его руки, нота к ноте, прошло множество самых замечательных партитур. Он стал прекрасным оркестровщиком. Наши классики приглашали его наперебой. Позже, когда он начал писать песни сам, они этим были даже как бы слегка обижены, задеты.

Но на одни оркестровки не проживешь. И по вечерам он играл в оркестрах. Главным образом в ресторанах.

Я тогда, в сорок девятом — в пятидесятом, ухаживал за сво-

ей будущей женой, и мы облюбовали ресторан «Нева» — на Пушкинской улице, рядом с проездом Художественного.

Узкий длинный зал, небольшие столики, оркестрик. Там играл в ту пору Ян. Каюсь, я его не запомнил.

Но запомнил трех корифеев, Яншина, Грибова и Станицына, заходивших перед спектаклем принять допинг, — вряд ли по системе Станиславского.

Другой бы рассказал, я бы, может, не поверил, но сам видел, и Ян потом подтвердил, а главное, впоследствии — и один из столпов. Он объяснил мне предельно просто: репертуар был такой, что без этого играть было бы невозможно.

Это, как говорится, к слову.

Его житье-бытье вместе с женой Наташей и дочкой Ниной проистекало тогда в крохотной комнатенке огромной коммунальной квартиры. Уезжая оттуда, они потом взяли с собой только портрет Бетховена и старинную черную куклу-пупса. Рояль был не свой — прокатный. А теснота чудовищная.

Однако в этой комнатушке на Трубной любили бывать многие известные тогда люди: первые космонавты, кинорежиссеры, артисты. Не раз появлялся там и мой друг Марк Бернес, с которым я познакомил и свел Яна. То есть они и раньше были знакомы, но так: «Привет!» — «Привет!» — а тут сблизились, что имело и немалые художественные последствия.

Здесь же рождались одна за другой удивительные песни Яна Френкеля, рвались из-под его пальцев прелестные мелодии.

Квартира, повторю, была колоссальная — старинный дом — и, как бывает в таких ситуациях, свои отношения и группировки. В одном квартира сходилась полностью: в поддержке своего композитора. А вскоре он ощутил любовь и поддержку не только соседей, но и широчайшей публики. Да что там публики, без преувеличения — народа.

Нашу первую совместную песню мы решили предложить Бернесу. И он взял ее, хотя был строг и привередлив бесконечно. Дружеские отношения никакой силы здесь не имели.

Однако *пробить* песню оказалось не так просто.

В земле солдат намного больше,
Чем на земле.

В этих и последующих строчках усмотрели пацифизм, дело дошло до высоких сфер, нас без устали поддерживал работавший в ЦК Игорь Черноуцан, и наконец песню записали. Но все равно давали ее в эфир крайне редко.

А следующие свои стихи для песни я уже сам отдал Яну. Они и написаны-то были как бы имея в виду песню, с рефреном.

Он очень скоро позвонил мне. Сочинил!

Должен сказать, что я не знаю композиторов, которые бы не исполняли новые песни своим соавторам по телефону. Ждать же невтерпеж! Положит трубку на крышку рояля. Слышно? Порой почти и не слышно, но ничего, слова-то ведь знаешь.

Но у Яна не было телефона в комнате, только общий, на стене, в коридоре. Он напевал без аккомпанемента, прикрывая трубку ладонью, смущаясь и почти замолкая, когда мимо кто-нибудь проходил.

— Слышно?..

— Слышно, слышно, давай.

Помню, как мы опять идем к Бернесу — по Цветному бульвару, потом направо, вверх по Садовой. Как Ян вынимает клавир, садится к пианино, кашляет, волнуясь.

Лунный свет над равниной рассеян...

Марк сразу воодушевился, начал подпевать, попросил повторить:

— Еще, еще! — и закричал: — Лиля! Иди послушай!..

Он уже включил на полные обороты свое безошибочное бернесовское чутье, и оно ему выбрасывало положительный результат.

— Ну и хорошо, — сказал Ян с облегчением. — Я на всякий случай договорился с Валей Козловым. В четверг запишем...

Валентин Козлов был главным редактором передачи «С добрым утром».

— Как «запишем»? — вскричал Марк. — Ребята, да вы что! Разве можно так обращаться с песней? Дайте мне к ней привыкнуть, побыть с ней, пожить... — Он даже сказал: поспать.

И ведь не дали. Маховик уже крутился. Записали в четверг. В воскресенье она уже звучала. Потом он еще не раз переписывал ее. Однако, как это случается в искусстве, лучшей оказалась именно первая запись.

«Я спешу» имела грандиозный успех. Исполняли ее чуть ли не все — и певцы, и певицы. Марк терпел стоически — не привыкать. Обиделся только раз — когда песню записала Шульженко, позвонил, начал выяснять отношения: «Это же моя песня!..»

Как бы там ни было, она на долгие годы стала одной из фирменных песен Бернеса.

И еще, пожалуй, стоит рассказать об одной нашей совместной с Яном песне из тех давних времен — тоже еще на Трубной.

Режиссер Павел Любимов пригласил Френкеля написать музыку к фильму «Женщины», Ян в свою очередь предложил в качестве автора стихов для песен — меня. Собрались. Режиссер начал рассказывать сюжет. Это всегда лучше, чем самому читать сценарий, меньше разочарований. Среди прочего бегло промелькнули проводы в армию, на войну. Я спросил, где это будет происходить. Снимать собирались в Ярославле.

Потом, поздним вечером, я сел в такси, и вдруг у меня закрутилось:

Слышишь, тревожные дуют ветра.
Нам расставаться настала пора.
Кружится, кружится...

И дальше, дальше... Пока доехал — почти сочинил, бросился записывать. Через день уже продиктовал Яну по телефону. И на той же неделе он звонит:

— Приезжай...

Тут я хочу объяснить, что это не обязательно так песни пишутся: раз — и готово. Чтобы не осталось у читателя такого впечатления. Иные стихи сочиняются годами, да и композиторы их по столько же мурыжат. Однако история подтверждает: многие известнейшие песни рождались буквально сразу.

Итак, Ян говорит:

— Приезжай.

Я ему:

— Да ты опять, как в тот раз, по телефону.

А он:

— Нет, нужно приехать, сам услышишь.

Это он хотел не только спеть, но и обязательно сыграть самый *вальсок*.

Все вроде получилось, но тут он мне намекает, что режиссе-

ру эта песня что-то не очень... Он просил ее заменить. Однако Ян уперся: нет, это главная музыкальная тема картины. Тот сдался, но вторую нашу песенку не пропустил. А зря! И вот что интересно: вышел фильм, другие песни (не на мои слова) звучат, а эта — нет. Лет десять она раскручивалась. Зато и раскрутилась. И так бывает — написали вмиг, а зазвучала повсеместно, когда мы и сами-то о ней почти забыли.

Последняя наша с ним общая передача на телевидении называлась строчкой из этой песни: «Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь». Я сам писал ее сценарий. Сейчас скорее подошло бы: «Нам расставаться настала пора». Да что там расставаться! Расстаться.

Перед передачей из уведомления диктора большинство людей и узнало о его смерти. Центральные газеты сообщили об этом позже. Передача снималась, наверное, за год до того, но многие утверждали потом, что он уже выглядел больным — особенно глаза. Скорее всего, им это казалось, — ведь они уже знали.

Когда он только появился в искусстве, некоторые его коллеги начали остервенело цепляться к каждой его новой песне, к каждой ноте. Тяжело им давался его успех. Они действовали безбоязненно: знали — он не будет отвечать, мстить, сводить счеты. Ничего у них не получилось. Иные усердные критики, особенно поначалу, обвиняли его в легковесности за то, что он писал не только песни, но и песенки. Однако, замечу, какие песенки! — «Текстильный городок», «Ну что тебе сказать про Сахалин», «Сколько видано», «Ветер северный»... В них своя особенная прелесть, безупречное ощущение жанра и времени. Их не только пели всюду, они и остались, запомнились.

А такие его песни, как «Август» или «Калина красная», — вторую из них маститый музыкант искренне принял за народную.

На вечере памяти Френкеля в Колонном зале Родион Щедрин рассказал, что недавно закончил большую работу для японского оркестра. Там есть партия для мужского голоса. Японцы устроили как бы конкурс исполнителей. Щедрин прослушал примерно десять певцов. Восемь из них пришли показываться с «Русским полем». Это по поводу популярности.

Мало кто знает и догадывается, что слова «Русского поля» Инна Гофф написала на предложенную Яном готовую мелодию. Стоило ей написать, к примеру: «Море. Черное море»... или: «Платье. Красное платье»... — и все, никакого русского поля и тонкого колоска не было бы.

Интересная подробность: Френкель чуть не погубил эту песню, легкомысленно отдав ее в фильм «Новые приключения неуловимых», где ее (не целиком) поет белый офицер.

Когда песня начала набирать высоту, недоброжелатели зашумели:

— Как? Слушать без конца песню белогвардейца?..

Но не вышло, «Русское поле» перевесило, пересилило.

Похожий случай был до войны, в «Большой жизни». Там «Спят курганы темные» поет вредитель. Но сделано это было сознательно. Идея: вот как коварно маскируется враг.

В картине пел песню артист Масоха. Потом, на пластинках и по радио, ее раскрутил Бернес.

Ну и раз опять о нем зашла речь, то, конечно, — «Журавли». Выдающийся результат художественной дальновидности Бернеса. Это он нашел стихи Расула, он заставил переводчика Н. Гребнева переделать целые строфы, и, наконец, он заказал музыку именно Яну.

Символично — эта песня оказалась последней, прощальной песней Бернеса.

Лето шестьдесят девятого. Помню, мы вдвоем навещаем Марка. Идем по территории Кунцевской больницы. Ян говорит:

— Смотри!

Навстречу медленно движется неказистый «москвичок», рядом с водителем — Молотов. Я так засмотрелся, что не заметил — кто за рулем.

Марк совсем плохой. Разговаривает с нами, потом вдруг отключается, почти забывает, кто мы. Но то и дело возвращается к «Журавлям», ему кажется, что он должен над ними еще поработать. А ведь спел — без слез невозможно слушать...

А ровно через двадцать лет Ян смотрит из больничного окна, как я подъезжаю, машет. Я поднимаюсь, а он уже вышел к лифту, глаза живые и руку жмет крепко. Я не видел его около месяца. Ну что, похудел немного. И говорит тихо, голос садится. Врачи утверждают — трахеит. Если бы! В одноместной своей палате он вдруг говорит:

— Я на минутку прилягу?.. — и лежит несколько минут.

Мы продолжаем болтать о разных разностях, он снова садится. Потом я везу его в такси к нему домой — полулегальный воскресный побег на три-четыре часа.

И опять же — в подъезде перед лифтом несколько ступенек, он просит подождать и собирается с силами.

Наташа уже накрыла у него в кабинете, она знает, что я люблю. Ян, понятно, не пьет, но ест с видимым удовольствием.

— Костя, хорошо все-таки дома, — говорит он, вздохнув.

— Еще бы.

Я спрашиваю, когда снова навестить его в больнице. Он отвечает: не стоит, он ведь скоро выписывается. Они же собираются в Юрмалу.

Я говорю:

— Мы молимся за тебя.

Он благодарит — очень серьезно.

А еще через две недели позвонила Наташа моей дочери — я был за городом — и сказала: Ян просит, чтобы я приехал.

Галя передала — и меня как ударило накопившимся предчувствием. Наутро поехал, и, как увидел его, сразу понял: он звал меня попрощаться. Прибыли его дочь Нина с мужем Эрнесто, а внук Яник обещал, что на Рижском взморье будет бегать с дедом трусцой вокруг дома. За столом Ян говорил с трудом, вернее, молчал, ничего не ел. Внезапно он поднялся:

— Извини, Костя, — и вышел.

Наташа сказала, что ему, наверное, плохо, и не нужно к нему заходить. Но я пошел в спальню. Ян лежал на спине. Он опять извинился за свой уход. Я положил ладонь на его руку:

— Все будет в порядке, Ян. А то, что голос пока не звучит, так будешь ближе держаться к микрофону.

Он улыбнулся:

— Я буду применять более сильную аппаратуру...

Мы не говорили никаких прямых слов, но это было наше прощание.

В доме стояла тишина, и лишь на лестницу вслед за мной выскочила рыдающая Нина.

Умер Ян в Риге. Хоронили его в Москве, панихида — в Доме композиторов. Было множество цветов и народа. Над гробом звучали «Журавли» в его исполнении.

Всех вас, кого оставил на земле, —

плыл над ним его собственный голос.

А на кладбище опять «Журавли» — теперь это был уже голос Бернеса. Никогда не мог предположить Ян, что его положат на Новодевичьем.

Обширные столы поминок были накрыты в ресторане ВТО.

Боже мой, сколько раз я бывал здесь — и с Яном, и с Бернесом, и с Галичем, и с Андреем Старостиным, — и с кем я здесь только не бывал. А сейчас собрались люди, очень тесно связанные с Яном на протяжении бесчисленных лет: и певцы, и певицы, исполнявшие когда-то его ранние песни, и редакторы радио и грампластинок, и коллеги, нежно или не слишком любившие его. Случайных личностей, без которых обычно не обходятся людные поминки, почти не было. И речи звучали все более растроганные.

И уже в конце поднялся сидевший рядом со мной другой мой близкий друг, Эдуард Колмановский, и, предупредив, что из всех присутствующих хочет обратиться только к композиторам, предложил выпить за одного из них, но за кого — неизвестно. И объяснил: когда умер Бетховен, его друзья-музыканты собрались в трактире помянуть его и один из них предложил выпить за того, кто первым из присутствующих уйдет из этого мира и сможет поведать Бетховену, как они скорбят о нем. Через год скончался именно предложивший это. Им оказался Шуберт.

— От нас ушел Ян, — продолжал Эдик своим размеренным голосом. — Смерть неминуема. Так выпьем за следующего, который расскажет Яну, как мы его любили...

И сел в полной тишине. Никто не выпил. Но к нашему столу подошел Никита Богословский, совсем недавно потерявший жену Наташу, обнял Эдика за плечи и сказал со слезами на глазах:

— Спасибо, что ты выпил за меня...

Через полгода все здание ВТО выгорело изнутри. Нет и знаменитого ресторана. Какой-то булгаковский сюжет...

Когда-то приятель Яна, генеральный директор рижского ВЭФа Олег Линев (его тоже уже нет), предложил нам приобрести (за наличный расчет, разумеется) только что пошедшие в производство телефоны «Elta» с электронной памятью на 32 абонента. Мы приобрели, аппараты нам установили.

Позвонил Ян:

— Я под первым номером закодировал твой телефон...

— А я твой...

Действительно, когда он бывал в Москве, дня не проходило, чтобы мы не перезвонились. Он имел обыкновение звонить и из поездок, иногда ночью, порой из неведомой дали. Он летал и ездил без конца — от комсомола, от армии, от радио, —

от кого только он не ездил! Часто поначалу его сопровождали Танич или Шаферан. А я в дороге обычно встречался с ним только случайно. В Крыму, где весь май лили холодные дожди, и мы сочинили песенку «Нелетная погода». Или в Казахстане, на декаде литературы и искусств. Два полных самолета гостей — писателей, артистов, композиторов. Лемешев, Б. Андреев, Соловьев-Седой, Мордвинов, тогдашние молодые женщины-кинозвезды. Всех не упомнишь. Наша бригада попала в Караганду, и после длинного вечера в театре мы едем в гостиницу в маленьком автобусе, останавливаемся в темноте, и местные друзья Роберта Рождественского приносят гитару. А потом в номере у Яна Саша Галич (он в киноделегации) поет чуть не до утра свои песни — все, что были у него в ту пору в наличии.

Когда-то мы с Яном ходили часто на футбол, нас всегда объединяли и наши спортивные пристрастия. А многолетний директор ЦДЛ Б. М. Филиппов, видя нас вдвоем в Клубе, за столиком, всегда шутливо грозил пальцем: понимаю, мол, почему вы вместе... Он имел в виду, что скоро появится наша новая песня. Но нет, нас давно уже объединяло не только это. Кое-что, разумеется, мы и сочинили, вернее, Ян написал на мои стихи. И более всего любили мы наши не самые известные вещи, а песенки романсового типа: «Тополя», «Метелинки», «Обучаю игре на гитаре». Мне дороже из этой группы была песенка «Роман», ему романс «Тропка уходит»...

Долгие годы Френкель был в музыке, что называется, вольным стрелком. И вдруг в 1979 году его избирают секретарем Союза композиторов РСФСР. Родион Щедрин пригласил его стать своим первым заместителем. Трудно представить более удачный выбор, более точный ход.

Ян, с его известностью и мягким обаянием, посещая официальные инстанции, сделал немало доброго для своих коллег, выбивая квартиры, автомашины или места в больницах. Он был естественно доброжелателен по отношению и к активным молодым, и к безвестным старичкам в искусстве, с которыми он всегда останавливался, обменивался словцом и рукопожатием.

Ну и, конечно, поездки. Все эти запланированные выездные пленумы и фестивали. И публика, и начальство на местах бывали вполне удовлетворены его присутствием.

А как он пел — не чинясь, не отказываясь, с удовольствием. У него был свой собственный не только почерк, но и фир-

менный голос, сердечный, доверительный, предельно демократичный.

Однажды, пребывая в поисках исполнителя для нашей песни «Городской мотив» («Два точеных каблучка»), Э. Колмановский признался мне, что никто бы не спел ее лучше, чем Ян, и даже хотел обратиться к нему с такой просьбой. Записали эту песню А. Миронов, В. Трошин, кто-то еще. Тоже неплохо.

Ян Френкель был народным артистом: сперва РСФСР, а в конце жизни — СССР. Он был действительно народным и именно артистом. Очень многие считают, что никто не исполнял его песни лучше, чем он сам. Впоследствии один из могикан фирмы «Мелодия» В. Рыжиков пригласил меня принять участие в подготовке двух больших дисков с подзаголовком: «Ян Френкель поет свои песни».

Он был очень наблюдателен, прекрасно рассказывал, мимоходом, порой намеком изображал, показывал своих персонажей. Всегда это было у него как-то к месту.

Сам он никогда не капризничал в поездках и уважал это качество в других, прежде всего в больших артистах. Помню его давнишний рассказ со слов Ростроповича (Ян называл его Славой). В хрущевские еще времена, когда у Ростроповича было все в порядке, практиковались концерты мастеров искусств на целине. И вот пестрая бригада — певцы, танцоры, разговорный жанр и прочие, Ростропович в их числе — выступала на огромном крытом току. Роялей, разумеется, нигде там не было, и ему постоянно аккомпанировал хороший аккордеонист. Это нормально. И вот играет Ростропович и видит, между прочим, что из глубины тока медленно, ища, куда поставить ногу среди сидящих на земле людей, направляется явно к нему здоровенный малый. Вот он приближается, вот совсем рядом. Ростропович втянул голову в плечи, не зная, чего ждать.

Наконец тот подошел вплотную и, положив ручищу на гриф виолончели, попросил доверительно:

— Друг, помолчи, дай аккордеон послушать...

В рассказе Яна — и этот парень, и великий артист, и вся обстановка.

Во время работы первого Съезда народных депутатов Ян неожиданно спросил:

— Правда, симпатичная Евдокия Гаер?

— Конечно, — согласился я, — там и другие есть достойные люди.

— Я за нее голосовал, — объяснил Френкель. Во время выборов он как раз был на Дальнем Востоке.

Он очень любил бывать у нас за городом, обожал застолье, знал толк в приготовлении многих блюд. Дóма собственноручно, с соблюдением всех китайских правил, строго по часам варил рис.

Что еще сказать о нем? Его песни растворены в народной памяти. Они годятся и для строгих концертных залов, и для сельских клубов или заводских общежитий. Вообще для жизни. Они устраивают академика и солдата. В этом их редкостное достоинство и, если угодно, секрет. В них, как и в их авторе, — бездна вкуса, такта, деликатности, соразмерности.

За те долгие годы, что я знал его, он очень развился, — не только как музыкант, но и как личность. Он много читал, был умен и остроумен. Круг его интересов выходил далеко за пределы музыки. Он был мягок по характеру и потому терпим к человеческим слабостям других, но он оставался тверд в требовательности к себе.

Уход Яна — одна из самых больших моих жизненных потерь. Я остро почувствовал, что мне приходится перестраивать жизнь. Но закрыть эту брешь уже никогда не удастся.

...Стояла чистая ранняя осень. И я написал стихи — в тех местах, где еще недавно беспечно гулял вместе с ним.

Лесная поляна.
Березы в осеннем огне.
Как вспомню про Яна,
Так худо становится мне.

Пропал словно искра
В пучине сгустившейся тьмы.
Убрался так быстро,
Что и не опомнились мы.

Молчком за собою
Высокую дверь притворил
И лишь над землею
Оставил шуршание крыл.

Посещение мэра

Почти рождественская история.

Ян родился и жил до войны в Киеве, потом остался в Москве. А отец его вернулся. Я знал этого бодрого, гордящегося сыном старика. Ему было за девяносто, когда он умер. Увы, не удалось Яну воспользоваться такой наследственностью.

Долгие годы отец, коренной киевлянин, жил со второй (или третьей?) женой в общей квартире, а получить отдельную однокомнатную никак не удавалось, хотя он имел все права. Обязательно в последний момент кто-нибудь перехватывал.

Однажды Ян, будучи по делам в Киеве, упомянул об этом в разговоре с кем-то из своих тамошних друзей. Тот удивился: что же ты раньше молчал?

И вот несколько его коллег: Дмитрий Гнатюк, Юрий Гуляев, Юрий Тимошенко (Тарапунька), Иосиф Кобзон, бывший в этот момент на гастролях в украинской столице, и сам Ян Френкель заявляются к киевскому мэру. То есть сначала позвонили в приемную:

— Можно зайти на десять минут?.. — В ответ, разумеется, ликование.

Они приходят, высокие, знаменитые: так, мол, и так, наш земляк... Ордер уже был выписан, и опять оттеснили. А человек не так уж и молод...

Мэр усадил их пить чай, уточнил данные, вышел в соседнюю комнату и тут же вернулся. С шутками-прибаутками выпили по чашечке, поблагодарили, поднялись:

— Не будем отвлекать...

А тут и ордер вносят.

Впоследствии, вспоминая эту историю, Ян всегда говорил:

— А знаешь, было к кому обратиться!..

Я отвечал:

— И кому — тоже.

Крокодил Гена

Услыхал по телевидению от Эдуарда Успенского, что его Крокодил Гена написан с Яна Френкеля, и обратился за разъяснениями.

В книжках Успенского чудесно действуют вместе люди и животные. И еще изобретенные им, не слишком понятные взрос-

лым, но зато вполне понятные детям существа — Чебурашка и тот же Крокодил Гена.

Последний, по мнению автора, просто похож на Френкеля внешне. Действительно, Ян был большой, по характеру мягкий, деликатный. Правда, изредка и он мог раздражиться, стать на короткое время резким и даже неприятным — когда слишком уж доводили. В отличие от Гены. Это не Успенский, а я вам говорю.

Успенский же рассказал мне, как он участвовал когда-то в юбилее издательства «Детская литература», куда его, как ни странно, не пригласили, но студия «Союзмультфильм» поручила ему поздравить коллег и вручить подарок — Чебурашку.

Народу не только в зале, но и в президиуме — тьма. Секретарь ЦК по идеологии, зав. отделом культуры оттуда же и прочие, помельче.

Успенский вышел с куклой в руках и по ходу приветствия предложил залу решить задачу: кто из находящихся на сцене похож на Крокодила Гену? Президиум неожиданно начал ежиться, а публика все более громко смеяться.

Тогда Успенский попросил:

— Ян Абрамыч, встаньте, пожалуйста.

Ян, сидящий сзади, поднялся во весь рост, и Успенский торжественно указал на него:

— Вот он!

Зал откликнулся живейшими аплодисментами.

Тост Колмановского

Он был блестящим музыкантом, ярко одаренным от природы. Он жил музыкой — во всех смыслах. Она вела его за руку — как мать ребенка, он только подчинялся ей. Но это так казалось. Иногда он упирался или сам тащил ее — в другую сторону. То есть он и руководил ею. Я имею в виду, что он был высоким профессионалом, у него была настоящая *школа,* а кроме того, огромная работоспособность, требовательность к себе. Все это, вместе с собственной интонацией, почерком, индивидуальностью, создавало и составляло такое понятие: Эдуард Колмановский.

Он прожил счастливую жизнь в искусстве. Он написал массу искрящейся театральной музыки — для МХАТа, Вахтанговского, «Современника», театра Сатиры... На разных сценах шли

его оперы и оперетты. Назову очаровательный «Женский монастырь», детскую оперу «Белоснежка», превосходно поставленную в театре Н. Сац «Двенадцатую ночь» по Шекспиру. А работа в кино!

. Но поразительные песни Колмановского просто захватили всю Россию, выплеснулись за пределы ее. Разве можно забыть «Песенку шута» (стихи П. Антокольского), «Хотят ли русские войны» и «Бежит река» (Е. Евтушенко), «Я работаю волшебником» (Л. Ошанин), «Я улыбаюсь тебе» и «Когда разлюбишь ты» (И. Гофф). И нет им числа.

Мне всегда нравилось, как он выходил на сцену — стремительно, почти выбегал. Вот так он вошел в комнату бернесовской квартиры, где я сидел на диване. Я и не предполагал, что это он входит в мою жизнь. Марк приглашающе указал ему на пианино, и тот сыграл нечто элегическое. Это была мелодия к моим стихам «Я люблю тебя, жизнь». До него на них уже писали музыку несколько человек, в том числе В. Соловьев-Седой.

Бернес и сейчас сказал безжалостно: — Нет, это не то.

Впоследствии Эдик написал: «При таких печальных для меня обстоятельствах я познакомился с К. Ваншенкиным».

Тогда я впервые услыхал его фамилию, она ни о чем мне не сказала. Однако он в это время уже был автором обвального шлягера «Тишина», звучавшего со всех сторон и столь же мощно поносимого официально. По нынешним временам это совершенно невинная песенка, скорее, пожалуй, строгая. Тогда же молодым композиторам утвердиться было даже труднее, чем поэтам, что нелогично, ибо слово представляет для власти большую опасность, чем мелодия. Анатолий Новиков, маститый и очень хороший композитор, выступая на собрании, рассказал, как он ехал за рулем машины, включил радио, и солнечный день померк для него, стал черным. Это он услышал песню «В нашем городе дождь» (Евтушенко — Колмановский). Всего-то навсего.

Бернес, обладавший редкостным художественным чутьем, понял, что природный лиризм и «шлягерность» Колмановского нужно соединить с серьезной тематикой, с настоящими стихами, и тут же получил очевидный результат: ряд песен, глубоко задевших не столько всех, сколько каждого.

Что же касается нашего случая, то Колмановский проявил завидное упорство и со второй попытки сочинил совершенно другую музыку.

Песня имела успех — как выяснилось, на долгие годы. Сперва только у слушателей. Всесоюзное радио получило, без преувеличения, десятки тысяч писем. Как вы понимаете, я прочел не все. Однако критика, прежде всего музыкальная, отнеслась к песне весьма кисло, а то и недоброжелательно. Появились выпады в печати. Но, скажем, «Комсомолка» нас поддерживала. Я принимал все это спокойно. Впрочем, вскоре стало заметно, что песня «Я люблю тебя, жизнь» побеждает. А когда уж Гагарин после своего триумфального витка прямо сказал, что это его любимая песня, тут от нас и от нее отстали. Но, разумеется, ее долголетие объясняется чем-то другим.

Нужно сказать, что мы с Колмановским не бросились, как это бывает, развивать свою удачу, писать новую песню. Да мы и почти не общались, долго были на «вы». Вторую нашу тоже по-настоящему известную песню мы написали только через пять лет.

В марте 1963 года нам предложили поехать с выступлениями в Южную группу войск. Я согласился потому, что проходил когда-то по весенней венгерской равнине в составе 9-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта. Колмановский взял с собой и исполнителей, два дуэта, мужской и женский. Совсем юные, еще студенты, И. Кобзон — В. Кохно и Г. Кузнецова — К. Лисициан. И вот эти молодые певицы ощутили потребность спеть солдатам обращенную непосредственно к ним девичью песню. И попросили меня написать такие стихи. Я вполне понял их и написал. Правда, музыку Эдик сочинил позже, уже после возвращения. «Вы служите, мы вас подождем».

Я написал эти стихи сразу как песню.

Не стану цитировать целиком. Концовка — о возвращении:

Будут наши свидания сладки,
Будет весел родительский дом.
Вы солдаты, мы ваши солдатки.
Вы служите, мы вас подождем.

Песня имела оглушительный успех. Пели ее едва ли не все солистки и женские ансамбли, а главное, просто девушки. И еще было множество «ответов» девушкам-«солдаткам» — от имени солдат. Разумеется, на тот же мотив. И просьбы, чтобы мы сами сочинили «продолжение». Любили тогда люди писать письма.

Но вернемся к судьбе самой песни. Ее распространение продолжалось, достигло пика, а затем, как бывает, начало постепенно ослабевать. Но песня пелась. И вдруг! — обратите внимание, это довольно редкий случай: песня смолкла сразу, по не зависящим от нее, внешним причинам.

В предпоследней ее строфе говорилось:

К нам разлука приходит впервые,
В первый раз вы от нас далеко.
Нет войны. Вы вернетесь живые,
Но без вас все равно нелегко.

«Нет войны»?.. Но война началась — в Афганистане. «Вы вернетесь живые»?.. Но стали прибывать и цинковые гробы. Как же петь это?

(Похожее произошло с песней «Хотят ли русские войны?». На данный вопрос можно ответить: хотят или не хотят, но — воюют! Однако это не говорит о конъюнктурности авторов, это результат конъюнктурности государственной политики.)

После нашей венгерской поездки мы по-настоящему сблизились, стали постоянно общаться. Постепенно он стал для меня дорогим человеком. Это продолжалось более половины жизни — и моей, и его. Он скоропостижно скончался летом 1994 года. Я очень часто думаю о нем.

Колмановский не служил в армии и не был на войне, хотя по возрасту вполне мог там оказаться. Но, как говорил Толстой, несмотря на это, а быть может, именно поэтому он очень любил военных разного звания и сочинил немало прекрасных песен о них и для них. А общение с генералами приводило его в состояние трогательного возбуждения и ликования. Он был беспартийный, но с охотой брался за написание песен на гражданские темы, где имел удачи, хотя частенько и перебарщивал количественно, не только не умел, но и не хотел отказываться от подобных предложений.

Он вообще очень легко переходил из одного состояния в другое. Мог быть совершенно больным, простуженным, лежать с высокой температурой, еле-еле разговаривать, а наутро, уже с нормальной, бодро пойти на запись.

Он в детстве жил на Арбате, как он говорил, «рядом с Колей Озеровым», но сам был совершенно неспортивен, необъяснимо равнодушен к футболу, волейболу, конькам и проч., ни в

чем этом не разбирался. Он был некоординирован в движениях и, когда спотыкался или поскальзывался, не делал попытки удержаться на ногах, а тут же охотно рушился, обязательно что-нибудь себе ломая — плечо, ключицу, ребра.

Человек воспитанный, интеллигентный, домашний, он одновременно обожал шумное общенье, застолье, был отчасти гуляка. Вокруг него клубилось много забавных приключений. Он родился в Могилеве — в младенчестве был перевезен в Москву — и как-то зимой посетил «малую родину». Дал роскошный концерт, следом, естественно, состоялся достойный прием в честь именитого земляка, затем его отвезли в гостиницу. Над Могилевом бушевала метель, но в номере было тепло, даже, как показалось, жарко. Эдик приоткрыл окно и сел рядом на диван. Проснулся он от холода. Окно было распахнуто, за ним билась пурга, уже светало. В комнате горел свет. Композитор, в шубе и в шапке, лежал на диване, на спине, густо засыпанный снегом. Даже насморка потом не было.

Он был очень внимателен к людям, отзывчив, к некоторым нежен. Помогал многим, иногда в ущерб собственным занятиям. Обожал близких, пристально и подробно думал о них и в то же время порою наивно демонстрировал сеансы поразительного равнодушия к окружающим. Он словно отключался от остального, жил только в себе, в музыке.

Когда-то с ним случилась такая история. После окончания консерватории он поступил в музыкальную редакцию Всесоюзного радио и упивался этой работой. Редакция, как и сейчас, помещалась в Доме звукозаписи на улице Качалова (Малая Никитская). Москвичи знают серый параллелепипед этого здания. Одним торцом оно смотрит в сторону Никитских ворот, эти окна летом настежь, другим обращено во Вспольный переулок, на тогдашний особняк Берии. Здесь окна были под пломбами, и глянуть-то за них страшно. И не смотрели. А в длинные коридоры выходили двери редакций, аппаратных, студий. И народу всегда полно — сотрудники, знаменитые авторы, вальяжные исполнители.

Эдик стоял с кем-то у опечатанного окна, опершись рукой на раму, и оживленно беседовал. И вдруг! — створка за его спиной распахнулась, и внезапный сквозняк прошел по коридору. Нет, это не был свежий ветер жизни. Это был смертельно обжигающий вихрь.

Колмановский с изумлением увидел, что только что пере-

полненный коридор пуст, он стоит один, а в пальцах у него пломба на проволочке, которую он открутил в задумчивости. Сигнал, разумеется, сработал, и к нему, цокая каблуками, уже бежала женщина-комендант с вооруженными помощниками.

Это «дело» тянулось долго. Немалых усилий и стойкости стоило директору Дома звукозаписи милому Б. Владимирскому и всему руководству спасение неосторожного Эдика.

Как я любил бывать у него дома, слушать его музыку! Уютный кабинетик. Коричневый рояль, купленный по рекомендации Бернеса. На стене финская «Золотая пластинка» песни «Я люблю тебя, жизнь». Керамическая плашка «В дождь» работы А. Зиневича, подаренная мною и Инной к пятидесятилетию Эдика.

Мощная медаль «Алеша» на подставке. Книги, магнитофон, проигрыватель. И сейчас все как было, только хозяина нет.

Расскажу еще о двух наших песнях. По той лишь причине, что никто уже не сможет сделать это точней и детальней, чем я.

Однажды на улице я попал под густейший снегопад. Я шел с трудом, чуть ли не раздвигая его руками. От белого снегопада стало почти темно. И возникли строчки:

За окошком свету мало,
Белый снег валит, валит...

И почти сразу:

А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.

Вот ведь как. Минуту назад я ни о какой маме, не позволяющей дочери целоваться, и не думал. И вдруг — пожалуйста.

Я зашел в глубокую арку, достал блокнот и записал, чтобы не забыть. Но вскоре опять пришлось записывать.

Говорит: «Не плачь — забудешь!»
Хочет мама пригрозить,
Говорит: «Кататься любишь,
Люби саночки возить».

Теперь я уже знал, что песня получится, и смотрел на нее со стороны.

Говорит серьезно мама,
А в снегу лежат дворы.

И тут (все же при моем участии, конечно) эта история перешла в другой временной ряд. Песня из девичьей превратилась в женскую:

Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.

И уже слова зрелой женщины:

И ничуть я не раскаюсь,
Как вокруг я погляжу,
Хоть давно я не катаюсь,
Только саночки вожу.

И в конце — почти повтор первой строфы. Почти — потому, что дважды появилось слово «опять». Жизнь продолжается.

Колмановский написал чудесную музыку, и признаюсь: это самая моя любимая песня, — из моих, конечно.

И еще штрих. Песня была записана (первая — Л. Зыкина), но очень редко звучала по радио. В редакции работали дамы, усмотревшие в ней скрытую фривольность, некий неприличный намек. Ими руководило то, что называется — испорченное воображение. Одна выдала себя, неосторожно спросив у Колмановского: «А что значит — саночки вожу?» Тот взорвался: «Как что? Это и значит!..» Другая, симпатизирующая ему, пыталась защитить: «Это она внука возит...» Вот какие еще приходилось преодолевать барьеры.

Но, несмотря на препоны, песня непостижимо широко распространилась в народе, в чем не раз случалось убедиться. Я всегда изумлялся: откуда они слова знают?

И еще одна непредсказуемая судьба нашей с Колмановским песни. На этот раз «Алеши». Новые власти Болгарии решили было демонтировать самый памятник русскому солдату в Пловдиве. И хотя акция не была одобрена большинством жителей, посягательства на него продолжались. Я процитирую в связи с этим нашу газету «Культура» (от 28 декабря 1991 г.): «...Узнав о готовящемся демонтаже «Алеши», мэр Москвы Гавриил Попов

(за день до объявления о своей отставке) и премьер правительства Москвы Юрий Лужков направили письмо президенту Болгарии Желю Желеву, где заявили, что, несмотря на трудное положение, найдут средства, чтобы перенести памятник в Москву». Далее в заметке сказано, что и деловые новгородцы хотели бы принять Алешу у себя, в Новгороде Великом.

Итак, Россия была готова взять Алешу назад. Домой!

Я жалею, что так не получилось. Его предполагали поставить на Поклонной горе. И денег бы меньше ушло, чем потом на нее убухали. А как этот памятник, который благодаря песне близко знают столь многие, действовал бы эмоционально! Я даже написал тогда вариант:

Белеет ли в поле пороша
Иль гулкие ливни шумят,
Стоит над Москвою Алеша,
Вернувшийся русский солдат.

Но — увы!..

А теперь о другом. Вспомните тост Колмановского на поминках по Яну Френкелю. Так вот, сюжет этот продолжился. Спустя пять лет, на поминках по Эдику, таких же сердечных, только устроенных в Доме композиторов, я сделал для себя неожиданное открытие. Я вдруг осознал, что хотя за это время умирали, конечно, и другие композиторы, но из тех, кто был тогда на поминках Яна, первым ушел Колмановский. Таким образом, он, как и Шуберт, провозгласил роковой тост за самого себя.

Что же еще? Его жизнь была и счастливой, и нелегкой, и трагической. Песни его будут звучать и звучать, но я никогда не смогу привыкнуть к тому, что больше нет Эдика Колмановского.

Генеральский ужин

Лет тридцать назад мы с Эдуардом Колмановским ездили в войска. С нами была еще певица, она исполняла наши песни. Выступали в Домах офицеров, в солдатских клубах и столовых, очень часто помимо утвержденного плана: старались не отказывать никому.

Однажды нас пригласил в гости молодой генерал, наш горя-

чий поклонник. Был ли он таковым и раньше или стал только сейчас — не помню, да и какое это имеет значение. Зашел за нами в гостиницу — он жил поблизости. Едва мы поднялись к нему, как появился еще один гость, да не просто генерал, а сам командующий.

Отношения сразу образовались простые и дружеские. Бутылки сверкали на столе разнообразнейшие, еда подавалась свежая и вкусная. Роль официанта безукоризненно исполнял солдат — ординарец или вестовой.

Композитор играл на рояле, певица пела, пел и он сам, генералы подпевали. Все были довольны.

Помню, еще в начале ужина хозяин спросил у командующего, почему тот приехал без жены, и предложил подослать за ней машину.

Командующий ответил:

— Она не может. Ей сегодня зубы вставили, — и, помолчав, добавил: — В рот.

Было уже очень поздно, когда застолье меня утомило и я решил прогуляться по квартире.

Вышел в соседнюю комнату, видимо, в гостиную, из нее дверь вела в следующую: там оказался кабинет. Оттуда я попал в спальню, где стоял приоткрытый платяной шкаф, а в нем что-то сверкало. Я заглянул.

В шкафу висел генеральский парадный мундир.

Я надел на себя тяжелый от многочисленных орденов голубой китель, затянул золотой пояс с кортиком, чуть сдвинул на правую бровь роскошную генеральскую фуражку. Долго рассматривал себя в напольном зеркале и, видимо, остался своим видом вполне удовлетворен.

Пора было возвращаться, но сперва я решил дойти до конца и еще через несколько комнат неожиданно для себя очутился в столовой, откуда начал свое познавательное путешествие. Только я вошел теперь в другую дверь, с противоположной стороны.

Оказалось, что комнаты в квартире расположены не анфиладой, а кольцом, но я по ряду причин этого не заметил.

Никто не обратил на мое появление никакого внимания. Тогда я подошел к командующему, приложил пальцы к козырьку и негромко сказал:

— Товарищ командующий, разрешите обратиться...

Он посмотрел на меня с интересом, но отчасти вопроситель-

но (перед ним стоял незнакомый генерал, однако где-то он его все-таки видел) и ответил с готовностью:

— Да-да, пожалуйста...

Через мгновенье они все меня узнали, и я немного смущенно снял мундир хозяина.

...Невинные забавы былых времен.

«...Нужно еще поколдовать»

(об Аркадии Островском)

Вспоминаю встречу московских поэтов и композиторов в 1949 году, в Дубовом зале ЦДЛ, — такие вечера устраивались тогда регулярно. Исполнялись — впервые — совсем новые песни, поэты читали стихи, пригодные, на их взгляд, для песен будущих. Но, как правило, именно только на их взгляд — *тексты,* что шли потом в дело, были уже в руках у композиторов. То есть я хочу сказать, что все это было любопытно, занятно, но из таких коллективных смотрин и сватовства ничего не выходило — процесс создания песни гораздо загадочней, интимней. Куда больший интерес представляло слушание уже готовых песен.

И вот помню среди прочих песню Аркадия Островского и Льва Ошанина «Дайте трудное дело». Островский — молодой, во всяком случае, моложавый, энергичный, возбужденный. Под стать ему и его соавтор. А сверху, с антресолей, неожиданно свисают огромные листы ватмана с крупно написанными словами припева. Чтобы могли подпевать все желающие — словно это происходит в комсомольском клубе.

Вот такое воспоминание. С Островским я еще не знаком. Песен писать не собираюсь, хотя в глубине души, вероятно, смутно мечтаю об этом. Во всяком случае, мое общение с Исаковским или Фатьяновым, которых я уже хорошо знаю, а они знают меня, совершенно не касается этой области.

Когда познакомился с ним лично? Точно не помню, но очень давно. И, конечно, очень легко, учитывая его исключительную общительность. Но познакомились, и только. Ничто нас долгое время не связывало.

И вот Аркадий Островский обратился ко мне и высказал желание тоже написать музыку на мои слова. Мне нравились его песни, я с охотою согласился и подарил ему несколько своих сборников, чтобы он оттуда что-нибудь выбрал.

И однажды он позвонил и сказал нарочито будничным тоном:

— Константин Яковлевич, знаете, написали мы с вами песню.

— Прекрасно! — обрадовался я. — А что за стихи?

— Ни за что не угадаете. Из книги «Окна». Они у вас без названия, а начинаются: «Как провожают пароходы...»

— Действительно неожиданность.

Я приехал, и он сыграл мне мелодию, кое-как проборматывая слова, путаясь в них с непривычки. (Потом кое-что, явно не поющееся, пришлось переделать, на что я согласился с легким сердцем, так как не числил стихотворение среди своих удач.)

Островский опять и опять играл мне мелодию.

— А отыгрыш какой! Только один человек в Советском Союзе умеет это делать!

И, продолжая играть (а он здорово играл), круто поворачивал ко мне голову, надолго оставляя на лице радостную, трогательную в своей наивности улыбку.

— Кто же ее споет? — спрашивал он себя, все еще наигрывая, и отвечал себе же: — Пожалуй, Хиль. Константин Яковлевич, а на готовую музыку вы принципиально не пишете?..

Потом, изредка встречая его, я всякий раз говорил:

— Ну, как там наша песня?..

Он с готовностью объяснял:

— Надо еще подержать, поколдовать. Конечно, я мог бы и сейчас выпустить, но ведь у нас с вами — марка!

И наконец объяснил, в чем дело:

— Вы знаете, там нужен небольшой припев. Иначе скучновато. И музыка уже есть.

— Вот пусть и будет просто музыка.

— Нет-нет, поверьте мне. Там всего-то пустяки: пам-пам, пам-пам, пам-парьям-парьям-пам-пам. А болваночка, «рыба», совсем простая: «вода, вода», потом проигрыш, и опять: «вода, вода».

— Что же такая скучная рыбка? — спросил я, смеясь. — Вы хотя бы разнообразили:

Вода, вода,
Кругом вода.
Вода, вода,
Шумит вода.

— Годится! — вскричал он.

— Это-то не годится, конечно. Но я попробую.

— Что-то несложное, — напутствовал он меня.

Я практически не пишу на готовую мелодию, на так называемую «рыбу», — не потому, что не умею, а потому, что не люблю. А здесь я и вовсе не ощущал в припеве необходимости, смысла. Все же попробовал: «Наш путь далек, в морях пролег». Не получалось, потому что *стихотворению* это было не нужно.

Я сказал об этом Островскому:

— Пусть будет просто музыкальный припев без слов.

Он неожиданно легко согласился.

Недели через две он позвонил мне и сообщил время радиопередачи. Вступление, запев, знакомые мне, и вдруг я услыхал с подлинным ужасом:

Вода, вода,
Кругом вода...

Я возмутился, воспротивился, потребовал изъять запись.

— Хорошо, — пообещал он. — Если вам не нравится. Это ваше право.

Но через два дня я снова услышал по радио песню вместе с «водой».

— Не волнуйтесь! — уговаривал меня Островский. — Уже ничего нельзя сделать. Песня пошла пулей!

А вскоре уже радостно говорил мне:

— Вышла на гибкой пластинке. Сегодня на улице Горького продавали с лотка, я видел. Как воблу разбирают!

Я потом всегда говорил при случае:

— Стихи мои, музыка и вода — Аркадия Островского.

Года через три мы участвовали с ним в общей телевизионной передаче. Там исполнялась и «Как провожают пароходы».

— Константин Яковлевич, — спросил он прямо перед камерой, — вы на меня не сердитесь?

Я ответил:

— Только когда слышу эту песню.

Кроме того, что он был автором музыки многих известнейших лирических и гражданских песен, он писал о детях и для детей («Пусть всегда будет солнце» или — о чем знают немногие — телевизионная колыбельная «Спят усталые игрушки»).

Он был несколько наивен, инфантилен, что порою свойственно талантливым людям, и дети охотно принимали его в свои игры, что, впрочем, не всегда кончалось вполне благополучно.

Не могу не вспомнить рассказ А. Островского и его жены о том, как они были приглашены и пришли в гости, но получилось так, что до этого побывали еще в другом доме и теперь были утомлены. Поскольку Аркадий Ильич был главный, почетный гость, то хозяева, желая видеть его освежившимся, предложили ему отдохнуть в соседней комнате, а чтобы не помешал вздремнуть четырехлетний сын хозяев, сказали мальчику, что там будет спать Бармалей. Должен заметить, что при всем добродушии и веселости внешне Островский мог сойти за этого персонажа.

И вдруг в комнату, где сидели остальные гости, вбежал мальчик, возбужденный, бледный, с палкой в руке, и вскричал взволнованно и гордо: «Я... убил... Бармалея!..»

Все повскакали с мест, кинулись в соседнюю комнату.

Аркадий Ильич, ничего не понимая, сидел на диване и держался за голову. На лбу его начинала просматриваться быстро созревающая шишка.

Когда Островские рассказали в компании эту историю, кто-то заметил, что благородство и бесстрашие нового поколения достойны восхищения. Я же сказал, что, отдавая должное отваге маленького героя, несколько насторожен другим обстоятельством: расправой без проверки фактов.

Бармалей весело смеялся.

С ним и вокруг него вообще часто происходили всякие забавные случаи.

Однажды мы с женой неожиданно встретили Островских на еще малолюдной по-весеннему ялтинской набережной. Мы торопились уже к себе, в стоящий на горе писательский дом, а они начали уговаривать нас отобедать вместе с ними. Они жили в гостинице «Ореанда», где был тогда отличный ресторан.

Болтая, мы стояли под громадным шарообразным платаном, в его пятнистой тени. И тут я увидел направляющегося прямо к нам высокого, стройного человека.

— А тебя мы ждали, — сказал я ему, протягивая руку. — Как долетел?

— Понимаешь, Костик, не очень, — озабоченно ответил человек, поздоровавшись со всеми. — Меня укачало в самолете. Пойду отлежусь.

— Да, да, — тут же вступил Островский. — Вы какой-то бледный. Идите отдохните, а мы еще погуляем.

— До вечера, — сказал я, не в силах сдержать смеха, и, едва тот отошел, спросил Островского: — Знаете, кто это? Знаменитый ас, заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза Марк Галлай. Что? А это у него такая манера шутить.

— О! — воскликнул Аркадий Ильич без тени удивления или смущения. — Я читал его книги.

Островские жили в Ялте уже давно, и композитор умудрялся не раз летать в Москву, чаще всего на один день, — то записать фонограмму, то сделать наложение солиста.

— Вы понимаете, — объяснял он мне, — все разъезжаются, студии свободны. А я хитрый, — и весело подмигивал.

Энергия из него просто била.

А через неделю мы пригласили их на ужин в ресторан «Джалита», на автовокзал, построенный таким образом, что прямо через здание, бурля, протекает горная река.

Островский много тогда выступал по телевидению. Его узнавали, оглядывались. Официанты сияли. Оркестр играл его музыку.

Когда мы вышли, за дверью, у воды, стоял парень лет семнадцати. Он глядел куда-то в пол.

— Можно вас на минутку? — сказал он Островскому.

— Да, да, — отвечал тот с готовностью.

Они отошли на несколько шагов. Я на всякий случай придвинулся ближе.

— Где вы брали эти туфли? — спросил парень.

Островский посмотрел на свои ноги.

— В Париже.

— А вы не могли бы их мне уступить?

— Ладно, Аркадий Ильич, пора идти, — вмешался я, беря композитора под руку.

По дороге Островский объяснял бесхитростно:

— Я думал, он попросит, чтобы я его прослушал.

Там, в Ялте, мы написали еще одну нашу песню — «Хотят ребята в моряки».

Сколько раз предлагал он мне сделать что-нибудь. Но после первого случая я все остерегался. А здесь, сблизившись, дал ему эти, написанные совсем недавно стихи.

Он сочинил музыку очень быстро.

Помню, мы сидим вчетвером у нас на балконе. Круто ухо-

дит вниз темный сад, сверкают зеленые огоньки Ялты. А за ними черное море — я пишу здесь это слово с маленькой буквы, потому что оно действительно совершенно черное. И ярко освещенные лайнеры — на набережной, у причала.

А до этого он в десятый раз, наверное, поет в гостиной эту песню, и мелодия искрится и вздымается волной, и отыгрыш опять поразительный. Перед ним истертый уже листочек с моими стихами и его нотными крючочками. Но он уже помнит наизусть и в листок не заглядывает.

Привлеченные музыкой, входят люди, присаживаются в уголке, слушают, улыбаются. Островский подмигивает мне:

— Хорошо, но нужно еще поколдовать, не торопиться...

...Когда его не стало, а это случилось неожиданно и очень скоро, тот листок не нашли.

— Если отыщется и не закончено, я допишу, — говорил мой друг Эдуард Колмановский. Но единственный черновик нашей песни так и пропал.

Потом другой композитор написал музыку на эти стихи, встретив их в газете, но это было уже совсем не то. Он и сам признал, что не угадал с мелодией.

А мне вспоминается Ялта, набережная, море, огромный круглый платан, и наш балкон на горе, и смеющийся, полный жизненных сил Аркадий Островский.

Портрет Искандера

Моя дочь захотела написать портрет Фазиля Искандера. Они долго уславливались — все не получалось. Наконец уговорились. Дело происходило на даче.

Она с этюдником и холстом на подрамнике пришла к нему в коттедж. Он сидел мрачнее тучи. Дело в том, что в Абхазии было тогда напряженнейшее положение, и в этот день особенно. Фазиль ужасно переживал.

Галя предложила включить музыку — он отказался. Так он и просидел несколько часов в своей спортивной сине-красной курточке.

Она закончила односеансный портрет. Он посмотрел, одобрил, сказал удивленно:

— Я не думал, что это так заметно...

В конце дня приехала с работы его жена Тоня, зашла к

нам — глянуть. С ней была их дочь Марина, она уже видела. Тоне тоже понравилось.

Потом, уже в сумерках, они сидели вместе с моей женой и с Галей, разговаривали. Портрет стоял на стуле. Тоня вдруг повернула голову в направлении портрета и спросила:

— А ты что молчишь?..

Ей показалось, что и Фазиль в комнате.

Сидур и другие

Слуцкий любил приобщать, открывать. Однажды он подошел ко мне в нашем Клубе и спросил, не хочу ли я заехать с ним в мастерскую к трем скульпторам — Вадиму Сидуру, Владимиру Лемпорту и Николаю Силису. Недавно была их выставка в редакции «Комсомолки». Вот и Булат едет. Я согласился: за компанию, да и читал о них. К тому же по дороге.

Мастерская размещалась в начале Комсомольского проспекта, напротив церкви Николы в Хамовниках. Это замечательный действующий храм, ему скоро триста лет, и содержится он с исключительной тщательностью.

А мастерская в восьмиэтажном доме через дорогу и, как почти у всех скульпторов, в подвале. Иначе пол провалится.

Я помню, как мы в темноте спускаемся по сбитым ступеням, звоним. Несем в свертках что-то из буфета.

Нам открывают, — все просто, весело. У двоих бороды. Масса работ. Таких, что сразу хочется что-то иметь. Рассматриваем их, но не так, чтобы специально. Садимся за стол. Стаканы в глине. Знакомимся подробней. Жена Димы Сидура — Юля. Потом, помню, приехала Ия Саввина. Еще были физики, — может, и не в тот раз. Кого-то из них я знаю. Теперь некоторые стали академиками.

А хозяева! Какие приятные, доброжелательные ребята. Крепкие — скульпторы!

Володя и Коля — они так представились и просят так себя называть, да и нас почти с ходу, может, со второго раза, называют по имени — так вот Володя и Коля снимают со стены гитары и начинают играть. Да как! Они играют на гитарах Баха. А потом поют блатные, или, скорее, стилизованные, песенки.

А Дима улыбается, — не поет, не играет, это не его дело.

Булат тоже берет гитару. Поет свое. Он только-только входит в известность.

Потом уже я подумал: непонятно, кто из них был, как теперь говорят — лидер. Сначала я решил, что они так втроем и работают. Но нет. Как бы общая фирма, а когда захочешь приобрести что-то, выясняется — чье это.

Я ездил туда не раз с женой, и ей страшно понравилась сидуровская «Гладильщица», женская фигура из обожженной глины, мощно склонившаяся над утюгом. А на затылке трогательный пучок. Работа небольшая, но при многократном увеличении она была бы уместна где-нибудь в сквере, перед прачечной или ателье.

Я решил купить ее в подарок. Денег у ребят не было, но и спроса тоже. Брали недорого, учитывая и возможности покупателя. Помню, они мне запаковывали, завязывали сразу несколько вещей. Был жуткий гололед, и они напутствовали:

— Разобьешь — не выбрасывай. Склеим...

Но не разбил.

У нас пять их работ: кашпо, подаренное Лемпортом, длинная, облитая коричневой глазурью «Пляжница» Силиса. Еще одна его же могучая женская фигура, тоже со сдвигом, скорее символ. И две Сидура — «Гладильщица» и настенная тарелка «Семья в кривом зеркале». Девочка в платьице с торчащими из-под него трусиками, а по бокам родители — толстая мама, держащая связку баранок, и веселый папа, — все трое слегка искаженные в аттракционе «Комната смеха». Школьная подруга жены увидела и заквохтала: «Это же мы с Петей и Ирочкой...»

Как-то мы услышали у них в мастерской фамилию Зиневич. Андрей Николаевич? Мы его хорошо знали, и о нем тоже хочется рассказать. Он был физик, работал в ФИАНе, но главной его жизненной страстью было искусство: керамика, скульптура, дизайн. Домоуправление выделило ему в соседнем с нашим доме комнату для работы. А он за это, как тогда стали говорить, на общественных началах — вел детский кружок. Ребятишек, особенно в длинные осенние или зимние вечера, набивалось полно, сопели, лепили увлеченно — каждый свое, сами производили обжиг в специальной печи. И он занят был своим делом. Давал им полную свободу, ничего не навязывал. Иногда они подходили к нему, спрашивали, советовались. Он серьезно, как равным, показывал или объяснял. Зиневич исповедовал весьма распространенную теорию, согласно которой все дети изначально талантливы. Но доказывал

он это на практике. Его студия гремела, на всех смотрах и олимпиадах занимала первые места. Наша дочь тоже посещала ее. В десять лет она была уже участницей выставок в ГДР, на ВДНХ и еще где-то.

Андрей Николаевич, будучи физиком (а может быть, и химиком?), находил или создавал для своих настенных тарелок и керамических «плашек» удивительно насыщенные, яркие краски, видимо недоступные профессиональным художникам. В связи с этим Лемпорт и Силис не раз привлекали его себе в помощь, — при больших, скажем, отделочного характера заказах.

Работы Зиневича висят сейчас во многих московских домах.

Однажды мы встретили их — Лемпорта, Силиса и Зиневича — в Коктебеле, шумных, густо загорелых, в шортах, с масками и ружьем для подводной охоты. И гитары были при них, не на пляже, конечно. Мы и тут немало общались, я познакомил их чуть ли не со всеми своими коллегами. Так они втроем и остались в памяти многих.

А Сидур на юг, видимо, уже не ездил. Он ездил под Москву, в Алабино, к родителям, размышлял и работал там.

Как-то в Коктебеле скульпторы (так для понятности эту троицу все называли) пригласили нас на шашлык. Это было главное здесь развлечение после моря и сбора камешков — шашлык вечером, в полутьме, при свете костра и мангалов.

Кругом на земле мрак, вверху крупные звезды, а порой, когда все замолчат, отдаленный шипящий звук моря. Да еще время от времени почти театральные столбы пограничных прожекторов — по заливу и белой пене прибоя.

В тот вечер давило тяжелое известие — кто-то сообщил, что на Карадаге, сорвавшись, разбился молодой физик. Такое здесь иногда случалось.

Но что поделаешь, — постепенно отвлеклись, почти забыли.

И тут сидящий рядом со мной Володя Лемпорт небрежно сказал мне, что шашлык этот они *купили* у той компании, откуда был физик. Те собирались веселиться, но сейчас им не до этого. Он говорил с той спокойной интонацией жизненной реальности, какая бывает на войне, где едят пайку погибших, почти равнодушно. Но ведь здесь-то не война. Мне не захотелось передавать его слова кому-то еще.

А вообще это были ребята симпатичные, свойские, немного грубоватые. Хваткие такие ребята. Они с охотой брались почти

за любое, в том числе и не за свое, дело. Снимались в кино, в каких-то пиратских фильмах. А через много лет Лемпорт сделал даже попытку войти в литературоведение, выдвинув в многотиражке «Московский художник» свою не слишком стройную концепцию по поводу места и методов Маяковского в советской литературе.

А что же Сидур? Поначалу показалось, что и он такой же, как они, только без гитары. Тоже схватка с жизнью, иначе пропадешь. Он тоже занимался посторонним, но искусством — оформлял книги. Правда, совсем немного. У меня он оформил две.

В издательстве «Советский писатель» главным художником был тогда К. М. Буров, добрый, отзывчивый человек широких взглядов. Он охотно, не придираясь, давал Диме работу. Да и потом, при В. В. Медведеве, здесь тоже была свободная, раскованная атмосфера. В «Советском писателе» Сидур очень удачно решил мой лирический сборник «Повороты света».

А вот в издательстве «Искусство» обстановка была иная. Там у меня выходила книжечка о поэзии и поэтическом вкусе — «Непонятливая Лика». Я привел в художественную редакцию Сидура, попросил, чтобы оформление заказали ему. Это право автора.

Но здесь к Вадиму отнеслись настороженно:

— Вы книжный график?

— Нет.

— Что-нибудь кончали?

— Строгановку.

— А как же вы будете...

— Шрифты мне сделают, а обложку я нарисую.

Он был тверд.

Им очень не хотелось, но я настаивал.

В самом начале моей книжки была цитата из И. А. Бунина:

«Одеваясь в прихожей, он продолжал что-то думать, с милой усмешкой вспомнил стихи Фета:

Какая холодная осень!
Надень свою шаль и капот...

— Капота нет, — сказала я. — А как дальше?

— Не помню. Кажется, так:

Смотри — меж чернеющих* сосен
Как будто пожар восстает...

— Какой пожар?

— Восход луны, конечно».

Сидур сделал тревожную красно-малиновую обложку, и на этом фоне пером — черные силуэты сосен.

Мне понравилось.

Пришли к художественному редактору. Тот поморщился и повел нас к главному художнику. Реакция была такой же.

— Ну что ж, — спокойно констатировал Дима, — мнения разделились.

— То есть как? — спросил главный.

— Двое против, а двое за: автор книги и я.

Они рты раскрыли от такого нахальства.

Заказали другому, своему, но он сделал столь нелепо и не то, что пришлось им удовлетвориться работой Сидура, — времени уже не было, пора было сдавать книжку в производство.

А из тех книг, где были еще и рисунки Вадима, на нас всегда смотрело лицо Юли.

Он вообще хорошо рисовал.

После инфаркта, когда ему запретили поднимать тяжести, — а работа скульптора — это и труд атлета, — он, особенно поначалу, вынужденно увлекся рисунком. Помню его серию — инвалиды войны, голые обрубки, те беспомощные несчастные, которых народ назвал «самоварами». Она производила сильное впечатление. Тема войны, ее последствий захватывала его все более властно...

Лемпорт тоже был на войне (Силис моложе), но Сидур перенес тогда, в юности, ужасное ранение — в челюсть, оно угнетало, мучило его всю жизнь.

Мне думается, что именно в ту пору, после Диминого инфаркта, и произошел их отход друг от друга, а потом и разрыв. Слишком уж они были сильные, здоровые, жизнерадостные, из них это просто било. Он им по всем статьям в товарищи уже не годился. Такое у меня, во всяком случае, создалось впечатление.

После размежевания он начал работать особенно серьезно. И вот вечно терзавшее его давнее ранение и новая болезнь объединились в нем, еще более обострили мотив человеческого страдания.

*У Фета: «...из-за дремлющих сосен» *(К.В.)*.

Он создает несколько сильнейших антивоенных работ. Да, наверное, это не был реализм, но и абстракцией их никак не назовешь. Да и какая разница — если волнуют!

Но не нравились — тем, кто решает. А *там* — нравились. Его знали за рубежом, о нем писали. Его работы — памятники жертвам фашизма стали появляться на площадях Европы. Он передал их туда — разумеется, безвозмездно.

У нас же его подвергали гонениям, прорабатывали, исключали. Он продолжал работать — задумчивый, ироничный, упорный. Не он первый... но неужто и не последний?

В связи с этим мне вспомнилась фраза Толстого: «Чем меньше имело значение мнение людей, тем сильнее чувствовался Бог».

Конечно, у нас каждый знает, как важно *мнение людей* для писателя, художника, музыканта. Но, с другой стороны, если бы было только так, все остановилось бы или просто повторялось. Чтобы почувствовать в душе Бога, можно порой пренебречь чужим мнением, особенно несведущих, заблуждающихся или лукавых. Не всем это под силу.

Теперь опять о его бывших сотоварищах. Когда умер Марк Бернес, нужно было установить памятник над могилой на Новодевичьем. Мы — Э. Колмановский, Я. Френкель, Е. Евтушенко и я — принимали в нем участие. Заказана работа была В. Лемпорту и Н. Силису. Мы побывали в их куда более просторной и светлой мастерской в Филях, познакомились с новым их компаньоном, — видимо, без третьего они не могли, привыкли.

Проект оказался вполне приемлемым. Я поинтересовался, какой будет портрет. Они ответили, что рисованный, высеченный на мраморе. Мы засомневались, но нас убеждали и уверяли в превосходном результате.

Накануне открытия памятника позвонила вдова Марка, Лиля, и сказала:

— Боюсь, тебе не понравится...

Когда сдернули покрывало, большинство присутствующих были попросту шокированы. На камне четко выделялось откровенно шаржированное изображение Бернеса. Не знаю, чего здесь было больше: неумения или равнодушия.

Я потом долго не мог подходить к этой могиле. До тех пор, пока зять Бернеса, Толя, не срубил оскорбительный шарж, заменив его обычной человеческой фотографией.

...Что же еще? Добровольно ушел из жизни Андрей Николаевич Зиневич. Почему-то все его так называли — только по имени-отчеству. Причина неизвестна — ушел, не прощаясь. Незадолго до этого я встретил его на улице, — мы же были соседи.

Умер и Вадим Сидур. Я был в отъезде и не знал об этом. Но именно тогда, по сути одновременно, я написал стихотворение «Гладильщица». Словно что-то рукой водило.

Вот оно.

«Гладильщица» Сидура.
Отсутствует белье.
Но яростна фигура
Согбенная ее.

На желтоватом фоне
Чуть выцветшей стены
В натруженном наклоне
Разбег ее спины.

Круглятся руки длинно,
И, кажется, она
Сама, как эта глина,
Судьбой обожжена.

Охваченная гневно
Работою одной,
Лет двадцать ежедневно
Она передо мной.

Теперь уже не двадцать, а куда больше...

А Вадим Сидур признан, наконец, и у нас. Так, во всяком случае, пишут.

Маяковский и Черемных

Эту историю поведал мне художник Николай Петров со слов Михаила Михайловича Черемных, преподававшего когда-то у них в Текстильном институте, известного в искусстве человека, сподвижника Маяковского по «Окнам РОСТа».

Через длительное время после их совместной работы он однажды встретил Маяковского на улице.

Тот долго тряс Черемныху руку и повторял, как он рад его видеть, как соскучился.

— А вы бы зашли, Владим Владимыч! — пригласил растроганный художник.

Маяковский улыбнулся:

— Ну, не настолько!..

Прижизненная маска

Посмертная маска. Слепок из гипса, снимаемый с лица покойника — как правило, выдающегося, незаурядного человека.

Но, оказывается, снимают и с живых. Молодые скульпторы — для практики. То есть делают прижизненные маски.

Студенты Строгановки снимают, например, друг с друга запросто.

Зашла девица в брючках, с другого факультета:

— Снимите с меня!..

Парень посмотрел на нее:

— Давай мы с тебя лучше джинсы снимем...

Она, ничуть не смущаясь:

— Нет, правда!..

— Ложись...

Забыли, вряд ли нарочно, смазать ей лицо вазелином. Гипс взялся, она завопила:

— Больно!..

Еле успели отодрать без особого ущерба.

Эта история случилась там лет пятнадцать назад.

...Прижизненная маска. Хорошее название.

ГРАЖДАНСКАЯ ПАНИХИДА

Как исключали Пастернака

Почти всю вторую половину октября пятьдесят восьмого года я провел за городом; вернулся, помню, вечером, и только вошел, как раздался телефонный звонок. Говорил К. В. Воронков, секретарь по оргвопросам Союза писателей СССР.

— Константин Яковлевич, завтра, в десять утра, срочное заседание Правления. — И после короткой паузы: — По поводу Пастернака́.

(Он сделал ударение на последнем слоге.) Все четко, деловито, привычно уже.

Я ничего не знал, позвонил друзьям, выясняя. Утром — пошел.

Вестибюль старинного здания так называемого «большого Союза» гудел от голосов, как всегда бывает перед пленумами или съездами. Множество известных писателей, словно еще не вникающих в причину случившегося, было собрано сюда буквально по тревоге. Съехались и слетелись из разных концов и, опять же как всегда, радостно обнимались, интересовались делами, здоровьем близких. Говорили обо всем, кроме главного.

Набились в конференц-зал, едва уместившись в несколько рядов, вдоль длинного стола, окон и стен. Здесь и была официально объявлена суть дела.

Поэт Борис Пастернак написал роман в прозе — «Доктор Живаго». Роман клеветнический. Клевета — на революцию. Автор предложил свое произведение журналу «Новый мир», но роман был отвергнут. Это случилось еще в пятьдесят шестом году. (Как раз накануне моего приезда «Литературная газета» опубликовала то давнее уже, очень длинное письмо редколлегии «Нового мира» Пастернаку, начинавшееся сдержанным обращением: «Борис Леонидович!..» Потому-то Воронков и говорил со мной столь буднично — как о факте общеизвестном: «По поводу Пастернака́...») Получив отказ, автор передал ро-

ман итальянскому буржуазному издательству, которое и выпустило его в свет отдельной книгой. Но и это еще не все. Только что роман получил Нобелевскую премию.

Необходимо, вероятно, сделать следующее уточнение. История с прохождением рукописи в «Новом мире» и возвращением ее автору происходила в бытность главным редактором журнала К. Симонова. Теперь Симонов с семьей уехал на длительное жительство в Ташкент, а в журнал вторично в своей жизни совсем недавно заступил главным А. Твардовский. Что называется, на круги своя. Он и новая редколлегия касательства к роману, естественно, не имели.

На заседании, кроме членов Президиума (тогда это так называлось) Правления Союза писателей, присутствовал заведующий отделом культуры ЦК КПСС Д. А. Поликарпов.

Началось обсуждение. Нужно сказать, что в последние годы Пастернак опять стал печататься — в «Знамени», в альманахах «День поэзии», «Литературная Москва». А до этого был большой перерыв. В 1946 году, после известных документов по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград», зацепили и Пастернака. В выпускавшейся тогда газете «Культура и жизнь» говорилось об аполитичных и безыдейных тенденциях в поэзии Б. Пастернака. Вероятно, так, на всякий случай. Ведь очевидно, что ничего безыдейного и аполитичного в его стихах нет.

С. А. Ермолинский рассказывал мне много лет спустя, как в день выхода газеты он встретил Бориса Леонидовича на Арбате и растерялся, не зная, как себя вести. Но Пастернак остановился и очень оживленно сказал, что, мол, нет худа без добра, что он занимался составлением своей большой книги для Гослитиздата, а сейчас она, конечно, не пойдет, и он сможет наконец закончить перевод «Фауста». (Правда, в сорок восьмом в «Советском писателе» у него все же вышли «Избранные стихотворения».) Посмотрите также по датам, какие стихи написал он в ту пору. Какая сила, жизнестойкость! Как это все не выбило его! И после нобелевской истории тоже. Страдало сердце поэта, но стих не пострадал. Напротив.

Итак, обсуждение. Мне было странно, что его называют декадентом. Для меня этот термин всегда связан с невероятно далекой, дореволюционной порой. Звучали такие слова, как «провокация», «возня», «клевета», «ненависть».

Самое же удивительное, — но тогда почти никому это уди-

вительным не казалось, — что большинство присутствующих не читали роман. С ним были знакомы только рабочие секретари и члены бывшей редколлегии «Нового мира». Некоторые вообще не могли уяснить смысл происходящего. Один седобородый аксакал воскликнул:

— Слушаю, слушаю и никак не могу понять — при чем здесь Швеция?!

Но ведь выступали, осуждали.

Неустоявшаяся какая-то была полоса. С одной стороны — такое событие, как реабилитация, следом оживление в литературе, появление альманахов, о которых я упоминал, настойчивое приглашение и возвращение Твардовского в «Новый мир», напечатание через какое-то время «Теркина на том свете», ожидания (оправдавшиеся) выхода ряда вещей Булгакова, Платонова, Мандельштама, и с другой — продолжающиеся гонения на генетику, кибернетику или история с Пастернаком.

Известный стихотворец, выступая там, рассказал, что в конце войны или вскоре после нее группе писателей, награжденных ранее, вручались медали «За оборону Москвы». В числе отмеченных был и Пастернак.

...В воспоминаниях Я. Хелемского «Ожившая фреска» описывается, как рвался на фронт Пастернак и попал-таки в писательскую бригаду во главе с Серафимовичем, а до этого дежурил ночами на крыше в Лаврушинском, тушил немецкие «зажигалки». С ним вместе смотрел в военное небо В. Казин, рядом стояли и другие, а начальником ПВО дома был И. Уткин.

Проходил Пастернак и занятия во Всевобуче. Однажды писателей повели в тир, на стрельбы. Самым метким оказался Борис Леонидович. Правда, тут же кто-то пустил слух, что другие ошиблись и тоже стреляли по его мишени. Как бы там ни было, он выглядел молодцом. Нелепы разговоры об его оторванности от жизни и народа...

Так вот, продолжал стихотворец, когда писателям вручались награды, Пастернак не явился, а прислал из Переделкина сына. Как нужно было не уважать нас и наше общее дело, — закончил он.

Да нет, думаю я сейчас, причина совсем другая, как раз обратного свойства. Пастернак не мог всерьез считать себя участником войны, он наивно решил, что награждение — чистая формальность и пожалел терять рабочий день.

Но ведь и это обернули против него.

Выступала писательница, уважаемая, увенчанная. Она говорила резко, прямолинейно, неприязненно. Я не верил своим ушам. Впоследствии А. К. Гладков, человек поистине замечательный, спросил ее — как она могла так поступить? И зачем? Она ответила, что испугалась. Решила, что начинается новый тридцать седьмой год, а она знает, что это такое. И что у нее большая семья, и всех их она очень любит. Вот так.

Я долго думал, называть ли поименно людей, осуждавших Пастернака, и решил, что не стоит. Кто-то и так поймет, догадается, кому-то это и не нужно. Те люди сами наказали себя. Мы знаем терзавшихся потом всю жизнь. Прошло много лет, большинства из них уже нет на свете. Другие очень изменились — к лучшему. А иные даже забыли, что это случилось с ними.

Объявили короткий перерыв, снова заседание однообразно продолжалось. Вдруг я увидел, что Твардовский поднялся и, задевая колени сидящих, стал боком протискиваться к выходу. Через минуту-другую следом двинулся Рыленков. Проходя мимо, он легонько потянул меня за руку. Я тоже стал пробираться к дверям. В вестибюле было пустынно и прохладно. Мы закурили, кого-то поджидая. Тут появился из зала С. С. Смирнов. Они явно условились заранее. Мы двором прошли в наш Клуб, — тогда еще не было нового здания. Буфет уже работал, мы сидели за столиком, закусывали, помню, крутыми яйцами.

Твардовский был мрачен, раздражен. Но мог ли он предположить, что через двенадцать лет его будут — правда, в несколько иной форме, — нет, не исключать, но снимать с должности, причем уже во второй раз!

Наш разговор с Твардовским, когда я сказал к слову, что не знаком с Пастернаком, а Твардовский ответил веско: «Немного потеряли», происходил как раз в тот день, в буфете. (Следом, напомню, у меня идет такая фраза: «Однако позднее, в одной из своих статей, он сам назвал Пастернака “по-своему замечательным поэтом”...»)

А тогда Твардовский еще сказал:

— Мы не против самой Нобелевской премии. Если бы ее получил Самуил Яковлевич Маршак, мы бы не возражали...

Минут через двадцать мы вернулись на заседание. Оно тя-

нулось чуть не весь день. Я, понятно, слышал не все выступления. Но двое из слышанных мною были против исключения. Твардовский напоминал, что есть мудрая русская пословица по поводу того, сколько раз нужно отмерять и сколько отрезать. А Грибачев без обиняков заявил, что исключение Пастернака повредит нам в международном плане.

Потом мы опять, уже сложившимся коллективом, посетили Клуб.

Твардовский и Рыленков говорили на этот раз о женитьбе Исаковского (он овдовел три года назад). Новую его жену, их землячку, они давно знали. Потом мы снова вернулись в здание Союза, снова поднялись по ступеням, оставляя справа в нише статую Венеры, поочередно отразились в большом напольном зеркале и повернули налево. Там, у дальней стены, стоял диван, а над ним висела картина. (Она висела там очень долго, и я не помню, была ли она уже снята к тому времени.) На ней был изображен М. Горький, читающий членам правительства поэму «Девушка и смерть». Над столом светил уютный абажур, а в комнате находились Сталин, Молотов, Ворошилов, кто-то еще. Эту картину неофициально называли «Прием Горького в Союз советских писателей».

Мы сидели на диване под этим историческим полотном и курили. А заседание продолжалось своим чередом.

Дверь из зала отворилась, и появился главный редактор «Знамени» Вадим Кожевников. Человек он был дисциплинированный, но вот тоже не выдержал, вышел поразмяться. Засунув руки в брючные карманы, он с независимым видом сделал круг по вестибюлю и остановился против нас, вернее, против Твардовского.

— Что же ты, Саша, — сказал он своим высоким, как бы дурашливым голосом, — роман-то этот хотел напечатать?

Он болтал от нечего делать — что называется, подначивал.

Твардовский ответил почти брезгливо:

— Это было до меня, но и прежняя редколлегия не хотела. Ты знаешь.

— Хотел, хотел.

— А вот ты, коли на то пошло, стихи его печатал.

— Стихи? — переспросил тот. — Ерунда, пейзажики...

Твардовский, видимо, жалел, что начал отвечать, связался.

— Знаешь что, — сказал он доверительно, — иди-ка ты отсюда.

— Почему это я должен идти?

— Потому что ты человек без чести и совести, — разъяснил Твардовский проникновенно.

Но собеседник все сопротивлялся:

— Почему это я человек без чести и совести?

И тут Твардовскому надоело:

— Иди... — и он уточнил адрес.

Тот повернулся на каблуках, опять сделал круг по вестибюлю и удалился на заседание.

Никто по этому поводу не сказал ни слова. А Кожевников потом года два со мной еле здоровался, как со свидетелем диалога.

И вдруг из зала вышел Поликарпов. Вид у него был хмурый, озабоченный. Он повернул было направо, в глубь здания, но, увидев нас, подошел и решительно попросил пройти с ним вместе — на несколько минут. Все поднялись, а я остался, считая, что ко мне это не имеет отношения, но Поликарпов подтвердил:

— И вы, пожалуйста...

Он пошел впереди нас по узкому коридору, прямо в кабинет, который все еще называли фадеевским. Мы вошли, он притворил дверь и тут же, не приглашая садиться, спросил у Твардовского:

— Так нужно исключать или нет?

— Я уже сказал, — ответил Твардовский.

— Вы? — к Сергею Сергеевичу.

— Я того же мнения.

— Вы? — Рыленкову.

— Дмитрий Алексеевич, он такой лирик! — завосхищался тот...

Я тоже сказал, что против исключения.

— Спасибо. — Поликарпов направился к столу, а мы вышли.

Твардовский много времени спустя объяснил мне как-то, что Поликарпов приехал в Союз контролировать исключение. Однако, как человек опытный, в какой-то момент засомневался в целесообразности этого акта. Сам он, разумеется, не мог хотя бы приостановить события и отправился звонить Суслову, пославшему его, а по дороге для большей уверенности поинтересовался мнением еще нескольких писателей.

Суслова на месте не оказалось, и Поликарпов вернулся в зал, где дело шло к концу.

А дозвонись он, может быть, сюжет бы изменился? Не знаю, но что-то не верится.

Теперь в зале сам собой установился определенный порядок: люди выступали просто подряд, один за другим, — как сидели. Когда моя очередь стала приближаться, я встал и вышел — будто покурить. Одновременно со мной вышли из зала Алигер и Арбузов — из тех, кого я видел. Тут же я поехал домой.

На том заседании «отщепенец Пастернак» (так сказано в постановлении) был исключен из членов Союза писателей.

А через три дня состоялось общее собрание писателей города Москвы на эту же тему. Оно проходило напротив, через улицу, в тогдашнем Доме кино. Председательствовал С. С. Смирнов, руководивший тогда московской писательской организацией. Он вел собрание спокойно, внимательно, порой увлеченно.

Народу пришло — уйма. Те, что присутствовали на предыдущем заседании, были уже сыты этим, болтались по фойе. Дело, по сути, было сделано.

Но в теперешней резолюции фигурировала еще и такая формулировка: «Собрание обращается к правительству с просьбой о лишении предателя Б. Пастернака советского гражданства». Известная поэтесса, старенькая, но еще вполне бодрая, востроносенькая, с белыми кудельками, вносила поправку из зала. Смирнов не слышал, переспрашивал.

Она повышала голос:

— Там говорится, пускай он будет изгнанником. Но слово «изгнанник» звучит слишком жалостливо, сочувственно. Нужно жестче: пусть он будет изгоем...

Но это ладно. Хуже, что среди выступавших были люди, которых я любил и сейчас люблю, особенно два прекрасных поэта, — с ними-то что случилось? И того, и другого это мучило потом до конца.

Перед голосованием мы стояли в фойе, у раскрытых задних дверей, напротив сцены, — я, Трифонов, Винокуров и еще небольшая толпа. И так у каждой двери. Мы были вне зала, и таким образом присутствовали, но не голосовали. Наивно, конечно, и немного стыдно даже, но так было. Тогда это казалось чуть ли не смелостью.

Зачитали резолюцию.

Смирнов спросил почти подряд:

— Кто за? Кто против? Кто воздержался? — и заключил: — Принято единогласно. На этом общее собрание писателей Москвы объявляется...

Тут одни повалили из зала, а другие, напротив, в зал, услышав, что какая-то пожилая женщина закричала с места:

— Неправильно! Не единогласно. Я голосовала против...

Сергей Сергеевич сначала сделал вид, что не слышит ее, но она приблизилась к сцене, и он вынужден был спуститься к ней. (Но что значит — вынужден? Последующие литературные руководители вряд ли бы спустились.)

Она горячо втолковывала ему что-то, он нагибался к ней, оправдывался.

— Кто это? — спрашивали кругом.

— Аллилуева.

— Писательница?

— Да, реабилитированная. Из той семьи...

Это была Анна Сергеевна Аллилуева, сестра Надежды Сергеевны. Свояченица Сталина.

Потом я прочитал роман. Помимо прекрасных стихов, подаренных автором своему герою, глубоко запали, запомнились не сюжетные линии, а картины зимней ночной и иной Москвы, уральского имения, остановившегося на перегоне поезда, звуки дальней стрельбы, ощущение смутной, нарастающей тревоги.

И еще. Опубликуй «Новый мир» этот роман тогда, большинство подписчиков журнала не дочитало бы его до конца. Говорю это, разумеется, не в укор художнику. Это типичная проза Пастернака — для подготовленного читателя высокого уровня.

И, конечно, ничего предосудительного там нет. Впрочем, теперь это ясно почти каждому.

Потрясенные американцы

В самом начале шестидесятых Москву посетила делегация американских писателей, первая после длиннейшего перерыва. Респектабельная компания: седовласый мистер Эдвард Уикс, редактор журнала «Атлантик», критик Альфред Кейзин (он и

сам писал прозу), драматург Педди Чаевски, — только что у нас прошел фильм «Улица Марти» по его сценарию, и, наконец, политолог Артур Шлезинджер-младший, в скором будущем советник президента.

Собрались в Малом зале ЦДЛ, — новое его здание было совсем недавно построено.

С нашей стороны тоже всего несколько человек — Леонид Леонов, Валентин Катаев, Маргарита Алигер, получившая мировую известность после того, как на нее во время загородной встречи с деятелями искусства кричал и топал ногами Хрущев. Был еще специалист по роману (как жанру) Михаил Матвеевич Кузнецов, в просторечии — Михмат. И мы с Инной Гофф, — нас-то вообще непонятно почему пригласили.

Вел встречу Алексей Сурков.

Он призвал присутствующих представить себе, что стол, за которым они сидят, — круглый, хотя тот, как он выразился, *несколько угловат.*

Сурков относился к той категории окающих, от которых остается впечатление, что они окают и в словах, где отсутствует «о».

Начали элегично, разминочно. Американцы рассказали, что во время полета над нашей страной они поражались обилию лесов и думали о том, как много мы можем изготовлять бумаги и издавать прекрасных книг. Кто-то из наших ответил, что в Америке отличная полиграфия, и две-три минуты ушло на обмен комплиментами.

И вдруг один из них невинно произнес:

— А сейчас кто-то должен сказать что-нибудь неприятное...

А другой мигом подхватил, задал вопрос:

— Вмешивается ли партия в дела литературы?..

Повисла тишина, но Сурков тут же предложил ответить Леониду Максимовичу Леонову. Американцы понимающе закивали: Леонов!

Нужно заметить, что на встрече сидело несколько наших переводчиц из иностранной комиссии, опытных, сообразительных, реагирующих мгновенно. За спиною буквально каждых двух-трех участников. Так что трудностей с пониманием не было.

Леонов сказал следующее (это, разумеется, не стенограмма, но за точность изложения ручаюсь):

У него две дочери. Сейчас это взрослые женщины — он назвал их профессии. А когда-то они были девочками.

Американцы слушали очень сочувственно и серьезно.

И вот когда он, Леонов, узнал, как фашизм поступает с маленькими девочками, он понял, что фашизм его личный враг. Тут он привел еще из Достоевского фразу о слезе ребенка и возвращенном Богу билете. И на этом закончил.

Они ничего не понимали. Да, да, конечно, это все трогательно, но где же ответ на вопрос? В свою очередь выражал недоумение и Леонов: я же ответил!

Потом он встал и извинился, что должен уйти, так как собирается сегодня в консерваторию на концерт, но в конце года предполагает посетить Соединенные Штаты.

Создалась ситуация некоторой общей растерянности, а скорее просто комическая ситуация. И тут на выручку бросился Катаев.

Он повторил своим одесским жлобским голосом: вмешивается ли партия в литературу? И дал твердо заверяющий ответ: нет, не вмешивается.

Однако, видя лица увядших от разочарования американцев, он решил по мере возможности взбодрить их. Но у нас, сказал он, есть Главлит.

Настала пора беззвучно охнуть Суркову. Ведь Главлит — это те цензурные структуры, о которых не принято было где-либо упоминать. Катаев же, поняв, что дал маху, стал убеждать гостей и отчасти нас, что такие организации есть во всем мире, они стоят на страже государственных, военных секретов. Знаете, разные мосты, — разъяснил Катаев.

А между тем помимо нашего стола был в зале еще один, он стоял сзади, метрах в десяти от нас. И с некоторых пор вокруг него началось движение.

Официантки покрыли его крахмальными скатертями и начали вносить блюда с зелено-красными салатами, пластами светло-янтарной лососины, слабо слезящейся севрюги, судки с отборной дробью черной икры и готовыми лопаться от прикосновения губ ягодами икры красной. Правильнее было бы называть ее оранжевой. А на отдельном приставном столике ярко светилась роща золотых и серебряных стволов коньячных и водочных бутылок.

Как впоследствии сказал какой-то остроумный человек: кому это все мешало?..

Уверен, что ни от кого из сидящих за первым столом не укрылись эти манипуляции и никто не остался к ним равнодушен.

И когда Сурков, своевременно уловив общее настроение, предложил отдать должное второму столу, все перешли к нему с истинным облегчением.

Даже обнаружилась какая-то новая доверительность, раскованность, объяснимая для людей, держащих ледяную рюмку в руке.

Кейзин, свободно говоривший по-русски, начал объяснять, насколько изумилась бы и была шокирована Америка, если бы президент Эйзенхауэр вздумал учить писателей, как и что им следует писать. Но это была уже околосветская, застольная болтовня.

Взрыв произошел на другой день.

На этот раз сошлись в соседнем доме, в конференц-зале сологубовской городской усадьбы, за длинным зеленым столом. Леонов и Катаев не явились, но Сурков, как опытный тренер, ввел в состав запасных — Александра Чаковского и Виктора Перцова. Представляя каждого из них, он громко произносил: «Вчера вернулся из Штатов!..» Американцы реагировали весело: какие там новости?

Потом они сделали краткое сообщение об их текущей литературе. Мы впервые услышали имя — Сэлинджер. Повесть «Над пропастью во ржи» еще не была у нас переведена.

Следом выступил Чаковский. Он сравнивал два фантастических рассказа, по-моему только что им придуманных — наш и американский. Советский космонавт терпит бедствие. Однако он может спастись и вернуться на Землю, но тогда погибнут другие, и он предпочитает сам кануть в черные бездны. Американский же астронавт в схожей ситуации выбирает вариант собственного спасения. Эти два рассказа, по мнению выступающего, символизируют отношение к человеку двух наших литератур.

Гости мрачно его выслушали.

Затем взял слово маяковсковед Перцов. Он рассказал, что еще недавно гулял по Бродвею и в каждом книжном магазине или журнальном киоске прежде всего ему бросался в глаза секс. Секс, секс, секс.

И не успели еще перевести, как американцы радостно закивали: секс, секс...

Далее Перцов произнес фразу, которой, видимо, очень гордился: продукция для лиц, не достигших половой зрелости или утративших ее...

И тут случилось неожиданное. С одним из американцев произошла форменная истерика.

— Кто этот человек? — закричал он и швырнул на стол нож для фруктов. Он бросил его перед собой, но тот, пружиня, запрыгал вдоль всего стола, правда, довольно удачно — не задевая фужеров.

А другой американец крикнул:

— Если эти люди представляют Союз писателей, то мы шокированы!..

И в это время отворилась дверь и возвратился Сурков, выходивший позвонить. Но какова была его реакция! Он как ни в чем не бывало приблизился к торцу стола и сказал:

— Я чувствую себя человеком, который вернулся в вагон, когда уже побиты стекла...

И пошел, и пошел, и заокал, и заокал: времени у нас мало, поссориться мы успеем, а помириться его уже может не хватить. Но у нас общая литература. Толстой и Достоевский не только великие русские, но и великие американские писатели. Джек Лондон и Драйзер (гости поморщились) не только великие американские писатели. Хемингуэй и... (Фолкнер — подсказал кто-то из переводчиц)... за Фолкнера не скажу, — походя ответил ей Сурков, — не только...

Короче, американцы удовлетворились его речью и встали с места даже слегка размягченные.

И поехали на его ярославском «о», покатили на этом его колесе, не предполагая, сколько ждет их впереди надежд и разочарований. Но ведь и нас — тоже.

Без гимна

Я был среди приглашенных писать текст нового гимна Советского Союза в 1956 или 1957 году. Собрались в ЦК, и, как запомнилось, народу было довольно много. Вел встречу в приятной мягкой манере Дмитрий Трофимович Шепилов. Довольно скоро его уже объявили *примкнувшим* (к антипартийной группировке, разумеется). Он объяснил, что существующий с 1944 года гимн не отвечает нынешним требованиям. Каково это было слушать Михалкову! Но, как известно, его ничто

никогда не выбивало из колеи. Неизвестно зачем, выступили несколько стихотворцев. Запомнился вопрос Грибачева. Он попросил разъяснить — что́ в гимне требуется отразить. А стихотворной техникой, заверил он, мы все владеем.

Шепилов ответил, что на днях присутствующие получат по почте подстрочные переводы гимнов большинства стран — для ознакомления. Гимны действительно были присланы, и это было любопытнейшее чтение.

Помимо общеизвестных гимнов (Франции, Англии) там были и другие тексты, несущие в себе афористическое, формулирующее начало, но главным образом явно народные песни, с колыбели известные каждому. Даже песенки, — скажем, о кленовом листке — гимн Канады. Гимн должен быть известным в стране любому и всем и вызывать у любого и всех — слезы. Вот что я уразумел из этого чтения. И второе — что у нас такое невозможно.

Шепилов объявил, что каждый из присутствующих, кто примет участие в написании, получит вне зависимости от результата по три тысячи рублей (тогдашних денег). Потом это ему тоже поставили в вину: заигрывание с творческой интеллигенцией.

И еще он сказал, что посылать тексты нужно на его имя, а на конверте делать пометку: «Секретно. Только лично. Канцелярии не вскрывать».

И заскрипели перья.

Я написал тоже. Долго помнил наизусть, потом позабыл, правда, осталось где-то в записной книжке. Однажды Твардовский попросил прочитать, послушал — не одобрил, размер, говорит, не тот. Прочел свое — я от оценки уклонился.

Потом, когда Шепилова уже отстранили, к идее вернулись, и многие тексты были опубликованы в «Правде», однако не говорилось, что это возможные проекты Государственного гимна. Просто патриотические стихи. Но поразительно, насколько у всех они были написаны одинаково суконным языком. Не только у Грибачева, но и у Твардовского, и у песенного Исаковского. Вот что значит гипноз правительственного заказа!

Предпринимались также попытки объединить различные тексты, для чего авторов вызывали на кратковременные сборы в Дом творчества композиторов. Я в этих мероприятиях не участвовал.

И в течение целых двадцати лет великая страна не имела Государственного гимна! Звучала только часть гимна — его мелодия. То есть старая музыка А. В. Александрова, написанная им когда-то в качестве «Гимна партии большевиков».

Великая страна при исполнении мелодии своего Государственного гимна оставалась немой.

Но Сергей Михалков, понятно, не дремал. Он подлатал и подправил старый, прохудившийся текст и сумел убедить тех, от кого это зависело, в необходимости его нового принятия. Что и случилось в 1977 году.

Легкомыслие и безнравственность затеи били в глаза.

Как раз в то время большая писательская делегация ехала в Польшу — парадная такая делегация, с начальством во главе, — и вот мы утром заявились в банк на улице Чкалова получить командировочные в польской валюте.

Там уже висел отпечатанный золотыми буквами на лакированной бумаге текст гимна. Ну висел и висел. Но лист был не простой, а с автографом Михалкова, адресованным сотрудникам банка. Меня это совершенно изумило, и я громко делился с коллегами своим изумлением.

Кем же нужно было себя ощущать, чтобы дарить Государственный гимн СССР от собственного имени — как детский стишок или басню?

Но в Варшаве он еще не такое учудил.

На встрече в нашем посольстве он вручил Гимн Советского Союза послу Советского Союза. И, разумеется, с автографом.

То есть С. Михалков самонадеянно вручил растерянному послу нашего государства официальный символ нашего государства, коим (наряду с флагом и гербом) является гимн.

Вот куда может завести фарс.

Сейчас мы по-прежнему привычно живем без гимна. Звучит лишь его музыкальная часть. Неужели он нам не нужен?

Но мы же не раз наблюдали по телевидению, как, скажем, иностранные футболисты на чемпионатах мира — каждый только для себя — подпевают своему гимну. Наши не могут этого сделать.

Помните, Воланд в «Мастере и Маргарите» спрашивает, хохоча: «...Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» А нам не до смеха.

В музыке существуют «песни без слов». Но гимнов без слов не бывает.

В метро, на «Библиотеке»

Пишут в книгах о том, как вернулись из лагерей уцелевшие и стали рассказывать — кто их погубил, или просто смотреть им молча в глаза, и *тем,* погубителям, становилось не по себе, худо.

Но вот в те времена видел я в метро, на «Библиотеке», как невысокий человек еще в ватнике, но уже с начинавшими оттаивать интеллигентными чертами лица бил встреченного им здесь, в переходе, врага, вполне приличного по виду, с портфелем в руке.

Он бил не так, как били его самого следователи и урки — не изощренно, не подло, он бил не профессионально, но сильно, — сшибал с ног и снова поднимал короткими руками, и снова бил.

— Ты посадил меня, гад, оклеветал! — кричал он и бил, бил.

Большинство проходило мимо, другие останавливались, смотрели и объясняли ситуацию любопытным. Милиции не было. Ее никто не звал, в том числе и избиваемый, ползающий на четвереньках, потерявший очки и портфель.

Среди возвратившихся были разные — и тихие, пришибленные, и жалко-оживленные, и откровенные карьеристы. И оставшиеся людьми, сохранившие свое или восстановившиеся быстро и смело.

«История партии»

К осени 1948 года в Литинституте, куда я только что поступил, был уже подготовлен для передачи в издательство коллективный стихотворный сборник «Родному комсомолу», посвященный тридцатилетию этой легендарной организации. В него включили и двух-трех первокурсников.

Однако дело неожиданно застопорилось. Начальству пришло в голову создать ударный раздел из политических, гражданских стихов, в связи с чем нескольким студентам дали срочный «социальный заказ».

Я написал стихотворение «История партии». Этими двумя словами начиналась у меня каждая строфа, а внутри четверо-

стиший фигурировало то или иное событие партийной жизни. И была строка:

История партии... Ленин в столице.

Имелся в виду момент приезда вождя в Петроград и вскарабкивание его на броневик.

Сборник вышел. Сигнальный экземпляр принесли в общежитие, и авторы, волнуясь, рассматривали свои преображенные набором строки. Я раскрыл книжку и ахнул. Вместо приведенного выше было напечатано:

История партии... Ленин и Сталин в столице.

Я в ярости швырнул сборник на пол. Мой друг Ваня Ганабин из Южи тут же поднял его и попенял мне: нужно, мол, уважать труд своих товарищей. Я возбужденно объяснил, что меня выставили неумехой, неспособным соблюсти стихотворный размер. Кто и зачем вставил мне Сталина? При чем он здесь?..

В комнате, кроме нас двоих, было еще трое: Иван Завалий из Прилук, Сашка Шабалин из Коврова — все мы фронтовики, и молодой чувашский парень Гоша Ефимов. Стоило кому-то из них не то чтобы специально *стукнуть,* но мимоходом где-то сказать: возмутился появлением товарища Сталина, бросил книгу на пол... И все.

Нет, хорошие со мной учились ребята.

Хрущев и «заец»

В период активной подготовки хрущевских реформ по правописанию на страницах печати проводились под видом дискуссий разъяснения, убеждающие в их правоте.

Суть идеи была предельно очевидна. Хрущева, увы, ставила в тупик и потому раздражала сама необходимость писать не так, как произносится. Классический из предложенных им примеров — «заец».

И вот в кабинете главного редактора респектабельной газеты совещание. Несколько языковедов (докторов и член-корров) увлеченно обосновывают эту новаторскую теорию.

Секретарша чуть-чуть приоткрывает дверь и делает главному знак. Тот, извинившись, выходит.

Вызывают по «вертушке» из ЦК. Коротко и сухо сообщают: только что закончился пленум. Хрущев освобожден от занимаемой должности.

Информация носит чисто практический характер: предупредить появление положительных упоминаний о нем.

Главный возвращается в кабинет. Только что начал выступление очередной оратор. Коллеги слушают внимательно, одобрительно кивают.

Дождавшись конца, главный, как бы между прочим, небрежно сетует на то, что вот все они, и он тоже, достаточно занятые люди, а вынуждены терять время на игру в обсуждение беспардонно-безграмотной чепухи.

Гоголевская сцена. После долгой паузы — разъяснение.

Шутник! Некоторые так и не смогли ему простить этого дополнительного унижения.

Тот самый Куницын

Российский писательский съезд шестьдесят пятого года. Как обычно, открылся он в Кремле, там же будет и заключительный прием, а остальные дни — в Колонном зале. Всесоюзные съезды — те целиком в Большом Кремлевском дворце; на моей памяти лишь Второй проходил так же, как теперь российские.

И вот последний день заседаний, даже уже вечер. Все устали. Завтра только выборы. И тут, в самом конце, выступает Гамзатов.

У Расула так бывало. Сидит, сидит в президиуме, почти заснул, и вдруг выходит на трибуну — и где его благодушие? Он ироничен, язвителен, раздражен. Никого не щадит и не боится. И теперь над его головой пестрым бураном забушевали метафоры. Он говорил о поэзии, о том, как она бесправна и несчастна, как ей трудно среди черствых, равнодушных людей. Так запомнилось.

Он задел и взбудоражил своим темпераментом зал, и проводили его восторженно.

В те годы мы после заседаний еще не спешили по домам, жалели расставаться. Гостиница «Москва» гудела, в каждом номере гости, а иные шумят в коридорах или переходят от од-

них постояльцев к другим. И вот тут непонятно откуда, но стало известно, что за сценой Колонного зала к еще горячему после выступления Гамзатову подошел первый секретарь МГК Егорычев и высказал неудовольствие его речью. А Расул в запале будто бы посоветовал ему больше заниматься Московской писательской организацией. Теперь доброжелатели нашего доблестного аварца сокрушались. «Что же он делает! — кричал его основной переводчик. — Они же его сотрут!» Другие были настроены более оптимистично. Но вскоре, за новыми разговорами, об этом забыли.

Домой я приехал поздно, спал мало, а наутро опять заседание, и еще на час раньше — партгруппа.

Во время съездов Колонный зал бывал полон. Помимо делегатов много писателей и неписателей с гостевыми билетами, пресса. А тут не только одни делегаты, но лишь делегаты-коммунисты. Заняли четверть зала, не больше, а зал огромный, прекрасный, и в нем утренняя стерильная тишина.

Вышел на сцену Халдеев, его лица я совершенно не помню. Он работал тогда в ЦК, в Бюро по РСФСР. Поодаль, сбоку сел Поликарпов, завотделом культуры ЦК. Он за все время не вымолвил ни слова. Больше на сцене — никого.

Халдеев сказал, что сегодня съезду предстоит избрать членов Правления Союза писателей Федерации, членов Ревизионной комиссии и делегатов на Всесоюзный съезд. Мы должны по-деловому, но не затягивая, обсудить кандидатуры, с тем чтобы выйти к нашим беспартийным товарищам с единым мнением и в дальнейшем отстаивать его.

Он излагал эти общеизвестные, многократно слышанные всеми истины тоном первооткрывателя. Даже делал паузы, будто бы ища наиболее точные формулировки.

Затем он начал зачитывать подряд три длиннейших списка. Уловить что-то на слух, чтобы сопоставить и сделать выводы, было, конечно, крайне трудно, но определенные странности и несуразности обнаруживались. В списках отсутствовали многие известные имена.

Халдеев закончил читать и спросил, какие будут суждения. Попросил слова Гамзатов, зал слегка оживился, словно вспомнив что-то, но Расул скучным голосом предложил проголосовать сразу за все три списка. Делегация отдаленной автономной республики предложила заменить одного своего представителя на другого. Удовлетворили. И все дела.

— Еще какие предложения?

И тут я поднял руку:

— Разрешите?

Это произошло неожиданно для меня самого. Возникло острейшее желание высказать собственное мнение. Оно и понесло меня к трибуне.

— Да, пожалуйста.

Я поднялся и, как мог спокойно, сказал:

— Я не склонен преувеличивать значение того, чем мы сейчас занимаемся. Литература сама по себе, а это само по себе. Но все-таки. Как нас призывали, я хочу сказать откровенно, в своей партийной среде. Вот мы пришли сюда, серьезно, ответственно, и что же мы слышим? Вернее, не слышим фамилий прекрасных писателей. Правление и Ревизионная комиссия РСФСР — с этим проще, но делегаты на большой наш съезд! Вот я по первому только впечатлению не нахожу здесь А. Бека, М. Луконина, А. Рыбакова, В. Солоухина, Ю. Трифонова, Ю. Друниной (не было в этом списке и К. Симонова, но я не заметил). Но зато здесь есть Агния Кузнецова. Я полагаю, она в этом списке лишь потому, что она является супругой Георгия Мокеевича Маркова.

Марков вместе с другими секретарями сидел внизу, в первом ряду, — ведь шла партгруппа. Лицо его стало свекольного цвета. Честное слово, я пожалел его, но вовремя не успел и не сумел остановиться и обратился уже непосредственно к нему:

— Георгий Мокеич, ну нельзя же так...

— Что вы предлагаете? — спросил Халдеев холодно, почти брезгливо.

— Я предлагаю вместо Агнии Кузнецовой включить в список делегатов всемирно известного писателя Александра Бека...

И в полнейшей тишине, слыша только звук собственных каблуков, сошел с трибуны. И не успел я сойти, как на трибуне оказалась М. П. Прилежаева. Как она попала туда, до сих пор остается для меня загадкой. Во всяком случае, никаких приспособлений для подметания я не заметил.

— Что же это такое! — запричитала она. — Как он мог! Мне кажется, я ослышалась!.. — и далее, в таком же духе: — Оскорбил, оскорбил!..

— Да никого я не оскорблял, — громко объяснил я с места. — Я просто предлагаю Бека...

Впоследствии я был с Марией Павловной в самых добрых отношениях. Она хорошая, доброжелательная женщина и, будучи долго председателем Бюро, вовсю тянула многих детских писателей. Ну а тут — что же...

Еще выходил К. Финн. Зачем, говорит, такой уважаемый против такого уважаемого... Есть люди, желающие все смягчить.

Итоги подвел Халдеев.

Да, сказал он, Ваншенкин, конечно, прав, что мы в своей среде должны говорить откровенно. И имена он назвал достойных писателей, мы их уважаем, но не могут же попасть в списки все. Еще он заметил вначале, что я говорил не вполне тактично, а закончил тем, что и довольно бестактно.

Вопрос даже не голосовался. Объявили перерыв. В фойе мне пожали руку не менее пятидесяти коллег, восхищенных и солидарных.

А далее произошло то, ради чего я, собственно, и начал этот рассказ.

Вскоре мы должны были ехать в Рим, на конгресс Европейского сообщества писателей, членом которого я состоял. Мы были уже оформлены. Ехала большая компания, одни делегатами, другие гостями, но все — члены этой организации. Четверо — К. Симонов, М. Бажан, Р. Рождественский и я — с женами. Дело в том, что названные и еще М. Алигер, Е. Калашникова, В. Левик, Аг. Гатов и совсем молодой П. Палиевский должны были после конгресса еще совершить тур по Италии.

Я зашел в нашу Иностранную комиссию узнать — когда отъезд. Внутри одного из флигелей старинной городской усадьбы, где размещается Союз писателей, как всегда, стоял полумрак, на столе горела лампа. Секретарши не было (я не люблю, когда женщину называют: секретарь). Я потоптался, не решив, подождать или зайти позже. И тут мой взгляд упал на лист бумаги, лежащий посреди стола. Это было «Постановление секретариата», помеченное вчерашним числом. Речь в нем шла о составе отправляющейся группы.

Знаете это ощущение: вроде бы все на месте, кто должен быть рядом, и ты, разумеется, тоже где-то здесь, но тебя все-таки нет? Так бывает и с привычными вещами — вот они все, кроме той, что ищешь.

Я тут же рванул дверь и вломился к председателю комиссии. Он работал у нас недавно, не успел освоиться. Впрочем, вскоре из-за какой-то его промашки ему пришлось уйти.

— Почему меня нет в списке? — крикнул я возмущенно.

— Я человек новый, ничего не знаю, — отвечал он. — Решение секретариата.

— А кто вел секретариат?

— Марков.

И. запал мой так же внезапно исчез.

— А! Все понятно! — произнес я почти про себя и вышел.

Постоял у ворот, потом заглянул в ЦДЛ. Было еще рано и потому малолюдно. В Пестром зале сидел за столиком Юра Трифонов, кого-то дожидаясь. С ним был его приятель, спортивный журналист. Я взял в буфете рюмку коньяку и чашечку кофе и подсел к ним.

— Ты чего такой грустный? — спросил Трифонов.

— Я не грустный, — отвечал я. — Я расстроенный, — и рассказал о случившемся.

Мимо проходил В. Н. Ильин, оргсекретарь Московской писательской организации, генерал КГБ в отставке, сам просидевший в одиночке несколько лет.

— Можно тебя на минутку? — обратился он ко мне, приостанавливаясь.

Я встал и подошел.

— Хочешь поехать с Инной в Англию, в туристскую поездку?

— Нет, не хочу.

Тогда он понизил голос.

— Твою мать... — произнес он. — Да он бы должен был сказать: вычеркивайте кого угодно, но только не Ваншенкина. Чтобы не было разговоров...

И пошел дальше. Нет, он все-таки был человек старых правил.

Я вернулся за столик.

— А ты пойди в ЦК, — вдруг посоветовал беспартийный Трифонов.

— Что толку! Он сам член ЦК.

— Просто расскажи, чтобы знали.

И в тот же день я позвонил по телефону Поликарпова.

— Дмитрий Алексеевич болен, — ответил женский голос. — Его замещает Георгий Иванович Куницын.

Я перезвонил по другому номеру, представился и попросил о встрече.

— Приходите завтра в девять утра, — тут же предложил Куницын.

Он поднялся мне навстречу, огромный, плечистый, протянул руку с широченной ладонью. Потом пересел напротив меня за маленький столик.

Я начал не с предмета жалобы, не с результата — меня, мол, вычеркнули из состава делегации, — а по порядку, но покороче. Сказал о партгруппе, о списках, где отсутствуют известнейшие писатели, о своем выступлении.

Он слушал очень внимательно, живо; увлекшись, время от времени раздвигал углы рта и делался похож на большого симпатичного дельфина.

— Она действительно его жена?

— Конечно.

— Но, послушайте, — чистая душа, он не хотел верить! — неужели он вас из-за этого вычеркнул?

— Так получается. Я член Европейского сообщества, а жена моя член Союза, причем единственная среди остальных жен. Чем же еще объяснить?!

— Сейчас я позвоню Воронкову, — сказал он решительно и потянулся к «вертушке» (К. В. Воронков был оргсекретарем Союза писателей СССР).

Куницын крутил диск, круглые ячейки были маловаты для его пальцев. Воронкова на месте не оказалось.

— Позвоните мне завтра с утра. — И Куницын опять протянул мне свою ручищу.

Я от души поблагодарил его. Конечно, я не строил иллюзий, но было приятно встретить доброжелательство и понимание.

Буквально через час после моего возвращения домой раздался звонок. Говорила Людмила Ивановна из Иностранной комиссии. Она ведала там всеми техническими вопросами отправки делегаций.

— Константин Яковлевич, — спросила она своим характерным высоким голосом, — вы с супругой в Рим хотите самолетом или поездом?

— Мы поездом, — отвечал я.

Разумеется, я тут же позвонил Куницыну:

— Георгий Иванович, спасибо, нет слов...

Мне показалось, что он тоже доволен.

— А Воронков мне сказал: что же он к нам в Союз не пришел? Мы бы сами все устроили!..

В его голосе я уловил снисходительную иронию.

С тех пор я знаю его. Вот говорят: перестройка, люди перестройки. Он именно такой человек — перестройщик. Но у него это давно, чуть не всю жизнь, пожалуй. Сибиряк, с Лены. В войну сапер, четыре ранения. Партийная работа с Академией общественных наук посередине. И главное, насквозь, через судьбу — страсть к правде, к справедливости, к добру. Желание помогать людям — чисто по-человечески, но во имя высшей идеи.

Исполняя обязанности заведующего отделом культуры ЦК, он приезжал в Союз писателей, собирал руководство, давал указания. Те рты раскрывали, понять не могли, настолько это бывало прогрессивно, смело. И с остальным как-то не вязалось. Ведь дело-то шло на свертывание инициативы — как раз начало брежневской долгой полосы. Но его же кто-то посылал, инструктировал? Им в голову не могло прийти, что это он сам, на свой страх и риск делал. Впрочем, риск — да, но страх был ему, по-моему, уже неведом. Когда он приезжал вместе с Демичевым, то, сам того не желая, напрочь забивал его — памятью, эрудицией, просто уровнем.

Потом, довольно быстро, не только Демичев, но и Суслов поняли, что такой он им не нужен. Анкетные данные прекрасные, но слабоуправляем, слишком самостоятелен. Искали ему новое место. Он согласился в «Правду» — редактором по отделу литературы и искусства — живая работа. Но и здесь тоже не притерся, помешала прямота.

Сколько его трепали потом, мстили те, что недавно еще заискивали. Он их небрежно презирал. Но иногда поражался, не верил: наивность — оружие сильных.

Выбрасывали из журналов его статьи, тормозили, останавливали философские книги. Провалили защиту докторской диссертации. Но через некоторое время он все равно защитился. Не смогли сломить обстоятельства этого гиганта с дельфиньей улыбкой. И книги его вышли и выходят.

У него была блестящая память. Иногда его трогательно заносило, — открытого, увлекающегося. Так было с его сужде-

ниями об инопланетянах, — нет, не в принципе, а в деталях и теперешней, как ему казалось, конкретности предмета.

Несколько лет назад я был на его юбилее в институте имени Гнесиных. Он там профессорствовал. Не по музыкальной части, разумеется. Я увидел, как его любят, как им восхищаются — студенты прежде всего. И подумал: а ведь, наверное, хорошо быть любимым профессором.

Г. М. Марков был его антиподом. А ведь он тоже сибиряк и тоже партийный работник. Но у него все было выверено, согласовано. Он никогда не повышал голоса. Был сдержан — или, как раньше бы сказали, выдержанный. Он руководил литературой, а мог бы руководить чем-нибудь другим — прирожденный аппаратчик. Он досконально знал всю эту систему служебных отношений. Он не виноват — он такой. Виноваты люди и обстоятельства, вынесшие его наверх. Виновато время, которому он оказался нужен.

Его доклады на съездах и пленумах, написанные, разумеется, не им, по форме были на уровне докладов тогдашних секретарей обкомов. В них — ни собственной мысли, ни наблюдения, ни афоризма, ни яркой цитаты. Они забываются сразу же, едва прослушаны.

Поначалу я думал, что это крепкий провинциальный писатель с языком и глазом, что называется, с пером в руке.

Он хорошо смотрелся — подтянут, даже элегантен.

Всеобщее мнение было: он незлой. Помогал многим. Защитил прекрасного переводчика немецкой поэзии Льва Гинзбурга, когда того (по его словам) готовы были растоптать в двух газетах за публицистическую книгу «Потусторонние встречи». Марков поехал к Суслову, спас перепуганного Леву. Гинзбург был у него вроде порученца при совместных поездках в ГДР.

Он и ко мне до того случая хорошо относился. Наверное, потому ему было особенно обидно. В тех списках на съезде присутствовали еще случайные люди, рядовые сотрудники Союза. Но Агния Кузнецова была наиболее характерным примером.

В моем выступлении все же был положительный эффект: столь массовое пренебрежение к писателям, пожалуй, больше не повторялось.

С годами, успокоившись, он предпочитал сам снисходи-

тельно рассказывать об этой истории. Комитет под его председательством даже дал мне Государственную премию, но это случилось через двадцать лет, уже на волне перестройки.

Георгий Марков -- был человеком эпохи.

Георгий Куницын всегда шел впереди нее.

Ильин и Щербаков

Помимо всего прочего Сталин был коллекционером — в кадровом смысле. Его коллекция — каждый экспонат в одном, максимум в двух экземплярах — как бы опровергала общие правила и указания. На нее всегда можно было сослаться, ею оправдаться и утешиться, — прежде всего перед самим собой.

Мужья двух осужденных по политическим статьям женщин — его ближайшие соратники. Великий ученый-генетик преследуется и уничтожается, а его родной брат — обласканный президент Академии наук. Похожий вариант — М. Кольцов и Б. Ефимов. Немало примеров в литературной части. Здесь свой граф. Свой еврей, и весьма сомнительный, — болтающийся по Испаниям и Франциям, однако увенчанный и защищенный. Свой сын кулака (в представлении коллекционера). Свой сын одного из руководителей антоновского мятежа. Свой поэт, пишущий совершенно непозволительную для других интимную, порой постельную лирику. Все они, как говорится, в порядке. А Генеральный секретарь Союза советских писателей! Тот вообще часто выходит из-под контроля, не всегда управляем. И ничего — член ЦК. Место в коллекции делало Фадеева неуязвимым. Ему все сходило с рук. Он порою не являлся на большие собрания, на пленумы, где должен был выступать с основными докладами. Со сцены объявляли переполненному залу: «Александр Александрович заболел...»

Зал понимающе хмыкал.

Генерал КГБ в отставке Виктор Николаевич Ильин долго работал в Московской писательской организации. Он был секретарем как раз по оргвопросам. Его, пенсионера, сейчас частенько вспоминают в связи с диссидентами, исключениями, отъездами. И поскольку он был именно той инстанцией, с которой практически общались тогда эти люди, они его больше всего и запомнили. А он человек очень четкий, сухо-

ватый, пунктуальный, с отчетливым желанием не только выглядеть, но и быть объективным, пусть по-своему.

Он как-то объяснил мне, что пришел в отдел, курирующий искусство, уже после довоенной последней волны арестов и при нем подобных акций не было. Действительно, ни от кого из литераторов, вернувшихся после XX съезда, я не слышал о его причастности к их горькой судьбе.

Правда, Андрей Старостин рассказал, как во время одного из допросов на Лубянке, в сорок втором, отворилась дверь из коридора, и Ильин, не заходя, а только заглянув, буркнул:

— А, Старостин. Доигрался?.. — И тут же прикрыл дверь.

Разумеется, под последним словом он имел в виду не футбол.

Однако это скорее так, из любопытства, — следствие по «спартаковскому делу» вели не его сотрудники.

Въедливость характера Ильину только вредила.

Однажды в генеральском ателье он увидел на «плечиках» только что сшитую шинель с полковничьими знаками различия, но из отменного, скорее уж маршальского сукна и громогласно заявил, что это грубое нарушение правил. Ему ничего не ответили, тогда он спросил, чья это шинель. Оказалось, Василия Сталина.

Во время войны Ильин летал по делам службы в осажденный Ленинград. Его поразило, что в управлении НКВД работники среднего звена ели до отвала кашу с маслом, а высшего — даже деликатесы. Он уточнил: анчоусы.

В конце концов и он был арестован, как не раз случалось в том ведомстве, провел в одиночке несколько лет. Когда он вышел, его устроили работать к нам в Союз.

Как-то раз перед войной Ильину позвонил А. С. Щербаков, секретарь МГК и ЦК, сказал, что срочно нужен Фадеев, но его не могут найти, и попросил помочь. Если уж такие люди обращаются, значит, дело действительно серьезное.

Ильин заверил, что они сделают все возможное, но в конце не удержался и весьма желчно заметил:

— Я полагал, что наша задача разыскивать контрреволюционэров (он так произносил), а не членов Центрального Комитета.

Фадеева, разумеется, отыскали — на чьей-то даче.

Что сказать в заключение? Как это часто бывает, не стало хозяина — распалась и коллекция.

О Борисе Бялике

Хоронили Бориса Бялика.

Панихиду в Малом зале сердечно и просто вел Петр Палиевский. Писателей было мало. О былых приятелях напоминали своим присутствием их вдовы и выросшие дети. Даже критиков почти не наблюдалось. Основная публика — сотрудники Института мировой литературы, где он работал, — коллеги, ученицы и ученики.

Выступили несколько докторов наук и один член-корреспондент. Они говорили хорошо, очень тихо, интеллигентно, но, мне казалось, слишком пространно. Вообще это слегка напоминало заседание ученого совета. Некоторые даже касались своих отдельных несогласий с его концепциями, почти полемизировали. Они, сами того не осознавая, продолжали воспринимать его живым. Но в целом оценивали высоко — как блестящего ученого, одного из основоположников горьковедения, неутомимого исследователя и организатора научного процесса.

Последним выступал Матусовский, упомянул о язычке Бори Бялика, как он выразился, на который никому не пожелал бы попасться, а больше вспоминал о войне, о редакции армейской газеты, где они вместе служили, о независимости и редкой смелости покойного. «Маленький и храбрый, как капитан Тушин, Боря Бялик», — закончил он и заставил этими неожиданными словами прослезиться многих, в том числе, кажется, и Палиевского.

Короче говоря, все было пристойно.

Перед началом траурного митинга Палиевский предложил сказать слово и мне, но я отказался: был еще не готов к этому. А потом даже пожалел — просто потому, что о многом в характере и судьбе Бялика не говорили.

Было время, мы постоянно общались с ним и с Люсей, бывали у них, а они у нас. В их доме чаще всего можно было встретить Смеляковых, а также Светлова, Полевого, Марецкую, Донского, Эйдлина, Фатьянова, В. Лифшица, Книпович.

Они называли его Борей. Да и не только они, а чуть не все. Боря Бялик. Писатели, даже довольно молодые, воспринимали его не как профессора, литературоведа, а как своего собрата. В нем никогда не было ни капли важности; своих степеней и званий он словно немножечко стеснялся.

И еще нужно сказать: он по натуре был гуляка.

Я близко общался и дружил с Владимиром Николаевичем Орловым и написал потом в воспоминаниях:

«Как поразительно в нем уживалось! — любовь к науке, к архиву, к серьезным и упорным кабинетным занятиям и одновременно к жизни, компании, веселью, застолью».

Да, но облик и повадки Орлова в любой ситуации сами напоминали, кто он и что он. А Бялику, наоборот, были свойственны удивительные внешние несолидность и несерьезность. Тоже, вероятно, врожденное качество. Как его заливистый высокий смех. Помню его историю и отдельно, через несколько лет, подтверждающий рассказ Василия Ардаматского, как они, основательно загуляв на ВДНХ (тогда это еще называлось ВСХВ — Всесоюзной сельскохозяйственной выставкой), заснули в стогу сена около павильона «Животноводство» и были разбужены на рассвете ранним холодом, птичьим гвалтом и вольными разговорами молодых скотниц.

Ну и что! В различных областях науки существуют легенды о забавных проделках профессоров и корифеев. Почему бы не быть им и в литературоведении.

Но это ладно. А еще вот о чем ни словечка не обронили там, на панихиде. О том, что геройское участие в защите Отечества не считалось стоящим внимания доводом против обвинения в безродном космополитизме. Вот ведь как! О Бялике даже была статья «Теоретик космополитизма». Ни больше ни меньше.

А когда времена изменились, с какой видимой легкостью согласился он простить своих жестоких обидчиков и потом вправду не держал на них зла.

И наконец, я сказал бы, что редко кто из профессионально занимающихся классикой с таким вот живым естественным интересом читал современное, откликался, звонил, присылал письма. Разве только тот же Вл. Орлов.

Вот о чем я не сказал там и говорю сейчас.

Жданов и Бабаевский

На Втором совещании молодых писателей в 1951 году помимо занятий в семинарах бывали еще общие заседания. Перед участниками выступали корифеи — Пришвин, Твардовский, Леонов...

И неожиданно — Бабаевский. Круглобритоголовый, как Грибачев, но мягкий, ласковый. Делился опытом. Скромно вспоминал о своей недавней безвестности. И вдруг триумф, да какой! — «Кавалер Золотой Звезды». Но что делать дальше, чтобы свой авторитет поддержать? Ведь Сталинская премия I степени! Стал он думать. Тут его вызывает Жданов, спрашивает, какие планы. Не знаю, отвечает, пока думаю. Жданов ему: а чего думать? Пишите продолжение, материал под рукой. Внял он мудрому совету, написал «Свет над землей» — опять премия.

Разумеется, не они со Ждановым это изобрели. Про мушкетеров небось читали. Но там объяснимо — приключения. А у нас тогда началась просто эпидемия продолжений. Первое место, наверное, за Катаевым. Зря он в эту гонку ввязался.

Твардовский открыто презирал, не выносил холодного стремления многих выжать из вещи, имевшей успех, дополнительные выгоды. Издевался над авторами своего журнала, пустившимися — слаб человек! — во все тяжкие.

Могут сказать: а сам написал второго «Теркина». Нет, то совсем другое дело.

Гражданская панихида

Хоронили Юрия Воронова, главного редактора блистательной «Комсомолки» шестидесятых годов, человека благородного и бесстрашного, перенесшего мальчишкой ленинградскую блокаду.

Его газета защищала прежде всего человеческое достоинство — от некомпетентной, бесцеремонной идеологической критики тех лет. Очерк о китобойной флотилии и злоупотреблениях на ней обсуждался даже на Политбюро. И «Комсомолка» победила. Но Воронову это запомнили. Мстительная система не простила ему, что он не такой, как все. «Своим» подобных вольностей тем более не забывали. Его под удобным предлогом отправили в Восточный Берлин, даже не послом — корреспондентом.

Опала длилась десять лет. Когда же он вернулся, это был другой Воронов. Ему давали все более высокие посты, в том числе в ЦК, но он исполнял свои обязанности словно во сне, по инерции, под наркозом.

Гражданская панихида проходила в Малом зале ЦДЛ. По-

этому казалось, что народу много. Меня заранее попросили выступить.

Перед началом вдруг смотрю: стоит Лигачев. Потом, — конечно, отдельно, — Яковлев. А за минуту до панихиды появился Горбачев. Хорошо выглядит, загорелый, — кто-то сказал: кварцуется. Положил в гроб цветы и встал среди выступающих, рядом с В. Карповым. Я оказался между ними, но слегка позади.

Верченко, открыв прощание, предоставил слово Карпову и дал мне знак, что следующая очередь моя. Но когда он объявил меня, я на миг оказался заблокированным Горбачевым и идущим навстречу Карповым.

Тогда я отодвинул Горбачева за плечо, разминулся с Карповым и, выйдя вперед, сказал именно то, о чем сейчас упоминал — о мстительной системе.

Когда я возвратился, Горбачев повернул ко мне голову и произнес:

— Молодец, Константин!..

Я еле удержался, чтобы не ответить:

— Нормально, Михаил!..

Помните эту репризу Жванецкого?

Да больно уж обстоятельства были неподходящие.

Потом уже я подумал: а почему ему понравилось? Ведь мое выступление — против его родной среды. И понял: он себя тоже относит к пострадавшим и тоже — от своих. Он считает, что и ему не простили отклонения от нормы.

Президиум и трибуна

Бывший главный редактор одной из самых крупных наших газет, сидя рядом со мной на писательском съезде в зале Большого Кремлевского дворца, объяснил мне к слову, почему под официальными снимками съездовских президиумов стоят обычно две фамилии фотокорреспондентов.

Чтобы выстроенное на сцене в форме амфитеатра с крыльями громоздкое сооружение президиума умещалось в кадре, его следует снимать издали, с балкона. Но тогда получается слишком большой разрыв между президиумом и вынесенной вперед трибуной с докладчиком. И трибуну снимают отдельно, из партера. А потом обе фотографии монтируются.

И вот был случай... Сессия Верховного Совета. Министр

финансов на трибуне, читает доклад, и он же одновременно в президиуме — сидит задумчиво, умостив голову на кулак, заслушался. То есть общий план сняли, пока он еще не спустился или когда уже вернулся.

Я потом сам обнаружил в другой газете похожий сюжет — даже еще очевидней. Черненко уже на трибуне, а весь президиум, повернувшись вбок, к проходу, стоя аплодирует, улыбается подобострастно. В этот миг генсека уже объявили, но он еще не успел появиться на ступеньках.

Подсказка

Владимир Александрович Лифшиц был человек иронический. Он писал не только лирические стихи и пьесы для детей, но и всяческие юморески, пародии. Он был одним из создателей небезызвестного персонажа «Литературки» — Евгения Сазонова.

Однажды Лифшиц ждал в Переделкине гостей из города и топтался у автобусной остановки сразу за воротами писательского дома.

Затормозили «Жигули». Лейтенант за рулем опустил стекло и обратился к Лифшицу:

— Извините, не подскажете, где здесь дача Пастернака?..

— Подскажу, — ответил Владимир Александрович. — У ближайшего перекрестка направо и вдоль заборов. Увидите настежь распахнутые ворота — это и есть то, что вы ищете.

Лейтенант поблагодарил и задал следующий вопрос:

— А не подскажете, где живет Солженицын?..

Дело в том, что А. И. Солженицын до этого некоторое время находился на даче К. И. Чуковского.

— Это дальше, — вежливо объяснил Лифшиц. — У второго перекрестка опять же направо, выбираетесь на Минское шоссе и — налево. Дальше все время прямо. После Бреста начинаете забирать левей, тяготеете к юго-западу. Потом спросите: Цюрих...

Лейтенант ошалело поблагодарил и нажал на газ.

Андрей Петрович
(об Андрее Старостине)

Странно представить и просто невозможно поверить, что между этими двумя днями пятьдесят лет...

Я, мальчишка, сижу со взрослыми на трибуне, упиваясь яркой зеленью поля, разноцветными вымпелами, оживленной праздничной толпой. И, переливаясь, шелестят в воздухе волшебные слова: Акимов, Леута, Ильин, Якушин. И, конечно, — Старостины. Я знаю имена всех четырех братьев, но сейчас там только один — Андрей. Номеров на спинах нет и в помине, на поле круговерть, не сразу разберешь, кто где, а он виден сразу — высокий, худой, чернявый.

Что-то в нем впрямь цыганистое. И ведь действительно, всю жизнь его к ним тянуло. Он и женат на артистке, плясунье из театра «Ромэн», Ольге Кононовой, — я, разумеется, не знаю об этом...

И второй день, ясный, прохладный. Конец октября. Я сел в такси:

— Сейчас заедем на рынок за цветами и — в Сокольники.

Водитель спросил:

— К Андрею Петровичу?

Когда уже миновали парк и ехали вдоль трамвайной линии, я обратил внимание на то, что вагон, который мы обгоняли, набит битком. Время вроде не пик, да и место не такое людное. Но тут трамвай остановился, и из него высыпали буквально все. Старички в кепочках, кое-кто с малым букетиком — сохранившиеся спартаковские болельщики довоенных времен. Да и не только, понятно, спартаковские, — вся футбольная Москва шла. К Андрею Петровичу.

Когда-то зимним морозным вечером я был здесь с ним на тренировке «Спартака», поражался внутренней красотой крытого футбольного манежа. Теперь — сжалось сердце — перед входом ждали похоронные автобусы, подъезжали машины, тянулась и тянулась прерывистая людская цепочка.

Народ все прибывал, но не было ощущения, что людей особенно много. Ведь все это происходило не в комнате, не в зале, а на просторе футбольного поля.

Гроб стоял недалеко от входа, и, если употребить профессиональный термин, где-то у передней границы штрафной площадки. Конечно, не это имелось в виду при выборе места, но уже дома я подумал, что именно здесь чаще всего можно было увидеть на поле Андрея Старостина.

Сменялся почетный караул, скорбно застыли около гроба родные, и пугающе поражал безупречной выдержкой старший брат — Николай Петрович.

Здесь было немало людей хорошо знавших друг друга, здоровающихся, обнимающихся, не видевшихся очень давно. Их собрала его смерть.

Здесь были футболисты давних времен, глубокие старики, седые, морщинистые, сгорбленные, чаще всего совершенно неузнаваемые. Боже мой, какими они были когда-то, как играли! Узнать можно было лишь тех, кто стал потом тренером.

Здесь присутствовали все футбольные поколения. Нырков в генеральской форме, Николаев. И следующее — Нетто, Исаев, тяжело прохромавший бедняга Яшин, Стрельцов, Иванов, Кавазашвили. Торпедовцы так и стояли в карауле — вместе. Мы столкнулись с Игорем Нетто, разговорились, сокрушаясь. Были тут и хоккеисты — Евгений Майоров, Александр Якушев. И еще многие, кого я не знал или не узнал.

Кое-кто удивлялся, что нет теперешнего «Спартака». Но Бесков привозил команду раньше, утром, — ей вскоре предстояла серьезная игра. Да не одна. Немного не дождался Андрей Петрович нового спартаковского чемпионства.

Толпа топталась, медленно завихрялась, незаметно перестраивалась... Ко мне подошел человек, работавший с Андреем Петровичем в Федерации, стал мне показывать: это такой-то, а это такой-то, — я бы сам ни за что не догадался. Потом он выдернул из толпы еще одного:

— Расскажи, как видел Андрея на кладбище.

И тот охотно рассказал, что за несколько дней до кончины Старостина встретил его на Ваганьковском.

— Иду к выходу с товарищем, а навстречу Андрей Петрович по аллейке. В руке несет цветы, совсем без стеблей почти. Вот, говорит, решил проведать брата и сестру, цветов нет, купил у бабки, — видать, с могилы. А ты чего? И у

меня, говорю, здесь близкие. — А! И пошел. Мы тоже повернули, с ним идем. Он тяжело так идет. Подошел к могиле, на колено встал с трудом, цветы положил и поднялся с большим усилием. И говорит, знаете, своим голосом: «Что, не по-старостински?»

(Это он здорово подметил: *своим голосом*. У Андрея Старостина была очень сильная собственная интонация, замечательная, ни на кого не похожая манера говорить.)

Я тогда: Андрей Петрович, хотите подойдем сейчас к Андрюше Миронову? Здесь недалеко. Он спрашивает: сколько метров? Я говорю, метров триста. Он: триста? Нет, это далеко, в другой раз. Ноги не ходят... С юмором так говорит, то ли шутит, то ли как. И пошли обратно. Тяжело, правда, идет...

Тут началась панихида. Речи, даже самые искренние, в таких случаях всегда выглядят для меня как бы не слишком уместными.

Потом гроб подняли на плечи и не сразу направились с ним к выходу, но обнесли вокруг поля — последнее прощание с футболом.

Когда ехали мимо ипподрома и никто в нашем автобусе не обращал на это внимания, я сказал:

— Мимо Бегов везут Андрея...

И многие понимающе улыбнулись.

На Ваганьковском, особенно когда пошли по нужной аллее, стало совсем тесно от людей и венков, мало кто сумел подступиться к могиле, бросить на крышку горсть земли, даже услышать слова прощания. Да ведь и не это было главным.

На поминках, измученные этим днем, еще оглушенные первым горем, как под наркозом, сидели родные: Ольга Николаевна, дочь Наташа, любимый зять Саша, любимейшая внучка Лизанька. Братья, сестра, другие близкие...

И за всем посторонним растущим шумом запомнились мне слова младшего брата — Петра Петровича об их замечательной семье. Он сказал тоже фирменным, старостинским, голосом:

— Но Андрюша особенно удался, особенно хорошо был выпечен...

В конце пятьдесят шестого года мы с женой приехали в Малеевку. Получили ключи, поднялись в комнату, поставили

вещи. Я подошел к окну. Внизу, на дорожке, стояли драматург Исидор Шток, с которым я был в приятельских отношениях, еще какой-то человек и Андрей Старостин. Я знал, что они с Исидором свояки — женаты на родных сестрах.

За окном позванивал голубой морозец, но на Старостине была кепка, осеннее пальто, легкие туфли. Он стоял стройный, красивый, и я подумал: как же хорошо, что он здесь!

— Инна, — позвал я жену, — посмотри, Андрей Старостин.

Потом мы спустились обедать и встретили Штока.

— Андрей? — переспросил он. — Гостил у меня три дня, только что уехал.

Велико было мое разочарование.

Любопытно, но шаг к нашему знакомству сделал он сам. Редколлегия одного из выпусков «Дня поэзии» обратилась к ряду известных людей с вопросом о том, кто им наиболее близок в современной поэзии. Старостин назвал Твардовского, Смелякова и меня. Нужно ли говорить, что мне это было приятней, чем статья иного маститого критика.

Это был человек огромного обаяния. Однажды в Доме кино он остановился, терпеливо отвечая на вопросы нескольких женщин. Мужская компания чуть поодаль ждала его, и кто-то сказал:

— Любят Андрея женщины! — а другой возразил:

— Ну, что вы! Гораздо больше его любят мужчины.

И это была правда. Его любили, восхищались им, дружили с ним Чкалов, Шостакович, Олеша, Яншин, Ляпидевский, Утесов, Фадеев, Бернес. Его уважали все, кто играл рядом с ним или против него. А как обожали его самоуверенные футболисты пятидесятых — шестидесятых годов, столько слышавшие о нем и не разочаровавшиеся, когда он вернулся. Они слушали его, раскрыв рот, — как никого.

Я сам наблюдал это в сборной команде, куда он тактично приглашал меня, — не выступать, а просто так. Бывал я с ним и на тренировках, и на играх, в ложе прессы, где ловилось на лету каждое его мнение.

Как бы я описал его? Открытое мужественное лицо, сломанный нос. И одновременно — ум, скромность, интеллигентность, естественность. Врожденные, но и развитые замечательные качества.

У меня есть стихи о нем — «Андрею Старостину». Они

много раз печатались. В них тоже его портрет. И еще стихотворение «Футбольные прозвища». Приведу только начало:

В спорте прозвища как в деревне,
И традиции эти древни.
Каждый ловко и прочно зван:
Слон. Михей. Косопузый. Жбан.

Кто же это такие? Все довоенные корифеи. Слон — Артемьев, отец следующего Артемьева — Виталия, капитана «Локомотива». Михей, понятно, — Якушин. Жбан — Александр Старостин, знаменитый защитник, второй по порядку брат, из его рук Андрей получил капитанские повязки «Спартака» и сборной.

Я тоже познакомился и не раз общался с ним впоследствии. Это был умница, симпатичный, сразу располагающий к себе человек. Относительно невысокий, плотный, он оправдывал свое прозвище. Ну а Косопузый? Это одно из прозвищ Андрея — элегантного, подтянутого. Прозвище — наоборот. Изощренное болельщицкое остроумие.

Когда с ним случился роковой инсульт и он умер почти скоропостижно, многие если не сказали, то подумали: что ж, судьба. Ведь представить Андрея Старостина парализованным, потерявшим речь — невозможно!

Даже первый, довольно поздний приступ радикулита он перенес с оттенком трагичности. Он привык чувствовать себя сильным и здоровым. Он получал от этого удовольствие.

Когда он шел по улице, руки у него всегда были свободны — никаких портфелей, кейсов, «дипломатов». Согласитесь, редкость по нынешним временам. Когда-то он навестил меня в больнице. Только что вышедшая его книга, которую он мне принес, едва умещаясь, торчала из кармана.

Да, Андрей Петрович прекрасно писал и прекрасно рассказывал — это сочетание встречается не столь часто. Он писал прежде всего о футболе, — ярко, достоверно, со множеством подробностей. Мне приятно, что я имею отношение к двум его книгам, где говорится не только о футболе. Но что значит отношение — просто я долго убеждал и наконец убедил его написать и о детстве, о своей семье, об отце и дяде Мите — известных егерях, специалистах по красному зверю. Главное, что ему самому хотелось.

С младенчества слышал он рассказы о всяких подлинных охотничьих случаях. О том, например, как отцу и дяде пришлось спасаться от волчьей стаи на ветвях ели. Стоял лютый мороз, они совсем окоченели и едва удерживались, когда неожиданно пришла помощь.

Но вот что пишет автор:

«Вместе с тем хищность волка осознавалась мною несколько притупленно. Быть может, острота восприятия снижалась тем, что убитые волки лежали у нас в московском доме в холодных сенях по нескольку дней, дожидаясь отправки в мастерскую по выделке шкур и поделке чучел. Бегая через сени во двор то за дровами, то за керосином в чулан — для быстроты операции чаще всего босиком, — приходилось наступать необутой ногой прямо на промерзлое брюхо лежащего волка. Попирая поверженного хищника голой мальчишеской ступней, я подсознательно недооценивал злую силу жизни». Каково!

Как-то в Московской писательской организации возникла идея подготовить коллективную книгу о Красной Пресне, о ее истории и людях, — наш Союз находится в Краснопресненском районе. Из этой затеи так, по-моему, ничего и не вышло. А тогда мой друг Юра Трифонов загорелся написать о Старостиных — ведь они исконные пресненские.

Обратился к Андрею Петровичу, попросил рассказать поподробнее, но тот деликатно уклонился.

— Не хочет Андрей (так мы называли его за глаза), — говорил Трифонов несколько смущенно. — Наверно, сам пишет...

Да, тот уже решился.

Я не только убедил его написать новую книгу, но и, предварительно условившись, привел Андрея в журнал «Москва», где его сердечно приняли и заключили авансовый договор.

Исидор Шток, узнав об этом, уверенно сказал:

— Не напишет! — имея в виду определенную неорганизованность, отчасти богемность его характера и образа жизни.

Но Андрей Старостин написал. И здорово написал! Когда он принес в редакцию первый большой кусок, все там пришли в восторг, а опытнейшая сотрудница спросила меня по секрету:

— Кто ему пишет?..

Увы, порой пишут — и не только государственным деяте-

лям, но и самим писателям. Правда, писать так, как Андрей Старостин, они не умеют. А он через несколько лет и следующую книгу написал.

Но и устный рассказчик он был поразительный. Из тех, о которых говорят — непревзойденный. Как жаль, что бесчисленные рассказы его остались не записанными на бумаге или на пленке.

Попробую воспроизвести некоторые его истории.

Я бывал с ним на бегах. Но я-то так, за компанию. А он играл. Пропускали его и тех, кто с ним, без билетов.

— Еще не хватает билеты брать, — усмехнулся он хмуро и уточнил: — Это все на мои деньги построено.

То есть на проигранное им за долгие годы.

И вот — рассказ. Зима, холодно, метет. Они стоят на скамьях своей компанией — несколько дружков на подхвате и Александр Петрович. Его Андрей в рассказах часто называет: брат Шурка. А самого старшего (того, разумеется, здесь нет) — Николай Петров.

Андрей делает ставки, дает деньги, ребята бегают в кассу — и опять мимо, и опять не угадал. Смеркается, последний заезд. И снова неудача. Он бросает билеты. А метет! И вдруг до него доходит, что он выиграл, в дубле, большую сумму. Но ведь как затмение нашло. Он говорит об этом негромко, невозмутимо. Компания бросается искать. Но он же не будет лазать под лавками. Он, как прежде, стоит — высокий, стройный. И брат Шурка, разумеется, рядом.

А те ищут, уже чиркают спичками, но — разве найдешь! Иголка в стоге сена. Но находят — он называет кто, по имени. Бегут получать. Он, понятно, на месте. Кассы уже закрыты, не платят, но кассирши еще там. Одна соглашается выдать. Выигрыш — восемь тысяч. Тысячу пришлось дать кассирше, — это они объясняют. Деньги, конечно, старые. Он, не считая, сует их в карман. Пошли?

Святочный рассказ. Но чистая правда. Это было в середине пятидесятых.

В тридцать седьмом, когда «Спартак» выиграл рабочую Олимпиаду в Антверпене, а затем побывал еще и в Париже, в нашей печати, как выражается Андрей Петрович, проскочила статья «О насаждении в обществе «Спартак» буржуазных

нравов». Об этом пишет он в своей книге «Встречи на футбольной орбите».

«Кто-то распустил слух, что спартаковцы якобы намеревались скомпрометировать престиж нашего футбола «неполноценным» выступлением на рабочей Олимпиаде».

Позвольте, но ведь они Олимпиаду выиграли. Логика, однако, не считалась тогда весомым аргументом.

В статье упоминались имена всех четверых Старостиных.

Вернувшись, они попросились на прием к Косареву, который старался успокоить их, а затем написали письмо в более высокий адрес.

В результате в «Известиях» появилось сообщение: «Дело братьев Старостиных прекращено». Если бы!

Еще до войны Андрей Петрович стал директором фабрики спортивного инвентаря, потом она выпускала противогазы. Бомбежки Москвы, жестокое первое лето, немыслимая осень, когда враг уже рядом, в ближайших дачных местах, и наконец всеобщий вздох облегчения, ликование, радость — первая настоящая победа, и где — под Москвой!

Дальше у Старостина сказано:

«А весной 1942 года шальная «фугаска» упала не по адресу. Бывают такие случайности во время войны, когда снаряды ложатся по своим. Взрывная волна огромной силы разбросала нас кого куда: Николая в Комсомольск, Александра в Воркуту, Петра в Соликамск, меня в Норильск».

Их взяли всех в одну ночь. У Андрея на спинке стула висел пиджак с орденом «Знак Почета». Тогда эти ордена еще крепились не на колодке с булавкой, а на винте. Один из пришедших вырвал его, не развинчивая, «с мясом». Грудная Наташа спала в соседней комнате. Андрей сказал, что должен попрощаться с ней. Они не разрешили. Но он отмахнулся и шагнул в дверь. Они вдвоем завели ему за спину руки и держали так, пока он, нагнувшись, целовал ребенка.

Его отвезли на Лубянку, где он провел восемь месяцев в одиночной камере, не зная, как идет война, что с семьей, с братьями и сестрами. Его только водили на допросы и требовали сознаться в службе западным разведкам, в подготовке террористических актов и в прочей чепухе, отнюдь не казавшейся забавной.

И ведь, напомню, война, сорок второй год.

Потом, уже глубокой осенью, его посадили в «черный во-

рон» и повезли куда-то очень недалеко. «Здесь пешком пять минут». Он вышел, увидел прямую знакомую улицу и в стороне, на возвышении небольшую толпу, преимущественно из женщин. «И как они узнали?..» Он услышал женский голос:

— Андрей! — и успел заметить Шуру Кононову, свояченицу, сестру Ольги. Он махнул ей, и тут же его ввели, почти втолкнули в подъезд.

Остальных братьев тоже привезли раздельно. И не только их. Подсудимых набралось в несколько раз больше. Это было так называемое «спартаковское дело». Но они, понятно, ловили взгляды друг друга: ну, как ты, брат? Их специально посадили на скамье не рядом — через два-три человека.

Началось чтение обвинительного заключения. Они, стоя, слушали перечисление всех параграфов и пунктов пятьдесят восьмой статьи.

А за спиной зал, полный ощутимо дышащих ненавистью слушателей или курсантов — будущих военных юристов.

Среди подсудимых был и Евгений Захарович Архангельский. Не тот Архангельский, из Ленинграда, который ездил осенью сорок пятого в составе московского «Динамо» в Англию, а старый футболист, много старше Андрея. Я тоже его знал и неоднократно (потом, разумеется) с ним встречался. У него было прозвище Железное Сердце — как из рыцарских времен. Это был человек ротский. Услышав это словечко, я тут же спросил, что оно значит. Андрей Петрович разъяснил, что это прилагательное от слова «рота». А ротой в Москве испокон веку назывался мир игроков, маклеров, барыг. Своеобразный жаргон, конечно. Так вот, Евгений Захарович был ротский человек, игрок. Он был сухой алкоголик. А это что еще? А то, что он играл беспрерывно, во что и на что угодно. Вот, скажем, сидим, он предлагает: давайте — какая официантка раньше войдет в зал, Тоня или Аня? На десятку. И все. Экспресс-лото.

И вот они, стоя, слушают ужасные обвинения. А ведь ослабли еще к тому же, и вдруг администратор Р., потеряв сознание, падает вперед через барьер.

Вы, может быть, играли на бильярде в пирамиду и знаете, что если «свой» шар перелетает через борт, это штрафуется пятью очками.

Так вот, Р. падает, к нему бросаются, мгновенная рас-

терянность, председатель прерывает чтение, и в наступившей тишине раздается бесстрастный голос Евгения Захаровича:

— Пять очков!

И они, несчастные подсудимые, бесправные, оболганные, начинают хохотать. Нет, это не истерика, — напротив, это здоровый, жизнерадостный смех. Глянут друг на друга — и еще пуще.

Им кричат со сцены:

— Прекратить! — а они не могут остановиться.

Тогда объявляется вынужденный перерыв — ведь судебное заседание едва началось.

А после перерыва напряжение несколько спадает, братьям уже разрешают сесть рядом, они сдержанно — это у них в крови — тискают друг друга.

Но неправый приговор нелепо жесток, и разлука по сути бесконечна.

Думается, братья Старостины останутся и уже остались не только в истории нашего футбола, в его статистических справочниках, а вообще в истории. Слава их была всенародна, любовь и сочувствие к ним — повсеместны.

Андрей Петрович по дороге в Норильск оказался в огромном, видимо, пересыльном, лагере. Несмотря на то что он находился в *зоне,* за охраняемой оградой, к нему был приставлен персональный конвоир.

К слову, Генеральный конструктор вертолетов Михаил Леонтьевич Миль рассказывал мне когда-то, как во время войны он ездил по делам на фирму Туполева. Известно, что туполевское КБ было целиком арестовано, размещалось за колючей проволокой, но и внутри, по всей территории за Андреем Николаевичем Туполевым неотступно следовал красноармеец с винтовкой. Туполев подчеркнуто не обращал на него никакого внимания.

Охранник Андрея Петровича исполнял свои обязанности не столь истово, да и что ему было беспокоиться: из зоны никуда не денешься. Он с кем-то заговорил, отвлекся, а в это время из длинной землянки, в каких обычно располагаются продовольственные склады, высунулся краснолицый старшина и позвал громким шепотом, сделав энергичный приглашающий жест:

— Старостин! Иди сюда!

Андрей не заставил себя ждать и спустился в землянку. Старшина запер дверь, быстро разлил по кружкам водку, вскрыл мясные консервы, крупно нарезал хлеб.

— Ну, давай!

Конвоир, потерявший подопечного, побегал, покрутился и безошибочно стал стучать в землянку. Старшина убрал со стола и открыл дверь. Конвоир придирчиво посмотрел по сторонам, понюхал воздух и спросил строго:

— Заключенный Старостин, кто вам разрешил опьянить-ся?..

Потом Андрей Петрович долгие годы провел в Норильске, тренировал местную футбольную команду, которая имела немалые успехи и выиграла Кубок Красноярского края.

Великое множество раз я встречался с ним и помимо прямого удовольствия от общения еще обязательно узнавал нечто новое.

Несколько лет он был начальником сборной команды СССР, объездил с нею без преувеличения чуть не весь свет, при нем она выиграла Кубок Европы. Но однажды он признался мне, что теперь не тот, что был когда-то, — нет в нем прежней уверенности, смелости, самоуважения.

Я не очень поверил ему, не хотелось верить. Тем более что у него было прескверное настроение: накануне «Спартак» проиграл торпедовцам финал кубка, — в результате, как считал Андрей, недобросовестного судейства.

Помню, договорились мы встретиться в Центральном доме литераторов. Андрей Петрович пришел со своим вечным спутником, милейшим Ариком Поляковым, трогательным сотоварищем тех давних лет. Но оказалось, что ЦДЛ закрыт. Я предложил пойти в Дом архитектора.

Он спросил, где это. Я удивился и объяснил, что рядом, на улице Щусева.

— Щусёва? — переспросил он. — Где же это, Щусёва? — Он так произносил.

Мы пересекли проходной двор, миновали страшный когда-то особняк и повернули направо.

— Щусёва! — сказал Старостин с чувством. — Это же Гранатный переулок. Вон мой дом, я здесь жил, а вот школа...

И он, усмехнувшись, рассказал, как однажды пришла за-

вуч из этой школы и, долго извиняясь, попросила его и бывавших у него других футболистов пореже выходить на балкон. Она понимала бестактность своей просьбы, но ее вынудила необходимость: срывались занятия, падала успеваемость, мальчишки, ничего не слыша, глазели на его балкон, стоило кому-нибудь там появиться.

Андрей обещал это учитывать.

Он бывал у меня дома, хорошо знал мою семью. А в последнее его лето вместе с Яном Френкелем был у меня на даче.

Пока накрывали на стол, я предложил немного пройтись.

— Пройтись? — переспросил он с преувеличенным ужасом. — Исключено.

Мы сели на скамейку.

— А комаров у вас нет? — поинтересовался он весьма серьезно.

Комаров не было.

В остальном это был прежний Андрей Петрович.

Год спустя я сказал к месту своей внучке-третьекласснице:

— Был такой замечательный человек, Андрей Петрович Старостин...

Она посмотрела на меня с удивлением:

— Почему был?

— Он умер.

— Как? Но он же приезжал к нам летом... — И глаза ее наполнились слезами.

Она хорошо помнила его, и ее поразила столь очевидная реальность перехода из жизни в смерть.

На поминках по Александру Старостину я прочитал строчки из моего давнего стихотворенья. Теперь их вполне можно отнести и к Андрею. Там есть слово «команда», у меня имеется в виду корабельная, но ведь то же самое можно сказать и о футбольной:

Команда сильно поредела,
Таков был будничный уклад,
И для живых, по сути дела,
Жизнь состояла из утрат.

...Горько и странно, что его нет.

Жена-цыганка

В ресторане нашего писательского Клуба я ужинал с Андреем Петровичем и Михаилом Михайловичем Яншиным. Был еще Арик Поляков. Сидели спокойно, никуда не торопясь и говорили не только о футболе.

Шел мимо, уже к выходу, поэт и очеркист Владимир Гнеушев, симпатичный мне человек. Он на ходу кивнул мне, потом посмотрел на наш столик внимательней и вдруг повернул к нам.

Подойдя, он бегло поздоровался, основательно уперся ладонями в стол, а взглядом — выборочно — в Андрея Петровича и стал проникновенно объяснять ему, как он его уважает. По правде сказать, это несколько меня удивило: я никогда не слышал, чтобы Гнеушев интересовался футболом. Но тот, нависая над столом и заглядывая в лицо Старостина, продолжал что-то ему нашептывать. Андрей Петрович был, конечно, человек привычный к обожанию, умел это переносить, но тут и он уже начал томиться.

— Володя, — пришел я на помощь, — ну что ты все: Андрей Петрович, Андрей Петрович. А вот Михал Михалыч Яншин...

Расчет мой оказался точен. Гнеушев ахнул и переключился на Яншина:

— Михал Михалыч!..

Теперь он говорил о каких-то ролях, виденных в разные годы фильмах и спектаклях... Вдруг он опять вспомнил о Старостине и стал попеременно обращаться к тому и другому.

Они оба уже поворачивались ко мне — за помощью.

— Ладно, Володя, спасибо на добром слове, — сказал я ему дружески. — Нам всем очень приятно...

Те тоже покивали ему. Гнеушев галантно раскланялся.

— Кто это? — разом спросили оба, едва он отошел. Я сказал.

Ужин продолжался, про Володю вскоре забыли.

И тут, может быть, через полчаса, мне пришло в голову:

— А вы знаете, почему он подходил? Вроде бы ни с того ни с сего?..

Они даже не сразу поняли, о ком я.

— Да?

— Его же к нашему столу просто притянуло — подсозна-

тельно. То, что он болтал, это так. А причина другая: у него жена цыганка!..

Они оба так и ахнули:

— Почему же вы нам сразу не сказали?

— Да я сам только сейчас догадался. Только сообразил...

— Как интересно!..

Объясню причину их реакции.

Михаил Яншин был женат до войны на известной цыганской артистке Ляле Черной. Андрей Старостин учился с нею в школе, а его женой всю жизнь была ее двоюродная сестра, тоже артистка, плясунья из театра «Ромэн» Ольга Кононова. Она с маленькой Наташкой к нему и в Норильск ездила.

Теперь они сокрушались время от времени:

— Как жаль, что он ушел. Правда, жена — цыганка? Это же такая редкость!.. И неужто он ничего не знал про Лялю и Ольгу?

Беседа

Он увлеченно стал ей рассказывать:

— Форвард ударил по воротам и не попал.

Она спросила:

— Куда?

Он внимательно посмотрел на нее и ответил:

— В институт!..

На этом их беседа окончилась.

Разговор о футболе

Помню, был я в семидесятые годы в составе писательской делегации в Польше. Выступала наша группа на заводе в Катовице. Прямо в цехе. Рабочие всем своим видом показывали, что воспринимают мероприятие чисто формально. Хорошо встретили только Кайсына Кулиева. Он умел кого хочешь расшевелить, да и поляки почему-то расположены к кавказцам.

Я же, поднявшись, сказал, что существуют вещи, которые связывают людей, располагают их друг к другу. Например, не только в Польше, но и многие в России со знанием дела, с удовольствием или даже с подлинным во-

сторгом произносят такие фамилии, как Дейна, Лято, Шармах...

Публика оживилась.

— Гадоха! — кричали мне с мест.

— Каспарчак!..

— Жмуда! — добавлял и я.

— Томашевский! — продолжали они. А потом неуверенно прозвучало и несколько русских фамилий.

Мои попутчики ничего не могли понять.

А я называл футболистов сборной Польши, тогдашних бронзовых призеров чемпионата мира.

Два ответа Стрельцова

Футбольная команда ветеранов, еще совсем недавних звезд, выезжала на игру в соседний областной город.

За час, по-стариковски, встретились на вокзале.

— А Сам где?

Так они между собой называли Стрельцова. Неплохо.

Стрелец жил в одной остановке от вокзала. Решили на всякий случай ему позвонить. После нескольких гудков он снял трубку.

— Эдик, ну ты что?

Он спросил хрипло:

— А сейчас сколько?..

— Девять.

— Еще рано, — отреагировал Стрельцов и положил трубку.

Подали состав. Капитан опять пошел к автомату.

Снова Стрелец отозвался не сразу. И опять спросил:

— А сейчас сколько?..

— Без пятнадцати десять.

— Уже поздно, — вздохнул Сам и тихо положил трубку.

Я услыхал эту историю от динамовца Эдуарда Мудрика.

Общество

Один известный футболист, учась в школе тренеров, вытащил на экзамене билет с вопросом об общественных формациях и ничего не смог сказать по этому поводу.

Преподавательница задала несколько наводящих вопросов и наконец спросила напрямик:

— Ну в каком обществе вы живете?
Он ответил:
— «Локомотив».

Футбольный чемпионат

Футбольный чемпионат мира в Италии. Судьба нескольких важнейших игр решалась при помощи послематчевых пенальти. Нервное перенапряжение чудовищное. Так вот, более всего удручает даже не тот факт, что у нас в команде не оказалось лидера и нет звезд. У тех — не только игровой класс, у тех тренеры, улыбаясь, обнимают потом за плечи промахнувшихся футболистов. Класс человечности!

Хмурого, раздавленного Лобановского можно понять и оправдать. Он дитя системы и знает, что она не простит его. И сам он не прощает, не жалеет.

Мы — в другом измерении. У нас все еще другие правила — в этом наша главная слабость.

Команда

Понятие *команды*. Прежде всего корабельной. Ну, и конечно, команда в спорте, — скажем, футбольная. Команда Беккенбауэра. Команда Платини. Команда Бескова или Бышовца. И уже отсюда — по ассоциации — в политике. Команда Горбачева. Команда Клинтона. Команда Ельцина.

Но можно ли составить *команду* из людей, плохо понимающих или не желающих понимать друг друга? Или из просто слабых игроков? Приглашать в сборную заведомо неудовлетворительных исполнителей? Какого же можно ожидать результата — в том числе для карьеры тренера?

Играющий судья

Действующие поэты, регулярно выступающие с обзорными статьями о текущей поэзии. Существует понятие: играющий тренер, но не бывает играющего судьи. А тут и сам играет, и еще свистит — назначает свободные и пенальти, делает предупреждения.

Но ведь и судьи бывают играющие. Только они играют в иные, сомнительные игры.

Одноногие

Существуют футболисты — и среди них очень хорошие и знаменитые, — у которых одна нога значительно сильней другой. Есть даже профессиональное выражение: «сильнейшая нога». Вадим Синявский, ведя репортаж, говорил об игроке:

— Он нанес удар своей любимой правой ногой...

Еще таких футболистов слегка пренебрежительно называют иногда *одноногими.* Обидно!

Один из них и придумал когда-то потрясающую частушку:

Правая нога — жена,
Левая — любовница.
С левой редко бью, она
Зато слаще помнится.

Команде стишок очень нравился, но некоторые не верили, что это он сам сочинил, — думали, что я.

О Светлове

Я познакомился со Светловым в 1951 году, бывал с ним в поездках, однажды, в июне 1961 года, мы целую неделю жили в одном номере гостиницы «Октябрьская» в Ленинграде. Там мы отпраздновали его день рождения.

Я помнил, что 17 июня исполняется 50 лет Виктору Некрасову, и заранее собирался поздравить его, — он находился в Ялте. Накануне я узнал, что семнадцатого — день рождения и Михаила Аркадьевича. Когда утром я пошел отправлять телеграмму, он попросил передать Некрасову привет. Я приписал: «Шлет тебе привет Михаил Аркадьевич Светлов. Ему сегодня пятьдесят восемь».

Великое множество раз сидел я с ним за одним столом — и крытым зеленым сукном (главным образом на заседаниях Бюро секции московских поэтов, в так называемой восьмой комнате старого здания ЦДЛ), и за столами или столиками, накрытыми белыми крахмальными скатертями или простой клеенкой, а то и вовсе ничем не накрытыми.

Уровень его остроумия был не ниже его поэтического таланта. Это была такая же сильная, отдельная сторона его дарования. Иногда они смыкались.

Сострив или прочитав за столом новое стихотворение (чаще строфу или даже строчку), он обязательно спрашивал — обычно у сидящего рядом: «Ну, как? По-моему, ничего, да?» — довольный в этот момент общей реакцией.

Обычно к столику, за который садился Светлов, подтягивались со своими стульями еще многие, а те, кто не успел протиснуться, стояли сзади. То и дело, вызывая зависть у всего ресторана Дома литераторов, раздавались оттуда взрывы хохота. Но, раскрутив общий ход застолья, Светлов сам чаще всего как бы отходил в тень, сперва беседовал еще с ближайшими соседями, потом углублялся в

себя, отключался. Постепенно люди расходились, и иной раз можно было видеть стол, обставленный толпой пустых стульев, и лишь на одном — обсыпанного сигаретным пеплом, дремлющего в характерной позе, глубоко закинув ногу на ногу, Светлова.

В последний раз я встретился с ним летом 1964 года, в один из его полулегальных приездов из больницы. Он сильно изменился, ослабел, волосы поседели, росли отдельными кустиками. Мы сели за столик сразу при входе в ресторан, на самой дороге. После того совместного житья в Ленинграде у нас была такая игра: при встрече он всегда говорил: «Ну, что, старик Ваншенкин, хотите выпить? — и добавлял гордо: — Деньги есть!» (если они были). Или же я успевал предложить первым: «Михаил Аркадьевич, хотите выпить? Я угощаю».

Должен сказать, что мы далеко не всегда пользовались этой взаимной любезностью.

И тут я произнес свою фразу.

— Мне нельзя, — ответил он грустно. — Ну, давайте, только по пятьдесят, да?

Мимо проходили, здоровались, останавливались люди. Прошла поэтесса Елена Любомская из Каховки или Днепропетровска. Она была в свое время участницей одного из совещаний молодых писателей.

— Догоните ее, — вдруг встрепенулся Светлов и объяснил мне: — Я хочу дать ей рекомендацию в Союз.

Но когда ее вернули, он словно устыдился минутной сентиментальности и спросил только:

— Ну, как жизнь, старуха?

— Хорошо, Михаил Аркадьевич.

— Вышла замуж?

— Да.

— Хороший парень?

— Да, Михаил Аркадьевич, — отвечала она робко.

Он уже задумался, забыв о ней. Она потопталась и отошла.

Потом мы сидели еще на веранде, под провисающим парусиновым тентом. Был теплый тихий день.

— Знаете, старик Ваншенкин, — спросил Светлов, — какая разница между модой и славой? Мода никогда не бывает посмертной. Посмертной бывает только слава...

Грамзапись

Новое здание ЦДЛ (вход с улицы Герцена — теперь это опять Большая Никитская) было построено спустя полтора десятка лет после войны. До этого писательский Клуб размещался в старом олсуфьевском особняке на Поварской. Знаменитый Дубовый зал служил зрительным, а маленький ресторан находился там, где потом был бар, — помещение лишь слегка расширили за счет соседней комнаты. Поднимались туда по стальной винтовой лестнице — вроде корабельного трапа.

В ресторанчике часто можно было встретить Твардовского, Казакевича, Смелякова (до и после третьего его изъятия), Светлова, Фатьянова, Шубина, Луконина. Ни одного незнакомого лица. Я был молодой, но не помню случая, чтобы мне не нашлось места.

Сидели подолгу, пили много, но с интереснейшими разговорами, нередко с чтением стихов.

А с той стороны, где сейчас проход в Пестрый зал нового здания, был буфет, и хозяйничала там Полина Григорьевна, дама расчетливая и решительная. Весы стояли у нее под стойкой и не были видны подошедшему. Помню, покупаю домой то ли апельсины, то ли бананы, а официантка Шурочка стоит сбоку, мигает: мол, Полина недовешивает. Но что сделаешь, ладно!

Постоянным клиентам, если у них кончались деньги, она отпускала водку и коньяк в кредит, записывая за каждым количество принятых граммов.

Светлов называл это: грамзапись.

Маяковский в бильярдной

Однажды мы со Светловым играли на бильярде, и он рассказал историю, свидетелем которой был.

В «Метрополе» Маяковский играл в бильярд с каким-то нахалом, возбужденным от сознания знаменитости своего партнера. И вот после удара этого человека шар не упал, а остановился в самой лузе, — как говорят игроки, «ножки свесил», деваться некуда.

Маяковский не спеша стал мелить кий.

— Владим Владимыч, — сказал наглец под руку, — а ведь вы не забьете.

— Забью, — ответствовал тот спокойно.

— А если не забьете?

— А если не забью, — Маяковский был мрачен, — можете назвать меня ж... .

Он стряхнул с кия лишний мел, приблизился к столу и пробил. Шар повибрировал в губах лузы и остался на месте.

— Владим Владимыч, — партнер подобострастно хихикнул, — вы меня, конечно, извините, но вы ж... .

— Да, — грустно согласился Маяковский. — Я — ж... . Можете мной с... !

— Ну, как об этом напишешь? — заключил Светлов.

Однако прошли годы, и я вижу — а почему же? — можно это и записать.

В Ленинграде, в пивной на Невском, Светлов научил меня, как нужно выбирать раков. Когда живого рака при варке бросают в кипяток, он сгибается. Если рак прямой, значит, его варили уже дохлого.

Потом я слышал это и от Смелякова. Его тоже научил Светлов, еще до войны.

Светлов в суде

Вскоре после войны Михаил Аркадьевич Светлов был избран в районный суд народным заседателем. Приходил регулярно, но всегда молчал, словно задумавшись. На одном из судебных заседаний слушалось дело по обвинению молодого человека в попытке изнасилования. Тогда с этим было строго. Однако доказательства выглядели не слишком убедительными. Адвокат спросил у истицы:

— Как обвиняемый мог предпринять подобное действие, если он такой тщедушный, а вы мощная, крупная женщина?..

Она ответила:

— Он пытался это со мной сделать под наркозом.

Тут Светлов словно очнулся и задал вопрос:

— Под общим или под местным?..

Обвиняемый был оправдан.

Столпы

В писательском Клубе и в самом Союзе писателей на протяжении десятилетий подвизалось несколько колоритнейших фигур из обслуги — настоящих столпов.

1. Похоронных дел мастер

Арий Давидович Ротницкий — не меняющийся внешне, розовый вежливый старичок с голой головой и серебряной бородкой. Возраст его не поддавался определению. Было лишь доподлинно известно, что Арий участвовал в похоронах Льва Толстого.

Человек необыкновенных связей, знаний и умения в мире кладбищ, моргов, катафалков, мастерских по изготовлению надгробий.

А. Коваленков вспоминал, что, когда хоронили Э. Багрицкого, который, страдая тяжелейшей астмой, умер от удушья, Аркадий Давидович обращал внимание многих на выражение лица покойного, объясняя, сколь сложной была работа лучшего московского специалиста посмертного массажа, приглашенного Ротницким.

Фадеев при мне рассказывал на секретариате, как к нему на днях явился Арий Давидович и взволнованно сообщил, что ему удалось выбить несколько прекрасных мест на Ваганьковском, но, чтобы их не перехватили, было бы неплохо побыстрее их занять.

— Своими людьми! — хохотал Фадеев, характерно закидывая голову.

Фадеев был еще молод. Арий Давидович иногда позволял себе пошутить:

— Вот похороню Александра Александровича, это будет моя лебединая песня.

Увы, после Фадеева он проводил еще очень многих.

2. Гардеробщик Афоня

Он принципиально никому не давал номерков. В этом заключался его профессиональный шик. По номеркам-то любой обслужит!..

Вы могли прийти в новом пальто, которое он никогда прежде на вас не видел, но и при переполненных вешалках он выдавал вам его безошибочно.

Если он в конце вечера бывал сильно пьян, то, сидя у барьера и мельком доброжелательно взглядывая на подходящих, тут же указывал пальцем своему напарнику, где висит то или иное пальто.

По словам Афони, его бил еще Есенин.

— За что? — полюбопытствовал я.

— Да ни за что. Загонит за по́льта и дерется. Но не больно. Зато уж и платил!..

3. Парикмахер

Моисей Михайлович Маргулис. Знаменитость. Его рассказы и остроты передавались из уст в уста. Потом кто-то догадался, что он никакой не остряк, просто думает и говорит, как умеет.

Вот в его клетушечку возле гардероба заглядывает Фадеев.

— Садитесь, Александр Александрович! — радостно восклицает парикмахер.

— Куда же я сяду? — удивляется Фадеев. — У вас же человек!

— Где человек? Какой человек? — спрашивает Моисей Михайлович, незаметно толкая в спину своего клиента, бедного стихотворца.

Очередь за раскрытой дверью посмеивается.

Однажды пришел блестящий граф, генерал Алексей Алексеевич Игнатьев. Я был знаком с этим высоким красивым стариком, автором известнейшей тогда книги воспоминаний «Пятьдесят лет в строю» (острословы говорили: «в струю»). Еще до войны он вернулся в Москву из Парижа, где непостижимым образом добился сохранения для Союза во французских банках громадной суммы золотом, прежде принадлежавшей России.

Моисей Михайлович священнодействовал: стрижка, бритье, горячий массаж, мытье головы и прочее. Граф придирчиво осмотрел свое отражение, причем Маргулис посредством ручного зеркала продемонстрировал высокому клиенту и его затылок.

Затем генерал обратился к висящему на стенке прейскуранту. Разумеется, посетители платили мастеру по-другому: у кого как сложилось. Прейскурант висел для порядка. В нем двумя столбцами значились перечень услуг и цены.

Маленький мальчик, дожидавшийся как-то стригущегося отца-писателя, доверчиво спросил:

— Папа, это стихи?

Моисей Михайлович тут же ответил:

— По нынешним временам даже очень неплохие...

Так вот, граф Игнатьев тщательно изучил прейскурант и

подытожил стоимость произведенной над его головой работы. Получилось рубля два с лишком. Он отсчитал все до копейки, добавил двугривенный и встал.

Моисей Михайлович, кланяясь, благодаря и приглашая заходить еще, проводил посетителя до лестницы, вернулся и сказал ожидавшим:

— Говорят, он передал в руки советского правительства большие ценности. Теперь он хочет вернуть это таким образом!..

Не удержусь, чтобы не вспомнить еще один эпизод. В. П. Катаев, недавно побывавший в Италии, зашел постричься.

— Валентин Петрович, — спросил его Моисей Михайлович, — правда ли, что вы были в Риме?

— Да.

— А правда ли, что вы посетили Ватикан и вас принял Папа?

— Да.

— И вы поцеловали ему руку?

— Да.

— И что же он в этот момент сказал?

Катаев ответил своим жлобским одесским голосом: — Он увидел мой затылок и спросил: скажите, какой м... вас стриг?

Справки в конце заседания

Помните эти собрания? Общие (явка обязательна) или — святая святых — закрытые партийные. Повестка дня. Регламент. Докладчик просит час десять минут. Дадим? Много? Вопрос, товарищи, серьезный. Дать!

На каком-то пленуме Симонов попросил то ли 47, то ли 54 минуты. По залу прошел шум. Но это у него не было издевкой над ритуалом, это был служебный шик, демонстрация собственной четкости, деловитости, умения ценить время.

Далее: выступления в прениях — десять минут. Утвердили. Слово для справок — три минуты в конце заседания. И продолжается *работа* («товарищи, мы работаем только четыре часа»).

Выступает кто-нибудь и говорит между делом: такой-то аморально ведет себя в быту...

Тот вскакивает, кричит из зала:

— То есть как? Клевета!

А председательствующий:

— Справки в конце заседания.

Другой выступающий обвиняет кого-то в политической незрелости.

У этого вообще стресс, он, бледный, бормочет что-то, слабо возмущается, просит слова для оправдания.

Председательствующий свое:

— Справки в конце заседания.

А когда он будет, этот конец? Может, среди ночи. Одни смоются потихоньку, другие забудут, да и неинтересно уже...

Однако слово-то сказано, осталось.

Конечно, нужно давать возможность ответить — сразу. Ну, через одного оратора, чтобы успеть прийти в себя, хоть как-то подготовиться.

Но ведь не случайно это было придумано: в конце! Чтобы дожать, раздавить человека. Вне зависимости от наличия вины.

Сталинская, большевистская изощренность.

Гагарин у писателей

Сейчас космонавтика настолько вошла в наше сознание, проникла в нашу повседневную жизнь, что ничем уже, кажется, нельзя никого удивить. А тогда, в 61-м, человечество, без преувеличения, было потрясено. В нас возникло редкостной силы и чистоты чувство восхищения и гордости. И каким он оказался симпатичным, обаятельным — этот первый в мире космонавт, Юрий Гагарин.

Опубликовали его биографию, и каждый невольно старался найти в ней точки соприкосновения со своею собственной жизнью. Помимо прямых земляков и сослуживцев, отыскивались люди, жившие или служившие поблизости от него, в Куйбышеве, в Заполярье. Я тоже (разумеется, только для себя) нашел такую точку. В 1950—1951 годах я жил под Москвой, в Люберцах. А он, как выяснилось, учился там тогда в ремесленном. Множество раз встречал я этих ребят, идущих строем или гуляющих, видел их в кино и на стадионе. Безусловно, был среди них и Гагарин. Если бы я знал, кем он станет, я мог бы познакомиться с ним тогда, пожать ему руку, но я, как и другие и он сам, не подозревал, разумеет-

ся, что учится здесь в «ремеслухе» будущий Космонавт-один и что мне доведется пожать ему руку только через десять лет, когда он уже будет майором Гагариным.

Он так понравился всем, что никого не смущала очевидная наивность подобных изысканий.

Краткий и триумфальный его полет, его стремительный виток вокруг планеты состоялся двенадцатого апреля. А четырнадцатого его, ликуя, встречала Москва.

Вечером того же длинного радостного дня я был в гостях у знакомых. Разговор то и дело возвращался к Гагарину.

Было уже довольно поздно, когда меня позвали к телефону. Звонили из редакции «Комсомолки», и я сразу понял, что не по пустякам: ведь они не ограничились тем, что меня нет дома, а узнали, как меня разыскать.

Человек, которого я знал давно, но не очень близко, звонил с одной только целью — доставить мне удовольствие. В газете начал печататься с продолжением репортаж «Капитаны космоса», и вот завтрашний отрывок назывался «Я люблю тебя, жизнь!». В нем говорилось, в частности, о том, как при сборах на космодром обсуждался вопрос, что взять с собой из музыкальных магнитофонных записей. Космонавты предлагали различные варианты, а Гагарин твердил: «Я люблю тебя, жизнь», и прямо было сказано, что это его любимая песня.

Конечно, я и тогда уже понимал, что объективная ценность произведения искусства не зависит от того, насколько оно нравится тому или иному конкретному лицу. Но мнение выдающейся личности может подчеркнуть истинную его ценность.

Я поблагодарил и положил трубку. Хозяевам и остальным гостям я ничего не сказал, исходя из опыта: расскажешь, а потом что-нибудь случится, материал снимут — хорошо будешь выглядеть!.. Такие случаи тоже бывали — особенно на радио. Однако теперь номер был уже подписан.

Но своему соавтору Э. Колмановскому я не мог не позвонить. Выйдя в соседнюю комнату, я набрал номер:

— Знаешь, какая любимая песня Гагарина?

— Понятия не имею, — отвечал он чистосердечно.

— «Я люблю тебя, жизнь».

— Перестань! — закричал он.

На другой день я встретил живущего по соседству Смелякова.

— Слушайте, — сказал он, по обыкновению, хмуро. — О вас так говорит Гагарин! Я бы гордился...

— А я и горжусь, — ответил я, смеясь.

Рассказываю это не для того, чтобы похвалиться или привлечь внимание к собственной персоне, а с целью объяснить, каким образом я познакомился с Гагариным.

Менее чем через три недели после его пресс-конференции в Академии наук и затем краткого визита в Чехословакию Гагарин приехал встретиться с писателями. Знающие люди говорят, что это был его первый у нас «выход», публичная встреча. Мне сообщили о предстоящем событии накануне и попросили подарить ему пластинку с записью песни. Как ни странно, я не нашел дома свободного экземпляра, поехал в ГУМ и купил пластинку. Долгоиграющих не было, пришлось удовольствоваться обычной, на 78 оборотов. Исполнял, правда, М. Бернес.

Четвертого мая Центральный Дом литераторов ломился от народа. В гостях у писателей на моей памяти бывали артисты и ученые с мировыми именами, выдающиеся военачальники, и в их числе Жуков. Но такого я никогда не видел. С трудом удалось мне пробиться в кабинет директора ЦДЛ, где уже собралось человек десять, которые должны были космонавта приветствовать. И вдруг снизу, из вестибюля, донесся словно исполинский вздох и — следом, сразу, взрыв восторга.

Гагарин вошел настолько просто, естественно, будто не первый раз. Он улыбался. И все тоже разом заулыбались. В нем было что-то очень к нему располагающее, на него приятно было смотреть. Он был вполне простой, земной парень, но на нем лежал отсвет исключительности, — он словно был иной породы, почти с иной планеты. Он был из Космоса.

С ним вместе прибыл генерал Каманин, один из семи первых Героев Советского Союза, спасавших челюскинцев. Он держался слегка в тени. Фотографы окружили Гагарина, защелкали затворами.

Позвали на сцену. Новое здание ЦДЛ было построено лишь недавно и таким образом, что попасть на сцену можно было только через зрительный зал. Потом это кое-как исправили. Мы пошли по проходу переполненного зала. Гагарин впереди. Люди приветствовали его стоя. Он воспринимал все это как-то очень хорошо и тактично, без подчеркивания давая

понять, что приветствия относятся не к нему одному, но он уполномочен их принимать.

Председательствовал Сурков. Один из выступавших обратил внимание на печатавшиеся в газетах автобиографические заметки Гагарина. Писал, разумеется, не он сам — хотя бы за недостатком времени, — это была выполненная журналистами литературная запись — особый жанр, встречающийся довольно часто.

Выступающий воскликнул: «Вы же очень хороший писатель!..»

Стоило бы Гагарину проявить к этому интерес, его, не сомневаюсь, тут же приняли бы в Союз писателей. Но это ему было не нужно. Только этого ему не хватало!

Более всего мне запомнилось выступление Твардовского. Выйдя на трибуну, он держал за спиной приготовленную для подарка книгу. От волнения у него подрагивали пальцы.

Передо мной многотиражная газетка того времени — «Московский литератор», информационный бюллетень правления и парткома Московского отделения Союза писателей РСФСР. В ней приводятся слова Твардовского: «"Первый космонавт Гагарин — мой земляк!" — так думает сейчас не только каждый советский гражданин, но, пожалуй, и любой житель нашей планеты — землянин. Но, не скрою, мне особенно приятно, что вы не калужский или не тульский, а наш — смоленский!.. Перегрузки во время космического рейса вы успешно выдержали. После благополучного возвращения на родную землю шквал поздравлений, приветствий, заслуженной славы обрушился на вас. Шквал этот растет и ширится. Это необычайная, огромная перегрузка. Тем не менее я уверен, что вы и ее выдержите с честью».

Поэт преподнес космонавту поэму «За далью — даль», совсем незадолго перед этим удостоенную Ленинской премии. Надпись на книге гласила: «Прославленному земляку Ю. А. Гагарину от автора». Вполне в духе Твардовского.

В «Московском литераторе» сказано, что «стихи... прочитали П. Антокольский, Е. Долматовский, С. Смирнов, Р. Рождественский, А. Жаров, а К. Ваншенкин вручил грампластинку со своей песней, давно, как известно, полюбившейся космонавту».

Когда А. Сурков объявил, с какой целью предоставляет

мне слово, Гагарин так радостно, с такой непосредственностью встал и повернулся ко мне, что я сошел с трибуны навстречу ему, протянул пластинку в гумовской обертке и, пожимая руку, довольно бессвязно стал объяснять, как мне это приятно. Из зала крикнули: «В микрофон!» — я вернулся на трибуну, но добавить мне было почти нечего.

Выступление Гагарина, которого все с нетерпением ждали, было обстоятельным, подробным, с юмором, — о его жизни до главного события, о полете, о товарищах. Я заметил, что он чуть-чуть, почти неуловимо произносил некоторые звуки мягче, чем принято, — это даже добавляло его речи особой прелести.

Едва ли не каждый литератор, пришедший на встречу с Гагариным, принес ему в подарок свою книгу, — их, как по конвейеру, беспрерывно передавали из зала, и в конце концов на сцене выросла целая гора книг.

— Книга, конечно, лучший подарок, — заметил Гагарин с некоторым смущением и под одобрительный смех зала добавил: — Я вам обещаю, что все это обязательно прочту...

Он знал, что сказать писателям.

Сейчас я рассматриваю фотографии... Перед началом встречи. На сцене. В зале... Многих уже нет. Нет К. Чуковского, К. Федина, Л. Кассиля, Л. Малюгина, В. Тушновой, В. Ажаева, Е. Поповкина, А. Макарова. Нет Твардовского. Нет и Гагарина.

Но осталось ощущение приподнятости, необычности, начала новой эпохи.

Конфета Гагарина

Тогда еще не догадались брать в космос какие-либо сувениры для последующего дарения (комсомольские значки и проч.).

Гагарин раздаривал часть своего космического пищевого рациона. Мне он через Марка Галлая, который был у первых космонавтов «инструктором-пилотажником», передал круглую шоколадную конфету. Я ее завернул в фольгу и иногда показывал приходившим.

Однажды заявились гости с четырехлетним мальчиком, и в момент демонстрации экспоната он умудрился сунуть конфету в рот и мгновенно прокусить.

Его родители ужасно за меня расстроились, растерялись, сконфузились. Я же сказал:

— На здоровье.

Реликвия мне порядком надоела, а главное, вероятно, в том, что все это подсознательно становилось обычным делом.

Заместитель

Это было время, когда власть попала в руки людей, не умеющих с ней обращаться. Один из первых же результатов — безумная по бесцеремонности и, что еще ужасней, последствиям, всесоюзная антиалкогольная кампания. И, как всегда случается при проведении жестоких и нелепых акций, тут же у властей обнаруживаются добровольные помощники.

Вот и в ЦДЛ была образована общественная комиссия по борьбе с пьянством среди писателей. Возглавил ее некий Станислав Гагарин. Что он был за прозаик, никто не знал, но впоследствии он организовал издательство по выпуску современных отечественных детективов. Оно отличалось изрядным размахом и значительно меньшим успехом.

Наша барменша Валентина Николаевна, испуганно озираясь, жаловалась шепотом, что он ежедневно пугает ее скорым закрытием. Я, говорит, вас всех разгоню!.. Мы успокаивали:

— Валя, не бойтесь!..

Однажды я сидел за классической стойкой, на вертящейся круглой табуретке. Мимо энергично проходил литературовед Дмитрий Урнов, с которым у меня самые сердечные отношения. Я знал обоих его очаровательных родителей. Добавлю, что он помимо прочего известный лошадник, автор прекрасных книг о лошадях.

Он завернул к стойке — поздороваться со мной. Должен заметить, что это происходило в самом начале кампании, и я ни о каком Станиславе Гагарине пока еще слыхом не слыхал.

Я предложил Урнову угостить его. Тот секунду поколебался и ответил огорченно:

— Не могу. Я заместитель Гагарина...

Я удивился, погрозил ему пальцем и произнес назидательно:

— Заместитель Гагарина — Титов!

Иван Иваныч

Долгие годы он служил в Гослите заместителем заведующего редакцией русской советской литературы. Заведующие по разным причинам время от времени менялись, он оставался.

От него немало зависело — он мог в нужный момент вставить рукопись в план или, наоборот, придержать.

Он был лилипут. Со сморщенным личиком, крохотными ножками и ручками. Жил он у родной сестры, — и она, и ее муж, и племянники Ивана Ивановича относились к нему хорошо, жалели, как ребенка. Он имел вид вполне присмотренный, лишь под ногтями всегда присутствовала черная полоска.

Он был добр и важен. Любил, чтобы с ним считались. Я не раз наблюдал, как высоченного роста стихотворцы умудряются разговаривать с ним столь подобострастно, что вопреки очевидному создавалось впечатление, будто они смотрят на Ивана Ивановича снизу вверх.

Его поддерживал главный редактор издательства Александр Иванович Пузиков, интеллигентный, милый и слабый человек. А в редакции соратниками Ивана Ивановича были Николай Васильевич Крюков и Валентина Николаевна Иванцова, люди душевнейшие и компанейские.

Выход почти каждой современной книги было принято *отмечать*. Приглашал, разумеется, автор. До этого рубежа ему предстояло еще дотерпеть — напечататься в Гослите было не просто. Отмечались и промежуточные этапы: сдача в набор, подписание в печать. Помню, Иван Иванович и Миша Луконин сладко спят за столом, уронив головы в тарелки.

Иван Иванович в годы войны окончил педагогический институт. Но нельзя же было послать его учительствовать. Его и направили в издательство.

Первое задание, им полученное: поехать и взять верстку новой книги у Алексея Николаевича Толстого. Было начало рабочего дня. Иван Иванович отправился. Его пропустили в особняк у Никитских ворот, провели в просторную гостиную, и он, робея, сел в старинное кресло. Ноги его, как обычно, не доставали до полу. Он скромно рассматривал картины и мебель.

Тут отворилась дверь, и появился Толстой в пижаме. В руке он держал растрепанную верстку.

Он повел мрачным взглядом, обнаружил Ивана Ивановича и уставился на него. Потом направил на него палец и спросил строго:

— Ты кто?..

Тот спрыгнул с кресла и объяснил, что он — Иван Иванович Ширяев, прибыл из Гослита за версткой.

Толстой еще раз смерил его взглядом и вымолвил укоризненно:

— Какой-то ты, братец, плохой!..

Этим своим визитом к Толстому Иван Иванович всю жизнь очень гордился.

Дядя Коля

Николай Сергеевич Атаров был первым главным редактором журнала «Москва». Но очень недолго. Вышло буквально несколько номеров. Многие, и он в том числе, недоумевали: за что же его так? Внезапно, без предупреждения и намека.

Лишь не скоро я понял: снимали не только за какую-либо провинность или промашку, но и в том случае, когда срочно требовалось место для кого-то своего. *Своим* оказался Евгений Поповкин.

Атаров был ко мне очень расположен. Правда, позже, уже не будучи редактором. Я называл его: дядя Коля.

Как-то он рассказал мне, что когда работал в «Москве» (редакция сперва помещалась в здании Гослита, на Ново-Басманной), то к нему без конца приходили писатели, среди них очень хорошие, и дарили ему свои книги с проникновенными автографами. Набралась целая библиотека. Когда же он был смещен, дарить перестали. Дядя Коля недоумевал: почему? Неужели так трудно прислать по почте?

Вот такой был дядя Коля Атаров.

Он регулярно писал. Иногда в соавторстве с женой, Магдалиной Дальцевой. В просторечии — Магдалой.

Так они сочинили роман о Джузеппе Гарибальди. Однажды я сказал ему, что, когда я был в Италии, меня умилило количество памятников этому герою и их разнообразие. Кстати, я забыл, в каком городе был похоронен Гарибальди, и спросил у Атарова.

Он коротко задумался и ответил, что их роман заканчивается *до* кончины главного персонажа.

Вероятно, чтобы не слишком огорчать читателей.

На диспансеризации

Когда-то писатели проходили в своей поликлинике регулярные (раз в год) обследования, без чего нельзя было получить не только санаторно-курортной карты, но и просто медицинской справки.

С утра сдавали на анализ то, что положено, а затем надлежало посетить кабинеты: глазной, отоларинголога, рентген, кардиологический и пр.

Везде народ, а у хирурга — никого.

Мой друг вошел, поздоровался, на вопрос о жалобах ответил отрицательно. После этого последовала просьба спустить штаны и нагнуться. Своей унизительностью процедура напоминала личный досмотр арестованного перед отправкой в камеру.

Хирург бегло заглянул моему коллеге между ягодиц, небрежно спросил:

— Поэт? — и разрешил подтянуть брюки.

— Но откуда вы узнали? — изумился мой собрат.

— У всех прозаиков геморрой! — хладнокровно ответствовал доктор. И снисходительно пояснил: — Сидячий образ жизни!..

Японская пилюля

Летом 1984 года моя жена, дочка и внучка отдыхали в Евпатории, а я оставался под Москвой, во Внукове.

Однажды мы с Георгием Семеновым поехали на его машине на станцию и купили там по большой бутылке венгерского коньяка.

Пить сразу не собирались, но потом все же решили продегустировать. Сели за кустами на лавочку, и под какие-то, помнится, сливы так он хорошо у нас пошел.

Тут я говорю: сделаем перерыв на полчаса. В пять будет звонить Инна, мы договорились, и она сразу может почувствовать, что я принял. А потом продолжим...

Семенов вошел в мое положение и ответил: у меня есть японские пилюли, я тебе дам одну. Возьмешь в рот — и никакого запаха.

Рабочий стриптиз

Строился новый корпус Полиграфического института — рядом со старым, но под углом, чтобы не загораживать свет.

Молодой крановщик ловко подавал наверх кирпич и бадьи

с раствором. И вдруг в раскрытом окне старого корпуса он увидел совсем близко большую комнату, сидящих в ней ребят и девчонок, которые что-то записывали или чертили, а перед ними на возвышении спокойно стояла совершенно голая баба.

Разумеется, это был натурный класс. Ведь «Полиграф» готовит и художников книги.

Крановщик так был поражен, что чуть не ударил концом стрелы в кладку, каменщики даже закричали на него, а потом крутили около виска пальцами. Он пришел в себя, но все же то и дело поглядывал из своей стеклянной кабинки туда, в открытые окна. Попробуй оторвись!

Когда он спустился в перерыв, некоторые заметили, что он какой-то будто трехнутый.

Он рассказал своим, мужикам и девкам, об увиденном. Они тоже изумились, но сразу поверили. Одна только спросила:

— Слушай, какой же это институт?..

Он ответил веско, уже как специалист:

— Какой, какой! Не понимаешь, что ли? Медицинский!..

Вспышка

Когда-то мы были с этим стихотворцем в отношениях почти приятельских, потом они слегка поостыли, но оставались вполне дружелюбными. Как теперь говорят — нормальными.

И вот в 1963 году в поезде при возвращении с выступлений он, предварительно выпив, хотя, видимо, и не слишком, сообщил мне прямым текстом, что ненавидит меня.

Его всего трясло, он бил костяшками пальцев себе в ладонь, будто в меня. Повода никакого не было, просто вырвались долго копившиеся раздражение и злоба. Наши попутчики только умоляли его не кричать, не привлекать внимание посторонних пассажиров.

Потом он уснул, утром смотрел в сторону.

Через несколько дней он подошел ко мне и спросил, смогу ли я его простить.

Я ответил честно:

— Простить можно, забыть нельзя...

Собрание

Председательствующий:

— В прениях по докладу выступило восемь человек. Какие будут предложения?

Из зала:

— Кто еще записался?

Председатель зачитывает список и в конце говорит:

— Есть предложение подвести черту.

Из зала:

— Оседлости!..

Интервью при регистрации

— Пусть многие из нас дураки, но все же это коллективный разум. (Георгиевский зал. 25.3.93.)

Продолжение

Эта глава — продолжение предыдущей. Скорее даже, окончание. Центральный Дом литераторов. ЦДЛ. Ранее — Клуб писателей, писательский Клуб. А еще раньше?

Особняк был построен в 1889 году. Вскоре его купила графиня Олсуфьева. С тех пор его называют — олсуфьевский, хотя сразу после революции хозяева отбыли отсюда.

Знаменитый Дубовый зал с резными колоннами и лестницей на антресоли. Спускаясь по ней, Александр Третий, как гласит легенда, сломал ногу на самом каверзном, веерном ее отрезке. Он был крупный, грузный мужчина и неудачно оступился.

Тоже деревом отделаны гостиные внизу и наверху. Несколько каминов, два из них до сих пор украшены мраморными женскими головками.

Как это все уцелело, пока здесь жила тесно вселенная пролетарская беднота?

Конечно, давно другие полы, другая, невпопад, мебель, но стены-то, стены те же и сколько они впитали в себя! Какая здесь звучала музыка, какие женщины здесь танцевали! Какие читались стихи! Какие страшные произносились слова на смертельно жестоких собраниях! И какие вспыхивали надежды и выступали на глазах слезы — после XX съезда!..

Когда мы с Инной жили поблизости, на Арбате, то часто ходили сюда обедать. Я всегда брал пельмени — их прекрасно здесь готовили. Да и вообще писательский ресторан долгие годы славился отменной кухней.

Одну зиму здесь официально столовался московский футбольный «Спартак». Это была команда времен Нетто, Симоняна, Сальникова, Ильина, Исаева, Татушина, Парамонова... Они приходили после занятий в своем спортзале на Поварской.

Каждый год девятого мая собирались писатели-фронтовики. Внизу, у гардероба, кафель заливали водой по щиколотку и клали жерди, оступившийся промачивал ноги. У дверей стояли

наши молодые сотрудницы в пилоточках и сапожках. Не выпив на КПП ста грамм и не закусив сухарем, пройти было невозможно. На середину зала выезжала походная кухня. Известнейший конферансье толстяк Гаркави раздавал картошку в мундире. Продаттестаты всегда составлял Светлов.

Главная прелесть этих встреч состояла в том, что все были свои.

Да, ЦДЛ был клубом, как никакой другой. Я как-то подумал о том, что писателей, сроду не бывавших, скажем, в Доме композиторов или кино, или ВТО, — множество. Но киношников, композиторов, артистов, никогда не переступавших порога Дома литераторов, представить себе трудно, даже невозможно. Было в нашем Клубе нечто поистине притягательное. Теперь, увы, это не так.

Какие люди сиживали здесь за столиками! Какие можно было услышать рассказы, истории!.. И «я там был; мед, пиво пил» тоже.

Впрочем, писательский Клуб проходит через многие главы этой книги.

Кто сочиняет анекдоты

В 60-е годы Булат Окуджава придумал анекдот: приезжаю отдохнуть на Ленинские горы, нет, на эти, как их... на Воробьевы. Хотя на Ленинские, на Ленинские. Сижу, подскакивает воробей, нет, этот, как его... Хотя воробей, воробей...

Тогда бы за такое не похвалили. Булат, понятно, рассказывал не всем.

А Сильва Капутикян в те времена сочинила свой: при коммунизме будет много стульев. Почему? Все очереди будут сидячие. Типичное «армянское радио».

•

Отдельное купе

В прежние благословенные времена московский поэт Николай Доризо гастролировал в Грузии. Утомленный выступлениями, встречами и сопутствующим гостеприимством, он, собираясь ехать поездом из Батуми в Тбилиси, заказал на себя одного двухместное купе «СВ».

Предвкушая ночной отдых, явился к самому отходу и обнаружил, что в его купе на обоих диванах сидят человек десять, кто-то с младенцем на руках.

— Я же оплатил эти места! — крикнул он наивно и растерянно, на что получил не менее эмоциональный, но суровый ответ:

— Что же, ты будешь лежать, а грудной ребенок стоять?!

«Волшебная пудра»

Михаил Дудин помимо прочего, то есть серьезной литературной работы, известен — правда, в сугубо писательском кругу — страстью к всевозможным рифмованным забавам: экспромтам, эпиграммам, не всегда невинным шуткам и шуточкам.

Однажды ему позвонили с ленинградской парфюмерной фабрики (он питерский) с просьбой.

— Михаил Александрович, — сказал ему милый и ответственный женский голос, — мы вас очень любим и уважаем. Сейчас мы выпускаем новую продукцию для наших дорогих женщин — пудру, которую мы решили назвать волшебной. «Волшебная пудра». И вот просим вас написать стихи, а мы поместим их на футляре — стихи, посвященные женщинам, всего четыре или, еще лучше, две строчки. Очень просим не отказывать. Когда вам можно позвонить, Михаил Александрович? Можно дней через десять?..

Миша ответил своим высоким, словно дурачащимся голосом:

— А уже готово...

Женщина изумилась:

— Как?

Он подтвердил:

— Записывайте! — и продиктовал:

Красавицей станет любая лахудра,
Ей в этом поможет «Волшебная пудра».

На другом конце провода помолчали, потом сказали: «Извините» — и положили трубку.

«И я бегу...»

Дудин был человеком с замечательно развитым чувством юмора. Он сыпал нацеленными в тот или иной адрес эпиграммами, а услышавшие восторгались, повторяли, запоминали: «Как, как?..» Однако иногда это чувство необъяснимо изменяло ему.

Известно, что он дружил с очаровательным Семеном Степановичем Гейченко, регулярно гостил у него в Пушкинском за-

поведнике. И вот однажды читаю в газете стихи Дудина, а внизу, как бывает, пометка — место написания: «с. Михайловское». Село Михайловское — ни больше и ни меньше! И хотя бы о Пушкине были стихи, что чуть-чуть бы сей пассаж оправдывало. Так нет — просто о себе. Я, помню, сказал тогда в компании: теперь будем ждать, чтобы Гранин поставил под какой-нибудь своей вещицей — «Ясная Поляна».

Но Богом данное чувство «Ю», к счастью, редко покидало Мишу Дудина. Он обладал и тесно связанной с этим качеством острой наблюдательностью. Вот его рассказ о том же Михайловском. Там работала уборщица (или сторожиха), следящая за домом поэта и домиком няни. В несезонное время, когда туристов почти не бывало, а сотрудники находились большей частью на главной усадьбе, она по собственному почину иногда сама встречала редких посетителей. Миша слышал, как она объясняла приезжей паре:

— Здесь он писал, здесь отдыхал. А бывало, скажет: «Арина Родионовна, сбегай за водкой!» И я бегу...

Она так внедрилась в ту его жизнь, что порою сама уже чувствовала себя его няней.

Певица в тюрьме

Замечательная наша певица Лидия Русланова сидела в тюрьме. И муж ее, генерал Крюков, друг маршала Жукова, сидел тоже. Умер Сталин. Их быстро выпустили.

Она с разрешения тюремного начальства дала на прощанье концерт для остающихся заключенных. Принимали ее восторженно: и знаменитость, и *своя*.

Она пела как никогда, и сама же объявляла каждую очередную песню.

Когда она произнесла звонко: «Помню, я еще молодушкой была», — из зала последовала громкая реплика:

— Во, бля, память!..

Она сама, смеясь, об этом рассказывала.

Артист и женщины

Мне поведал это мой друг, знаменитейший киноактер.

Еще очень давно он заметил, что женщины в самые сокровенные моменты ведут себя с ним как бы не вполне соответ-

ствующим образом. Даже самые умные из них глупо улыбаются, словно не могут поверить своим глазам. Они подсознательно наблюдают себя со стороны, почти из зрительного зала — на экране, в кадре.

Он быстро понял это, и причина слегка разочаровала его.

Знаменитые фамилии

А. Битов с откровенной нарочитостью проводит комментаторско-дикторскую линию: Набутов-Синявский-Левитан и иронически рассуждает о взаимоотношениях в нашем сознании Набокова с Набутовым, комментатора Синявского с Синявским-писателем, художника и диктора Левитанов. Но это что! Наиболее потрясающий, давно занимавший меня феномен: писатель с двойной фамилией, которого, по сути, никто не знал, а обе составляющие части фамилии были оглушающе общеизвестны: Шолохов-Синявский.

Столбовой

Когда-то выступал по ТВ новый генсек, и вся страна с интересом наблюдала, как он, собираясь перевернуть очередную страницу, слюнил палец.

А через короткое время состоялся писательский съезд, и один из наших руководителей, бывший высокий дворянин, читая доклад, точно так же перед каждым перелистыванием увлажнял палец о резиновую подушечку собственного языка.

Раньше за ним такого не водилось. Он помимо прочего был в быту достаточно брезглив, а тут совал палец в рот после сотни перекрестных утренних рукопожатий. Но очень уж хотелось ему во всем походить на Генерального, приобщиться, приблизиться.

В этом была его натура, суть. Столбовой лакей.

Непрактичность

Маргарита Алигер — единственная в нашем искусстве, не извлекшая для себя никакой последующей выгоды из топанья на нее ногами Хрущева.

Некоторые этим всю жизнь кормятся.

В фойе

В фойе Колонного зала Анна Ахматова, старая седовласая матрона, только из президиума, — на писательском съезде (1965) перерыв. Кругом фотографы — снимают всевозможные искусно выстроенные «живые сценки» или стационарно запечатлевают наиболее вальяжных. Агния Барто подходит и говорит:

— Анна Андреевна, можно с вами сфотографироваться?

Та отвечает своим низким голосом, почти басом:

— Я сегодня не в лице.

Андроников в тифлисских банях

Ираклий Луарсабович в очередной приезд в Тбилиси, как всегда, отправился с местными друзьями-литераторами в знаменитые серные бани. Там одной из коронных услуг считался массаж.

Банщик бросил голого Андроникова на скамью и начал мять, — как тому показалось, излишне энергично. Тот даже застонал. Друзья (помню, что среди них фигурировал Георгий Леонидзе) стали подшучивать: мол, слишком нежный стал в Москве. Массажист еще более активизировался.

Андроников возопил от боли. В результате у него оказались сломанными два ребра.

Объяснение: банщики сюда традиционно, из поколения в поколение, поставлялись из одного села. А этот пошел по другой, партийной, линии и даже стал инструктором ЦК компартии Грузии, но проштрафился, был исключен и изгнан оттуда. Земляки, чтобы ему не возвращаться с позором домой, устроили его в бани. Он еще не овладел новой профессией и, подзадоренный подначками знаменитостей, перестарался.

Эту историю Ираклий Луарсабович рассказал на борту теплохода «Михаил Фрунзе», на Московском канале, во время празднования редакцией журнала «Юность» своего десятилетия. Андроников называл себя одним из *фундаторов* этого журнала.

Тарапунька и Штепсель

Были знаменитые артисты эстрады Тарапунька и Штепсель (в миру Юрий Тимошенко и Ефим Березин).

Когда они только начинали вместе, дело не очень шло, и им помог старый администратор, эдакий эстрадный зубр с огром-

ными связями. Он им устроил выгодные гастроли, нашел хорошую площадку и в Киеве. Их успех нарастал стремительно, и вскоре они уже были сверхпопулярны и всеми узнаваемы.

А года через два тот самый администратор звонит им из одной приволжской автономной республики и рассказывает, что взялся помочь тамошней филармонии, но у нее нет денег, чтобы пригласить видных гастролеров, а так публика не ходит. Замкнутый круг. Ребята, выручайте...

Они помнили добро, выкроили трехдневное окно и прилетели. Он встречал их у трапа, и они демонстративно расцеловались с ним. А рядом стояла молодая женщина, типичная деваха, в пальто и в платочке.

Администратор сделал в ее сторону рекомендующий жест и сказал:

— Знакомьтесь, это наша министр культуры...

Она зарделась, протянула ладонь дощечкой и представилась:

— Дуся.

Эйзенштейн и Крючков

Перед войной появился новый киноартист — Михаил Кузнецов в фильме «Машенька». Эта картина всех тогда задела, а иных потрясла щемящей правдой нашей близкой судьбы, пронзительностью и нежностью. И этот неведомый прежде трогательный актер оказался вдруг всеобщим любимцем, стал почти в один ряд с тогдашними кумирами: Алейниковым, Андреевым, Бернесом, Крючковым.

Впоследствии, после войны, когда он начал сниматься и в цветных фильмах, выяснилось еще, что у него редкостной синевы глаза. Но вот ведь как случается в искусстве — такой удачи больше уже не было. Не везло — роли хорошей не выпадало, режиссера. Снялся в нескольких средних лентах.

Он немало выступал на эстраде, был по-прежнему популярен, ездил по стране. Я познакомился с ним в связи с тем, что он читал мои стихи, и, нужно сказать, хорошо читал, — у него была целая программа. Вид он имел уже не такой, как когда-то, васильковые глаза его слегка выцвели.

Мы радостно встретились снова лишь через много лет, — наверное, за год или полтора до его смерти. Накануне Дня Победы нас пригласили выступить в Министерстве гражданской авиации. Был там еще, помню, космонавт Береговой.

Кузнецов оказался превосходным рассказчиком. Однако по порядку. Когда началась война, он собрался идти в армию, но его вызвали на студию и сказали, что на него есть бронь и требуется ехать в Казахстан, выпускать нужные фронту и тылу фильмы. Он поехал. Во главе отправляющихся стоял Эйзенштейн, тогда уже классик с мировым именем и непререкаемым авторитетом. Потом, как известно, он сделал фильм «Иван Грозный», резко, раздраженно не понравившийся Сталину. Эйзенштейн картину переделал, и вождь, кривясь, принял ее. Тогда многие поправляли свои вещи по державному указанию.

Большинство полагало или делало вид, что так и следует. Но не все!

В «Одном дне Ивана Денисовича» описывается, как герой приносит в контору своему соседу по нарам кашу:

«Цезарь трубку курит, у стола своего развалясь. К Шухову он спиной, не видит.

А против него сидит Х-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

— Нет, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Грозный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ротом задержа, сердится Х-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба насущного! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единоличной тирании. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, *пропустили* бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!..»

Но это когда еще будет! Однако — где!

Так вот, продолжает Кузнецов, прибыли в Алма-Ату. Приняли их там отлично, несмотря на тьму эвакуированных. Для наиболее выдающихся выделили целый дом. Эйзенштейн назвал его — лауреатник.

Сразу начали работать — для фронта ведь. С временем, естественно, не считались. Нужно — так сутками на съемочной площадке.

Эйзенштейн всегда подтянутый, корректный. Руководитель, художественный — и вообще.

И вдруг кто-то говорит ему:

— Сергей Михайлович, вот объясните, пожалуйста, — все к вам на «вы», и вы в ответ так же, а вот Крючков с вами на «ты». Чем объяснить?..

Эйзенштейн без улыбки ответил:

— Нужно знать Колю. Для него «вы» — это когда много...

Так рассказывал внимающему залу синеглазый когда-то Михаил Кузнецов, которого я всегда вспоминаю с добрым чувством.

Женский монастырь

Слышал по радио интервью с настоятельницей женского монастыря, расположенного вблизи Вышнего Волочка.

У святой обители множество проблем. Одна из первоочередных задач — выселение с монастырской территории воинской части.

Уникальный конферансье

Группа артистов готовилась к гастролям в Бразилии, где предполагалось дать ряд больших эстрадных концертов. Жанры самые разные, но все на высоком уровне: балетная пара, солисты оперы, знаменитый скрипач и тут же — иллюзионист, акробаты, кукольники, аккордеонист и, конечно, исполнители народных песен и танцев.

Но что значит готовились? Репетировали и размышляли — что́ взять с собой туда и что привезти оттуда.

По-настоящему готовился один — конферансье, ведущий программы. Это был тоже человек известный, остроумный, умеющий держать зал. У него были свои репризы, шутки, анекдоты, своя манера, и принимали его прекрасно. Но это здесь. А там? Конечно, с ними ехала переводчица, но ведь это же не парламентская делегация, чтобы переводить на сцене.

Короче, он отдал свой текст перевести на португальский, потом ему переписали перевод русскими буквами, и он выучил его. Да, наизусть, помня, конечно, о чем там идет речь, но все равно это было для него абракадаброй. Все театральные ар-

тисты знают назубок множество ролей, но ведь на своем же языке.

В самолете коллеги дремали, спали, расслабленно болтали, а он без конца повторял про себя совершенно чужие, но уже и чем-то странно близкие слова.

Первое представление в огромном концертном зале. Аншлаг! Он выходит к рампе и, мягко улыбаясь, начинает говорить.

Зал ахает. Через минуту зал уже покорен — замирает, аплодирует, хохочет. Рассказанные истории понятны всем. Здесь ведь тоже все так. Ну не все, но многое. И любовь, и другое. И качество юмора, конечно.

Концерт идет под аплодисменты, всех принимают замечательно, его — лучше всех.

В антракте он прячется, запирается в артистической уборной.

Но после концерта за кулисы врывается экспансивная южная толпа — местные артисты и импресарио, и прежде всего, конечно, пресса, репортеры. Поздравляют наших, благодарят, восхищаются.

И к ведущему: кто вы? Откуда? Женаты? Есть ли дети?..

Он мягко улыбается. Переводчица объясняет: сеньор не знает португальского. То есть как? Не может быть! Это шутка? Остроумно. Нет, серьезно? Но ведь...

И наступает тишина — изумления, восхищения, разочарования?

Впрочем, последующие концерты проходят с неменьшим успехом.

Это был покойный Борис Брунов.

Неосторожность

Л. заведовал в одной из газет международным отделом. Газета не государственная, не официальная, но тоже центральная, и дело здесь было поставлено крепко. Л. знал свою работу — саркастически клеймил, выводил на чистую воду, разоблачал.

Наступили хрущевские времена, обстановка помягчела, и, хотя навыки ценились прежние, забрезжили среди облачности голубые окошечки, участились визиты.

И в редакцию прибыла делегация журналистов из закоренелокапиталистической страны, среди них и двое международни-

ков, которые хорошо знали Л., а он их — по печати, разумеется.

Гости, веселые, подтянутые, некоторые с фотоаппаратами, сидели в кабинете главного редактора за длинным столом, и странно было видеть их здесь, идейных противников, пьющих боржоми, жующих яблоки и непринужденно болтающих.

Л., взяв слово, призывал их к правдивости и объективности в отражении нашей действительности.

— Пора уже вам перестать изображать коммунистов в таком виде... — Он зажал в зубах нож для фруктов, вытянул шею и выпучил глаза.

А они — щелк, щелк! — мигом сфотографировали его.

Как же он испугался! Он представил себе на первых полосах, крупно, этот снимок и подпись к нему: Л. — шеф международного отдела известной русской газеты.

Ему стало плохо. Он начал юлить, заискивать, заглядывать в глаза. Они сохраняли невозмутимость.

Делегация улетела, он каждый день стал ждать удара, похудел, осунулся.

Но прошла неделя, две — ничего. Может быть, хотят в журнале? Тоже нет. Он постепенно приходил в себя, опять писал суровые обзоры, одергивал. Но все-таки ощущение, что он у них на крючке, долго не отпускало.

Сотрудники газеты, рассказавшие мне об этом случае, стали со временем рассуждать о профессиональной журналистской этике и солидарности. Дескать, даже империалистические акулы, понимая, что публикация фотографии погубит Л., пожалели его.

Но причина, я это понял только впоследствии, была, конечно, в другом. Фотография просто не годилась для их газеты — Л. выглядел на ней слишком свободно, раскованно, по-американски, он мог себе позволить *так* себя вести. Вот в чем фокус.

Сливки общества

Председатель Совета ветеранов нашего гвардейского Венского 38-го корпуса сказал на общей встрече:

— В воздушно-десантных войсках собраны сливки общества...

Никто из присутствующих в этой сентенции не усомнился.

Очередь за туалетной бумагой

Мой однокашник и ровесник Саша Николаев зашел с женой Женей в универмаг. А там продавалась туалетная бумага.

Прилавок был внизу, а очередь вилась по лестнице в середине зала, ее хвост терялся в верхних этажах.

Сашка был на войне командиром артиллерийского взвода, в жестоком бою против немецких танков потерял в сорок четвертом в Польше правую руку. Так и прожил по сути всю жизнь — ни ребенка кверху подбросить, ни женщину толком обнять.

Но парень веселый, остроумный. Как говорят нынешние радиожурналисты — *юморной.*

Он подошел к прилавку и вынул красную книжечку. Шаг, на который следует решиться: известно, как относятся у нас к инвалидам войны.

Сверху тотчас кто-то крикнул:

— А этот почему без очереди?

Другой голос разъяснил иронически:

— Инвалид!

Третий:

— Подумаешь, руку ему оторвало!

Тут Саша поднял голову и сказал громко и доброжелательно:

— Руку мне оторвало, но ведь задницу-то не оторвало!..

Ближние грохнули. Стоящие чуть выше заинтересовались причиной, тоже засмеялись. За ними — еще...

Через минуту вся очередь на лестнице корчилась от хохота. Под ее конвульсии чета Николаевых и удалилась с сумкой, плотно набитой нежными рулонами.

Виль Липатов и значок

Когда-то в переделкинском писательском доме была курилка под лестницей. Одни сидели на красных креслах и дымили, другие, облокотясь о перила, стояли на разных ступеньках и, свесив головы вниз, тоже участвовали в беседе.

Помню, кто-то обратил внимание, что к кожаной куртке Виля Липатова привинчен многослойный рельефный значок, и спросил — что это такое?

Виль охотно объяснил. Совсем недавно в Министерстве внутренних дел учрежден особый почетный знак. Редчайшая награда. Ее имеют пока шесть или семь человек: разумеется,

Щелоков и еще самые достойные. В их числе и Липатов как любимый певец милицейской темы.

Он рассказал, что на днях, находясь за рулем, нарушил правила и не захотел выходить из машины. Разъяренные гаишники выволокли его, увидели знак и растерялись: то ли бить, то ли извиняться. А от него еще и попахивало. В результате один из них сел к нему в машину, отвез его домой, козырнул и попросил быть поаккуратней.

Присутствующие почтительно слушали.

Я дождался конца и спросил:

— Можно ли себе представить, чтобы до революции беллетрист, даже второстепенный, публично хвастался полицейским значком?

Наступила тишина. Липатов, однако, тут же нашелся. Он поднял голову, уставил в меня палец и сказал, заикнувшись, как Михалков:

— За-видует!

Италия

Когда внучке Кате было около пяти лет, она услыхала, что страны бывают капиталистические и социалистические. Однажды она поинтересовалась:

— Дедушка, а Италия социалистическая или капиталистическая?

Я ответил:

— Капиталистическая.

Она спросила снисходительно:

— Все еще?

Малдонис на празднике

Это рассказ литовского поэта Альфонсаса Малдониса, спокойного, доброжелательного, уравновешенного. Очень наблюдательного.

Мы несколько раз бывали с ним вместе в поездках (в Югославии, в Польше) и прониклись друг к другу взаимной симпатией.

Так вот. В Грузии проводились празднества в честь Шота Руставели (вероятно, 800-летие). Гости — со всего света.

Было два одновременных грандиозных пира под открытым

небом в двух параллельно расположенных долинах — один писательский, другой на правительственном уровне. Малдонис, депутат Верховного Совета СССР, по должности (как руководитель Союза писателей Литвы) находился на втором.

Накрытые белыми скатертями, составленные вместе столы тянулись не менее чем на километр и терялись в легком тумане. Они ломились от яств и напитков: форель, осетры, икра в мисках, жареные барашки и поросята, зелень, фрукты, приправы и соусы. И, разумеется, бутылки, бочонки. А по обе стороны от столов, тоже до горизонта — вертелы, шампуры, мангалы, огонь и уголья, аппетитнейшие запахи, бьющий в ноздри волшебный ароматный дымок.

Стоящий рядом с Малдонисом человек, держа в руке стакан густого красного вина, сказал задумчиво, почти без акцента:

— Если бы моя республика устроила такой прием, она бы разорилась...

Невозмутимый Альфонсас посмотрел на соседа, желая определить его национальность. Помимо чистого говора его отличали изящество и еле заметная смуглость. Так, скорее всего, мог выглядеть таджик или молдаванин.

Малдонис все же поинтересовался вежливо:

— Какая республика?..

Тот ответил:

— Итальянская...

Выездное гостеприимство

Наши друзья, поэты Кавказа, при московских застольях всегда рвались заплатить за ужин, и чаще всего им это удавалось.

Помню, в середине пятидесятых сидели компанией у нас в Клубе, досидели до закрытия ресторана и решили перебраться в «Арагви» — там было до трех утра. Поехали на двух такси — Павел Григорьевич Антокольский, Миша Луконин, Винокуров, я, Григол Абашидзе и Реваз Маргиани. Был кто-то еще, но точно не помню.

В «Арагви» не оказалось свободного отдельного кабинета, и нам предоставили какую-то служебную комнату, окно было заклеено газетами.

Пир легко начался сызнова — с цветистыми персональными тостами, с чтением стихов. Глубокой ночью велели подать счет.

И тут растворилась дверь, и с криком «Наконец-то!» влетел

Иосиф Нонешвили. Оказалось, что он искал нас по всей Москве.

Ему налили фужер вина, он выпил и поклевал каких-то орешков.

В это время официант внес на тарелочке счет. И между тремя прекрасными грузинами произошла ожесточенная схватка за обладание заветным листком.

Победил Нонешвили. Он и оплатил роскошный ужин, в котором не участвовал.

Это меня кое-чему научило. Я тоже по возможности старался в дальнейшем проявлять в подобных случаях решительность.

Моль

Рассказала милая, положительная женщина. Это происходило, как говорится, в период застоя.

Она работала в режимном учреждении, имела дело с секретными документами. Порядок внешне был строгим. Опоздать нельзя было и подумать: ровно в девять звучал сигнал, и проходная перекрывалась. Запрещалось также покидать территорию в перерыв, не говоря уже о том, чтобы сбегать в магазин в рабочее время.

Но внутри было вполне вольготно. В комнате за шестью столами сидели шесть женщин — давно свои, притерлись друг к другу, болтали обо всем на свете. Две, помоложе, случалось, после вчерашних свиданий подремывали, положив голову на локоть.

Начальник отдела был мужчина, ходил в штатском. Считал хорошим тоном посещать время от времени комнаты вверенного ему подразделения. Дядька он был не вредный.

И вот как-то утром заявился он к ним и остановился у дверей:

— Здравствуйте, товарищи женщины! Все в порядке?..

У них-то все было в порядке. А вот у него как раз нет — в смысле туалета: брюки оказались незастегнутыми.

Они это сразу засекли, старались не смотреть, но невольно видели — боковым зрением. И тут случилось невероятное: оттуда, порхая, вылетела натуральная моль. Самая молодая сотрудница сделала непроизвольное движение — развела ладони, словно готовясь ее прихлопнуть.

Они все держались молодцом, лишь у одной предательски затрепетали ноздри, а старшая залилась румянцем. Но они заставили себя успокоиться и, когда он наконец вышел, минуты

две хранили молчание, лишь после этого с ними случилась форменная истерика, они дали себе волю — хохотали, стонали, топали ногами, валились на столы...

И что интересно, — этот случай запомнился им навсегда. Впоследствии, когда они уже не работали вместе, при встречах речь обязательно заходила и о нем. Почему?

Вместе с ханжески-строгим режимом, фактическим бездельем вылетевшая из расстегнутой ширинки моль словно стала символом той нелепой, безумной, приснившейся жизни.

«Здравствуйте, господин Гоген»

Есть знаменитая картина — «Здравствуйте, господин Гоген». Многократно встречал я ее репродукции, да и подлинник видел, даже в двух вариантах. Хмурый усталый художник в мешковатом плаще и голубом берете, а через оградку с ним здоровается проходящая крестьянка-бретонка.

Недавно праздновалось 60-летие воздушно-десантных войск. И наш 38-й гвардейский Венский корпус участвовал — то есть те, кто остался, ветераны. Трогательное и грустное зрелище. Кто сплошь в орденах, медалях и значках. Другие только при планках. Третьи безо всяких опознавательных знаков. А некоторые старики еще и в теперешних (при нас не было) голубых беретах. Седые, спекшиеся от времени, но берет на бровь — вот мы какие!

И буквально через два дня попался мне этот альбом, увидел я великого художника Поля Гогена в голубом берете набочок, усмехнулся про себя, и сердце сжалось.

Обращение

В начальные так называемые перестроечные времена я случайно наткнулся на телепередачу о Л. Н. Гумилеве. О его научных работах, о судьбах его родителей и его собственной судьбе. В заключение корреспондент спросил:

— А теперь, Лев Николаевич, может быть, вы хотели бы что-нибудь сказать Верховному Совету?

Гумилев ответил, что желал бы обратиться к руководству со словами, которыми встречал каждый лагерный подъем его сосед по нарам:

— Дайте жить, гады!..

* * *

Ныне покойный Николай Томашевский, специалист по итальянской литературе, рассказывал мне, как он в конце войны молоденьким лейтенантом оказался в Москве, и его часто приглашали обедать Шишковы, недавно вернувшиеся из эвакуации. Клавдия Михайловна пекла очень вкусные пироги. Бывал там и Константин Федин (все они помнили Колю еще мальчиком, тесно общаясь в Ленинграде с его отцом, профессором Борисом Томашевским). И вот Федин сказал однажды, что, если бы ему дали carte blanshe, он бы написал замечательную книгу о нынешнем времени, на что Вячеслав Яковлевич заметил в том смысле, что ничего бы у тебя, Костенька, не вышло, настоящие-то писатели карт-бланшу не просят.

Недавно один мой институтский друг обронил:

— У тебя благополучная литературная судьба...

Я ответил:

— Конечно, вусмерть не били.

Но сколько было тычков, щелчков, цепляний — в печати, разумеется.

Нас продолжали систематически лечить инъекциями страха разной концентрации. И кое-кого излечили — от литературы.

«Созерцательность», «мелкотемье», «бытовизм», «дегероизация» — в этом всем меня регулярно упрекали. Любопытно, что впоследствии критика отнесла сии недостатки к моим достоинствам, — только стала называть их немножко иначе. А тогда, особенно в начале, от меня по сути настойчиво требовали, чтобы я писал плохо. Не прямо, но требовали. А я подсознательно — не хотел. И сейчас не хочу — не просите!

СОДЕРЖАНИЕ

5 О себе
12 Так мы начинали
40 Alma Mater
93 Твардовский
124 Особняк на Арбате
156 Бернес
174 «Впереди уже нет никого»
243 «Ведь я знал его»
328 Прижизненная маска
364 Гражданская панихида
395 Футбольная поляна
412 Писательский Клуб
430 Застольные истории

Константин Яковлевич Ваншенкин
Писательский Клуб

ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
А.С. Захаренко

РЕДАКТОР
Е.С. Заческина

МЛАДШИЙ РЕДАКТОР
Е.Г. Таран

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
О.Г. Дмитриева

ТЕХНОЛОГ
М.С. Белоусова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ
И.В. Соколова

ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ
А.Ю. Минаева

ЗАМ. ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ
Н.Ш. Таласбаева

КОРРЕКТОРЫ
В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия
№ 101053
от 4 апреля 1997 года.
Подписано в печать
20.02.98.
Формат 60 × 90/16
Гарнитура Таймс.
Печать офсетная.
Объем 26 печ. л.
Тираж 10 000 экз.
Изд. № 476.
Заказ № 936.

Издательство «ВАГРИУС»
103064, Москва, ул. Казакова, 18
Интернет/Home page—
http:\\www.vagrius.com
Электронная почта (E-Mail)—
vagrius@mail.sitek.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном
ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Государственного
комитета РФ по печати.
113054, Москва, Валовая, 28.